

НОВЫЙ МИР

1937

6

НОВЫЙ
МИР

6

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Ш Е С Т А Я

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176 × 250.

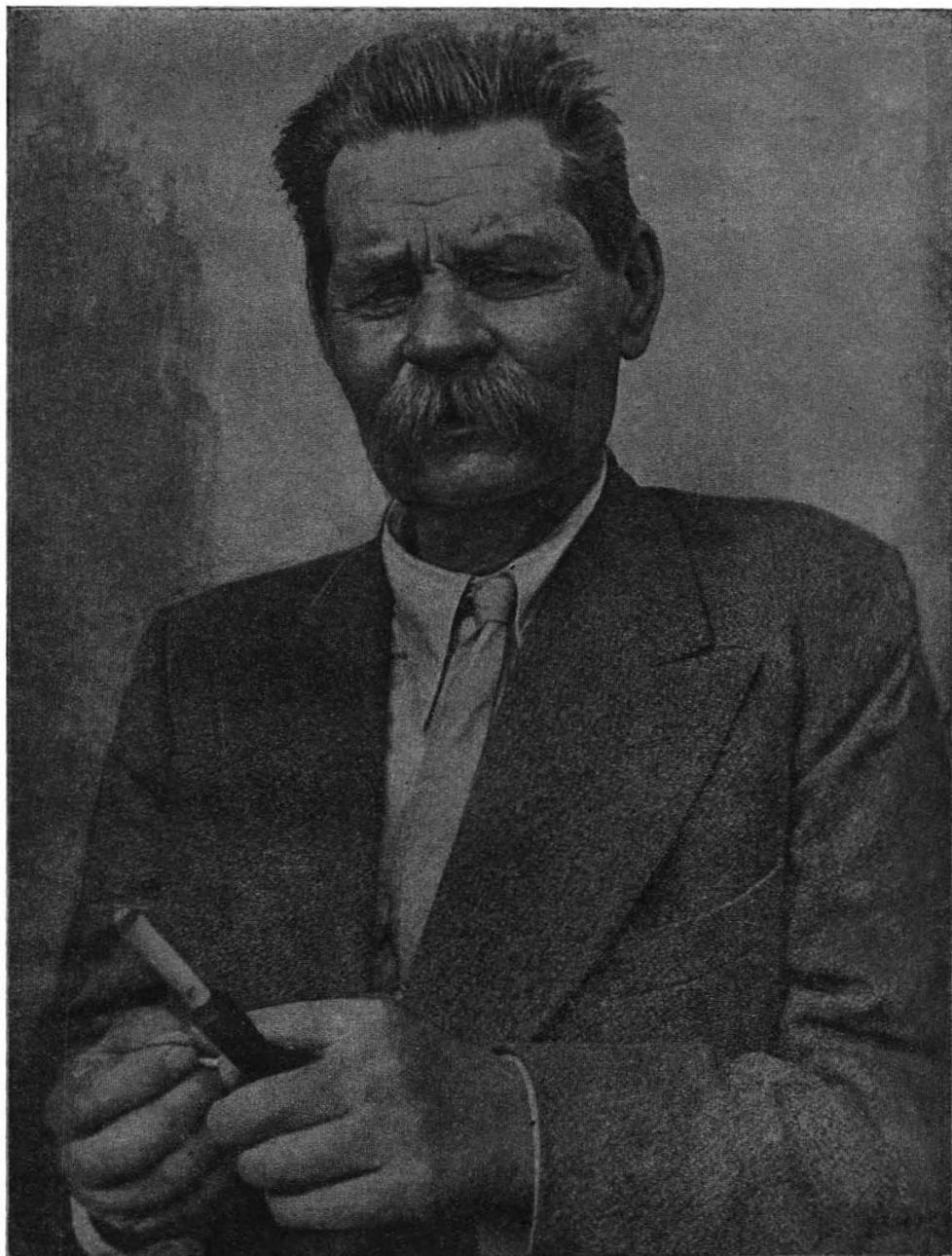
Улож. Главлита Б—25656. Об'ем 17 печ. лист. по 64.000 знак. Одано в набор 7/VI-37 г.

Подписано к печати 9/VIII—37 г. Техн. ред. С. Кривцов. Тир. 70.000. Зак. 1605.

Тип. им. тов. И. И. Сяворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Великий пролетарский писатель	5
РОМАНЫ, РАССКАЗЫ, ПОЭМЫ, ПЬЕСЫ:	
2. М. ГОРЬКИЙ. — Как поймали Семагу, <i>рассказ</i>	10
3. Письма А. М. ГОРЬКОГО	14
4. ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. — М. Горький в Италии (Из вос- поминаний)	22
5. ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Энергия, часть третья, <i>роман</i>	28
6. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Наташа, <i>пьеса</i>	55
7. ШОТА РУСТАВЕЛИ. — Витязь в тигровой шкуре (перевод П. Петренко при участии и под редакцией К. Чичинадзе)	87
8. ПАВЕЛ НИЛИН. — Матвей Кузьмич, <i>рассказ</i>	130
9. С. МИРЕР и В. БОРОВИК. — Рассказы рабочих о Ленине .	149
ЗА РУБЕЖОМ:	
10. МЕКСИН ДЕВИС. — Потерянное поколение	166
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:	
11. За большевистскую бдительность в литературе	194
12. АН. ВОЛКОВ. — М. Горький и литературное наследство . .	209
13. Б. МЕЙЛАХ. — Горький и Пушкин	220
14. Е. СИКАР. — Друг и учитель	225
15. ГЛ. ГЛЕБОВ. — О мнимом и действительном Пушкине . . .	230
16. А. ЗОТОВ и А. ЛЕБЕДЕВ. — И. Н. Крамской	248
БИБЛИОГРАФИЯ:	
17. ЛЕВ ГЛАДКОВ. — М. Горький «Жизнь Клима Самгина» . .	260
18. Г. Л — В. — М. Горький, Пьесы	262
19. ГЛ. ГЛЕБОВ. — Максим Горький, О Пушкине	263
20. Н. БЕЛЬЧИКОВ. — В. Кирпотин, «Наследие Пушкина и ком- мунизм»	265
21. Л. ЖУКОВ. — И. Нович, «Духовная драма Герцена»	267
22. Г. Ф. — Н. В. Гоголь, Собрание сочинений	269
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	271



АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ
(1868 г. — 1936 г.)

Великий пролетарский писатель

Прошел уже год с того дня, как не стало Алексея Максимовича Горького. Но Горький живет в замечательном своем литературном наследстве, он живет в делах и помыслах нашего многомиллионного народа. Идеалы, за которые боролся Горький,—знамя социалистической литературы всех народов великого Советского Союза.

Максим Горький как писатель выступил на сцену тогда, когда историческая миссия прогрессивной дворянской и революционно-демократической крестьянской литературы в основном уже была закончена. Подобно тому, как на смену дворянским революционерам с 1861 года приходят революционеры крестьянские, а на смену этим последним в середине 90-х годов прошлого века приходят революционеры пролетарские, подобно этому (в соответствии с этим) на смену дворянской и революционно-демократической крестьянской литературе в середине 90-х годов XIX столетия пришла пролетарская литература в лице Горького. Разумеется, и до Горького были в России писатели, писавшие о жизни рабочих, выражавшие в той или иной мере пролетарскую идеологию, но лишь Горький во весь голос заговорил от имени пролетариата, лишь Горький впервые с огромной художе-

ственной силой выступил в своих произведениях идеологом, буревестником пролетарской революции. Именно поэтому гений социалистической революции, Владимир Ильич Ленин, назвал Горького великим пролетарским писателем.

Меньшевики и их подголоски не раз пытались извратить смысл творчества Горького, пытались оклеветать Горького. Еще Плеханов, в своей статье «К психологии рабочего движения», пытался авторитетом Горького подкрепить свои меньшевистские позиции, пытался путем анализа пьесы Горького «Враги» доказать предпочтительность меньшевистской тактики в революции. Плеханов тщился доказать, что старые рабочие Левшин и Ягодин якобы в силу своей «рабочей» психологии выступают против большевистской тактики и против «романтического оптимизма», т.е. против линии на захват власти, и стоят за тактику меньшевиков. Последующие события, вся практика русской революции показали, что Горький не оправдал надежд Плеханова, что он навсегда связал себя с тактикой большевиков. Однако, несмотря на очевидные факты, последыши меньшевиков не переставали клеветать на Горького. Известно отношение к Горькому фашистских

обершпионов и предателей Троцкого и Радека, зачислявших Горького в лагерь реакционного мещанства. Профессор меньшевистского «литературоведения» Переверзев также относил Горького к разряду мещанства на том основании, что Горький-де не в состоянии выйти из «круга заколдованных образов» мещан окурковского типа. Ученик Переверзева — И. Беспалов — судил о Горьком в точном соответствии со шпаргалкой своего учителя. В сборнике «Литературоведение» (1928 г.), вышедшем под редакцией В. Ф. Переверзева, Беспалов писал о том, что «в творчестве раннего Горького отчуждена (!?) в художественных образах социальная действительность низших слоев мелкой буржуазии «уездного города»; художественный метод раннего Горького был направлен по всему своему существу в сторону протеста, отталкивания и противопоставления гнетущей жизни и ее рамкам, но противопоставления по самой природе своей не действительного, ибо ни путь легендарных образов, ни путь своеобразного пантеизма, ни дно — не могут дать освобождающего образа» (стр. 345—346). Далее, в своей статье в «Литературной энциклопедии» (т. 2, 1929 г.), развивая прежнюю точку зрения, Беспалов заявлял:

«Литературная деятельность Горького являлась художественным сознанием низших слоев мелкой городской буржуазии — периода победоносного шествия капитализма и одновременно подготовительного периода, ведущего капитализм к своему краху. Эволюция горьковского творчества — это художественное выражение эволюции указанного социального слоя в его выбрасывании из

своих устойчивых социальных рамок в орбиту влияния пролетариата» (стр. 647 — 648).

Так, оперируя квази-учеными словечками и понятиями, почерпнутыми из арсенала переверзевского «литературоведения», и игнорируя статьи Ленина о Горьком, Беспалов пропагандировал меньшевистские взгляды на Горького.

Отношение рапповского руководства, троцкистско-авербаховской банды, к Горькому было насквозь политиканским и двурушническим. Авербаховцы всячески травили Горького самыми гнусными способами. А потом, в иной ситуации, лицемерно припадали к Горькому, двурушнически превозносили его в тщетной надежде прикрыться авторитетом великого пролетарского писателя. Ныне эти презренные двурушники разоблачены как заклятые враги народа.

Наша критика должна до конца и беспощадно вскрыть и разоблачить методы и «теориейки» троцкистско-авербаховской шайки, используя которые они проникали в литературу.

Наша партия, партия Ленина — Сталина, всегда считала Горького продолжателем славных традиций русской классической литературы и родоначальником литературы пролетарской, социалистической. На траурном митинге, посвященном Горькому, глава советского правительства тов. В. М. Молотов сказал:

«По силе своего влияния на русскую литературу Горький стоит за такими гигантами, как Пушкин, Гоголь, Толстой, как лучший продолжатель их великих традиций в наше время. Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственнее и сильнее,

чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира».

Горький был и остается учителем советской литературы. Он оставил нам огромное наследство, и это наследство мы должны любовно и бережно использовать в целях успешного развития советской литературы.

Горький прежде всего был врагом всякого нигилизма пролеткультовского и иного толка. Он завещал нам самым внимательным образом относиться к нашему богатейшему литературному прошлому, он учил нас тому, что без критического освоения мировой и русской классической литературы советская литература не сможет по праву называться социалистической. Задача критического освоения классического наследства попрежнему стоит перед нашей критикой и литературой во весь рост. У нас пока много общих разговоров, много деклараций о необходимости использовать наследство, но пока что весьма мало сделано практически в смысле конкретного изучения и определения того, что именно и как надо унаследовать, чему и как надо поучиться нашим писателям у представителей мировой и русской классической литературы.

Горький оставил нам блестящие образцы революционной публицистики и самокритики, он прививал массам непреклонную веру в силу разума, в могущество науки. Он с едким сарказмом разоблачал всякого рода «механических граждан», мешанство, суеверие, зазнайство, бюрократизм.

Будучи глашатаем социалистического гуманизма и во имя этого гуманизма Горький провозглашал: «Если враг не сдается—его уничтожают». Горький был вождем передовой интеллигенции Европы и Америки и много сделал для поворота этой интеллигенции в сторону социализма. И в этом отношении мы еще плохо справляемся с наследством Горького: мы еще плохо боремся за распространение в массах новейших материалистических выводов современного научного естествознания, плохо боремся со всякого рода религиозным мракобесием, плохо разоблачаем мешанство и бюрократизм, плохо боремся за переход на нашу сторону все большего числа наиболее передовых и талантливых представителей западноевропейской и американской интеллигенции.

Своим художественными произведениями Горький служил делу пролетарской революции, делу социализма. Он оставил нам образцы социалистического реализма, примеры показа типичных характеров в типичных обстоятельствах. И советской литературе предстоит еще многому учиться у реалиста Горького.

Но Горький стоял не только за реализм. Он всячески защищал революционную романтику и сам дал яркие образцы этой революционной романтики в своих произведениях. В своей брошюре «К рабселькорам и военкорам» Горький писал о том, что у нас еще весьма мало романтизма. как «проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как презрения, ненависти к старому миру, злое наследие которо-

го изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству» (стр. 19).

Надо признать, что мысли Горького о необходимости революционной романтики еще плохо усвоены нашей критикой. У нас до сих пор еще благополучно подвизаются в литературе такие критики, которые, исходя из старых рапповских теорий, продолжают упорно отрицать романтику вообще. Далее. У нас еще весьма мало таких художественных произведений, в которых были бы даны образы социалистической романтики.

Горький не раз выступал против всякого рода литературной групповщины. Групповщина является порождением беспринципности, результатом отсутствия правильной марксистско-ленинской линии у тех или иных литераторов. Примером тому является деятельность авербаховской банды, заимствовавшей у «Перевала» свое идейное, троцкистско-бухаринское, вооружение и в течение ряда лет занимавшая вредительство в литературе. Ошибочно полагать, что троцкистскую агентуру в литературе — авербаховщину — можно ликвидировать речами на собраниях и общими статьями. Чтобы ликвидировать авербаховщину, необходимо прежде всего до конца разоблачить «теоретические» основы авербаховщины — теории «живого человека», «срывания всех и всяческих масок с действительности» и т. п. Необходимо также извлечь уроки из деятельности других групп и группочек, существовавших в литературе. Необходимо, например, тщательно учесть уроки деятельности группы «Литфронт», на которую ставил ставку

антипартийный блок Сырцова — Ломинадзе. Не все бывшие литфронтовцы, как и не все бывшие рапповцы, были связаны с врагами народа. Но все бывшие литфронтовцы, как и все бывшие рапповцы, обязаны подумать о причинах использования их литературных группировок врагами партии, группировок, которые хитроумно насаждались врагами народа. Путь к уничтожению групповщины в литературе есть только один: это путь принципиального разрешения основных вопросов советской литературы. Только на основе определенной принципиальной линии — на основе марксистско-ленинского понимания сущности социалистического реализма и социалистической романтики, на основе ленинского отношения к наследству, на основе правильной, объективной оценки творчества всех наших писателей — возможна ликвидация всяческой групповщины и консолидация коммунистов, работающих в литературе.

Горький активно боролся за всестороннее развитие национальных литератур Советского Союза. Открывая Всесоюзный съезд советских писателей, Горький говорил о том, что «разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира». Далее, в своем докладе на съезде Горький говорил о том, что «советская литература не является только литературой русского народа, это — всесоюзная литература. Так как литературы братских нам республик, отличаясь от нас только языком, живут и работают при свете и под бла-

готворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся, — ясно, что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшинств только потому, что нас больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом — гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества».

Эта постановка вопроса является директивой для советской литературы. Успешное развитие советской социалистической литературы — это развитие всех национальных литера-

тур Союза. Это завещание Горького мы должны неустанно проводить в жизнь.

Горький был и остается учителем и другом не только для молодого поколения советских писателей, он неустанно выявлял все новые и новые таланты из народа, он остается образцом чуткого, бережного и внимательного подхода к молодому писателю.

Смерть Горького — огромная потеря для советской литературы. Но под руководством большевистской партии, партии Ленина — Сталина, советская литература будет расти и крепнуть, будет идти по пути, указанному великим пролетарским писателем — Горьким.

Как поймали Семагу

Рассказ

М. ГОРЬКИЙ

Семага сидел в кабаке, один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтынный.

В прокопченном табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещенным двумя лампами, подвешанными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали темные, рваные неопределенные фигуры, ругались, разговаривали, пели и делали все это очень возбужденно, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая вьюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, привычно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперед своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки, как щит, и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего — на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и очевидно убедившись в том, в чем ему нужно было убедиться, Семага наливал себе новую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправлял ее вслед за водкой и долго медленно жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой большой головы на серую и сырую стену падала странная

вз'ерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое скуластое бритое, глаза большие, серые прищуренные, над ними темные мохнатые брови, и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клочок волос какого-то неопределенного сивого цвета.

В общем семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, напряженной и неуместной, даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нем было надето рваное драповое пальто, подпоясанное веревкой, рядом с ним лежала шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку, довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить еще, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась и в кабак вкатилось что-то круглое лохматое и похожее на большой раздерганный пук пакли, вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбужденно:

— Стрема! Подбирай голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засуетились, из среды их раздался густой и несколько смущенный вопрос:

— Не врешь?

— Лопни глаза, с обеих сторон вальят. Конные и пехтурой... Двое частных, околодошники... множество!

— А кого им надо, не знаешь? Не слышал?

— Семагу, должно... Никифорыча про него спрашивали... — звенел детский голос в то время, как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, все ближе подкатываясь к стойке.

— Рази Никифорыч попал? — спросил Семага, напяливая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

— Втюрился... сейчас цопнули.

— Где?

— В Стенке у тетки Марьи.

— Ты оттуда, что ли?

— Э-э! Я огородами задал лататы, да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

— Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухонького человечка в больших очках и в черненькой скуфейке.

— Экая протобестия, иудин сын! А? Хамово окаянное дѣмя! На-ко? Целую тарелку слизал!

— Чего? — спросил Семага, идя к двери.

— Печенки... все с тарелки-то считил. И как ему, анафемскому змеенышу, доспелось. Хап — и чисто!

— Ну, разорил он тебя! — сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга сырая и тяжелая глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль ее, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжелых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошел и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака и — как бы в ответ на ее лай где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага ре-

шительно перекинулся вновь на улицу и пошел по ней, направляясь к центру города, уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошел по двору, дошел до отворенной калитки в сад и вскоре без приключений, миновав еще несколько заборов и дворов, шел по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надежные места в эту ночь, когда чорт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадежными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа — это не могло улыбаться Семаге.

Он шел медленно и, сощурив глаза, смотрел вперед себя в белую мусть вьюжной ночи — из нее навстречу ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и все это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме вьюги — точно будто тихий плач ребенка где-то впереди. Семага остановился и, вытянув шею вперед, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега нападало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхивая что-то завязанное в узел от снега, засыпавшего эту находку.

— Вот так фунт! Ребенок... Ах ты, сделай милость! — в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была теплая, шевелилась и была вся мокрехонька от растаявшего на ней снега. Рожица у нее была намного меньше семагиного кулака, крас-

ная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот все открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротик текла вода.

Семага совершенно оступел от недоумения, но, чтоб избавить ребенка от неприятной необходимости глотать снежную воду, — догадался, что нужно оправить тряпку, и для этого перекувыркнул ребенка головой.

Тому это показалось, должно быть, неудобным, и он жалобно запищал.

— Нишкни! — сказал Семага сурово.

— Нишкни! А то я те задам. Я чего вот с тобой сделаю? А? Куда мне тебя нужно? А ты реवेशь? Ишь ты, дурачина.

Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь: ребенок все пищал и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

— Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребенок. Но, одначе, куда ж я тебя дену?

Ребенок все пищал.

— Совсем даже мне некуда тебя девать, — решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил ее на снег.

— Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам в роде как подкидыш в моей жизни. Прощай, значит... Больше никаких.

И, махнув рукой, Семага пошел прочь от ребенка, ворча про себя:

— Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон — обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя — шкуреха. Кабы мне ее узнать, я бы ей ребра обломал и все печенки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрывки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоскасухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они

слабые, как в рот снегу нанесет — они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай свое дитя. В сухую ночь и проживет оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх, ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял ее на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперед, охваченный чем-то тоскливым, смятенный и от жалости к ребенку уже и сам жалкий, как ребенок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжелым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальтом у Семаги была только одна рваная рубаха — отчего скоро семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.

— Ах ты, живой! — ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперед по улице.

— Не хорошо твое дело, братец мой! Потому, куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя... ты не возись, лежи! Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубахе теплое личико ребенка трется о его, семагину, грудь.

И вдруг Семага, как пораженный, остановился и громко прошептал:

— А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь.

Семага задрожал даже от чего-то — не то от какого-то стыда, не то от страха — от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

— Я... как бы мать! Ах, ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь? Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

— Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь. Спи ты. Я те песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Бай, бай. Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребенку:

Ты, Матанька, душа, шкура,
Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице все кипела, а Семага шел по тротуару с ребенком за пазухой, и в то время, как ребенок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал:

Как приду я к тебе в гости,
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то — талый снег, должно быть. Вор то-и-дело вздрагивал, у него щекотало в горле и щемило в груди, и было ему до слез тоскливо итти по пустынной улице среди вьюги с этим ребенком, пищащим за пазухой.

Он все шел однако.

Сзади него раздался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

— Кто идет?

— Что за человек? — раздался сразу два оклика.

Семага дрогнул и остановился.

— Что несешь, говори? — под'ехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

— Несу-то? Ребенка!

— Кто таков?

— Семага... Ахтырский.

— Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись к морде лошади!

— Нам надо сторонкой итти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и по-

зволили итти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз.

Так он и шел вплоть до части.

— Ага! Попал, сокол. Ну вот и отлично! — встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага тряхнул головой и спросил:

— А как же теперь ребенок? Куда мне его?

— Что? Какой ребенок?

— Подкидыш. Нашел я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

— Да он мертвый уж! — воскликнул частный пристав.

— Мертвый? — повторил Семага и, посмотрев на ребенка, положил его на стол.

— Ишь ты, — сказал он и, вздохнув, добавил: — Сразу бы мне его взять. Может бы, он и не того... А я не сразу. Взял да опять положил.

— Ты чего ворчишь? — с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя.

Со смертью ребенка в нем умерло многое из того, с чем он шел по улице.

Вокруг него была казенщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ребенка и со вздохом проговорил:

— Эх, ты! Задарма, значит, я встретился из-за тебя! Я думал, и впрямь... ан ты и умер. Штука!

И Семага ожесточенно стал скрести себе шею.

— Увести! — приказал частный пристав полицейским, кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и все.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Публикуемый нами рассказ впервые был напечатан в 1895 г. в «Самарской газете» (№ 250 от 19 ноября). Это был год исключительного напряжения сил писателя. Творческая продукция Горького за 1895 г. измеряется огромной цифрой — свыше 160 фельетонов, рассказов и статей.

В начале 900-х годов Алексей Максимович отредактировал несколько не вошедших в собрание сочинений рассказов, предполагая их пересказать. Среди них был рассказ «О

том, как поймали Семагу». Горький изменил первоначальное название на «Как поймали Семагу» и произвел стилистическую правку текста. Рассказ перепечатан не был, и газетная вырезка с правкой писателя пролежала свыше тридцати лет у товарища Горького по издательству «Знание» К. П. Пятницкого.

В настоящее время рассказ хранится в Архиве А. М. Горького при Институте литературы им. Горького.

Письма А. М. Горького к И. М. Касаткину

(1908—1934 гг.¹⁾)

Уважаемый Иван Михайлович!

Рассказы ваши страдают длиннотами, в языке заметна небрежность, неясность — вероятно это объясняется не только спешностью газетной работы, но и вообще недостаточно серьезными отношениями к форме, — от этого вам необходимо избавиться.

В описаниях есть канцелярские обороты, некрасивые и излишние, хотя, видимо, рассчитанные на юмор — этого тоже легко избежать. Мне кажется, что вы человек даровитый и можете быть серьезным писателем, если займетесь упорной и вдумчивой работой над собою, над идейной организацией вашего жизненного опыта. Я готов помочь вам, чем могу; пока посылаю сто руб., впоследствии вышло еще. Был бы рад и счастлив, если б вам за лето удалось написать ряд небольших рассказов или очерков, на тему о том, чем живет, что думает деревня наших дней, какие знаки оставило в душе ее недавнее прошлое. Очень советую вам, дорогой мой, — не торопитесь с выводами. Не говорите таких мизантропических слов, как например «люди—звери», «бежать от людей» и т. д. — все это смешные, пустые, избитые фразы, недостойные серьезного человека.

... А затем — желаю вам лучшего, что знаю, — бодрости духа! Работайте, думайте, наблюдайте. Рукописи, если хотите, посылайте мне, постараюсь, в слу-

¹⁾ Письма А. М. Горького к Ив. Касаткину полностью будут опубликованы в подготовленном к печати III сборнике материалов о Горьком, издание Академии наук СССР.

чае удачи, дать вам место в «Знании». Жму руку. Привет.

И — сердечное спасибо за цветок с родных полей. Хотя я не барышня, а искренне был тронут вашим милым подарком.

А. Пешков.

Италия, Капри.

Пробуйте себя и в стихе, некоторые обороты у вас недурны и есть настроение.

Рассказы «Нянька», «Филька» вам необходимо несколько переделать, и это будут славные вещи. Мне думается, я не обижу вас, если рекомендую прочесть рассказы галицийского писателя Стефаника, — прочитайте, вы увидите, как кратко, сильно и страшно пишет этот человек.

Стефаник издан по-русски, стоит 60 к.

Имейте в виду — для художника важны не слова, а факты, не рассуждения, а образы.

Всего доброго!

А. Пешков.

Первое ко мне письмо Горького. Адресовано в гор. Кологрив, в верховьях реки Унжи, где я находился в высылке из Н.-Новгорода. Письмо явилось ответом на посланные мною в Италию на остр. Капри две-три вырезки из нижегородских газет с первыми моими рассказами и стихами, написанными в нижегородской тюрьме еще в 1904 году.

Из рекомендованных в этом письме книжек мне тогда особенно и надолго полюбилась книжка Василя Стефаника. Письмо это относится к весне 1908 года.

С этого времени я стал посылать на остр. Капри все свои рукописи и вскоре начал печататься в сборниках «Знание» и в некоторых столичных журналах.

Очень рад узнать, что вы — на свободе, дорогой Иван Михайлович. А то — прочитал в «Нижегор. Лист.» о приключении вашем и — несколько загрустил.

Конечно, — для русского жителя тюрьма обязательна, а все-таки как-то неловко чувствуешь себя, когда знакомого человека «ввергают во узилище». Надо бы привыкнуть? Здесь — невозможно это: здесь чем дольше живешь — тем уродливее и печальней кажутся российские «бытовые особенности и явления». Карточку свою я вам, в скорости, вышлю. Целую зиму жил здесь Бунин и Коцюбинский, живут Золотарев, Вольный, Иткин, недавно приезжал Сургучов — видите, сколько литераторов. Черемнова еще забыл. А иностранных писателей — без счета.

А что вам 30, этим не смущайтесь. Коль не пишется, значит — не надо, время не пришло.

Не попадете ли вы в Макарьев? Живет там некто Лаптев, Александр, человек, начинающий писать. Вам бы познакомиться с ним и потом написать мне — кто и что? Судя по началу — парень не без дарования.

Сообщите — как живет Русь во Кстове, весьма знакомом мне. Что люди говорят, как думают, чего ждут? «Антирессно». О четвертой Думе — как? Слышал, что жандармы в Питере привлекли меня к делу о Болонской школе и говорили на допросах арестованным по делу этому, рабочим, будто я прошение «о помиловании» подал куда следует.

Даже и врать бездарно стали на святой Руси.

А как скучно в газетах пишут! И как мало пишут о том, что надобно писать.

Вы «Заветы» приветствуете? Разве нравятся? А я оттуда уже выселился.

Ну, будьте здоровы, желаю всех благ!

А. Пешков.

В дни Ленского расстрела в 1912 году, в апреле, я, как член редколлегии легальной большевистской газеты «Поволжская быль», на редакционном заседании, в числе 7 человек, был арестован и сидел некоторое время в нижегородской тюрьме. Затем мне было предложено немедленно покинуть Н.-Новгород.

Горький как-раз и пишет об этом моем освобождении из нижегородской тюрьмы, в которой я сидел уже трижды и которая столь знакома была и ему. А выехал я временно в село Кстово, тоже ему весьма знакомое по птицепольным делам в далекую детскую пору. Вот он и интересуется: «как живет Русь во Кстове?» и т. д.

Насчет Александра Лаптева, — «кто и что», — я нарочно съездил в Макарьев, но Лаптева там уже не было, — уехал.

Письмо это относится к лету 1912 г.

Дорогой Иван Михайлович!

Очевидно — Вы не получили мое письмо, адресованное Вам в Кстово: в письме этом я извещал Вас, что с января журнал «Современник» реформируется и что я прошу Вас дать к январю что-нибудь небольшое, но — интересное.

Мне кажется, что именно сейчас Вы могли бы взять темой небольшого очерка противопоставление города и деревни: напишите, как живут, о чем думают, что гсворят горожане и — обыватели Лыкова. Выводов — не надо, дайте факты, так просто, как Вы их видите.

Напишите, как мужики в Кстове играют в футбол и как веселятся они в Лыкове. Об эстетях, о хулиганах. Мне кажется, что российский городской «эстетизм» — явление одного порядка с деревенским хулиганством: эстетизм увечит идеи и традиции, служить которым неврастеники не имеют ни сил, ни охоты, а хулиганство крушит то, чего оно не может понять, или — поняв — не может принять, опять-таки вследствие причин дегенеративного свойства — слабосилия. Русский интеллигент и русский мужик озорничают по внушению одной и той же причины: по слабости здоровья и с тоски по хорошей жизни, устроить которую они не умеют.

Пишите. Если материала хватит на три очерка — давайте три, на десять — давайте десять.

Ваш знакомый напрасно пугает Вас анатомией, психологией и прочими жупелами: Л. Толстой с науками не только не был знаком, но с чисто русской храбростью отрицал пользу оных. Однако — нельзя сказать про него, что писатель «не глубокий».

Отсюда, конечно, не следует, что прав Ев. Чириков и что писателю не надо углубляться в науки. Конечно — надо, но не в той свирепой мере, как советует Вам Ваш максималист.

Подробно рассуждать на эту тему — не имею времени, к сожалению, но позвоьте мне рекомендовать вам несколько книг: Вы с физикой знакомы? Если нет — напишите в «Знание», чтобы Вам выслали Григорьева «Курс физики» — просмотрите ее и затем прочитайте:

Оливер Лодж. «Электроны» изд. Поповой, ц. 50 коп.

Содди. «Радий», изд. «Матезис», Одесса.

Ле-Бон «Эволюция материи» — не знаю, чье изд.

Эти книжки введут Вас в самую интересную и революционную область современной опытной науки — в область нового учения о материи. Знание именно этой дисциплины есть фундаментальное знание, совершенно необходимое мыслящему человеку нашей эпохи. Нарождается новая наука, не физика и не химия, а химофизика, и она перевернет вверх ногами все гипотезы психологии, которая как точная наука — не существовала николи и не существует. Чувствую, что Ваш знакомый рассердится за это на меня, но — увь! — сие правда. И более того: новое учение о материи, несомненно, опрокинет и некоторые рабочие гипотезы биологии, считавшиеся прочными. Буде Вас интересует психология неотступно — возьмите книжку Грассе «Физиологическое введение в изучение философии», — это иллюстрированная работа, и она Вам даст достаточно ясное представление о механизме мыслящего аппарата.

Но — необходимо добавить, что — если человек людей не жалеет, жизни не любит и не знает, миром не интересуется, — он может изучить и анато-

мию, и физиологию, и психологию, а писателя из него не выйдет.

Да, не выйдет.

Вот, что, сударь мой: Ваш знакомый — умный человек, и Чириков — тоже умный человек, и Горький не глуп, — допустите все это и затем прислушайтесь к себе самому — поищите Ивана Касаткина, этот парень всех ближе Вам и всех лучше знает, чего недостает Вашему уму. Вот.

Книжки — читайте, каждая из них скажет Вам, как и о чем думает мир, — не Ле-Бон. не Содди, не человек вообще, — а именно — мир. Ибо каждая книга есть квинт-эссенция мировой работы духа человеческого, — книга есть последнее слово множества умов, сказанное одним умом.

Спасибо за снимок и, коли не лень, пришлите еще. Знали бы Вы, как жутко чувствую я себя, глядя на эти, в снегу погребенные, деревни. Жаль их до слез и неясно — все более неясно — представляется их будущая жизнь. Ибо — здесь живут быстро.

Будьте здоровы.

А. Пешков.

25/10 912.

После пребывания в селе Кстове я переселился в Семеновский уезд, Нижегородской губ., на реку Керженец, в Лыковское лесничество. Тут я впервые вознамерился попробовать заняться собою, самообразованием. Тем более, в Лыкове лесничий М. Г. Эдорик, человек образованный, настойчиво внушал мне, что писатель, не знающий, например, анатомии, физиологии, психологии и много иного, не может быть писателем.

Этим и подобными мыслями я поделился с Горьким, — и вот он дает в письме основательные ответы на мои недоуменные вопросы. «Ваш знакомый» — это как-раз и есть лесничий М. Г. Эдорик, единственный мой наставник в керженской глуши. Евг. Чириков, тоже дававший мне советы, был в лесничестве проездом.

Мне очень жаль, дорогой Ив. Мих., что вы «наблюдаете жизнь и нравы писателей», — когда-то я тоже наблюдал впервые сии нравы и четко помню, как много огорчений и злости возбудили у меня эти наблюдения.

Но — теперь дело не в этом, все это пустяки по сравнению с ужасающей грандиозностью мировых событий, возникших пред нами. Я давно — года три — как убежден был в неизбежности общеевропейской войны, считал себя подготовленным к этой катастрофе, много думал о ней, но — вот она разразилась, и я чувствую себя подавленным, как будто все случившееся — нежданно.

Страшновато за Русь, за наш народ, за его будущее, и ни о чем, кроме этого, не думаешь.

Каково ваше отношение к воинской повинности? Идете или нет? Сообщите.

Место, где я живу, уже объявлено на военном положении, ходит слух, что здесь будут немцы, будет драка, «дачники» стремглав бегут отсюда. Я, пока, не собираюсь, но, может быть, прогонят.

Вообще «ничего в волнах не видно», ясно одно: мы вступаем в первый акт трагедии всемирной. Чем кончится она?

До свиданья, Ив. Мих.!

Если уживу здесь до Августа — увидимся.

А. Пешков.

20/VII—1914 г.

После некоторых скитаний, в момент объявления войны, я очутился в Москве и бродил по ней без определенного дела.

Между прочим, здесь впервые в жизни познакомился с некоторыми писателями, бывал кой у кого на квартирах, бывал в кружке «Среды», о чем и писал Горькому. Видимо, меня не порадовали эти встречи. А Москва гудела «мобилизациями», бульвары сплошь были заняты пасущимися тут лошадьми, обозами, снаряжением. А в кафе поэты странного толка и смешной наружности картавили свои стишки...

Дорогой

Иван Михайлович.

Необходимо видеть Вас. Жду до 9-ти часов вечера в доме № 1, квар. 16, по Машкову переулку. Чистые пруды.

Ваш А. Пешков.

День первой моей встречи с Горьким.

Эту записочку, на бланке гостиницы «Боярский двор», рассыльный принес мне вечером. Через час я уже подымался в Машковом пе-

«Новый мир», № 6

реулке на шестой этаж. в квартиру Е. П. Пешковой.

Радужно гудя приветствия с напором на букву «о», встретил меня высокий, угловатый, ершом стриженный, в топырнстых усах, голубоглазый человек, — так не похожий на того, молодого, длинноволосого, что издавна запечатлелся по открыткам. Топчась, некоторое время мы рассматривали друг друга и дивились обоюдной высоте роста и худобе фигур.

Потом сели за стол, друг против друга, — и цепь многолетней переписки моей из диких и глухих мест с ним, с Горьким, с таким далеким, где-то под итальянским небом, расцвела передо мною в живой улыбке близкого Горького.

Он только что приехал в Москву. Дымя папирсою, взволнованно заговорил о войне, о наплыве в столицу раненых.

Позднее явился сухонький, подтянутый, смахивающий на приказчика из хорошего мануфактурного магазина, Иван Бунин. Еще позднее, прямо из театра, приехал валяжный, с широкими королевскими жестами, Федор Шаляпин.

Я жадно присматривался к этим столь известным и столь различным трем фигурам, вслушивался в их высказы о трагедии войны, тоже довольно различные, — и неясна была судьба народных масс, гонимых на военные поля.

Беседа затянулась до рассвета. Горький вышел на улицу провожать нас. Длинная фигура его в узком пальто, в высокой шапке в виде скуфьи, подчеркнутая утренней голубиной снега и клубами дыма над московскими переулками, запечатлелась во мне навсегда.

Письмо это относится к зиме 1914 г.

Дорогой Иван Михайлович, —

получил Ваше—и И. И. Скворцова— письмо: спасибо за память!

По делу о «приложении» моих книг к журналу «Кр. Нива» я лично не могу сказать ни да, ни нет; мне сначала нужно узнать, как отнесется к этому Берлинское торгпредство, которое имеет право издавать книги мои до 27-го года. Весьма вероятно, что оно разрешит дешевое издание, как уже разрешило издать несколько рассказов «Огоньку». Получив ответ Торгпредства, немедленно извещу Вас о том, что мне скажут.

Да, это неловко, что Вы со мною не встретились до сей поры. Смущения или осторожности Ваши — не понимаю; я, ведь, не «генерал от литературы» и не люблю да и не умею «влиять» на людей. Человек для меня ценен сам по се-

бе, и охоты перестраивать его на мой салтык — у меня нет.

Но, наверное, встретясь с Вами, я стал бы убеждать Вас: пишите, пишите больше, смелее, свободней. Это у меня — мания, пункт помешательства. Дело в том, что, на мой взгляд, художественная литература нигде не имела и долго не будет иметь такого всеобъемлющего значения, как у нас, на Руси, в эти трудные и великие годы. Вот я, исходя из этой веры, и пристаю ко всем — пишите!

Сам пишу — много. Хочется научиться писать лучше, чем умею. Хочется добить старинку со всей ее красивенькой и отвратительной гнилью. Новое же — уж не мне изображать.

Так-то. Ну, будьте здоровы!

Выслали бы мне «Красную Ниву». А то — что же? Слышу: «Нива», «Нива» — а никогда не видал.

Крепко жму руку.

Поклон и привет Ивану Ивановичу.

А. Пешков.

24/VII—25 г.
Соренто.

Это письмо является ответом на мое письмо, в котором я, как редактор журнала «Красная нива», вместе с редактором «Известий» И. И. Скворцовым-Степановым, запрашивал Горького о возможности дать приложением к журналу его сочинения.

Дорогой мой Иван Михайлович — оглушительное письмо Ваше получил, тотчас же написал... .. пошлю письмо с диппочтой, дабы не пропало, что весьма нередко случается с моими письмами «знатым лицам».

Такие письма, как Ваше, старый друг, действуют, точно удар по лбу гирей. Я получаю их частенько, не менее двух в неделю. Пишет Вольный, Федин, Вс. Иванов, какие-то неизвестные мне пишут из Сибири и Москвы, Петербурга и Одессы. Прочитаешь и — душа заново сознанием необходимости ехать домой... делать что-то, что облегчило бы жизнь дорогим для меня людям, которые в адовых условиях делают прекрасное, любимое мною дело — русскую новую литературу.

Но — я сам тоже писатель, начал работу над огромным романом и не могу оторваться от него. Не могу. Вы это поймете.

... Я рад, что у Вас проснулась «одержимость», болезнь художника, тяготение его к своему сердечному делу, делу жизни своей. Книгу Вашу я еще не получил. А, получив, — нарочито разругаю ее, дабы еще больше раскалить Вас.

... Здесь, вообще, нет литературы. Кончается Бунин, самый крупный и прекрасный художник. Куприн все еще... Шмелев — привычно плачет. Блаженный Борис Зайцев пишет жития святых. Есть «исторический романист» Алданов, более умный и не менее начитанный, чем Мережковский, но — у него нет таланта, и пишет он неплохо лишь потому, что хорошо прочитал «Войну и мир». А вот у нас, на Руси, Юрий Тынянов написал роман «Кюхля» — превосходно и оригинально, неплохо и Ольга Форш сделала «Одеты камнем». А таких книг, какие делает Никулин, не сделать десятку Пьеров Бенуа.

Все это меня радует допьяна.

Спасибо Вам сердечное, старый товарищ, за Ваше дружеское письмо. Очень спасибо.

Жму руку. Обнимаю.

Скоро напишу еще по поводу книги.
А. Пешков.

13/II—1926 г.

Не помню точно, о чем я писал Горькому в своем «оглушительном» письме. В то время на мне лежало много должностей и обязанностей, в числе их заведывание отделом художественной литературы в Госиздате, председательствование в литературной секции ГУС и пр. Видимо, мною достаточно страстно было изложено в письме к Горькому желание снова взяться за перо беллетриста, после длинного ряда лет моего молчания. Не думаю, чтобы я просил «освободить» меня от каких-либо должностей, — Горький тут проявил собственную инициативу, чтоб помочь моей писательской «одержимости».

Дорогой И. М.!

Сегодня приехал из-под Москвы, где сидел и писал различные «обращения».

письма, читал рукописи и засорил себе голову.

Завтра еду в Ленинград на неделю, — это необходимо, ибо этого требуют рабочие. Возвращусь и буду занят организацией журнала «Наши достижения», альманахом «Литература народов и племен Союза Советов».

Ясно, что в Таруссу, в Калугу — не попаду. Искренно огорчен этим, потому что с наслаждением побеседовал бы с Вами и с милым старичиной С. П. Беседовать — есть о чем, много видел я, много слышал.

Урвем для этого денек по возвращении Вашем в Москву. М. б., и С. П. тоже примкнет? Спишемся.

Жму руку.

А. Пешков.

27/VIII—1928 г.

Летом 1928 г., в августе, Горький обещал приехать к мне в городок Тарусу, на Оке, с тем, чтобы затем проехать в Калугу к Циолковскому. Поездка не состоялась.

Упоминаемый в письме «старичина С. П.» — Семен Павлович Подъячев — в это время гостил у меня в Тарусе.

Дорогой друг —

кашлять я отлично могу на всех точках неуклюжей нашей планеты, но Вы сбегали от моего кашля напрасно, ибо он, скорее, привычка, чем симптом болезни. Разумеется, есть привычки, от которых умирают, но я так много и хорошо пожил, что, если умру, — это меня не обидит, и не потому, что покойники, вообще, не обижаются, а потому, что и умереть тоже интересно, если умирать при условии «непогашенного сознания».

Что «не удовлетворил я братьев писателей» — это они дали мне почувствовать. Виноват. Но — уж очень я был ошеломлен противоречивостью впечатлений, кои, одновременно, вызвали у меня и восторг, и тревогу. Восторг — конечно, не «встречей», в которой много было искусственного и немало обывательского любопытства, а — тою работой, которая сделана и делается, и теми явными изменениями «к лучшему», которые заметны в туманной психике рос-

сиян, вообще не отличавшихся «активным отношением к действительности». Тут много радостного. Тревога же вызвана тем, что — крепко мешанин и превосходно маскируется, негодяй. И тем, что переживаем моментик тяжелый и что это далеко не всем ясно. Но — о тревогах я не люблю и «не мастер» говорить, находя, что против причин, вызывающих тревоги, гораздо лучше бороться, чем рассказывать о них. В целях этой борьбы я и уговорил гг. организовать «Наши достижения», а также еще кое-что. Вот Вам бы, когда Вы поправитесь, в этом журнале поработать, — а? Когда выйдет первая книга, сообщите мне Ваше впечатление. Думаю, что она будет не совсем удачна.

У писателей в д. Герцена я был. Там человек 10 говорили об интересах «цеховых», а также о «разноречиях» своих. С разноречиями я знаком. Основное и главное — разноречие деревни и города, индивидуализма и коллективизма, разноречие двух стремлений, одно к более или менее устойчивому равновесию «человека и действительности», другое к решительному разрушению самых основ позорнейшей действительности. Все остальные противоречия — мелки и производны. Большинство писателей — и вообще людей — жаждет «равновесия», сиречь — покоя и уюта. История же обнаруживает все более резко, — склонность к беспокойству, бунту и т. д. Все очень просто.

Шолохов, — судя по первому тому — талантлив. Но, вот Вы прочитайте «Мед и кровь» Николая Колоколова, — отличная вещь. Этот ударил мешанина «по душе». Очень метко ударил. Интересна Лидия Копылова, весьма. Каждый год выдвигает все более талантливых людей. Вот это — радость. Очень, анафемски, талантлива Русь. Оттого ей так трудно и живется. Ну, — ладно. Крепко жму руку. Зачем это вы хвораете? С новым годом, новой душевной бодрости желаю Вам.

А. Пешков.

31/XII—28.

Простите — устал. Ночь, уже 4-й час. Бессонница ест меня.

В дни своих приездов из Италии в Москву, а также и перед отъездами, Горький имел обыкновение вызывать меня к себе и подолгу беседовать. Так и в этот раз, осенью, накануне отъезда в Соренто, в Машковом переулке, я засиделся у него до четырех часов утра. Он усиленно курил и много кашлял. Провожая меня, он отпер на парадное дверь, я вышел на площадку, а он, упершись руками в косяки раскрытой двери, что-то начал говорить, но сильно раскашлялся. Он мучительно, надсадно кашлял и в то же время давал мне знаки, что хочет что-то такое сказать мне, чтоб я не уходил. Я стоял перед ним на площадке две-три минуты и, махнув рукою, с болью в сердце побежал с шестого этажа вниз по лестнице...

Это его письмо является ответом на мое к нему письмо в Соренто, в котором, видимо, я напомнил ему этот эпизод с кашлем.

В том же письме я информировал его о настроении в его сторону некоторой части писателей, которых он «не удовлетворил».

В «Наших достижениях», как и в других, созданных Горьким, органах, по нездоровью, так и не удалось мне поработать.

Вот, дорогой Иван Михайлович, прилагаю мое заявление о «благонадежности» Вашей, — достаточно?

Говорить об «Истории сов. и колхозов» — я думаю — преждевременно, история-то едва только началась. А вот, если б «Земля Советская» организовала на страницах своих обзоры жизни и деятельности совхозов, колхозов и коммун, — это было бы весьма полезно. И я бы Вам посоветовал: не теряя времени, приняться за разработку плана обзоров.

Мне думается, что материал следует разделить на три группы: 1 — коммуна, 2 — совхозы, 3 — колхозы. Работе каждой группы посвятить четыре обзора: т. е. — посезонно взять ее. Затем придется группировать по производству: зерно, скот, овощи, свекловица, хлопок и т. д. Таким порядком журнал дал бы — мог бы дать — исчерпывающую картину роста и успехов коллективной работы на земле. А далее — со временем — эти обзоры послужили бы материалом для написания истории, — так? К делу этому совершенно необходимо привлечь всю армию очеркистов по колхозам, всех сельских и — непременно — т. Яковлева и Семена Уриц-

кого. Их — не потому, что они архиереи, а потому что «собаку с'ели».

Вот, начинайте-ко.

Семена Павловича — жалко. Но — что делать? Существует общечеловеческая повинность: пожив некоторое время — перестань.

Но до той поры будем жить и работать, а работы до того много, что не токмо умирать, а и думать о том, что умрешь, — некогда. Убыстрили мы скорость течения времени, и тем самым сократилась длина его и емкость его, и не успеваешь сработать половины того, сколько надо. Вот это — скверно!

Крепко жму руку, товарищ дорогой!
А. Пешков.

3.II.32 г.

Горький знал в свое время о моей подпольной работе в Нижнем-Новгороде, знал от нижегородцев и из печати, что там я сидел в тюрьме в 1904, 1907 и 1912 годах. Маленькое его заявление о моей подпольной «благонадежности» мне потребовалось в 1932 г. при вступлении в О-во старых большевиков.

В это время я редактировал ежемесячный журнал «Земля Советская» и в очередном письме спрашивал некоторых советов Горького о том, что не следует ли, в параллель с «Историей фабрик и заводов», взяться за «Историю колхозов». На эти мои вопросы он и отвечает.

С. П. Под'ячев в это время сильно болел, о чем я и сообщал Горькому, с предположением, что старик, возможно, и помрет.

С весны 1932 года, после постановления ЦК о ликвидации РАПП, по причинам совершенно внешним (худшие представители бывшего руководства РАПП помогли тому) мои свидания с Горьким и переписка — стали редки.

Дорогой Иван Михайлович!

Разрешите посоветовать Вам следующее: начинайте писать «Воспоминания» Ваши не как мемуарист, а как беллетрист, и начните их с того момента, который наиболее ярко светится в памяти Вашей. Если момент этот — детство: проезд в Нижний и т. д. с ярмаркой, — тогда надо начинать с детства. Но, я думаю, будет лучше — легче Вам — начать именно с наиболее яркого отражения в памяти, оно хорошо поможет осветить Вам и более раннее, и более позднее прошлое.

Целиком воспоминания Ваши в книгу о Нижнем, вероятно, не вместятся, ибо — полагаю — это будет большая книга по объему, да, надеюсь, таковая же и по значению. В книгу о городе Вы дадите любой кусок или несколько кусков, а вообще — очень рекомендую Вам писать, не торопясь, т. е. — не упуская из вида необходимость Вашего участия в книге о Нижнем, основной своей задачей считать работу над воспоминаниями. Если Вам нужна в этом серьезном деле моя помощь, — я вполне искренно — к Вашим услугам. Вам нужно всецело отдать себя этой работе, и буде потребна для сего помощь материальная — легко могу устроить это.

Итак — «мы начинаем»?

Пишите меньше о себе, больше о других, это очень важно для свободы изображения. Не нужно, чтоб наша писательская личность особенно «мозолила глаза» читателям, и очень важно, чтоб исторически молодой, не знакомый с прошлым, читатель видел, какое огром-

ное количество отрицательных впечатлений поглощалось нами и как мы выработывали из них положительные выводы, из коих особенно значительна наша уверенность в оживляющей человечество силе социальной революции, в необходимости уничтожения основ классовой структуры государства.

Крепко жму руку и вполне уверен, что Вы с работой справитесь.

А. Пешков.

7.VIII.34.

Горький не раз советовал мне начать писать автобиографическую повесть, уверяя, что эта работа будет значительна и необходима.

Летом 1934 года в гор. Горький съехались многие писатели, привлеченные к созданию книги о городе Горьком и Горьковском крае. Дело это не ладилось, плана не было, в работе шел разнбой. Мне, старому нижегородцу, в конце-концов тоже пришлось туда поехать. Оттуда я писал Горькому, что и на самом деле книга движется слабо, и что и сам я не знаю, с какого бока к этому делу себя приставить, и т. д.

В ответ на это Горький и пишет, чтоб я наконец приступил к работе над своими воспоминаниями.

М. Горький в Италии

(Из воспоминаний)

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

В Соренто мы спешили попасть к кануну 1933 года. Путешественники мы были неопытные; запасом слов обладали весьма скудным, хотя итальянцы отменно вежливы и догадливы по отношению к подобным нам, — а поэтому путали поезда, принимали шпииков за сочувствующих советскому строю и удивлялись обилию в Риме монахов и раскрашенных офицеров. На виллу к Горькому мы попали часа за два до нового года, — иссера-бледные от волнения.

— Вы что же, пешком, что ли, шли? — спросил Алексей Максимович.

Он слушал забавные наши похождения, улыбаясь замечательной своей улыбкой. Поверх улыбки, из-под рыжеватых, слегка пушистых усов, что застывали безжизненными камнями на фотографиях, скользил дым папиросы. Эти усы и этот неиссякаемый дым очень уснащали его лицо, делая его как бы парусным, ходким, романтическим.

— Это отлично, что вы так рассказываете, со смехом. Значит, писать не будете сегодня же в газету? А то наши литераторы так пишут, будто до них никто в Европе не бывал.

Особенно его почему-то возмущало, что один литератор перепутал заливы: Неаполитанский поместил туда, где обитает Сорентский.

— Вода-то одинаковая, — сказал я.

— Вода-то одинаковая, да плывут по ней иные люди, сударь мой. Фашисты! Сделал советский человек ошибку, а

они ее в национальную глупость норовят превратить. Правда, воображения нехватает, понеже не только мозги, но и руки слабы, но все же норовят, норовят...

Он повел нас вниз, где в мастерской художников предполагалась встреча нового года. Вилла — двухэтажный каменный дом о восьми или десяти комнатах — и снаружи, и внутри был весьма скромнен. Украшал этот дом залив да дымящийся Везувий напротив, да большой парк по склону горы с редкими деревьями и серыми камнями, где и ветер, и солнце гуляли совсем свободно и где хорошо было сидеть на скамеечке и смотреть на постоянно наряженное море, на бурные острова, на редкие корабли.

Снаружи, у дверей мастерской, лежал лохматый и старый пес.

Алексей Максимович, скоро дыша, как бы запыхавшись, — так он курил, — сбросил пепел и указал папироской на пса:

— Обратите внимание на степенность. Но в наших степях собаки куда более удивительные.

Алексей Максимович опять улыбнулся особой своей, шутливой улыбкой:

— Однажды собаки генерала с'ели. Вместе с эполетами. Не верите?

— Эполеты — не морская вода, здесь название более существенно.

— В том-то и дело, что именно с эполетами. Это, видите ли, казакам так хотелось, потому что ничего более позорного для генерала придумать они не мо-

гли. Но на самом деле-то, конечно, собаки были приучены уважать мундир и звание.

Он опять улыбнулся:

— Не столько покой и мундир украшают человека, как звание. Покой можно загадить, мундир можно разорвать по клочкам и с'есть, а вот от звания не увернешься. Посмотрит собака, посмотрит на это звание, а оно огромное, дворянское-капиталистическое, взвоят, знаете, и убежит к своему стаду!

Он был очень хорош в этот вечер: высокий, прямой, очень веселый. И шурился он как-то по-особому, по-голубому, в этот вечер. Вообще, по-моему, он очень любил и понимал праздники, и когда встречал праздник или празднично-умного человека, он весь как-то внутренне поднимался на какую-то волну—и так катился по миру, блестя пеною шуточных речей, воркующе-гулким смехом и насквозь просвечивающими синими глазами.

С громадным нетерпением ждал он прихода оркестра, «самодеятельного» по нашей терминологии. Несколько бедных жителей Соренто собрались, чтобы бродить по домам, поздравляя с новым годом и распевая народные песни. Костюмы надеты на них шуточные. Помню, был замечательно хорош один с бубном и с веткой лимона в петлице. И пел он, и бил в бубен с воодушевлением необычайным.

Хор был прекрасно спетый, слаженный, а пели песни они трудные.

— Не хуже наших поют? — спросил Алексей Максимович. — А голоса какие? А страсть-то какая? Этот вот сапожник, а вот этот, поменьше-то, кажется, трубочист. Да, точно, трубочист, он у нас месяца три тому назад был. Вы послушайте только, послушайте...

Песня окончилась. Запевала подошел с бокалом к Горькому:

— За песню, — сказал он, чокаясь.

Горький объяснил, когда певец отошел:

— Им, видите ли, сударь мой, запрещено теперь петь на улицах. Раньше Неаполем, бывало, не пройдешь — весь город поет. Голодный, босый, а поет. А теперь, видите ли, нельзя. А белье

вешать на улице сушить тоже нельзя. Суши и пой в комнате. А комнат-то и нету. Рекомендую посмотреть, как живут итальянцы, беднота... квартирные условия, так сказать. Не говорю о том, что несколько семей в комнате, но ведь и комнаты-то без окон...

— Как без окон?

Он указал на сына своего, Макса:

— Вот он покажет. Вы и увидите, как это бывают комнаты без окон. Да еще вдобавок тут же жаровня... Вообще, сударь мой, скучно стало жить в Италии.

Горький никогда не жаловался на скуку, да это чувство вряд ли было ему знакомо близко. Как я понял, сейчас он под скукой подразумевал нечто более обширное и большое, нечто стоящее рядом с именем «война». Но ради праздника, ради нового года он не хотел называть это грядущее преступление своим настоящим именем и взял первый попавшийся термин.

Музыканты танцевали и пели долго—часов до трех ночи. Горький знал много неаполитанских песен и, встретив знакомую, очень радовался. Легонько постукивая пальцами по столу, он вставал и потихоньку приближался к музыкантам, становился к ним как-то боком и нежно рассматривал их.

— А вы много песен знаете? — спросил он вдруг меня.

— Не пою и не знаю.

Он даже отшатнулся:

— Это у вас убеждение или случайно?

— Думаю, что случайно. Семья наша была непевучая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу...

Он перебил меня:

— Да, конечно, это случайно! Писатель не может не петь, не знать песен. Писать — это значит петь. А стихи вы писали?

Я сказал, что писал, — и очень отвлеченные стихи.

Он улыбнулся и не то шутя, не то серьезно сказал:

— А я каждый день стихи пишу.

Четыре года спустя, в Тессели, сидя на скамье перед огромным костром, он вспомнил эту встречу нового года в Соренто. Я тут же напомнил ему о стихах, которые он пишет ежедневно. Он повел в мою сторону глазом и сказал:

— Это я по случаю нового года пожелания высказывал. Пишу я, сударь мой, прозу.

Помолчал, а затем особым, очень объемным и мечтательным голосом сказал:

— Надо про Сталина написать. Трудно написать о человеке, умственно изумляющем вас, но художник не имеет права говорить: «Я изумлен, — и поэтому не могу приступить к портрету». Преклонение и восхищение — само собой, а художник — само собой. Художник должен взять кисть и писать...

Я сказал, что читатели всего мира будут несказанно благодарны, что воспоминания его о Ленине превосходны, что не нужно медлить. Он пробормотал, черча тоненькой палочкой по песку дорожки:

— Изумительны-ы! Вы мне так говорите, будто я начинающий. А вот не все собрал, запомнил одну встречу с Владимиром Ильичом... Марья Федоровна Андреева напомнила. Нужно записать вести. Вы ведете?

Я сказал, что нет.

— Память, значит, хорошая?

Я сказал, что и память дурная.

— Надежда хорошая, Алексей Максимович.

— Потому что молоды. В старости покаетесь. Я вот сильно каюсь, что не записывал.

Он ухмыльнулся:

— Хотя и стариком себя отнюдь не рисую, но годы такие, что надо говорить по-стариковски. Только в старости, понимаете вы, сударь мой, как тягостны всякие обычаи, в том числе и старость.

Память у него была дивная. Все в том же Соренто, расспрашивая о Париже, он сказал:

— А вы Восточный музей там видели? Китайский отдел?

И, точно это было вчера, — а видел он этот музей лет двадцать назад, — он стал рассказывать, — да еще как! — будто он переходил с вами от витрины к витрине. Он вспомнил парижское освещение, косоугольного сторожа с мохнатой бородкой, который принял Горького за анархиста и сопровождал его — вежливейше — из зала в зал. Он шагал по векам китайской культуры, как по клеткам паркета.

Времени для него не существовало, и, видимо, это ему было приятно сознавать. Он любил слушать. Но как только он чувствовал, что рассказчик уставад или рассказывал неправдоподобно, Горький немедленно вспоминал случай, хотя бы отдаленно напоминавший только-что рассказанный, — и медленный и сплошь украшенный польется перед вами удивительный его рассказ!

Вчерашний день для него был близок, как сегодняшней, как и день, который был двадцать или тридцать лет назад. Может быть, поэтому несколько непонятна была смерть, и он относился к ней всегда насмешливо:

— Человечество должно ее обмануть. Вот я, кажись, тридцать пять лет назад должен был умереть. А обманул! Жив!

Он потер руки, большие, теплые:

— Непременно обманем. Вот мы Институт экспериментальной медицины придумали, будем обманывать всеми средствами.

В Тессели, за длинным столом, перед которым нервно ходил А. Д. Сперанский, он спросил:

— Алексей Дмитриевич, бессмертие осуществимо?

С обычной своей резкостью, закинув назад голову, Сперанский сказал:

— Не осуществимо и не может быть осуществимо. Биология есть биология, и смерть есть основной ее закон.

— Но обмануть-то мы ее можем? Она в дверь постучит, а мы скажем, пожалуйста через сто лет?

— Это мы можем.

— А большего я от вас, да и остальное иеловечество, вряд ли потребуем.

В Соренто тогда гостил художник В. Я.

— Художник этот работоспособности и чувствительности удивительной, сударь мой. На него, знаете, старые итальянские мастера крыло положили, и по нему можно судить, какое у предков наших было трудолюбие...

— И талант.

Он косо взглянул на меня, ухмыльнулся:

— Талант, знаете, очень нежная штука, его можно и пропустить, или смять грубостью. За талантом надо долго и пристально смотреть...

И тут же он стал рассказывать о людях, которые исковеркали, сломали и испортили свою жизнь только потому, что никто не заметил их таланта. От прошлого он перешел к настоящему:

— Россия всегда, сударь мой, была родиной талантов, а теперь прямо некий воспитательный дом талантов! Правда, так!

И он счастливо засмеялся. Глаза его сверкали. Он немного поднял кверху руки, чтобы отлила прилившая кровь:

— Даже пейзаж стал талантливее. На Волге вы заметили: поля-то ровные ведь.

Я не понял его.

Горький повторил:

— Ровное поле — это значит нет межей, чересполосицы, заплат, так сказать. Идет сплошь пшеница: на сотни верст. Это и монументально, и очень красиво, и для человека фон больно хорош. Стоит этакий с плечами в сажень, улыбается — весьма монументально-с.

Работал он непрестанно, и радовался, когда другие работают. Он любил рассказы о работе, замыслы, любил и сам рассказывать о своих замыслах.

Дня через два по приезде моем в Соренто он сказал:

— Вам, знаете ли, нужно здесь поработать.

Он улыбнулся:

— Здесь местность знаменитая и работой вся дышит. Здесь Торквато Тассо, говорят, трудился, равно и Кнут Гамсун, а вон там, напротив, на Капри

некий Максим Горький подвизался со своими учениками...

Он прищурился и тихо сказал:

— Как про меня теперь репортеры пишут: «Псалмы пел и был весьма благочестив».

И рассмеялся:

— Там и Новиков-Прибой был. Ко всему подходит и пальцем, пальцем... — Он показал, как дотрагивался до предметов пальцем Новиков-Прибой, как бы пробуя их прочность: — Затем вынимает рукопись, а Иван Бунин поднимает брови и все удивляется: как это матрос осмеливается рассказы писать? Ну, добро бы гардемарин!..

Он наклонился ко мне:

— Вы о чем собираетесь писать-то?

Я сказал, что мне трудно писать, когда слышу вокруг разговоры на чужом языке, когда вокруг чужой город и слишком яркое солнце.

— А вы попробуйте пьесу написать. Может быть, этот речевой разнობой вам поможет. А я вот продолжение «Егора Булычева» написал. Хотите, прочту? А потом, когда вы напишете, прочтете. Поборимся.

Он медленно надел роговые очки.

Читал он «Достигаева». Читал он, в особенности, когда было мало слушателей, изумительно. Он не выделял интонациями отдельных персонажей, не менял голоса, но в его медленном чтении, в каждой фразе, которую он как бы подавал вам руками, в этом громадном движении мыслей, которые лились на вас со страниц, чувствовалось какое-то широкое паренье, какой-то подьем кругами. Вы озираетесь, простор перед вами все шире, и сердце ваше замирает, и вам немного завидно, но зависть эта очень хорошая!

Окончив чтение, он снял очки и посмотрел на нас исподлобья, слегка сконфуженно:

— Ну, давайте сраниться.

Ему не понравилось почтительное наше восхищение. Я объяснил, что очень трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он дмыхнул носом и сказал:

— Все придумываете. Что, бесформенности много?

На мои слова, что слишком ясная форма заставляет иногда писателя об'яснять положения в романе или драме, только в крайнем случае углубляя их показом, а не об'яснением, и что проселочные дороги бывают часто самые живописные и мягкие, он сказал:

— Мягкие потому, что грязи много.

Вечером, побарабанив пальцами по столу, после того, как сыграли обычные несколько партий в «подкидного дурака», он сказал внезапно:

— Завтра — праздную! Поедем в Неаполь, надо им город показать.

Слова его вызвали большие хлопоты в семье: выезжал Алексей Максимович редко, ходить много ему было вредно, да и погода тоже неизвестно какая будет, — ведь был как-никак январь месяц.

И вот здесь, в Неаполе, я увидел, каким был Горький в молодости.

У входа в Неаполитанский музей, высокий, широкоплечий, в своей черной шляпе, стоял он, спокойно осматривая толпу, которая быстро собралась возле с восклицаниями: «Горки! Горки!». Когда ехали по набережной, он сказал, указывая на корабли:

— Налощенные. Готовятся. Фашизм, сударь мой, — это безвкусная метафора войны.

Он уверенно шел по музею. Знал он его наизусть, и сразу же замечал, куда что переставили. Особенно долго стоял он возле скульптур, размышляя вслух и как бы долепливая руками в воздухе то, чего не успел высказать художник.

Почтительные руководители музея бежали следом, торопливо выпрашивая, что сказал Горький. Какая-то тощая американка в больших ботинках остановилась перед Горьким:

— Я хочу пожать вашу честную руку, — сказала она, и слезы показались у нее на глазах. — Вся трудовая Америка уважает вас.

Горький, щурясь, протянул ей руку, пожал и, когда американка отошла, сказал:

— По всему видать, сельская учительница. Скопила денег, приехала в Италию поучиться, а здесь главным учителем господ фашисты.

В гостинице сервировали широкий стол. Бесчисленное количество хрустала сверкало на нем. Горький сел на край стола, черноплечий, в голубой рубашке. Ухмыльнулся:

— Таковую сервировку купцы любили. И чтоб непременно — уха.

И он стал рассказывать, как надо варить стерляжью уху. От ухи он перешел к коктейлям, затем вспомнил Америку и свой обед с Марком Твенном:

— Нигде таких едких глаз затем не встречал. Через площадь глаза видно. — Он взглянул на меня и сказал: — А вы мне: «неясная форма и проселочная дорога». У Марка Твена чрезвычайно ясная форма была.

После обеда он повел нас осматривать старинные храмы. Мы колесили по городу, поднимались вверх и вниз. Из собора Януария мы отправились в Сан-Киара Маджоре, оттуда к дель-Кармине, где Горький долго стоял возле работы Торвальдсена. Неутомимо рассказывал он историю строителей, творцов скульптур. После осмотра Монте Оливетто он сказал:

— А теперь надо зоологическую станцию глядеть..

Но было уже поздно. Солнце закатилось.

— Тогда пойдем в кино, — сказал он.

Одной картины ему показалось мало, он пошел во второе кино, затем в третье. Семейные совсем встревожились, когда он увидел на афише «Странную историю мистера Джекиля и доктора Хайда».

— Стивенсона нужно непременно посмотреть, — сказал он.

За полночь мы вошли в узкое и тесное кино, на последний сеанс.

Все кино обернулось, увидав Горького. К счастью, погасили свет.

Картина оказалась глупой и пустой. От замечательного рассказа Стивенсона было цело только заглавие. Выходя из кино, Горький сказал:

— Все эти споры о форме кажутся мне вздорными. Какая форма, если нет таланта? Повесь ты на жердь даже самый лучший свой костюм, он все равно будет чуделом. Стивенсон — прекрасный писатель, а смотрите, что из него дурак может сделать.

И он спросил у сына:

— Это что, итальянская картина-то?

Никто не мог вспомнить, в какой стране делалась эта картина.

— Наверное, итальянская. Вообще, знаете, в Италии стало жить тесно...

Он посмотрел на темный залив, широко вздохнул и вошел в машину.

За завтраком он много говорил о советской молодежи и о том, какие отличные письма он получает. Затем он стал рассказывать о молодых советских ученых, разговорился — и забыл про работу. Чувствовали мы себя не очень ловко, но прервать его рассказов не могли. Наконец, я встал.

— Вы что, гулять хотите? — спросил он, взглянув в окно.

— Вам работать нужно, Алексей Максимович.

— Пойду гулять.

День был солнечный, широкий. Из ворот мы повернули направо.

Мы быстро вышли из пределов Сорренто, — дача Горького находилась на конце городка. В расщелинах скал, возле дороги, росли широкие и пухлые агавы. Я напомнил Алексею Максимовичу, что растение это считается лучшим украшением наших парков и оран-

жерей, а здесь растет вроде лопуха. С моря дул легкий ветер.

Он посмотрел вниз по склону, по которому поднимались агавы, и сказал смеющимся басом:

— Купчих напоминают, которые к обедне идут. Приземистые, плотненькие, и все в зеленых мантильях.

И глубоко вздохнул:

— Из соку агавы можно бы вино добывать, а из листьев пеньку. Но не фашистам, конечно.

И вдруг остановился и закашлялся. Прошли мы не более километра, но видно было, что Алексей Максимович устал и идти ему дальше невозможно. Он кашлял, сплевывая в платок; черная шляпа колыхалась над ним, лицо его покраснело, в глазах мелькала мучительная боль.

Он сказал хрипло:

— Ну, вы идите дальше, а я вернусь... надо работать... я природу-то работой обманываю.

Чтобы не обижать его, не подчеркивать его слабости, мы пошли дальше.

Он медленно уходил от нас, сутулясь, опираясь на палку, и казалось, что ему очень зябко и что его очень беспокоит ветер с моря. Но чем ближе к дому, тем шаги его делались увереннее, — работа опять захватила его. В воротах он поправил шляпу и вошел в дом прежним широкоплечим и высоким Горьким, который умелыми и хитрыми шагами подходит к столу, ловко берет перо — и говорит с миром тем огромным голосом, что похож на море, которое легким своим ветром только-что мешало ему дышать.

Энергия

Роман

ФЕДОР ГЛАДКОВ

Часть третья¹⁾

I

НАКАНУНЕ

1

Каждый новый день приносил с собою новые неожиданности, новые волнения и тревогу. Встречный план на шестьсот тысяч кубометров бетона, выдвинутый организациями, до сих пор еще не вошел в силу: управление главинжа изучало его медленно и неохотно и не давало определенного ответа на запросы профкома, а на гневные постановления рабочих собраний и на горячие статьи в строительской газете глухо и непроницаемо отмалчивалось. Но в стенах управления шла затяжная борьба между комплотом главинжей Шлиппе и Стрижевского и сторонниками немедленной реализации встречного. Не было единодушия и между заведующими различных секторов. Кряжич был убежденным противником этого плана и высказывался, по свойственной ему прямолинейности, резко и крикливо. Шепель же (правый берег) и Симполович (левый берег), в противовес своему начальнику, решительно и твердо стояли на стороне общественных организаций и авторитетно доказывали полную возможность реализации плана до наступления зи-

мы. Волновались рабочие, волновались инженеры, даже по квартирам и по баракам спорили до хрипоты, до ссор, до изнеможения. Но управление невозмутимо молчало. Ясно было одно, что между техническим руководством стройки и рабочими массами и большей частью инженерно-технического персонала — непримиримая вражда, что не ныне — завтра эта вражда выльется в бурное столкновение.

Кряжич вместе со Шлиппе и Стрижевским настаивали отложить кладку бетона до весны — начать ее после паводка; форсирование работ по скальным приостановить и вести их в той норме, которая определена хозяйственно-техническим планом. Бессмысленно пороть горячку теперь, когда уже ясно видно, что все сроки упущены, а такие чудовищные горы гранита, которые нужно снять в среднем котловане, невозможно поднять в течение полутора месяцев при самых чрезмерных усилиях. Иностранцы консультанты — американцы и немцы, — которые до этого времени пикировались и высказывали противоположные мнения по многим вопросам, в данном случае выступали единодушно против встречного плана.

Под внешним монолитным покровом на большом пространстве котлована оказались рыхлые породы, а кое-где — глубокие трещины, забитые щебнем и песком. Эти гнезда залега-ли на не-

¹⁾ См. «Новый мир», кн. кн. 1—10 за 1932 г.

сколько метров глубины, и их нужно было рвать и очищать до сплошной гранитной подошвы. Даже многие оптимисты сконфузились и должны были признать, что котлован не будет готов к кладке бетона не только в сентябре, но, пожалуй, и к зиме. По расчетам гидротехнического отдела, скальные работы могли быть закончены не раньше середины ноября, когда уже ударят первые заморозки. Кладку бычков можно было начать еще до морозов, но какой смысл в этой работе, если бычки будут заложены только в своем основании? Тепляки же — немыслимы при сложности сооружения и механизации.

Балеев был смущен. Он уже склонялся к мысли, что шумиху насчет рекордной кладки бетона надо прекратить и заняться только очисткой котлована. Но, под напором Чумалова и Ватагина, он решил собрать расширенное совещание с участием партийного и профсоюзного актива.

Весь август стояли теплые прозрачные дни. Небо было близкое, очень мягкое и прохладное. Медленно плыли облака — клубастые, обособленные, прямые снизу. Река блистала глубокой синевой, бурлила и пенилась в гранитных островах. Между пролетами бычков в левом протоке она водопадно хлопотала густой массой, взрывалась приборными волнами, взлетами брызг, пара и пены. Горели солнцем берега, в террасах земляных и каменных разработок, в свалках ржавой арматуры, балок, досок, шпал, железа, в путанице водопроводных и пневматических труб.

Внизу, у самой плотины, в стрелах кранов и дерриков, в опалубках и лесах вздымалась, облитая цементом, огромная длинная подпорная стена аванкамеры с пятью высочайшими мачтами вантовых дерриков. Здание электростанции на правом берегу, где монтировались раковины турбин и всасывающие трубы, похожие на железнодорожные тоннели, казалось уже готовым со стороны реки и с плотины, но на самом деле это был голый скелет: там только-что начинали разворачиваться строительные и монтажные работы.

В среднем котловане толпы людей круглые сутки копошились на дне и на гранитных утесах. Дымилась пыль в этом скалистом кратере, и оттуда вместе с пылью поднимались волнами запахи пережженного камня. Всюду на солнце сверкали ручьи и потоки воды и струнно звенели электронасосы.

Но по всему размаху котлована от бычков правого до бычков левого берега уже золотились на солнце новые опалубки, и там чакали молотками плотники и звенели железом арматуришки.

И темными вечерами, когда вдаль от строительства проносились по главной железнодорожной линии скорые поезда, пассажиры собирались у окон вагонов и глядели в ночной горизонт: там звездно мерцала длинная полоса лучистых огней, и небо туманно горело величавым заревом неугасающего пожара.

Как всегда, в это раннее утро в кабинете Кряжича сидели Шепель, Симполович и начальник земельно-скальных работ Вихляев. Кроме Татьяны, был здесь и Корытин — молодой сменный инженер, безобразно рябой и толстолицый. Он нелюдимо молчал, угрюмо смотрел в пол, и в недобрых его глазах с кровавыми белками таялись обида и раздумье.

Кряжич раздраженно стоял за столом, курил беспрерывно и говорил резко и обидно:

— Мне одно ясно, — что вы решаете наши сложнейшие задачи какой угодно частью тела, но только не головой. Какие у вас пламенные слова! Сколько кипучего энтузиазма! Но где же реальная база? Вы обещаете... О, вы щедры на обещания!.. Вы сулите шестьсот тысяч кубометров бетона... Bravo, но оглушительно скандально. Мне стыдно за вас перед общественностью...

— Перед какой это общественностью? — резко перебила его Татьяна с холодной усмешкой.

— ... Мне стыдно перед инженерами страны и перед иностранцами... В два три месяца вы волшебным образом хотите возвести целый город бычков. А эти хеопсовы пирамиды камня? а эти хребты нетронутого гранита? Кого вы хотите

обмануть?.. Райт прислал решительный протест.

— А нам наплевать на Райта...

— Значит, будем губить систему? Так, что ли? Вы этого хотите?

— Чтобы спасти душу, надо ее погубить, Николай Николаевич.

Симполович подмигивал инженерам и ликовал. Толстенький, юркий, в серых бриджах, он вертелся по комнате и пощелкивал пальцами.

Кряжич взбесился, вытаращил на него глаза и бросил папиросу на пол.

— Вы меня простите, Симполович, но кто-то из нас несомненный болван...

Симполович не обиделся, а еще больше возликовал.

— Этот недоуменный вопрос разрешит история завтрашнего дня, Николай Николаевич.

Шепель, как обычно, не спорил, но высказал свое мнение спокойно и категорически. Он отвечает за механизацию. Кадры у него — налицо. Наши нормы рассчитаны на минимальные темпы, и хотя чудес на свете не бывает, но машина побеждает время.

Кряжич, бледный, с судорогами в лице, кричал надрывно, точно мучился от смертельного оскорбления. Он, извольте видеть, изучал стройки больших станций мира, и нигде не встречал, чтобы число подъемов на кранах при кладке бетона превышало 70 бадей. Что значит уложить 600 тысяч кубометров в три месяца? Это значит, что на каждый день, из расчета, скажем, ста дней, приходится 6000 кубометров. А это значит, что на каждую бригаду придется не менее 150 подъемов за смену. У нас же пока самые опытные машинисты и бетонщики не перекрыли и 50 бадей. Нет запаса металлических тросов, чтобы вести работу бесперебойно. Краны не могут справиться даже с такой простой вещью, как плавная подача бады. Он не говорит уже о предельной нагрузке заводов и недостатке паровозов...

Татьяна следила за ним с враждебным огоньком в глазах. Даже лицо ее, обычно спокойно прекрасное, осунулось и подурнело. Встречаясь с ее глазами, Кряжич смущался и бледнел. Симполо-

вич первый обратил на нее внимание и многозначительно перемигнулся с инженерами, настойчиво щелкая пальцами.

— Вам стыдно за нас перед иностранцами, Николай Николаевич, — сказала Татьяна с ядовитым подчеркиванием. — Но почему вы не стыдитесь за себя перед рабочей общественностью и перед всеми нами, вашими соратниками? Вы орудуете непреложными старыми давностями и не хотите считаться с живыми творческими возможностями. Вам придется пережить еще одно серьезное крушение. Вы достойны сожаления, поверьте. Я советую вам дорожить своим авторитетом.

Кряжич не ответил ей, но глаза его налились болью и ненавистью.

С ласковой напевностью в голосе Вихляев добродушно сказал, поглядывая на всех так, точно он решил поразить своими словами:

— Ей-право, товарищи! Я скажу одну бесспорную истину: артель не обманывает... Я верю, знаете ли, только артельному духу... Испытал я это на грабарях, а теперь — на земельно-скальных рабочих... Если, знаете ли, считаться с опытом, то убеждение приходит после пощечин...

Спор перешел на цифровые выкладки. Все вынули блокноты и карандаши. Татьяна сидела неподвижно и, казалось, дремала. Она не спала больше суток и теперь сидела, ослабевшая и опечаленная.

Корытин поднялся, отошел к окну и внезапно забасил глухо и злопамятно:

— Николай Николаевич прав. Этот ваш план — дутый план, белиберда. Удивительно, что такой трезвый строитель, как Балеев, пошел на эту удочку.

— Вот! — обрадовался Кряжич. — Нашелся все-таки разумный человек.

Симполович остановился перед Корытиным и приложил ладошку к уху.

— Ну, ну, послушаем...

Корытин не обратил на него внимания и говорил, ни к кому не обращаясь:

— Идиотская выдумка. Вы провалитесь с этим планом в самом же начале...

— Кто это «вы», Корытин? — строго спросила Татьяна. — Подумаешь,

какой глубокомысленный ворон... Будьте уверены, заставим вас работать, как вола...

Корытин угрюмо усмехнулся.

— Работаю я не хуже вас, Братцева, и не хуже вас подохну, если на то пошло. Но башка моя еще на плечах. Каждый Вавила крутит свое мотовило...

Татьяна отрезала со смехом в глазах:

— И на Вавилу есть молотило...

Все засмеялись и встали с мест.

Кряжич торжествовал, точно он вышел победителем из этого тягостного спора:

— Корытин не кривит душой — вот в чем его мужество...

Спор потух: никому не хотелось говорить. После выступления Корытина все почувствовали себя как-то неловко и стали расходиться.

2

Татьяна задержалась в кабинете Кряжича. Дремота сменялась возбуждением: подняться с кресла не было сил. На мгновение она теряла сознание и, вздрагивая, опять приходила в себя. И комната Кряжича, и он сам, и огромные гулы за распахнутым окном, и невнятные голоса — все казалось ей ненастоящим. Чудилось, что в коридорах толкуются люди, которые вот-вот ворвутся в эту комнату.

Кряжич был бледен, и в глазах его — лихорадка. Он отшвырнул в сторону толстое дело в желтой обложке (невыносимо скучная обложка) и вдруг засмеялся:

— Я не помню ни одного дня, чтобы с вами не поссорились, Татьяна Ивановна.

— Вы думаете, это — только ссора, Николай Николаевич? В ссоре — много сору, как говорится. Здесь дело идет о борьбе двух сил.

— Вы утомлены, Татьяна Ивановна. Поспорили — хватит. Вам нужно отдохнуть. Может быть, проводить вас?

— Благодарю. Я чувствую себя превосходно. Мне хочется только предупредить вас, Николай Николаевич, что сегодня ставится вопрос и о вашей судьбе. Крушение неизбежно.

Кряжич хотел отделаться шуткой:

— Пасть в бою — не значит быть побежденным.

— Да, если за вами — жизнь. Но вы противостоите жизни.

Кряжич опять взволновался и вскочил со стула.

— Вы хорошо знаете, Татьяна Ивановна, что я — не трус и никогда не изменял себе. Не отступаю я от своих убеждений и сейчас, хотя бы передо мной стояли грозные толпы.

Татьяна любовалась Кряжичем: он не сойдет с своего пути, не отречется от своих убеждений, если эти убеждения не будут поколеблены. Но он не боится смотреть правде в глаза. Недавний удар он пережил достаточно больно. Но неужели этот упрямый человек еще не научился глубже и тревожнее чувствовать действительность? Он — честен и чист, но честность его какая-то однобокая и плоская, а чистота — бесплодная, ненужная, как осколок стекла. А между тем он мятежен, горяч, полон волнений. Он стал иным, чем раньше: мягче, добрее, душевнее, жизнерадостнее. Уже не было неврастенического угара в его глазах, и он отдавался своей работе с наслаждением. Среди рабочих и инженерской молодежи он чувствовал себя уже легко и весело: для него уже стало потребностью толкаться среди них, с увлечением спорить и обсуждать с ними всякие мелочи производства. И с ней, Татьяной, он старался встречаться как можно чаще и чувствовал себя около нее молодым и приподнятым. Он оживлялся и страдал около нее, был к ней нежен, внимателен, немного грустен и постоянно насторожен, точно остерегался ее. Ни одного дела не совершал он без того, чтобы не посоветоваться с ней, и ни одного совещания по своему сектору не проводил без ее присутствия. Кое-кто даже трунил над ним добродушно:

— В чем разница между нашим шэфом и Онегиным? В том, что Онегин отшил Татьяну, а наш шэф зашился с Татьяной.

Кряжичу хотелось отдохнуть наедине с ней, и он тяготился разговором, кото-

рый как будто продолжался после ухода инженеров. Он сам, очевидно, не спал эту ночь и был помят и изнурен. Он никогда не говорил о своих чувствах к ней, но видеть ее ежедневно и слушать ее для него было так же необходимо, как дышать и думать.

В последние дни Татьяна враждебно обрушилась на него. А дни были тревожные, как перед восстанием. Главная администрация чувствовала себя растерянно: хотя внешне оба главинжа и их челядь были и величаво спокойны, но скрыть своего озлобления против руководителей общественных организаций они не могли. Кряжич, как и следовало ожидать, пошел вместе с ними. Если он не до конца понял смысл тех потрясений, которые он пережил недавно, и если он не способен без новых испытаний освободиться из плена кастовых предрассудков, — надо заставить его вновь пережить хорошую встряску. На него, очевидно, действуют только ошеломительные удары и глубокие ожоги.

— Ах, Николай Николаевич, как вы несчастны в своем заблуждении! Мне жаль вас, но щадить не буду.

— Я уже привык к этому... — успокаиваясь, покорно улыбнулся Кряжич. — Вы со мной только беспощадны.

— Но вы сами виноваты: вы отвергаете меня...

— Наоборот. Мне, например, очень хотелось вчера поехать с вами на пороги...

— Почему же вы не взяли меня?

— Я?.. — возмутился Кряжич. — Я?.. Татьяна Ивановна, не вы ли всегда смотрите на меня из-за щита?

Кряжич посветлел и растрогался:

— К сожалению, вы были на работе, я умчался один. Неудержимо хотелось отдохнуть от споров, от душевного сумбура. Солнце уже скрылось, облака сияли в полгоризонта и воздух был оранжевый. Я сел на прибрежные камни и смотрел на реку. Все казалось лиловым, пепельным, бесконечно новым и таинственным. Я как будто впервые почувствовал, как потрясающе прекрасна жизнь. В этом безмерном безмолвии я внезапно ощутил, что я — один в мире,

что среди людей я безнадежно чужд себе и враждебен. А тут — внезапный простор в душе, самопрозрение и, знаете, — беспричинные слезы...

— Вы не чужды поэзии, товарищ Кряжич... — Татьяна посматривала на него исподлобья с лукавой улыбкой. — Вы не сказали еще о таинственном голосе вечности и бездонных глазах вселенной...

— Я слышал только ваш голос и видел только ваши глаза... — кротко ответил Кряжич.

— Ах, только-то?.. Мне это лестно: мой шеф мечтает обо мне на лоне природы... Трогательно...

Она весело засмеялась.

— Удивительно. Мы с вами, Татьяна Ивановна, точно встречаемся на центробежном круге. Стоит нам только коснуться один другого, как круг начинает бешено вращаться, и мы разлетаемся в стороны. Почему это?

— Потому, что энергия — это действие, а не противодействие. Вы же противодействуете движению и кувыркром летите в сторону. Сломите еще раз голову — поймите это...

— Вы шутите, а мне не до шуток. Я не сплю ночей. Я готов на всякие жертвы и страдания, чтобы чувствовать вас, как близкую, родную, свою, но вы недостижимы.

— Вы как будто сватаетесь ко мне, Николай Николаевич...

Кряжич вздрогнул и оскорбленно покраснел. Почему она смеется? Издевается она над ним, или играет?

— Вы говорите, Татьяна Ивановна, потрясающе деловито и рассудочно.

Татьяна следила за Кряжичем, и у ней нетерпеливо билось сердце. Хотелось шалить и озорничать.

— Нет, мне очень весело, и меня уже не клонит ко сну.

— С женою я уже покончил, Татьяна Ивановна.

— Вы говорите, как убийца...

В комнату вдруг ворвались молодые голоса: у стены, около окна, остановились парень и девушка.

— Это утро — первое в моей жизни, Полина. И солнце живое, и небо, как море, и все чудесно, как в сказке. Я

точно родился в новом, в каком-то немислимом мире...

Голос девушки упрекал ласково:

— Ой, боюсь, что ты растаешь в прозрачных мечтах. А все так просто и хорошо... Мне кажется, что ты боишься своей цели...

Парень с непонятым восторгом ответил ей поющим баском:

Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах...

Татьяна встретила тревожные и изумленные глаза Кряжича. Он хотел было подойти к окну и взглянуть на тех, кто стоял у стены, но раздумал и быстро прошагал обратно.

— Только утро любви хорошо...

— Это — только в поэзии, Николай Николаевич, а человек встречает утро каждый день.

Кряжич волновался, порывисто забрасывал руки назад, под пиджак, выхватывал их оттуда, засовывал большие пальцы за жилетку и метался по комнате. Он посматривал в окно, прислушивался и растерянно хмурился.

— После той бессонной ночи, когда вы были у меня... я пережил первое необычайное утро в моей жизни. Я вышел из дома и долго стоял у палисадника перед вашим окном...

— Перед моим окном?.. Почему? Как романтично!..

Он отошел вглубь комнаты, как бы не желая слушать голосов за окном.

— Я тогда же почувствовал, что связан с вами на всю жизнь. Это случилось со мной как-то бессознательно. Потом я очнулся наверху, в поселке, у квартиры Борзяя. Мы пошли с ним к фонтану в сквере. И он сказал мне, любуясь восходом: «Голубчик, смотрите на мир только по-утреннему». Он умывался из бассейна и восклицал: «Как чудесна вода ранним утром!». А вода была действительно свежей и звонкой — как будто смеялась... Я тогда же почувствовал, что родился заново, и был потрясен до слез.

Татьяна сказала просто и сердечно:

— В вашей жизни я кое-что значу, Николай Николаевич... Судьба!

— Вы?.. — Кряжич метнулся к ней с испугом и радостью в лице. — Вы? Но вы перевернули мою жизнь...

За окном опять заговорили молодые голоса, опять юношеский басок убеждающе нежно внушал:

— И я понял, Поляночка, что глаза нам даны для того, чтобы об'ять необ'ятное...

— Ты не говоришь, Юрий, а летаешь на своих словах. Летаешь, точно хочешь побить рекорд высоты... Мне и смешно, и беспokoйно...

— Тебе смешно, но потолок любви никому не известен...

— Милый, для меня любовь — это очень простое и очень мое чувство. Цветы роднее и понятнее звезд...

И опять неустойчивый басок пропел мечтательно:

Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах...

— Здесь поет воздух, — упавшим голосом сказал Кряжич и сел за стол. Потом опять поднялся, взял папиросу из портсигара и сразу же отбросил в сторону.

— Мне странно, почему вы волнуетесь, Николай Николаевич.

— Потому, что предо мною еще — пропасть.

У ней замирало сердце от ожидания: вот он сейчас скажет то слово, которое он должен произнести неизбежно. Почему он так беспомощен и несчастен, когда остается с ней наедине? Неужели любовь выражается так скудно и немошно? Он опять сел и виновато улыбнулся. Он как будто даже обомлел от страха, точно ждал от нее неминуемого удара.

Почему нет у нее ответного порыва к нему? Почему в душе — спокойная ясность? Знала она, что старая его жизнь разрушена, а новая только начинается и полна неожиданных и бурных перемен. И в этой новой жизни она, Татьяна, — единственный его друг, близкий и далекий. Не потому ли она так бестрепетна, что для него она — сила, которую он не может превозмочь? Ему надо пережить не одну

катастрофу, чтобы бурей вырваться на свободу...

Этот постоянно занятый человек, начальник гидро-технического сектора, сейчас, после бессонной ночи, так робко и стыдливо, с дрожью в руках и со страхом в лице, лепечет ей слова любви и, как ребенок, смотрит на нее с надеждой и тоской. И забавно, что за окном какие-то комсомольцы — парень и девушка — так вычурно обыгрывают заветное слово «любовь». Должно быть, такой глубокомысленной чепухой украшают себя студенты-практиканты, которые у стены этого дома нашли себе уютное место, чтобы наслаждаться уединением в минуты ранней предсменной поры...

Татьяна поднялась и протянула ему руку. Он осторожно принял ее, как драгоценность, и растроганно поцеловал.

— Итак, Николай Николаевич, сегодня вечером мы встретимся, как враги? Берегитесь!

Он выпрямился и отшатнулся.

Татьяна вышла на улицу. Вместо того, чтобы идти прямо, по дороге к управлению, она завернула за угол и медленно пошла кругом здания. Около открытого окна кабинета Кряжича никого не было. Внизу, под утесами, зеркальным разливом сверкала река, и над нею дымился огненный пар. Вдали от берега к берегу, навстречу друг другу, чихая, плыли два катера. Над переплетами железнодорожного моста тихо двигался товарный поезд.

Татьяна остановилась и посмотрела на то место, где должны были стоять парень и девушка, но на земле не заметила никаких следов, только слышала в себе певучий голос:

Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах...

3

Вчера она ушла на смену в семь часов утра, после смены провела производственное совещание, в двенадцать ночи возглавляла аварийную бригаду на левом берегу и в среднем котловане, потом — опять смена. В два часа ночи вдруг погасло электричество, и вся ра-

бота замерла во тьме. Электромонтеры спали в своей будке, — бригадира не оказалось на месте. Корреспондент строительской газеты, шустрый, румяный парнишка, в непомерно большой кепке, ехидно записывал что-то в свой блокнотик. Поезда с бетоном и камнем сгрудились на плотине, и машинисты орали до хрипоты. На берегу один из составов стоял пустой в тупике, и машинист спал. Оказалось, что он пьян.

Девчушка сидела на платформе и чертыхалась. Ей хотелось плакать, но она держалась, как парень.

— Чорта тут наработаешь с этими огурешниками... Ему жена литровки таскает... А я трепайся...

Сотни неполадок и мелочей пришлось обнаружить и расследовать на каждом шагу: то камнедробилка задерживала подачу щебня в бетонный завод, то бетонный завод жаловался на недостаток песка, то бурильщики выходили из строя, потому что плохо работала пневматика. Ребята из аварийной бригады бросались, как голодные, на эти «узкие места».

Татьяна прошла через сквер мимо кудрявых рабатов и запомнила почему-то только одни лиловые цветы. Она, как сквозь сон, сорвала мохристую астру, зажала ее в пальцах и вышла на улицу. Проехала мимо блестящая машина очень мягко и солидно. Татьяна не видела, кто сидел в ней, но знала, что это машина Стрижевского.

Татьяна занимала комнатку с огромным окном в сад, и ей казалось, что она живет на даче: перед окнами — взрослые липы, посаженные в прошлом году, по бокам окна и сверху густыми гирляндами дикий виноград, а нижние стекла переливаются осенними цветами на клумбах. Здесь было тихо: строительство — где-то далеко, оно здесь не чувствовалось, только слышны были свистки паровозиков, глухая канонада взрывов, да сирена взывала через каждые полчаса.

Остальную часть этой половины дома занимал начальник левого берега — Симполович. Жена у него — молодая, полная, белокурая, с сытыми глазами. Она бегала по комнатам, по двору и

щебетала с домашней работницей, а когда оставалась одна, — пела песни и играла фокстроты на пианино.

Как всегда, она встретила Татьяну в приемной (она, должно быть, находит удовольствие встречать людей) и сразу же затараторила, играя своим грудным голоском:

— Только-что вам принесли телеграмму, Танечка. Хотела вскрыть, честное слово, — просто руки обжигала... Пожирало любопытство. (Она особенно вкусно произнесла слово «пожирало».) Шучу, шучу, дорогая... не хмурьтесь... У вас, вероятно, уйма поклонников... Красота, как слава, — она сводит с ума...

Она подразнивала Татьяну телеграммой, помахивала ею перед лицом и смеялась.

— Елена Дмитриевна, — холодно сказала Татьяна, — я не спала двадцать шесть часов...

Елена Дмитриевна изобразила ужас на лице.

— Да что вы, Танечка!.. Ведь это же убийственно... Ну, идите, идите, золотце. Сейчас же ложитесь спать. Может быть, чаю хотите?

Она сунула ей телеграмму и повернула за плечи к ее комнате.

— Ах, бедная девочка!..

Опасаясь, как бы эта женщина не ворвалась в комнату, Татьяна повернула ключ в двери и раскрыла телеграмму.

Она покраснела. Глаза ее вспыхнули радостью и стали свежими и ласковыми. Она улыбалась и смотрела в окно. Золотились листья тополей, и небо от этого казалось глубже и синей.

Вакир... Он уже мчится к ней и вечером будет здесь, в этой комнате. За годы разлуки ни на один день она не забывала о нем, а письма его дышали любовью и ревнивой дружбой.

Комнату свою она украсила: стол — чистенький, бумаги и книги в строгом порядке. Маленький чернильный прибор, бокальчик для ручек, кинжальчик с костяной ручкой в серебряной чеканке и ножны — в серебре, фотографии — на столе, на подставочках: какой-то бритый, носатый военный, рядом — па-

рень комсомольского облика, в юнгштурмовке, с задорно поднятой головой, с дерзким подбородком. Глаза смотрят недоверчиво. Нос — твердый, с сильными ноздрями. На стенах в рамках — фотоснимки строительства: рабочие, инженеры среди кранов, скал, опалубок, и между ними — она, Татьяна, и Феня. У кровати — коврик. Всюду — и на столе, и на окне, и на табуретках — цветы в плошках из строительской оранжереи. У Феонки комнатка попрежнему — пустая: только одна кровать, неряшливый стол, два стула. Она, недотепа, не обращает внимания на обстановку. А ведь так важно, чтобы комнатка сияла белизной и пела: комната должна говорить языком того, кто живет в ней.

4

Татьяна закрыла глаза и почувствовала, что вся она наполняется шумом, невнятным движением и голосами. Усталость струится по телу и дрожит струнным звучанием. Вращаются в плавном полете стрелы дерриков и кранов, бурей несутся поезда и, как на экране, наплывают жутко и громоподобно.

Она вздрогнула и открыла глаза. Парень с фотоснимка смотрел на нее недоверчиво и упрямо. Да, она знает смысл этой недоверчивости и упрямства в его глазах: в них, в этих глазах, — целые эпохи испытаний и борьбы за жизнь, за собственное существование. Этого не знает никто: ни Ватагин, ни Чумалов, ни Бочка, ни даже Феня, которая похожа на былинку в бурьянных полях. Феня тоже была сиротой в жизни, но она шла другими тропами: у ней не было бесприютных ночей и отверженности.

С этим парнем Татьяна связана на всю жизнь: он ей дороже брата, она отдавала ему всю себя, она боролась за него с другими, с собою, чтобы очистить его от преступных привычек, от душевной грязи, от озлобления, от неудержимого стремления к бродяжеству, к воровству, к азартной игре.

... Как-то вместе с двумя коммунарами она проходила по базару предместья (их трудовая коммуна находилась на

отшибе, в пригородном лесу). Был день привоза: крестьяне понаехали из ближайших деревень с арбузами, огурцами, морковью, картошкой, птицей, яйцами. Торчали вверх оглобли, фыркали лошади, на возах сидели бабы и мужики, истошно торговались с покупателями. Молочницы длинным рядом сидели перед жестяными бидонами и звенели кружками; в палатках разноцветно играла на полках и прилавках бакалея, красный товар, посуда, галантерея. Лотошники с горячими пирожками (вкусно пахло жареным постным маслом), с конфетами, пирожным, ягодой тоже ютились в своих лотошных рядах. Люди толкались лениво, бездельно, сбиваясь в кучи, и глазели на тряпье, на случайные вещи или слушали ловкого изобретателя, который занятно и красноречиво ораторствовал и играл руками, как фокусник. Его сосед, обливая публику словами, в одну минуту натачивал бритву, которую перед этим тупил безжалостно («это, граждане, мгновенно, без труда, только с помощью моего метода и моей пасты, возвращается чудо мировой точки...»). Где-то выли бараньими голосами слепцы. И базар, душный и непроходимый от людской толчей, стонал и волновался гулом голосов, визгом, кудахтаньем, мычаньем, хохотом и плачем. И среди этих толп мызгали беспризорники и какие-то подозрительные люди с беспокойными и пристально-зоркими глазами. Пахло навозом, сеном и тухлятиной.

Татьяна не один раз бродила по базару — так, неизвестно для какой цели: для некоторых коммунаров это блуждание в толпах было потребностью. Может быть, тянула сюда неистребимая привычка, приобретенная в годы беспризорности, а может быть, просто хотелось понюхать опять свою прошлую жизнь и встретить случайно прежних друзей, которые уже стали далекими и чужими.

И вот в этот раз она шла с двумя парнями и следила за лицами каждого из них: как на них действует этот базарный кавардак? Парни были уже взрослые, оба — комсомольцы, один из первых попавших в коммуны.

Один из них, Пашка, высокий смуглый парень, нервный и сварливый, ругался и нетерпеливо торопился домой.

А другой, Козонок, малютка ростом, почему-то часто пошмыгивал носом, похихикивал, хватая руку Татьяны.

Вдруг они услышали визг и рев в густой толпе у деревенских возов.

Козонок, задыхаясь, крикнул:

— На ширмовке зашился...

И рванулся в толпу. Суматошливо бежали люди, жадные до зрелищ. Глухо бухали удары, и люди хрипло и остервенело рычали. Мальчишечий голос взвизгивал и стонал где-то глубоко, раздавленный толпою.

Трое мужиков с безумными лицами били оборванного мальчишку и топтали его сапогами. Мальчишка был уже весь в крови и грязи. Он хрипел и повизгивал угасающим голоском. Кругом стояла густая толпа и подзадоривала мужиков. Видно было, что каждому из этих угоревших людей хотелось самому броситься в свалку и истступленно терзать мальчишку. Где-то недалеко сверчком посвистывал милиционер, хотя его не было видно.

Татьяна ворвалась в середину толпы и всунула в рот свисток. Этот милицкий свисток был для нее сильнее оружия. Он всегда отрезвлял людей. Все трое носили значки на груди — комсомольский и ГТО, а когда выходили в город, надевали юнгштурмовки. Татьяна получила ошеломительный удар по голове, но не растерялась и опять пронзительно засвистела.

Пашка, бледный, с дрожащими губами, старался покрикивать весело:

— Помогай, граждане!... Это же — зверство. Трое бородачей на одну бородавку...

Один из бородачей налетел на него и сразмаху хотел садануть по затылку. Но он ловко уклонился, и мужик попал в пустоту. В толпе захохотали. Мужик рассвирепел еще больше и оскалил зубы. Протиснулся милиционер, и толпа оглушила парней и Татьяну ревом.

— Чего здесь эта комса?.. Они сами — из этой шпаны... По какому праву — сверчки и мундиры?

— До каких же пор, граждане?.. Житья же нема от босоты... Последний крест с шеи рвут... мерзавцы..

Ребята подхватили пацана и поволокли сквозь толпу под грозной охраной милиционеров.

...Татьяна открыла тяжелые веки и сквозь туманные волны света, радужно переливающиеся в ресницах, опять увидела парня, который смотрел на нее с фотоснимка. Парень рос, двигался и наплывал на нее, как живой.

Себя он называл Вакиром, а ее почему-то — Тиброй. Ей это нравилось: очень похоже на тигра и звучало симпатично. Потом она расшифровала эту кличку, и ей стало смешно, а разгадать его татарское имя нехватало любопытства.

Вспоминая иногда свою бесприютность и отверженность, она обмирала и немела от страха: как это она могла жить целые годы и не погибнуть среди преступной своры отчаянных головорезов?.. А ведь были моменты, когда перед нею сверкала финка, когда она могла быть растерзана где-нибудь на вокзале, на рынке, в трущобе... Вот хотя бы этот случай... Нет, не надо, не надо... Или вот когда у ней ослабели руки под поездом... Если бы она не заметила, что поезд подъезжал, замедляя ход на стрелках, она рухнула бы на рельсы и... Нет, не надо, не надо...

II

ИСТОКИ

1

Былые дни вспыхивали перед Татьяной обрывками, отдельными событиями — и потрясающими, и смешными. То, что раньше казалось пустяком, представлялось сейчас страшной драмой, случайно не совершившейся катастрофой, а то, что ужасало когда-то, теперь вызывало улыбку, как забавное воспоминание. Вероятно, события прошлого всегда отражаются в перевернутом виде.

Первые годы детства — это каспийские ватаги. Плачет жалобная песенка:

На ватаге девки вянут...
Волга-матушка — река...
Девки вянут — лямку тянут...
Заливаешь берега...

И уж назойливо надрывают душу эти былые стоны, ушедшие с детством:

Ах, Волга, Волга!.. ты плещешь вольно...
Любила час я... ах, сердцу больно..

Мать в штанах сидит на скамье в паре с другой резалкой. Всюду, на широком плоту, серебряными кучами — рыба. Она, живая, судорожно извивается, машет хвостами или бьется на полу, шлепаясь по грязной слизи. Пряная вонь от протухших рыбьих внутренностей, от жиротопни, которая дымитя поодаль. Туда резалки относят в ушатах молдки. Девчата носятся на одноколках и визгливо орут:

— Нè! нè!.. шемая-шимоза!..

И без передышки пронзительно кричат, задирая головы:

Любила час я... ах, сердцу боль-ино...

В штанах мать кажется чужой. В левой руке у ней маленький багорчик, которым она держит рыбу, а правая мгновенно разрезает ножом рыбе брюхо и выбрасывает красные внутренности в ушат. Мать часто больна, а ночью, когда приходит с работы, сразу валится на нары и корчится, как умирающая рыба. Раза два она не смогла выйти на работу, лежала в жару и смотрела на Татьяну опухшими, покорными глазами. Приходил рыжебородый плотовой и хватал ее за ноги. Из-под огненных усов сверкали крупные зубы. Мать грохалась на пол, скулила тоненьким, дрожащим голоском и молила плотового:

— Дай мне... Христа ради... Осип Иваныч... отудобеть... хворая я... моготы моей нет...

Татьяна смотрела с нар и плакала, немая от страха. Она до смерти боялась этого рыжебородого плотового в бахилах. Он не замечал ее, но ей казалось, что как только он поймает ее своими маленькими глазками, сейчас же схватит ее и задушит волосатыми красными руками.

Отец редко приезжал в барак: он бегал в море. А когда рыбаки вваливались в казарму — страшные, в сплошных кожаных мешках, бородатые, — они вносили с собою грохот, беспокойство и что-то, должно быть, буйное, потому что плотовой юлил перед ними и, хихикая, подлизывался к ним больше, чем к управляющему или хозяину. Хозяин изредка наезжал из Астрахани на своем пароходе. Он был толстый и тоже бородатый, в длинном сюртуке, в картузе и блестящих сапогах. Он был очень похож на плотового — такой же рыжий, с такими же маленькими глазками. Только руки носил за спиною и говорил невнятно, тихо, и у него дрожали от улыбки тоненькие морщинки на висках. А управляющий был в золотых очках, бородка — клинышком, и весь был кургузый, быстрый, легкий.

Рыбаки сразу же сдирали с себя кожу и садились за длинный стол посредине барака. На столе появлялась большая зеленая бутылка, и они, крикая и ликуя, пили стаканами водку. Отец не замечал Татьяны — он не ласкал ее, не привозил гостинцев. Мать ночью возвращалась с плота и, изнуренная, робко подходила к отцу, но он отталкивал ее, пьяный и безумный, а потом бил по лицу то одной, то другой рукой. Она падала на пол и выла, тоскливо и безнадежно. Рыбаки орали:

— Ваня-а!.. будя, а ты... Чего время теряешь?.. Чортова бахила!.. (и начинали непонятно и жутко наворачивать знакомые, но бессмысленные слова — матершинничать).

Отец опять садился, хватал стакан и пискливо запевал:

На серебряных волнах,
На золотом песочке...
После де-вы мо-ло-дой...

Мать поднималась с полу, обмазанная кровью, и шла умываться. Татьяна бросалась к ней с нар и обнимала ее колени. Потом поливала ей воду на руки. Мать ей казалась мученицей, обреченной каждый день на страданья. Они лежали на нарах в обнимку, и обе плакали, мешая слезы на лицах.

Ночью сквозь сон Татьяна слышала, как сопел отец и мучил мать как-то совсем по-другому. Потом они лежали тихо, и мать шептала ласково и печально:

— Не вынесу я, Ваня... Мочи моей нету... Живого места не осталось... И ты меня бьешь... За что?.. Чем я богу согрешила?..

А отец, пьяный, пыхтел и бормотал, засыпая:

— Весна скоро... терпи... Я вот... кровью плевал... Зарезал бы всех...

И скрипел зубами.

Часто по ночам Татьяна слышала, как вползал к ним на нары плотовой и тоже тискал и ломал мать. Татьяна притворялась спящей, но сама следила за каждым движением плотового. В казарме всю ночь горела висючая лампа, которая привертывалась, и в огромном сарайном помещении с нарами в два этажа по стенам мерцала дымная полутьма. И Татьяна видела все, что делалось рядом и всюду на нарах.

А мать, должно быть, догадывалась, что Татьяна видела, когда приходил плотовой, и со страхом просила ее жалобно:

— Ты, Танюшка, дочка, не говори отцу-то... убьет он нас с тобой...

— В жизнь не скажу, маманя... разве можно...

И, замирая от страха и любопытства, пристально смотрела на мать.

Мать отводила в сторону лицо, и Татьяна знала, что ей стыдно. Чтобы скрыть этот стыд, мать оправдывалась:

— Разве я нарочно?.. Ведь я — подвластная... Ну, ведь, все-таки думаешь: нет-нет да и пожалеет...

Татьяна строго обрывала мать:

— Никогда он не пожалеет, плотовой-то... Опрichь меня, тебя никто не пожалеет...

Мать смотрела на нее, пораженная, сквозь слезы и прижимала ее к груди, и Татьяне было так больно слушать ее сердце, что хотелось реветь.

Но весны не пришлось дожидаться отцу. Во время шторма посуду бросало дня три. Люди выбились из сил в борьбе за свою жизнь. Тройх смыло шква-

лом, и они исчезли в бушующих волнах. А волны были, как горы, и суденышко проваливалось в кипящую бездну и взлетало к небу, на вершины водяных вихрей. У отца хлынула кровь горлом, и он упал. С гулом и грохотом через судно хлестнула огромная волна, судно перевернулось на борт, и, когда откинулось обратно и на секунду выровнялось, отца на палубе уже не было. Так рассказывал им один из уцелевших рыбаков, которого подобрал пароход.

С матерью они прожили на промыслах еще с год. Революция прошла у них на ватаге незаметно. Потолкались люди, помахали красными флагами, попели песни и бросили работу. Рыжий плотовой куда-то смылся, управляющий уехал на пароходе в Астрахань. Работы прекратились, и на ватагах наступила непривычная тишина. Не было хлеба, рабочие и работницы не получали жалованья. Начались болезни. Во всех бараках люди валялись в тифу. Мать тоже свалилась, пометалась без памяти несколько дней и умерла.

2

С этого времени Татьяну как будто выбросило из барака, как отца шквалом с борта судна. Когда она жила в бараке с матерью, она тоже была предоставлена самой себе: о ней никто не заботился. Ее беспризорность началась еще в незапамятные времена. Детишки — мальчата и девчущки, голодные и оборванные, — носились по улицам, по дворам промыслов, по песчаным отмелям целыми стаями. Теперь эти стаи сбивались в бандочки. Чтобы найти себе пропитание, они устраивали налеты на лабазы, взламывали бочки с икрой и жрали доотвала. Но когда охрана рабочих стала грозить им ружьями, они решили броситься в Астрахань. С такой бандой Татьяна попала на баржу, которую грузили рыбой, и через двое суток вышла на городскую набережную.

Это было в 19-м году, когда Татьяна было двенадцать лет. Их шайка пробартижала так все лето, пробавлялась на «исадах», на толкучках. В предместьи, которое называли «фарфосом»,

на другом берегу Волги, шла стрельба, в городе тоже стреляли. Было много шинелей, везде люди с винтовками, а есть было нечего. Вожак их шайки был с того промысла, где жила Татьяна, — Шаланда. Он ей по старой дружбе покровительствовал. Мальчишке было четырнадцать лет. Он был боевой парень, курносый, с облупленным лицом и нахальными руками. Ходил он в длинном пальто в лохмотьях, но босиком, на вихрастой голове — киргизская овчинная шапка острым колкаком.

Летом в Астрахани — душно и пыльно. Многие из шпаны ходили только в одних рваных штанишках, и ребята были черные от загара. Они несколько раз в день купались в Кутуме или в Волге. Спали на кладбище, за городом, недалеко от коптилок или в городском саду на берегу Волги, или переправлялись на «фарфос». На «фарфосе» было сподручнее: там можно было легко пробраться в лабазы, забитые бочками с селедкой. Бывало, по ним стрелял патруль, но никто из них не пострадал, хотя пули пролетали над ними пчелками. Только однажды их захватила облава в лабазе во время сна. Красноармейцы и портовые рабочие, с факелами, сбили их в углу и с добродушной строгостью спрашивали: «Вы зачем сюда забрались, голошата?». Шаланда, впереди всех, смело смотрел им в глаза и, засунув руки в карманы, сказал дерзко: «Наша мамаша — революция, и всякое место для нас — свое». В лохмотьях, грязный, как трубочист, Шаланда стоял перед патрулем, сильный, бесстрашный, великодушный. Рабочие и красноармейцы засмеялись. «Ну, раз такое дело, располагайтесь во-всю, а мы вас будем охранять. Жрали сегодня?». И опять Шаланда с гордым достоинством ответил, задирая голову в киргизской шапке: «А мы без зазрения совести явочным порядком лопаем селедку. Власть — на местах». Рабочие и красноармейцы здорово смеялись и шлепали их по плечам. И Татьяна впервые изумилась храбрости Шаланды: он держал себя с вооруженным отрядом, как равный. Он ни чуточки не боялся, он точно гордился своей беспризорностью

и был чудовишно уверен в своей силе. Татьяна смотрела на него, как на героя. Думая о нем, она вспоминала, как на ватаге, в дни святок бондаря играли в необъятной бондарке в «разбойников». Они наряжались в золотые доспехи — кольчуги, мечи, шлемы, сделанные из клепок и обручей, — и всамделишно бежали, суетились, дрались саблями, похищали царевну, которая падала в обморок. Их атаман, высокий, чернобородый, хватал эту царевну в охапку, а к нему все относились с почтением, с преданностью и с таким же взволнованным восторгом, как она, Татьяна, к Шаланде. И атаман, и все разбойники говорили громкими голосами, очень складно, песенно, а шагали воинственно и гордо, и это было чудесно и прекрасно, как в сказке. Да, Шаланда — несомненный атаман: с рабочими и красноармейцами он говорил так же, как атаман-разбойник в бондарке. В Астрахани они пережили зиму. Однажды весной он сказал Татьяне: «Крыса, завтра побежим в Баку». Она верила ему больше, чем себе, и ответила: «Хорошо». Она не спрашивала, зачем именно нужно бежать в Баку: Шаланда не терпел восторгов.

В Баку они стреляли плохо. Там было хуже, чем в Астрахани. Город недавно был освобожден от белогвардейцев и англичан. Он был полуразрушен. Смердело нефтью, отбросами, страшной бедностью татарских кварталов. На базарах на ребят охотились: гонялись за ними с палками, с визгом и гиканьем. Были дни, когда они голодали, как бродячие собаки. Впрочем, одна облезлая собачонка пристала к их банде и привязалась к Татьяне. Она даже спала рядом с нею. Татьяна с Шаландой научили ее разным штучкам — ходить на задних лапах, воровать шапки и картузы, рыскать по городу и находить ребят в разных местах. Как-то собачка не возвратилась. Ее ждали сутки, только и разговору было, что о собачке. Все было в дурном настроении. Даже Шаланда валялся в куче ребят в подвале одного прибрежного полуразрушенного здания и бездельно плевал через зубы. Татьяна бунтовала и ревела укладкой.

На вторые сутки наорала на Шаланду и потребовала найти собаку. Шаланда хотел дать ей в зубы, но она ловко отвела ему пинком в живот. Он ухмыльнулся и сказал: «Амба, ребята!». Встал, браво изобразил ногами стригущие ножницы и скомандовал поход. Потом пошла и Татьяна. В этот день она не возвратилась в подвал: ее схватили на улице какие-то ребята, похожие на комсомольцев, во главе с шухерами, и втокнули в закрытый автомобиль. В автомобиле сидели вместе с другими комсомольцами еще трое совсем неизвестных оборванцев, — должно быть, татарчат. Их привезли в хороший дом, и женщины в белых халатах погнали их в ванную. Татьяна брыкалась, плевала им в лицо, но ее скрутили, раздели и бухнули в ванну. Когда она погрузилась в теплую воду, вода показалась ей густой, и вылезти из нее уже было невозможно: лежать стало в ней очень приятно. Ее вымыли чужие, терпеливые руки, хотя две женщины и неласково хмурили брови и брезгливо гримасничали. Правда, перед тем, как погрузить ее в ванну, ей смахнули машинкой волосы и сейчас же сожгли их в колонке. Моментально выбросили куда-то и вонючее тряпье. Потом ее нарядили в серый балахон и привели в чистую комнату, где было много кроватей и девчат в таких же балахонах. Ее подвели к одной кровати около окна и сказали: «Вот твоя постель». Некоторое время она сидела на кровати с дикой тоской и злобно смотрела в окно. Думала о Шаланде, о собаке. Все здесь было противно — и серые балахоны, и скучные ряды кроватей, и бездушная чистота. Ей казалось, что она попала в какую-то бесприютную пустоту, где обязательно подохнешь от одиночества и неволи. Тут много света, воздуха, тут — сытно и просторно, но жить нельзя: за ней сразу же стали следить, командовать, ставить в ряды, заставлять убирать комнату, мыть посуду, тщательно умыться и в часы учебы делать карандашом и красками какую-то ерунду. Девчата были снулые, домашние, хихикали над ней и называли «галашкой», «карманницей», «мухоловкой». Только одна девчушка, похо-

жая на калмычку, пристально смотрела на нее и манила скуластой улыбкой. Но узкие глаза ее, подернутые слезинкой, играли скрытно и хитро. Она что-то упорно таила про себя. Звали ее то «лягушкой», то «курдючкой». Татьяна обратила на нее внимание рано утром на другой день. Как только она легла в постель, ей стало страшно: ей чудилось, что ее привязали к кровати, а потом почувствовала, что вся она покрыта клеем, и простыня, и одеялка, и подушка пропитывали ее липкой слизью и пахли канфолью. Ей стало лихо до тошноты. Она сползла с постели, залезла под кровать и там сразу успокоилась: засыпая, она даже ощутила запах подвальной сырости и пыли, и ей казалось, что она опять среди своих ребят: во сне видела близко около себя Шаланду и чувствовала его теплоту. Пронюхав ее от толчков. Перед ней на корточках сидела «курдючка» и молча смотрела на нее с широкой, скрытой улыбкой калмычки. Она манила ее ладошками и пятлилась на корточках.

Татьяна обозлилась и ударила ее ногой. Калмычка опрокинулась и горланно залаяла. Вскочили девчухи с кроватей и оглушили Татьяну ревом, визгом и хохотом. Они бросились к ней, выволокли ее из-под кровати за ноги, потом навалились на нее кучей и начали шлепать по голому телу, ломать и возить по полу. Она брыкалась, плевала в них, пиналась и какой-то девчухе прокусила грудишку. Девчуха захайлала пронзительно и стала бить ее ногами. Вбежали женщины, разняли их и едва водворили порядок. А потом враждебные бурчали, раздувая ноздри: «Ты эти свои босяцкие привычки оставь. С ними далеко не пойдешь. Ишь, моду какую выдумала — под кроватью почивать. Не забывай, здесь сироты партизан и красноармейцев — дети вдов погибших борцов... Ты — умная девочка: тебе надо воспитываться и жизнь свою сделать иной — трудовой и сознательной». Калмычка пристально смотрела на нее издали и загадочно улыбалась. И, слушая бело-снежных воспитательниц, Татьяна, немая, смотрела с брезгливой рассеянностью

мимо них. Она бесповоротно решила смыться из этого чистого, бесприютного рая. Впервые в жизни она переживала настоящий ужас от этих голых стен, от звонков, от команды, от безысходно-непроницаемых стекол. Вся эта белизна и прозрачная пустота душили ее, как могила. А самообслуживание — чистка комнат, уборка постелей, шитье, а потом учеба терзали ее, как пытка. Зачем? За какую вину? Что она им сделала? Ведь она не просилась к ним. Что им нужно от нее? Батага, Астрахань, банда Шаланды, рынки, подвалы, собака, безграничная свобода, — все это ослепляло Татьяну и приводило в смятение. И ей было ясно одно: если она не стрельнет из этой тюрьмы, она погибла.

Однажды ночью, когда все спали, как рыба на плоту, Татьяна решила вылезти в окно. Она еще днем попробовала крутить шпингалет и бесшумно открывать тяжелые рамы. Нескольким раз вставала с кровати и понемногу открывала ручку шпингалета. Когда ей чудилось, что кто-то рядом возился и переставал сопеть, она опускалась на пол. Один раз, когда рама чавкнула и задрезжала на подоконнике, Татьяна замерла и чуть не задохнулась от сердцебиения. Никто не проснулся, но Татьяна чутко и подозрительно прислушивалась: свое дыхание, дрожащее от ударов сердца, и свою возню принимала за беспокойство девчат. И как-то мгновенно нашло на нее озорное желание — действовать без опаски: она ненавидела и эти стены, и этих девчат, с которыми она никогда не сдружится. Она презирала их идиотскую робость перед воспитателями и тупое их кокетство друг перед другом и перед мальчишками. Они были из другого, слепого, мира. Среди них она была, как взрослый среди сосунков, и казалась огромной и сильной, как большой пес в грудке слепых кутят. Бояться этих гнид? трепетать перед ними, как жалкая тварь? Да ведь она может спокойно расшвырять их, как мух, а они со страху перестанут дышать... И, уже не стесняясь, со злой радостью, она связала в узел простыню, одеялку, наволочку и выпрыг-

нула из окна в палисадник. На улице было пустынно и темно. Где-то за углом шагал сторож и пискливо напевал песенку. Из палисадника нужно было выйти в калитку, которая как-раз вела к воротам, где дежурил сторож. Татьяна предпочла перелезть через железную ограду. Она подняла узел и быстро юркнула в кусты. Когда она схватилась за прутья и вскочила на каменный цоколь, она до помрачения испугалась: сзади схватил ее кто-то за подол. Она оглянулась и увидела калмычку. Во тьме она очень хорошо заметила ее скуластую улыбку и белые зубы. Калмычка торопливо указывала рукой куда-то в сторону: можно, мол, шмыгнуть в дыру, а перелезть через ограду нет надобности. Она махнула ей ладошкой и побежала вдоль оградки.

Так они вместе с калмычкой и дали тягу из этого ненавистного дома.

Минуя шухеров и одиноких людей, которые шагали по ночным улицам, они пробрались в тот подвал, где обитала банда Шаланды. Но там было пусто. Только крысы шарахнулись от них с писком в разные углы. Как быть? Вероятно, Шаланда перекочевал в другое место или махнул в другой город, или тоже попался в руки облавы, как и она, Татьяна.

С Шаландой покончено до встречи, а может быть, навсегда. И Татьяне стало так дурно, что она заплакала. Она почувствовала себя покинутой и одинокой в мире, настоящей сиротой, и этот мир распахнулся перед нею, как пропасть. Она упала духом: не знала, что делать, куда идти, где искать помощи. Калмычка стояла около нее и мяла ее плечо. Потом обняла ее и поцеловала в шею.

— Поедем к нам... — сказала она, с натугой одолевая русские слова, и голос у нее был зрелый и густой. — Поедем к калмыкам...

— Какие там к чорту калмыки... — злобно оттолкнула ее Татьяна. — Я не желаю к твоим калмыкам... Можешь ехать хоть к баранам...

— Там много баранов, у калмыков... — простодушно и беззлобно сказала «курдючка».

Татьяна засмеялась, и в этих простых и милых словах и ласковом голосе калмычки она почувствовала, что эта девчонка — преданный ей товарищ и с ней она может ехать куда угодно. Ей стало неловко от своей слабости: перед этой девчонкой она не должна ронять своего достоинства. Татьяна поняла, что калмычка так же, как и она, мучительно томилась в детском доме и тосковала по своим степям, стадам и родном народе. Как и откуда она попала в детский дом? У калмычки бойко билось сердце, дышала она взволнованно. И, как только Татьяна услышала ее сердце и дыхание, она поняла, что с этого момента они связаны навсегда. Татьяна спросила: «Как тебя звать?». Калмычка ответила: «Марья». Татьяна удивилась и захохотала: ей девчуха показалась совсем маленькой, почти куколкой от этого имени, и слово «Марья» чудилось в своем бессмысленном значении большой жирной бабой. «Ты же — не Марья». Калмычка ответила упрямо и убежденно: «Я — Марья. Я давно зову себя Марьей». Татьяне стало любопытно. «Пускай. Марья так Марья... Маша». Калмычка строго и настойчиво поправила ее: «Никакая Маша — Марья». Татьяне стало легко: «А меня зовут Татьяной... Это как, по-твоему?». Калмычка без раздумья сказала: «Татьяна на реку похожа, а Марья — на лошадь». Татьяна зачванилась: «Хорошо. А ты не бойся: нам вместе придется колесить... Не знаешь, где найдешь, где потеряешь...» — закончила она мудростью, которую слышала не раз от женщин на промыслах.

Они решили ехать в Сухум. Пробрались на рынок. Светало. На рынке было еще пусто. Они приютились в ларьке и, прижавшись друг к дружке, заснули. Вскочили они, когда заговорили люди. На толкучке уже бродили барахольщики. Свой узелок Татьяна продала кривому татарину с крючковатым носом и большим зубом, который торчал из-под коричневых усов. Дал он ей мятую бумажку. Они купили хлеба и арбуз. Потом пошли на вокзал. Отправлялся какой-то поезд. Народу было так много, что нельзя было пройти на перрон.

Они прыгали через тела, узлы и сундуки. Орала младенцы. Выли и стонали бабы. Стоял гул голосов, мужчины носились с ужасом в глазах, матерились и рвались куда-то, как на погром. Татьяна с Марьей за руку проскочили, как ящерицы, к поезду и забралась на крышу вагона. Там уже сидели и лежали люди. Пристроились они около одного не то грузина, не то армянина в очках и в солдатской шинели. Остренькая бородка делала его добродушным. Всю дорогу до Тифлиса он улыбался им и угощал хлебом. Они наврали ему, что едут к родителям в Тифлис. Отцы отвоевались, а теперь требуют их к себе. Они — из детского дома. Гражданин засмеялся и подмигнул им. «Стриганули, девчата? Признайтесь. Я никому не скажу». Татьяна нахально спросила: «Ты в тюрьме сидел?». Гражданин смутился и покраснел, но засмеялся, поправляя очки: «Немного сидел». — «Ну, так в этом идиотском доме в тысячу раз хуже. Попробуй попасть туда». Гражданин с сожалением сказал: «Устарел, девчата: не влезу в детский дом». — «Ну, счастлив твой бог». Он засмеялся: «А вы счастливее моего бога».

Так они доехали до Тифлиса. Марья всю дорогу цепко держалась за Татьяну — боялась упасть. Она продрожала безмолвно и терпеливо, прижимаясь к боку Татьяны.

В Тифлисе они не задерживались: там были строгости, весь город был полон военными. На базарах им удалось стащить кое-какой шамовки, и они едва унесли ноги, когда завизжала грузинка с черными усиками. Ночевали они на Давыдовской горе, в камнях.

3

Эти два года кажутся непрерывной ездой. В Сухуме они прожили всю зиму. Они плясали, пели песни на улицах. Калмычка принесла с собою напевы и пляску степей и юрт. Тут их не ловили ни комсомольцы, ни шухеры: жилось свободно и удобно. Гнездо они себе свили в развалинах дома, за городом, в стороне от шоссе. Здесь Татьяна пережила первое страшное событие, которое

потрясло ее на всю жизнь, но и укрепило ее силы и характер. Ей было четырнадцать, и жизнь без Шаланды приучила ее к самостоятельности, к находчивости, к независимости. Она привыкла владеть собою и защищаться и хитростью, и нахальством, и ловкой изворотливостью.

Однажды Татьяну и Марью застиг на улице Дельфин, вожак одной банды. Он очень ласково схватил их обеих за шеи и с улыбочкой сказал: «В моей республике нет анархистов. Живите, где любо, жрите хоть в ресторане клуба, но всю добычу вечером — на бочку. Мой салон — вилла такая-то. А ваши каюты и маршруты мне хорошо известны». Татьяна изловчилась и вырвалась. Отошла шага на два от Дельфина и с презрением оглядела его. «Сволочь ты и дурак. Ты — не вожак, а гнида, дармоед и дерьмо. Я вот найду Шаланду и покажу ему твое зеркало...» Он душевно засмеялся, отпустил Марью, ни живую ни мертвую, и проникновенно сказал: «Хорошо. Ты будешь моей марухой. Красивая. А Шаланда потух, спичка сгорела, а уголек я бросил в море». Татьяна не поверила (она уже знала приемы таких парней — оглушить и брать на фанарь): откуда Дельфин знает Шаланду? Что, если она будет безличной пешкой в руках этого бандита? Дельфин ушел от них с тонкой улыбкой человека, имеющего неограниченную власть: можете, мол, пока стрелять, как угодно, но вы — в моих руках. Татьяна в тревоге потащила Марью, и они окольными переулками вышли за город. Татьяна решила как-то без раздумья: нужно иметь оружие. Нападет Дельфин — она его зарежет, хотя бы ей и самой пришлось погибнуть. Красть такие вещи она еще не научилась. Это нужно сделать проще, безопаснее. Девочки пошли по шоссе к Новому Афону. Они заметили уже раньше, как по этому шоссе каждый день ходила разболтанной походкой, оборванная, похожая на дурочку, можававшая женщина. Эта женщина, очевидно, была раньше «из благородных»: и в лице, и в гордо вздернутой голове, и в фигуре видна была «барыня».

Однажды Татьяна встретила ее отдыхающей в бурьяне, в стороне от дороги. Она с презрением осмотрела Татьяну и Марью и отвернулась от них. Она ела какую-то гадость и резала ее маленьким кинжалчиком.

Татьяна была уверена, что они с Марьей встретят эту дурочку на шоссе. Все равно; здесь ли, неподалеку от города, или где-то ближе к Новому Афону. «Мы идем сейчас на охоту, Марья». Марья не удивилась, как будто это иначе и быть не могло. Татьяна строго сказала: «У этой дурочки.. знаешь?.. есть кинжал. Он нам сейчас нужен». Марья кивнула головой. «Да, он нам нужен. У меня — тоже ножик». И она вытащила откуда-то из-под юбочки тоненький ножичек, похожий на финку. Татьяна раньше его не видела. «Откуда он у тебя?». Марья деловито ответила: «Он у меня — всегда». — «Как же его не отобрали у тебя?». — «Его никто не найдет. Его нет, а он — у меня». Ножичек был опасный, как змея. Он исчез так же внезапно из рук Марьи, как и появился. Марья была серьезна и уверена в себе. Такой ее Татьяна еще не видела. Татьяна сказала ей: «Ты, Марья, молодец». Марья гордо подтвердила: «Да».

Шли они с час. Хотя был февраль, но солнце грело по-весеннему. Шоссе сухо желтело, как накаленное. Зелели ранние кустарники и травы. По камням и скалам кудряво расплзался плющ. Море блистало зеркально, и в разных местах по его поверхности роями летали ослепительные искры. Ныряли парами дельфины. Кружились чайки. Пахло теплой сыростью и тлением. Всюду на солнце белели и синели цветочки.

Барыню они увидели внезапно. Она лежала неподалеку от дороги, на горке. Должно быть, она покушала, пригрелась на солнце и заснула. Ее никто никогда не обижал: ее считали блаженной, юродивой. Старожилы даже сочувствовали ей: еще бы! она была «княжна», ей принадлежали когда-то несколько богатых имений и дворцов. Она была красива, сверкала бриллиантами, ездила черной амазонкой на бронзовой лошади.

Ее сопровождали серебряные офицеры. Отец ее — знаменитый царский генерал — служил при дворе в Петербурге. Тогда она была почти девочка. А теперь вот... босячка, дурочка, без крова, бродяжка... Ест она неизвестно что... Впрочем, видели, что она собирает отбросы. Она никогда не просила ни приюта, ни милостыни. А когда крестьяне-абхазцы протягивали ей хлеб, она презрительно фыркала и гордо проходила мимо.

Татьяна и Марья подползли к ней, как кошки, и увидели ее полунагой. Черная юбка была вся в лохмотьях, а голые ноги до бедер покрыты гнойными язвами и струпиями. Тело было грязное. Лицо опухло, как у тифознобольной. А нос был тонок, прям, красив, и красивы были черные брови. Из рта текла тягучая слюна. Рядом лежали рыбы кости и кожа от мандаринов. Здесь же лежал и кинжалчик с костяной ручкой, отделанной серебром, и серебряные ножны. Татьяна быстро схватила его, всунула лезвие в ножны и хотела быстро уползти обратно. Но «княжна» проснулась, медленно села и с удивлением уставилась на девчат. «Ты — гнусная воровка...» — сказала она брезгливо. Татьяна встала и мигнула Марье. Марья подошла и встала рядом с нею. «Нет, я — не воровка». — «Ты похитила мой кинжал». — «Нет, я просто взяла его. Он мне — нужен, а тебе — нет. Тебе не с кем драться». «Княжна» с презрением усмехнулась: «Грабеж на вашем языке называется экспроприацией. Пож-жалуйста, можешь взять». И она театрально подняла маленькую грязную ладонь. «Шкуродеры!.. — И она хрипло засмеялась. — Барахольщики!.. То, что принадлежит мне, вы не можете взять... Оно неотъемлемо от моего существа... А ведь все это... все... — Она широко взмахнула рукою справа налево и обратно и окинула взглядом горы и долины. — Эти все пространства с дворцами и садами — мои владения». Татьяна ухмыльнулась: «Ха, у тебя от твоих владений остались одни чирьяки». — «Я — княжна Крутицкая... Прямая линия от Рюриковичей...». — «А что такое «княжна»?» —

«Ты и этого не понимаешь?.. Твои предки это понимали и чувствовали... Это была сила... почти магическая...». — «Фу, ерунда какая!.. — пренебрежительно отмахнулась Татьяна: — Ты вот сейчас радость жрешь... и сама хуже дерьма. Тьфу!.. на кой ты чорт нужна...». А «княжна» не слушала ее и вышла: «Я презираю вас... смертельно ненавижу...». Татьяна видела на своем молодом веку много разных оборванцев, босяков, много людских отбросов, но такой отвратительной босячки еще не встречала. Она была уверена, что эта гнилая рвань мсти за свой позор и готова уничтожить ее и Марью с наслаждением. Но чувствовала также Татьяна, что эта «княжна» бессильна даже пошевелить пальцем, чтобы ударить ее, что она — немощна в своей бессильной злобе. И от этого она казалась ей мерзкой до тошноты. «Княжна» закачалась вперед и назад и вдруг заплакала. Она пристально, с ужасом смотрела на Татьяну и скалила зубы от рыданий. Потом упала на траву и стала биться и хрипеть. Девочки бросились бежать по дороге к городу.

Ночью в их развалины пришел Дельфин. Они, обнявшись, лежали в зарослях барбариса. Дельфин пришел, как хозяин, уверенно, властно. Он напевал какой-то цыганский романсик. «Ну-ка, марушки... выкладывайте ваши богатства. Завтра пойдете стрелять по моей инструкции. Эту ночь я сплю с тобой... — Он обнял Татьяну. — Ты — моя маруха...». Татьяна выскользнула из его рук и прыгнула в кусты, а за ней пружинкой — Марья. «Отчаливай, Дельфин. Я тебе — не маруха. А то, что мы настроляли, — это наше». — «Пха, ха, хны!.. В моей республике — плановое хозяйство и суровая дисциплина. За сопротивление — перо». Говорил он небрежно, шутливо, почти ласково, но в его мягких движениях и в его тихом голосе было что-то жуткое, неотразимое. Он поймал Татьяну за голое плечо, она вздрогнула: рука у него была длинная и холодная. От него смердило потом и водкой.

Произошло все быстро и просто. Может быть, они еще боролись словами,

может быть, Татьяна отбивалась упорно, отступая от Дельфина, — этого она не помнит. Пришла она в себя уже при выходе из развалин. Только очень ярко осталось в памяти, как она размахивала кинжалом перед Дельфином, а он безбоязненно наступал на нее и старался схватить за руку. Она очень волновалась — не рассчитывала движений, да она и не думала пустить оружие в дело. Если бы Дельфин бросился на нее зверем, она тогда пырнула бы его — в этом она была уверена. Но он потно и мягко всосался в ее локоть и осторожно другою рукою, будто играя, выщелучил кинжал из ее пальцев. Замирая, она крикнула: «Марья!». И не успела вздохнуть, как Дельфин повалился на камни. Марья скуласто щерилась и держала свой ножичек наотлете. Дельфин нудно застонал, захрипел, повернулся на брюхо и замолк. Татьяна схватила у него свой кинжал и бросилась бежать. Опамятовалась она у дороги одна. Было очень темно — ни звезд, ни луны: южные ночи бездонны и непроглядны во тьме. Даже дороги не видно было под ногами. Истерически визжали шакалы в горах, и их визги были похожи на припадочные выкрики женщин: шакалы как будто оплакивали Дельфина. Почему нет Марья? А вдруг Дельфин очнулся и зарезал калмычку ее же ножичком? Татьяна несколько раз сдавленно крикнула: «Марья! Марья!..». Калмычка выскочила из кустов откуда-то сбоку. Она подлетела к ней внезапно и бесшумно — даже испугала. Свой ножичек она держала так же, как и тогда, — наотлете. Другой рукой шарила в кармане и звенела деньгами. «Вот... это — у него... на!». И щерилась скуласто. «Это ты зачем?» — «Надо. Далеко пойдем. Покупать будем». — «Мне не надо. Если хочешь, держи у себя». Марья деловито ответила: «Хорошо». Татьяна вдруг разозлилась и ударила ее по лицу. «Зачем это сделала?.. обобрала?». Марья приняла удар спокойно, точно ожидала его. «Это — не его деньги. Нам нужны». — «Спрячь ножик». Марья посмотрела на лезвие, присела и вытерла его о землю. Потом встала, подумала и

сказала: «Он хотел задушить меня, но я его опять резала». Татьяну стала трясти лихорадка. «Ты так и меня разрежешь, Марья». — «Нет, это — за тебя... за тебя всех буду резать...». — «А за себя?». — «И за себя». Татьяна впервые показалось, что Марья была похожа на свой ножичек-змеяку.

Так они шли до Сочи с оглядкой, с постоянным страхом, по тропинкам в горах и по берегу моря, а ночью — по шоссе: боялись, как бы не было погоны, как бы не схватили их шухеры. В Сочи они пристроились под вагоном скорого поезда и добрались до Кавказской, а оттуда — до Краснодара. В Краснодаре им не понравилось: и холодно, и зашарпанный городишко. Они махнули в Новороссийск. Пробартижали они в Новороссийске с неделю — не понравилось: туго с шамовкой, голод, нордост, неприютность. Решили крысами пробраться на пароход и проехать в Крым. Но в этот момент их накрыли на пристани комсомольцы и отправили в колонию за город, в Мысхако, на виноградники.

На этот раз не только кинжальчик, но и ножик Марья отобрала заведующая колонией — сухая мумия, с коричневой охалкой волос на голове, косяя. Казалось, она смотрит одновременно в разные стороны: куда ни зайди, зрачок сверлит остро и пронзительно. За эту охалку волос ее прозвали Медузой. Голос ее, дряблый, скрипучий, как крик дергача, без-устали распоряжался с раннего утра до поздней ночи, и питомцы разных возрастов рычали от ненависти к ней. А когда несколько человек хороших верзил, которые чувствовали себя здесь бездельниками и дураками, скрылись, хапнув из склада белье и кое-какие вещи, все решили, что Медуза вдохновляет на приключения всех «стрелков вольных прерий» и «следопытов гор». Татьяна и Марья замкнулись и онемели. Медузе они не отвечали на вопросы, как будто ее не слышали, а когда она хотела заняться ими и стала за ними следить, они не видели ее и проходили мимо, точно перед ними была пустота. Медуза забеспокоилась, и лицо ее расцвело багровыми пятнами, когда

она не получила ответа на вопрос: «Девочки, почему вы не хотите меня признавать?». Она стояла на дороге (это было в винограднике, где ребята работали над взрыхлением почвы), и Татьяна гордо прошла мимо, глущая и немая, толкнув ее плечом. Медуза принуждена была посторониться и пропустить Марью. Марья дико ощерилась и с угрозой пробасила: «Отдай мой ножик... и Татьяне отдай... Не прячь — нехорошо делаешь... Сами возьмем». Татьяна обернулась и увидела Медузу, которая приветливо, но фальшиво протянула руки к Марье. «Потерпите, умницы. Вы же знаете, что в колонии нельзя иметь при себе смертоносных предметов. Получите в свое время». Татьяна взглядом позвала Марью.

В колонии такой народ, как они, долго не задерживался. Поживут неделю-другую, устроят внезапный погром, разгонят всех воспитателей и воспитательниц и спокойно оравой уходят в лес, захватив с собою вина, белья, лишнюю пару обуви. А воспитатели и воспитательницы трусливо и ехидно сторонились их. «Это — живорезы... преступный элемент... Их добром и гуманными методами не возьмешь... Тут нужна военная дисциплина». Воспитатели были люди неизвестного происхождения, обтрепаны, работой своей тяготились и считали ее за наказание. Только один из них был парень особенный — совсем юнец, с смешной фамилией — Жеребок. Эта фамилия даже не требовала клички; так его и звали все: Жеребок да Жеребок. И действительно, он носился непоседливо всюду — и в виноградниках, и в общегититии, напевая песни во весь голос. Больше всего он проводил время с ребятами: большой был изобретатель насчет игр, насчет всякого рода рукоделья и соревнования в работах. Он чем-то был похож на Шаланду — кажется, смеющимися глазами и привычкой решительно и самоуверенно забирать воздух левой рукой. Часто он приплясывал, хлопал каблукими и повизгивал как будто беспричинно. А потом бросался к парням и боролся с ними. Боролся с ним все охотно и считали его своим в доску. Иногда он

в борьбе оказывался побежденным. Лежа под парнем, он поднимал руку с вытянутым пальцем, как гладиатор, и приторно хрипел: «Повергнут и побежден — признаю честно». Ввел он массовые танцы и здорово плясал с девчатами. Воспитатели его не любили, Медуза сверлила его косыми глазами. На него жаловались в наробраз: Жеребок, мол, развращает питомцев. А когда Татьяна часто гуляла с ним (Марья не отставала) по дорожкам сада и в лесных зарослях, на него донесли начальству, что он пользуется девчатами на виду у всех. Он не унывал и попрежнему пел, смеялся и жизнерадостно носился с новыми выдумками и изобретениями. Татьяна сказала ему, что у ней и у Марьи отобраны кинжал и ножичек. Если их не возвратит Медуза, они сами найдут оружие: они пойдут на все — вплоть до расправы с Медузой. «А на кой чорт вам эти паршивые ножи? — засмеялся он и завертел бритвой головой. — Вы же ведь никого не собираетесь резать?» — «Это — у нас на память: у Марьи — от отца, родовой ножик, а у меня — княжеский, наследственный...» — «Чего? — Жеребок даже вскочил, как ужаленный. — Развезты из княгинь-графинь, из потухших светлейшеств?». Татьяна гордо выпрямилась и подняла голову (Марья повторила ее позу рядом с ней). «Да, а ты что думаешь? Я — светлейшество. Это признала княжна... Она — в гною и грязи, жрет из помоек... И у нее я, светлейшество, конфисковала кинжал... Она сказала: это — моя фамильная реликвия... Этому кинжалу — сто лет... А я у ней взяла и сказала: он теперь — мой...». Жеребок даже обнял Татьяну от восторга и расцеловал ее. «Вот это — да. Молодчага!». И вот когда Жеребок потребовал под свою ответственность у Медузы «реликвии», Медуза пришла в ярость, созвала закрытое совещание воспитателей и бросила в лицо Жеребку обвинение в разрушении колонии и развращении питомцев. Жеребок держал себя на совещании весело и беззаботно, а это подливало только бензину в огонь. Все время ребята подслушивали у дверей и окон. А когда огла-

шена была резолюция и Медуза поставила ее на голосование, начался всеобщий бунт в колонии.

Ребята ворвались ватагой в комнату, где заседали воспитатели, и заорали: «Рви липу! Долой! Даешь новое собрание! Почему нет наших на собрании? Садись, ребята. Пускай нас выбирают в президиум. Не давай в обиду Жеребка!..».

Воспитатели вскочили с мест. Некоторые трусливо хотели улизнуть, но их не пустили, а некоторые начали тоже орать. Они называли ребят бандитами, налетчиками... Некоторые указывали на Жеребка, который, как ни в чем не бывало, лукаво улыбался ребятам, и кричали:

— Вот видите?.. Это его работа. Какие еще нужны доказательства? Он — заодно с этими бандитами... Мы не желаем больше здесь работать... Это — выше наших сил... Здесь — головорезы, задуют среди бела дня...

А в этот момент всюду грохотало восстание: рев, топот, хлопанье дверей, треск разбиваемых табуреток, скамей, звон посуды...

Медуза собрание прервала, а Жеребок побежал вместе с парнями укрывать бунтарей.

Утром приехало начальство: завоно, высокий, тонкий, белобрысый, небритый человек, очень усталый и раздражительный, завподотделом детских домов — тяжеловесная, мясистая женщина, с сердитыми усиками, и предчека, в коричневой коже, с коричневым лицом и белыми зубами. Он был очень подвижной, веселый парень. Как только он приехал, сейчас же залез в гущу ребят и затеял с ними игру на бег по аллее в сто метров. Завоно и завдетдомами вместе с Медузой, воспитателями озабоченно и тревожно обсуждали события. Это было не деловое заседание, а нервные выкрики. Никто не слушал друг друга. Завоно нетерпеливо подходил к открытому окну и звал предчека, но предчека отмахивался и бодро скалил зубы, точно здесь, среди ребят, в этом беге на дистанцию, он нашел настоящее дело. Когда он соревновался в беге с Татьяной и Марьей, он

был побежден: Марья и за ней Татьяна пришли к финишу первыми. А когда они остановились, предчека, смеясь и тяжело дыша, вдруг сказал: «А Жеребок-то ведь парень, пожалуй, свойский». Татьяна просто, не стесняясь, ответила: «Эту шпану надо разогнать. Медузу отдать в лапы Жеребка. Мы — не арапы: командовать собою не позволим. Скажи этой лярве, чтобы она отдала нам с Марьей наши реликвии». — «Реликвии? это еще что за звери такие?». Татьяна повторила ему то, что говорила Жеребку. Предчека совсем стал простым и сердечным парнем. «Ну, в беге с вами я проиграл, а теперь пойдете в дом: думаю, что при вашей поддержке реликвии ваши добудем».

В комнате было мало людей: завono, завдетдомами, Медуза, Жеребок, как коммунист, двое парней и одна девочка (старосты). Когда вошел предчека, все обрадовались, но девочек не хотели допускать. Предчека сказал: «Они победили меня в беге: они имеют право сидеть рядом со мной». Наробразовцы держали сторону Медузы: они считали ее лучшей заведующей, а Жеребка осуждали: нарушает внутренний распорядок, дезорганизует систему работы. Предчека, не слушая их, сказал: «Заведующая, принесите кинжальчик и ножичек вот этих девиц». Медуза подхалимски засуетилась: «Сейчас». И скрылась с непривычной юркостью. Завono раздраженно махнул рукою: «Тут дело, а он — кинжальчик. Решать надо — дело выправлять. Жеребка надо на другую работу перевести». Предчека блеснул зубами, и глаза его весело заискрились: «Наоборот, Жеребок останется здесь, а нужно удалить половину липовых воспитателей». «Ну, мы здесь, кажется, ничего не решим» — безнадежно отмахнулся завono. Предчека смеялся глазами.

Пришла Медуза с улыбочкой, с почтительной радостью положила кинжальчик и ножичек перед предчека. Он взял кинжальчик и отдал Татьяне: «Твоя реликвия?» — «Да». И — Марье: «Твоя?». Марья молча выхватила ножичек и мгновенно спрятала его неизвестно куда.

4

В эту же ночь Татьяна и Марья ушли из колонии. Они взяли с собою только хлеба на три дня и, не заходя в Новороссийск, напрямик по горам пробрались до Тоннельной. Утром они забрались в открытый товарный вагон. В вагоне было шестеро пассажиров: три женщины и трое мужчин. Женщины были разных возрастов: одна — молодая, прилично одетая, с лицом куклы, болтушка и хохотунья, другая — полнотелая сестра милосердия, молчаливая и равнодушная, третья — пожилая, обложенная мешками, домохозяйка. Она все время сидела в куче своего добра, подозрительно следила за людьми и постоянно ощупывала вещи. Обожженное лицо ее лупилось, а нос блестел глянцем, будто смазанный маслом. Она очень испугалась и заволновалась, когда в вагон впрорхнули Татьяна и Марья.

— На кой чорт пустили этих бродяжек? — кудахтала она, опасливо и враждебно отгоняя их злыми белками в кровоподтеках. — Еще слязят что попадая... Это — стрелки известные... Гляди да гляди, как бы чего не сперли... Наплодили всякой шпаны... житья добрым людям не стало...

Военный, очень больной, с жарком в глазах, кашлял и конфузливо улыбался. Это он приветливо втокнул их в теплушку. Татьяна уже выработала в себе гордый и независимый вид в обращении с людьми: это был прием, который ее спасал во всех случаях. Она расцвела уже в это время в красивого подростка: и лицо спокойное, непроницаемое, холодное, и фигура рослая, еще не созревшая, но уже сильная в формах, и рассчитанные самолюбивые движения, — и походка, и повороты головы, и жесты, — все это было изучено и оценено ею. Этим она как будто защищалась от людей и обращала их изумленное внимание на себя. Поняла она одно: каждый день — это борьба, а в борьбе нельзя теряться. Каждый шаг должен быть осмыслен, нельзя торопиться и метаться попусту. Как бы трудно и опасно ни было, надо пересилить страх:

страх — от оглушения, от паники. Это сознание пришло к ней после Баку, после Сухума, в те дни, когда они с Марьей шли пешком до Сочи. На поездах и в коммуне она уже муштровала себя каждый час, каждый день. Медуза и воспитатели возненавидели ее именно за это ее гордое, независимое и презрительное отношение к людям. А вот Жеребок оценил ее за это. Она остановилась перед чахоточным военным и смело подняла голову. «Товарищ командир, вы, конечно, едете в этом вагоне?». — «Да, я еду в этом вагоне». — «Значит, вы возьмете нас с собой». — «Но я еду до Ростова». — «Ну, что ж, доедем и мы до Ростова, а там видно будет». — «Из детского дома? Дали тягу?». Татьяна вызывающе оглядела его с головы до ног и прищурилась. Военный улыбался немножко как будто пьяно и любовался Татьяной: «Садитесь. Выбирайте место. Я буду шефствовать над вами». И помог им вскарабкаться в вагон.

Двое остальных — молчаливый, пожилой мастеровой и рабочий парень, который волком смотрел на всех, как на своих личных врагов. Все время он ругался с домохозяйкой, толкая ногою ее мешки, и называл ее «лоханкой». «Ты меня не охаль, гвоздолуп, — кричала она дрябло: — У меня — сын красноармеец. Он у меня — заслуженный». Парень мычал ей брезгливо: «Я бы этому твоему красноармейцу за такую мать харю бы измочалил. Какая ты мать бойца, ежели ты — спекулянтка?». — «Это ты спекулянтка? Где ты выдал, что я спекулировала?» — «Ну, мешочница — это одно и то же...» — «Наплевала бы я на твою образину, да лень». — «А я вот — погоди, когда не вмоготу будет, — выброшу тебя с твоей рухлядью... мексика!».

Все смеялись — потешались над их перебранкой.

Парень бездельничал, скучал, пел песни, начинал рассказывать о своей работе в Новороссийске, но не кончал, и все забывали о нем сейчас же. Он попробовал ножком потрогать Татьяну, но получил две оплеухи. Военный просто душно предупредил его: «Повтори

еще — почертишь башкой на южный полюс». Парень трусливо уполз на четьрках в угол вагона. А днем, когда храбро встречался взглядами с Татьяной, ухмылялся, но не выдерживал и шкодливо шмыгал носом. Он все время ластился около дамочки, но та его раза два осадила: «Вино есть?» — «Нет». — «Ну, и долой на длинную дистанцию».

Военный назвал себя Коробкиным. Он пытался узнать прошлое Татьяны, но она небрежно сказала: «Зачем? Я сейчас умнее, чем раньше». Он знающе улыбнулся: «Вижу: не глупа. Ты — девка сильная, добейся высокой цели — выберись на широкую дорогу. Не носи лохмотьев, умывайся почаще. Хочешь, будем с тобой переписываться?». Татьяна на мгновение задумалась, потом деловито кивнула головой — согласна. Он открыл чемодан и вынул кусок мыла в дореволюционной нарядной бумажке: «Я хочу подарить тебе это мыло в знак нашей связи». Он вложил ей пахучий комочек в руку и пожал ее с дружеской лаской. Он кивнул головой на Марью и спросил: «Это что же — твоя тень?». Татьяна впервые засмеялась и обняла Марью. «Она — малютка, а никого не боится». Коробкин лукаво усмехнулся: «Значит, было дело?» — «В нашем положении — всяко бывает». Марья вдруг вскочила на колени и, бледная, сказала, с огоньком в черненьких калмыцких глазах: «Я за тебя умру и без тебя умру». Коробкин долго смотрел на нее и почему-то блаженно вздохнул: «Вот это — верность, да».

Они сидели в дверях вагона и смотрели на знойные поля Кубани, пустые, заброшенные хлеборобами. Неслись мимо бурьяны, полынь, недавние окопы, подсолнечники. Летел на ветру обрывок газеты. Скучно проплывали далекие курганы и зеленые хуторки в дымке полдня. «Много трудов и затяжной борьбы потребует, чтобы опять заволновались эти поля пшеницей... — сказал Коробкин сурово, и Татьяне почудилось, что ему было жутко. — Ты знаешь, что такое — куркули? Это страшная и коварная сила. Борьба с

ними не кончена. Она будет продолжаться годы в разных формах и будет стоить многих жертв и крови. Пойми: такие, как ты и вот она, Марья, — почему — Марья? — вы жертвы этой нашей борьбы. И ты и она — вы должны докончить эту борьбу. Вам надо научиться организованно бороться и работать». Татьяна разозлилась: «Такие слова мы слышали». Коробкин утомленно усмехнулся: «Наши детские дома — это только ночлежки. Тут нужно дружное». Он задумался, а потом улыбнулся: «Есть у меня на Украине товарищ-чекист. Так он коммуны одну из беспризорной братии учинил. Ребята там сами учатся себя воспитывать. Поехали бы вы туда и поглядели. Я письмо дам. Не понравится — уйдете: он держать не будет. Напишешь мне потом, как и что... а?». Татьяна верила Коробкину и чувствовала, что он — один из тех людей, к которым привязываешься на всю жизнь. Он уже никогда не забудется. Он чем-то напоминал ей Жеребка. Вероятно, и приятель его — неплохой парень: иначе Коробкин не имел бы с ним общения — это ясно. Но она привыкла не поддаваться настроению, а убеждаться собственными боками. Настроение и доверчивость, это — удочка. Чорт его знает, может быть, и Коробкин — один из тех хитрых людей, которые умеют без мыла залезть в душу... Она украдкой проверила его взглядом и равнодушно сказала: «Подумаю». А он понял этот ее взгляд и потрепал ее по плечу: «Не веришь ты мне, не веришь... Это хорошо, что не веришь. Добирайся до всего собственными силами и мозгом...». Потом вздохнул и тепло сказал: «Много еще тебе придется пострадать, дорогая девочка. Впереди у тебя — сплошное хождение по мукам... Мужайся, дерись, не щадя сил... И еще одно: очень лакомая ты приманка для всяких хищников... Я мог бы вас в Ростове в детский дом пристроить, но это...». Татьяна докончила авторитетно: «Это — идиотство». — «Пожалуй, для такого характера, как твой, верно — идиотство».

Они обсудили, как быть дальше. Он сойдет в Ростове. Ее с Марьей

надо направить в тот город на Украине, где находится коммуна его приятеля. Согласны ли они ехать прямо туда? Очень хорошо. Он сейчас напишет письмо, а завтра они будут в Ростове, и он достанет им командировку и проездные билеты. Письмо он написал и передал ей без конверта, только на чистом месте написал адреса — и приятеля, и свой, временный, ростовский. Татьяна внезапно спросила его, куда же он поедет из Ростова. Он удивленно посмотрел на нее и жалко улыбнулся: «У меня два пути: один — в небытие, а другой — борьба с контрреволюцией». Он — чекист. Теперь он пока на распутьи. Сначала он должен отдохнуть в клинике: врачи сказали ему, что у него от легких осталась четвертушка. А он им не поверил: он еще достаточно хорошо дышит, только слабость бывает изнурительной... временами... Он бы не поехал, да товарищи прогнали... Чахотка, следствие тяжелого ранения: один опасный враг ранил его на улице... Правда, того расстреляли, но чахотка осталась... какая-то сволочная... да и рана еще не совсем зажила. Ночью он метался в жару, обливался потом, задыхался, хрипел и бредил. Она легла около него и ухаживала за ним. Он не выпускал ее руки и держал у себя на груди: «Мне так легче, Танечка. Не отнимай своей руки. Ты — прекрасная девушка. Истреби в себе всякий страх. Зубами вцепись в свою душу и даже в минуты отчаяния и безвыходности добейся полного спокойствия и невозмутимости. Это — неотразимо для людей. А люди все-таки склонны дрожать за свою шкуру. Для них свое логово дороже вселенной. Человек привык только к трем ничтожным измерениям, а беспредельные размахи мира повергают его в ужас. Добейся того, чтобы кровь и смерть не ранили твоей души. Пусть не дрожат твои глаза и не дурманится мозг от этих кошмаров, и тогда ты по-иному увидишь и узнаешь жизнь...». Так он говорил долго, с перерывами, и все время пожимал ее руку. И Татьяне чудилось, что это он не ей говорит, а себе — бредит. Потом он сел, попросил воды. Она напоила его. От него исходил жар.

Она держала его голову. Лицо его было мокро и липко. Он обнял ее и прижался головой к ее голове. «Я знаю... я верю... ты победишь... Помни: храни свои дары и борись... Ты мне сейчас — как моя родная сестренка... Для тебя жизнь — еще долгая война. Вся она у тебя — впереди... Пусть не заглушит ее бурьян... Бурьян сметай с дороги». И от этого голоса и ласки, а может быть, оттого, что ей стало жалко Коробкина, — она впервые заплакала.

Перед утром она задремала в тот миг, когда он затих. А когда она очнулась, он был без сознания. Последние часа два она сидела при нем неотлучно — сторожила его и не подпускала к нему никого. Впрочем, все лежали пластом в глубоком сне. Она хватилась Марьи — Марьи не было. Она, Марья, была здесь до той минуты, пока Татьяна не заснула, а когда очнулась... где же Марья? Парня тоже не было в вагоне. Все спали мертво, как бывает утром. Что это? Сбежала ли она с парнишкой, или он обманом увел ее на остановке, или, может быть, выбросил ее на тихом ходу и сам кувырнулся за нею? Татьяна проспала Марью. Марья исчезла в безвестности. Не помог Марье ее ножичек, похожий на змейку.

Люди проснулись уже перед самым Ростовом, а когда остановились на путях, сестра милосердия, рабочий с мешочницей и молодая дамочка сейчас же ошалело бросились к широкой дыре вагона. Татьяна бешено наорала на них: «Чего вы разбегаетесь из вагона, сволочи? Помогите человеку-то: он — без памяти...». Сестра обернулась, испуганно вытаращила глаза. «Я — сейчас... посиди с ним». А рабочий и мешочница почему-то возились заодно над мешками и будто не слышали крика Татьяны. Дамочка плюнула и сказала: «Такого проклятого места я еще в жизни не видала... Больше ни за что так не поеду — лучше повешусь». Рабочий угрюмо проворчал ей вслед: «Факт... обязательно повесишься... кому-нибудь на шею...».

И вагон сразу опустел. Коробкин лежал неподвижно и хрипел. Так просидела Татьяна с ним с полчаса. С обеих

сторон стояли красные вагоны и загоразживали вокзал. Вагоны были пустые и узкие, и на путях никого не было. Где-то вскрикивали паровозы и толкались вагоны. Из-за вагонов со стороны вокзала глухо доносился шум толпы. Татьяна бесилась на пропавшую сестру: и эта подлюка только по-сорочьи махнула хвостом. Татьяна выпрыгнула и, ныряя под вагонами (они стояли в три ряда), выбежала на платформу. Двери вокзала везде были заперты. Окольными путями она пробралась в вокзал, нашла ОРТЧК и вошла в маленькую грязную комнату. Там никого не было, горько пахло табаком. Она забегала по коридорам и залам, густо забитым людскими свалками. Всюду лежали больные. Они стонали, метаясь в жару. В разных местах рыдали женщины, визжали дети. С хриплыми выкриками быстро промчались люди в шинелях, с винтовками за плечами, с задранными куртками и осатанелыми лицами. И Татьяна казалось, что в этих сумасшедших человеческих свалках она — одна, слабенькая и беспомощная. Ей стало страшно. Особенно жутко было барахтаться среди этих сплошных голых ног, среди полумертвых и одурелых лиц. Раза два она наступила на голые руки. Духота и смрад мутили до тошноты. Запомнились случайные пристально-немые огромные глаза женщины. Почему-то эти лихорадочные предсмертные глаза смотрели только на нее, точно она запуталась в них — глаза смотрели на нее издали: несомненно, это были те же глаза, — их нельзя смешать с другими. Так они до сих пор и остались в памяти — бездонные, обреченные, полные страдания, покорности и ужаса.

Она увидела среди кишящих толп военного в ремнях, с рыжей кобурой на одном боку и кожаной сумкой — на другом. На левом рукаве — красная перевязка. Смело, сразбегу она звонко сказала: «Товарищ, в вагоне лежит чекист Коробкин. Мы только-что приехали. Он — без памяти. Возьмите его». Чекист, небритый, весь измятый, с провалившимися щеками и глазами, ту-по взглянул на нее и сказал: «Уже из-

яли...». Она настойчиво и взволнованно крикнула: «Как это из'яли? Он сейчас лежит там... в четвертом составе... Я только-что—от него...». А чекист, оглядывая ее, бездушно повторил: «Сказано—«из'яли». Тут уж ей стало совсем страшно, точно на нее навалилась вся эта смердящая лавина человеческой безысходности. Срывающимся голосом, чувствуя, что у ней кружится голова и душа ее охватывается отчаянием, она в последних усилиях воли крикнула надрывно: «Ты, товарищ, — чекист? Да? какой же ты чекист, когда товарищ умирает без помощи?». И лицо ее задрожало. Чекист как будто впервые увидел в ней что-то новое, поразившее его. Он через силу улыбнулся и взял ее под локоть: «Пойдем». Он привел ее в ту комнату, где она была перед этим, выдвинул ящик стола и протянул ей кусок черного хлеба и два куска сахара: «Держи. Вот. Ну, и качай в два счета дальше. Мне тебя девать некуда. Пассажирский сейчас отходит, можешь устроиться, где удобнее: внутри, снаружи, на крыше, меж колесами...». Платформа клокотала людьми. Пассажирские вагоны брались рукопашной атакой. Где-то дрались, где-то пронзительно визжали женщины, всюду хрипели и рычали звери. Татьяна хотела вскарабкаться на буфера, но там уже было густо, хотела вскарабкаться на крышу, но и туда не было возможности пробраться. И вдруг вспомнила о Коробкине. Она нырнула под вагон и пробралась через несколько составов. С трудом нашла свой поезд и свой вагон. Заглянула внутрь, но Коробкина уже там не было. Она возвратилась к пассажирскому в тот самый момент, когда кондуктор свистел в свой сверчок. Она юркнула под вагон и пристроилась там между какими-то железными переплетами.

И уже в дороге, когда острое железо резало ее тело, она думала: куда же она едет? И сразу ответила себе: туда, к этому товарищу, приятелю Коробкина. Она отвезет ему весть о его судьбе, а потом... там видно будет. У нее была цель и обязанность, цель и любовь к

человеку, которого «из'яли»... Почему «из'яли»? что значит «из'яли»? В этом слове был какой-то неясный, зловещий смысл. Поезд несся со страшной скоростью. Он оглушительно и огромно гремел, и Татьяна замирала от его железной громады, которая неслась, как по воздуху. На остановках она вылезала, чтобы промяться. Ехала она уже часа три. У ней болело тело. Ей казалось, что она — ничтожная пылинка, и ее в каждое мгновение может стряхнуть эта громада и сдунуть ураганом, бушующим всюду в этой пустоте между черным грязным металлом и этой страшной поземкой внизу, на которую нельзя смотреть. Был момент, когда она должна была переменить положение. Острое железо невыносимо жгло ноги и руки. Внизу — буря, бешеный грохот колес, и невидимые иглы вонзались в руки, в ноги, в лицо и прожигали насквозь. Вдруг она почувствовала, что теряет точку опоры. Вот сейчас этот миг... и она ринется в смертельный ураган... Миг — и от нее ничего не останется. Она вцепилась и руками, и ногами в железные полосы, в какую-то дрожащую путаницу и повисла над бешено несущейся метелью, между застывшими струями рельсов. Вихри песку, гравия, пыли жгли ее, как огонь, ослепляли, забивали рот, нос, уши, рвали платяшечки... Она ощущала только одно с ужасом оупения, — что земля, по которой она ходила всю свою жизнь, сейчас отрывает ее от этого ревущего металла и мгновенно разорвет в куски и брызги. В этом сокрушительном вое и визге она, сжимая зубы и теряя сознание, напряглась, как струна. Помнила, что руки и ноги потеряли ощущение боли и вросли в металл. И в последний миг, когда прошла волна безнадежного отчаяния, которое было похоже на сонное равнодушие, а грудь надрывалась от визга, она услышала грохот колес на стрелках. Поезд стал замедлять ход, и ливень песку и гравия прекратился, а воздух стал мягче и гуще. Никогда еще она не переживала такой потрясающей животной радости, как в эту минуту. Она всем телом выла, качаясь на руках и ногах, и не замечала, и не по-

нимала, почему руки ее стекают к ее лицу струйками крови и почему она не чувствует своего тела, а только необъятную тяжесть несущегося вагона.

Она не помнила, как остановился поезд, не помнила той внезапной тишины, когда вагон врос в землю, — в памяти осталось только одно: она выла всем телом, а ее отрывали от металла какие-то люди, а потом вдруг увидела над собою синее небо, солнечные облака и прибойный плеск моря где-то очень близко. Потом она заколыхалась в чих-то руках. Неслышанно прекрасно пел хор какую-то знакомую невнятную песню, а она плакала и от этой песни, и от этих горячих рук, и от солнечного неба, и от чего-то таинственно-огромного, чего нельзя выразить словами. Кажется, что она только-что родилась и сразу же полетела чайкой в огненно-синем воздухе, замирая от счастья.

Вокзалам до людей внимания нет: в вокзалах все двери — настежь, а родного гнезда у кукушки не бывает. Татьяна пошла на берег моря. Город был наверху, тихий, слепой, а серые волны внизу шлепались о песчаные отмели. Людям не было — не до купанья людям было в те барахольные и бездомные годы. Она сбросила платишко и стала полоскаться в море, смывать кровь с лица, с рук и ног и плавать. И в морских волнах она тоже чувствовала себя воздушной чайкой. Горело солнце и в небе, и в море — в море оно носилось вихрями искр и всплесков. Тело свое Татьяна видела в воде зеленым и прозрачным, как виноград.

Нырять и плавать в волнах, она увидела у своего платишка парня в полосатой матросской рубашке и брюках-клеш. Он курил папиросу и смотрел на нее издали равнодушно, но пристально. Кинжальчик лежал под платишком. Если этот парень похитит его, — она погибла. Но он не обращал внимания на ее тряпки. Татьяна уже приучила себя пользоваться последней минутой надежды. Эта минута была для нее спасительной: надо только собрать все силы в кулак и решительно идти напролом, надо только спокойно и независимо рас-

считать каждый свой шаг и каждое движение, надо уметь владеть лицом, глазами и брать верно расстояние. Она нестыдливо вышла на берег и пошала по гравию к своему платишку.

— А ну-ка, отдай в сторону!.. — сказала она сердито и отмахнулась рукой: — Я не переношу запаха кота...

Парень был высокий и сухой, как вобла. Он смеялся и осматривал ее сбоку, как петух.

— Тебе надо покушать и отдохнуть, джаным. Я вижу на твоём лице печать голода и страдания.

Он как будто декламировал с эстрады.

Татьяна схватила свое платишко и с радостью нащупала кинжальчик.

— Повороти кругом! — приказала она: — Иначе у нас не будет разговора.

— Ах, принцесса! Твоя нагота меня ослепляет. Если бы даже я унесся от тебя к горизонту, ты все равно сияла бы передо мною, как богоматерь.

Она схватила камень и замахнулась на него. Глаза ее стали темными, а брови жгучими. Парень театрально отвернулся.

— Благоговею перед мадонной правонарушителей...

Она быстро набросила на себя платишко, пристегнула к поясу кинжальчик, спрятала его в правый карман и пошла по песчаному берегу. Парень пошгал за нею.

— С этого исторического момента ты, мадонна, связала свою судьбу с моей... — И приказал: — Держи по дороге вверх, алло!

— Я пойду туда, куда мне нужно. Нам с тобой — не по дороге.

— Судьба и красота твоей личности давно определила тебе путь рядом со мною. Тебя ждут палаты, музыка и марафет.

Татьяна ощутила его руку и вздрогнула от отвращения. Он сопел и пощипывал кривым носом. Она быстро обернулась к нему и оглядела его изподлобья. Вероятно, в ее глазах он увидел что-то опасное: он изумленно пошевелил бровями, ласково улыбаясь, вынул финку из кармана и поиграл ею перед ее лицом, как жонглер.

— Это стальное перо может подписывать любой приговор, Кармен. Ты испытаешь это на себе, ежели страстно этого желаешь.

Татьяна сдерживала дыхание и боролась со своим сердцем. Она изнемогала от усилий казаться невозмутимой. Ей казалось, что она стоит на туго натянутой ниточке или на лезвии этой порхающей финки. Ее загоревшее лицо серело, и вся она, как замороженная, зорко следила за полетом ножа. Парень играл финкой и улыбался сердечно и весело, как нежный друг.

— И будешь ты царицей мира...

Татьяна мгновенно взмахнула рукою и вышибла из его рук финку. Как кошка, она подхватила ее и бросила в море. Парень с любопытством проводил взглядом полет ножа и оскалил зубы.

— Ловко. Смелый и красивый жест.

Берег был крутой и сразу же спускался в море. Татьяна бросилась вверх по камням и осыпям земли. Руки парня, как щупальцы, схватили ее за платье. Татьяна с ужасом почувствовала, что они сейчас же опутают ее, как веревки.

— Дело обернулось серьезным поединком, красавица. Момент захватывающий...

Она обернулась и изо всей силы ударила урка по лицу. Он потерял равновесие и кубарем полетел вниз. За ним сорвался большой камень и, прыгая, настиг его у воды. Продолжая катиться вниз, урк инстинктивно протянул руку к камню, чтобы защититься, но камень настиг его и ударил по голове. Парень беспомощно рухнул в воду. Потому ли, что в этом месте было очень глубоко, или он потерял сознание, но урк несколько секунд не появлялся. Татьяна бросилась вниз, и в этот миг он забарахтался в волнах. Она схватила его за руку и потащила к себе.

— Ну, выползай... утонешь еще... Больно ударил камень-то?

Он, жалкий, испуганный, сел на морские камни и, не оборачиваясь к ней, сердито сказал:

— Уползай сейчас же, пока цела. Видишь?.. Это — моя свита... на горе...

Далеко, по тропинке вниз, спускались оборванцы.

Она всегда помнила это событие: оно обжигало сердце, и она с ужасом спрашивала себя: как могло случиться, что она спаслась в те минуты от кровавой расправы?

5

Так она добралась до того городка, где была коммуна, организованная другом Коробкина — Шастиком. Коммуна помещалась в старинном помещицьем имении, с большим парком и прудами в зеленой ряске. Встретили ее парни и девчата, чистые, опрятно одетые. Они окружили ее тесной, крикливой толпой. В вестибюле, у двери, стояла девчуха с повязкой на щеке, с винтовкой у ноги. Она пристально и строго оглядела Татьяну, но не пошевелилась — точно была в столбняке. Ребята провели Татьяну по коридору под руки, орали ей что-то, смеялись, спрашивали, но она, оглушенная, ничего не понимала, и ей стало жутковато. Ей показалось, что она сама по-дурацки попала в западню, что Коробкин, пожалуй, обманул ее. Этот темный коридор, девчуха с винтовкой и орава ребят встревожили ее. Цемило сердце, и ей неуждержимо захотелось убежать отсюда без оглядки. Но упрямая гордость заставила ее держаться уверенно и смело. Она шла независимо, вызывающе, высоко подняв голову.

— Ведите меня к самому Шастику. Я имею к нему поручение.

На эти ее слова ребята ответили криком, волнением, смехом. Кто-то сзади командовал:

— Шире дорогу дикпурьеру... Эстафета от шпанки...

Впереди, подпрыгивая на носках, пятилась перед нею черноволосая, коротко остриженная девчонка, губастая, с огромными глазами. Она вся трепетала от волнения, почему-то ликовала, смеялась и не отрывала от Татьяны своего лица. И только у самой двери той комнаты, в которую они должны были войти, сказала, задыхаясь от восторга:

— Какая ты, чорт возьми, красивая!.. Дай слово, что ты пойдешь в нашу комнату... Не забудь: меня зовут Розой.

Открылась дверь, и Татьяну ослепило солнце. Пол, столы, стены пылали огнем. Большие окна были открыты настежь. За окнами — густая синева и дымная глубина соснового леса. Навстречу шел высокий, плечистый, с глянцевою головой, носатый человек в коричневой гимнастерке.

— Я — к товарищу Шастикю.

— Я — Шастик.

Он взял ее за руку и провел к столу.

— Садись.

— Я — от Коробкина. Знаете такого?

— Знаю такого. Раз ты — от Коробкина, ты — моя гостья и друг. Остаешься здесь — поговорим. Вот сюда садись, рядом со мной. От Коробкина давно не имею известий.

— С Коробкиным я ехала в товарном до Ростова. Вот — письмо. У него какая-то сволочная чахотка. Потом его из вагона из'яли...

— Значит, умер?

— Не знаю.

Шастик взял письмо и, прежде, чем прочесть его, оглядел Татьяну внимательно и заботливо. Он начал читать письмо и как будто забыл о ней. Щеки и большой лоб были освещены отраженным солнцем от пола. Свет мерцал на лице телесно и делал его прозрачным и горячим. Он пробежал глазами по строчкам, и глаза у него дрожали, улыбались, грустнели, пугались, недоумевали и лукаво шурились. Он вздохнул, бережно сложил измятую, грязную бумажку и осторожно спрятал ее в карман.

— Спасибо тебе за это письмо. Если ты его читала...

— Я его не читала. Коробкин говорил о вас так, что сердце билось.

— О, Коробкин... ты знаешь, что это за человек? С этим парнем мы жили душа в душу. Всю гражданскую войну вместе прошли... Бесстрашнейший, душевнейший, красивый человек... Он очень на меня влиял...

— А он говорил, что вы на него влияли...

— Ну! — Шастик засмеялся растроганно. — Друзья, очевидно, взваливают друг на друга всякие добродетели... Итак, погостишь, значит, у нас?

— Не знаю... погляжу... Все эти дома... и приюты...

— Мерзота, Таня, что и говорить... Я сам бы дал тягу...

Он встретился с ней глазами (глаза его были навывкате, молодые, теплые, лукавые) и улыбнулся. Этой улыбке не могла выдержать Татьяна и сама улыбнулась: в этой улыбке Шастик как будто весь распахнулся, и Татьяну облила какая-то душевная волна. Татьяне стало так легко и хорошо, что ей хотелось погладить Шастика по руке.

— Вот что, Таня. Ты у нас погости, отдохни, хорошенько попитайся, а потом увидишь: если тебе понравится — останься, если нет — можешь продолжать дальше. Но мне хотелось бы, чтобы ты чувствовала себя здесь вольготно, чтобы ты нашла у нас свой дом, свою семью. Ребята у нас — неплохие. Разные были — головорезы, воры, бандиты... А теперь предпочитают жизнь свою устраивать сами. Трудновато, конечно: людям приходится бороться с собственными привычками, но мы поддерживаем друг друга. Жизнь у нас — трудовая. Ребята организуют мастерские. Завод даже решили строить. Рабфак открываем, школу, курсы. Богато и интересно стараемся жить. Театр у нас свой, капелла и разные кружки. Сама увидишь. А сейчас ты пойдешь в ванную, вымоешься, облюбуйешь себе комнату, кровать и познакомишься с молодежью. Видишь, как они встретили тебя? Мне нравится... обрадовались...

Что-то приятное, умное, задушевное было в этом человеке. Он был похож чем-то на Коробкина, а чем — не могла сказать. Вероятно, — этой задушевностью и простотой. Знала она одно, что он очень хорошо понял ее и видел ее всю: он как будто обнимал ее душу. И как тогда, в вагоне, она сразу поверила Коробкину, так и теперь без борьбы и без всякой опаски отдала себя во власть Шастика. И Коробкин, и Шастик

были в ее глазах не обычными людьми. Они живут и действуют не так, как остальные: в них горит какая-то чудесная сила, и дела их и слова неотразимы и прекрасны. Пусть она потеряла Коробкина, но зато она нашла его друга.

— Я узнаю о Коробкине... — сказал он грустно и опять вынул из кармана письмо. — Я напишу товарищам в Ростов. Долго я о нем не имел известий. Знал, что — болен, но не предполагал, что так серьезно... Молодой, энергичный, талантливый человек... Жить бы ему надо... Самоотверженный революционер... Сколько у него подвигов!.. Это нежнейшая душа, изумительный друг, но страшен и беспощаден к врагам... Если не умер — поеду к нему...

Он опять улыбнулся, и опять от его улыбки повеяло на Татьяну теплом и сиянием.

— Какой он молодец, Коробкин-то, что направил тебя ко мне...

— А к кому же другому он мог меня направить?.. — обиделась Татьяна. — Он думал только о вас... и говорил о вас...

— Ну, как же!.. у нас с ним есть и много близких друзей, и соратников...

— Много... — рассердилась Татьяна. — Говорите, что угодно, только таких, как вы, — нет...

— Это почему же? — и у него лукаво вспыхнули глаза.

— А потому... потому что вы — хороший, как он...

И опять они улыбнулись друг другу.

(Продолжение следует)

Наташа

Пьеса¹⁾

Л. СЕЙФУЛЛИНА

ПРОЛОГ

Картина 1-я

Улица. Сельсовет, бывшее волостное правление. Внутри помещение для арестованных. На крыльце сидит охрана, дурно одетые солдаты. Один в лаптях. Двое сидят на крыльце, третий ходит с винтовкой вокруг. В глубине сцены, в отдалении, церковь; над сельсоветом и на площади у церкви на длинном шесте зеленые флаги. На стене сельсовета объявление: призыв явиться дезертирам. Срок явки. Очень крупное объявление: 1920 год. У церкви, под флагом, толпа. Там смешанный шум. Рядом с сельсоветом настежь открыты двери разгромленного кооператива. Улица пуста, все на площади. Из соседнего с сельсоветом двора выходит сгорбленный, седой старик с батожком, подходит к охране, идет на крыльцо, хочет сесть на ступеньки.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (на крыльце). Куды тебя несет! Не видишь, нельзя!

СТАРИК. Чего нельзя? Побеседовать охота мне с вами.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (замахивается на него прикладом). Иди, иди. Со смертью тебе беседовать пора.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Не трожь! Чего такое старое обижать?

СТАРИК (отстранившись от приклада, сошел с крыльца, встал около него, опершись на батожок). Верно, сынок. Чего уж меня обижать? А в могиле не разговоришься. Со смертью какой разговор? Пусти дух, и лежи нем и глух.

(Кашляет.) Кто ж вы есть, какого же теперь будете войску?

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. А ты что, к нам в отряд охотишься?

СТАРИК. Нет. Дезертиры вы, а сказывают, зеленого войску. Значит, се-таки войско!

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. «Се-таки, се-таки»! И не схочешь, дедка, завоюешь. Укрылись мы от большевиков в зеленые леса, в степи в зеленые овраги. Вот и зовемся «зеленые».

СТАРИК. Цветастый народ пошел. Мы век прожили, так и звали — серое мужичье. А в нынешние года — белы да красны, а вот вы еще зелены.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (смеется). А ты сам-то какой веры? Поди, к красным припадаешь?

СТАРИК. Я так себе — православный. Наше семейство никому не препятствует. Один сын в белых. Не то убитый, не то ушел в чужое царство. Другой в красных, в губернии. Как село наше переходило восемь раз от красных к белым, мы всех привечали. Белым — папа с молебном, хлеб-соль на блюде. Красным — барана зарежем.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Богатый, значит, у вас двор, баранов не жалели.

СТАРИК. Пошто мы? У нас одна кобыла, и та мне, чать, ровесница. Мы с богатыми вместе встречали. Они дарми, а мы поклонами. Сказывают, наши кулаки в вашем войске спасаются?

¹⁾ Литературный вариант.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Есть и вашего села.

СТАРИК. А вы сами-то дальние?

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Дальни. Лесной губернии, зеленого уезду, овражкинской волости.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. А ты, дедка, чем су-соли да мусоли, принес бы нам хлеба. Забыли нас тут на стражке.

СТАРИК. Эх, милай, себе-то хлебушка нету! Ты вон поди погляди, как я до ветру хожу: одна вода! Поди-ка погляди.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Сейчас побегу. Сытно, значит, вас кормили красные?

СТАРИК. Да, ить, как сказать, и от вас не зажиреешь. Кооператив разбили, — вон пустой стоит, — да и дворы пощупали.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ну-ка, ну-ка поговори! Я тебе на спине годочки твои почитаю.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Чего ты? Ведь он — что дитя. Чего в нем разуму осталось?

СТАРИК. У нас башкирин один говорил: «Молод был — ума не было, старый стал — ум кончал». Вот так и прожито, детки. А на красных, вроде, шибко обижаться не приходится. Отшибают их все от нас. А то, может, покормили бы. Опять вот придут на голое место. Вы уйдете, вам чего? После вас хоть волк траву ешь.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ой, дед, стар, стар, а язык придерживай. Сволокут тебя вон к церкви на суд.

СТАРИК. Ишь, ты! Судят там, значит. То-то вроде вопля отседа слышалось.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Вот и ты завопишь.

СТАРИК. Отвопил уж, голос не звонкий. А что, сказывают, вы Кускову, красногвардейскую вдову, с малюткой стережете?

(Из-за угла неожиданно выходит Марья, нарядно одетая молоденькая баба.)

МАРЬЯ. Вот то-то что. Суются в волки, а хвост, как у телки! С бабами воюют.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ты отколь, красотка? Сноха, что ль, твоя!

СТАРИК. Не нашего заводу. Видишь, какая нарядная? Из семейства Феклы. Хороша Голова.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Чудное ваше фамилие, дамочка.

МАРЬЯ. Это прозвище свекровки моей за приговорку. Ведьма ласковая!

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Не шибко, значит, свекровь свою уважаете?

МАРЬЯ. Пушай ее ваш начальник уважает. У нас поместился, так она чуть что не облизала его всего. Бабу-то под замком за нее томите. Донесли, будто они с дочкой, с Аксюткой, вашего красным выдали.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. А правда—они выдали?

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ну тебя, следовательно, тоже! В кой-то век дождался, красива бабочка набежала. Дозвольте с вами поближе, дамочка, обзнакомиться, как с караула сменяюсь.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Я тебе так и уступил! Дозвольте мне обзнакомиться.

МАРЬЯ. Чего ж вы, кавалеры, сразу такие ревнивые? Вот присяду, с обоими разговором позаймусь.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Разговор — это что! Вечерком бы, с действием...

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Эй, ты, шибко деятельный. Другую поищи. Эту я приветил.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. А ну, поговори!

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. А ну — поговорю!

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Пну!

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. А ну? *(Замахиваются друг на друга прикладами.)*

МАРЬЯ. Товар... *(Зажимает рот обеими руками.)* Братцы, граждане, не спорьтесь, не бейтесь. Договоримся ужo вечером. Сладимся!

СТАРИК *(мудро)*. И бой идет, и смерть стережет, а бабу нанесет, мужик все забудет. Ай-ай-ай, какая в бабе сила. *(Отходит.)*

МАРЬЯ. Не уходи, дедушка, стой. Они помирился. *(Подмигивает охране.)* Мы сладимся. *(Другим голосом.)* Ой, испугали зря. Прямо ноги подкосились. *(Опускается на ступеньку крыльца. Садится.)* А народ-то у церкви все шумит. Пойти бы послушать, да от вас уходить не охота.

СТАРИК. Вроде шибчей зашумели. Никак сюда гонец бежит?

ПАРЕНЬ (на-бегу с полдороги). Ведите арестовану-у... Ведите! Красногвардейцеву вдову.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (кричит внутрь помещения). Эй, Полосухин! Выводи бабу с девчонкой.

МАРЬЯ (настороженно всматривается в дверь). Уходите, стало быть, с караулу?

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Держи карман шире. Смена к вечеру придет.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Сами понимаете, как бы рады за вами последовать. Еще арестованные есть.

(Выводят Наталью Кускову, женщину лет сорока пяти, но седую. Она ведет за руку шестилетнюю дочь, Наташку.)

НАТАЛЬЯ. Куда итти? Глаза уж, вроде, ничего не видят.

МАРЬЯ (быстро к ней). Наталья, Аксютку снасиальничали. Она утопилась.

НАТАЛЬЯ. Утопи... (В изнеможении опускается на крыльцо.) Доченька утопилась... (Роняет руки и голову на верхнюю ступеньку крыльцо.) Господи, когда же ты будешь сыт нашей бедой! (Девочка заплакала.)

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (на Марью). Ты чего это, сучка, с арестованной в разговор?

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Некрасиво поступаете, нас подводите.

СТАРИК (примирительно). По глупому бабьему сердцу она. Чего вы на нее обижаетесь?

МАРЬЯ (льстивой скороговоркой). А, ей-пра, братцы, так, по жалости. Дочка утопла у ей.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Утопла! Сторонись. Ужо я тебя пощупаю, не только с лаской, а с таской.

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Эй, дурак! Спугнешь бабу, ищи потом.

ПОЛОСУХИН. Ну, будя вам. Коужухов, веди!

1-й ЗЕЛЕНЫЙ (погрозив прикладом Марье, кричит Наталье). Вставай, после нагорюешься. Не задерживай.

НАТАЛЬЯ (поднимается, берет за руку девочку, с трудом выпрямляет стан, но дальше двигается прямо, с поднятой головой. Отойдя несколько шагов

от крыльца, вдруг наклоняется, целует девочку). Милая! Последушка моя.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ну, ну, иди. Может, еще родишь. От молодых не устанем, так и тебе посодествуем.

НАТАЛЬЯ. Есть стыд у тебя? Есть жалость, дурчорожий?

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ну, ну, не разговаривай, двигайся, тетка!

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Гляди, кувырок полетишь... Вслед за мужем... В Могилевску губернию.

НАТАЛЬЯ. В лесах-то шерстью сердце у вас обросло. Марья, возьми Наташку, побереги Христа ради!

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Ты пойдешь или нет, сука?

НАТАЛЬЯ. Не видишь, дите человеку сдаю. Не к вам же, зверям, его вести.

МАРЬЯ. Не серчай, не серчай, миленький! Дезчонка-то раскричится там, помешает. Я ее ублюду.

(Шум на площади разрастается. Доносятся отчаянные выкрики. Несколько человек бегут от площади домой.)

2-й ЗЕЛЕНЫЙ. Чегой-то случилось.

МАРЬЯ (прижимая к себе девочку, спрашивает у бегущих). Чегой-то чего там?

МАЛЬЧИШКА. Ванька Феклин... Фекла Хороша Голова...

ДЕВЧОНКА (перебивает). Ваш Ванька зеленого начальника зарезать кинулся... за Аксютку Кускову.

МАЛЬЧИШКА. А начальник его из нагану застрелил.

НАТАЛЬЯ. Ваня, Ваняшка... Ну, Фекла, много тебе простится за сына.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. И-иди! (Толкает ее прикладом. Вслед несется крик Наташки: «Мама!».)

Картина 2-я

Стол под зеленым флагом у церкви на площади. За ним сидит начальник отряда зеленых. Вокруг него его «войско» и толпа народа. Ближе от стола стоит Фекла Хороша Голова. Мимо нее ведут к столу Наталью.

ФЕКЛА (плача). Сгубили сыночка у меня. Отольются тебе мои слезы, мерзавка.

НАТАЛЬЯ. А мой тебе?

НАЧАЛЬНИК. Перестань! Я тебе простил за сына, Фекла Митриевна, но ты помни...

ФЕКЛА. Ваша милость, золотая моя, хороша голова. Да, ведь, другие-то мои сыны заслужат, да, ведь, я-то сама...

НАЧАЛЬНИК. Ну и ладно. Отставь перекоры. Ты — красногвардейца Кускова баба?

НАТАЛЬЯ. Не Кускова я.

ФЕКЛА (*вexлипнув*). Соколовы их фамилие. Кусковы по-уличному. В рождество, на пасху, ай в казанску, в больши праздники они у нищих куски покупали... детей своих накормить.

НАЧАЛЬНИК. Такому хозяину только в Красной гвардии было и голову сложить! Родных детей прокормить не умел.

НАТАЛЬЯ. Нищий высыпет, бывало, куски на стол да скажет без осуждения: «Хватайте, ребятишки, праздничные куски». А вы издеваетесь, вам смех — наша мужичья нужда.

НАЧАЛЬНИК. А что, плакать велишь над лодырями? Пускай красные поплачут над вами.

НАТАЛЬЯ. Этому лодырю земли давали один душевой надел. Он его продавал, чтобы дарю подать заплатить. А кормить семерых надо было. Косточки в работе неломаной не было у этого лодыря.

НАЧАЛЬНИК. Разговорчивая баба! Нам некогда твои побаски слушать. Отвечай, о чем спрошу. Батрачила твоя девка Аксинья у Артамонова, Петра Аникеича?

(*Наталья низко опускает голову и молчит.*)

НАЧАЛЬНИК. Ты чего это? Разговаривать не желаешь?

НАТАЛЬЯ. Не в мочь мне... (*Вдруг поднимает голову, твердо.*) Дочку мою старшую загубил твой отряд. Рассказывать мне об ней сейчас тяжело.

НАЧАЛЬНИК. Нежного поведенья, хоть и побирушка! Что значит муж у красных в генералы метил! (*Среди при-*

ближенных смех.) А мне про дружка моего, Артамонова, не тяжело вспоминать, а? Ну, говори ты...

НАТАЛЬЯ. Начальник, я б не стала отвечать. Я бы губы не разжала! Мне бы плакать сейчас, от людей подаде, об дочери своей. Я над ней одну только скупую слезу пролила. А потому, что еще дети на моих руках. Из-за них на все отвечать буду. Не убивай меня. Будь милостив.

НАЧАЛЬНИК. Взмолилась! Видно, не грех тебя и убить.

НАТАЛЬЯ. Грех, и не за что. Ни я, ни Аксюта не выдавали Артамонова.

НАЧАЛЬНИК. Отвечай по порядку. Значит, ты и есть вдова Кускова?

НАТАЛЬЯ. Соколова.

НАЧАЛЬНИК. Пером не вышла. Отвечай, как тебя люди зовут. Ну? Шлюха красногвардейская!

НАТАЛЬЯ. Не шлюха я. Жена солдата, его детям — мать.

НАЧАЛЬНИК (*свирепея*). Фамилие! Говори фамилие!

НАТАЛЬЯ. Кускова.

НАЧАЛЬНИК. То-то. Метрику попу показывай. Больно нужно мне, как по документам. Канцелярии с собой не вожу, все на памяти. Известна мне, как Кускова, и зовись так. Аксинья Кускова, твоя дочь, выдала Петра Аникеича красным, когда он из моего отряда на побывку тайком заходил?

НАТАЛЬЯ. Неправда. Знали мы, что Артамонов убер к дезертирам.

НАЧАЛЬНИК. Ну, ты полегче... с названьем.

НАТАЛЬЯ. А когда приходил, ни я, ни дочка не видали его. Хозяйка в ту ночь отпустила Аксюту домой ночевать.

НАЧАЛЬНИК. Какие кроткие! В зажмурку живут. Чтобы батрачка не пронюхала про хозяина, я тебе не поверю. Как же большевики в омет кинулись? Почему?

НАТАЛЬЯ. Его, ведь, сперва везде искали. Во дворе винтовку нашли, вычищенную, в боевой готовности. Значит, боец близко.

НАЧАЛЬНИК. А говоришь, чортова баба, что ничего не знала! Значит, вы с дочкой красных и недоумили, что от винтовки боец недалеко?

НАТАЛЬЯ. Не глупее меня с дочкой наши красные солдаты. *(Неожиданно для себя, с ненавистью и торжеством.)* А то не прятались бы вы от них по лесам да оврагам.

НАЧАЛЬНИК. Вот как ты заговорила, подлая.

НАТАЛЬЯ *(снова опуская голову)*. Не я говорю, сердце заговорило. Не знаю даже, вынули тело доченьки из реки аль нет.

НАЧАЛЬНИК. Что же, с неводом посылать? Дура. Ты мне теперь скажи, Иван, тетки Феклы сын, вами подготовлен был?

НАТАЛЬЯ. Когда же подговаривать? Мы не ждали вашего налету. За невесту он. Обещались они друг дружке.

НАЧАЛЬНИК. Хороша невеста... Чуть не всему отряду уважила. *(В толпе смех.)*

НАТАЛЬЯ. Пес ты! Бешеный пес! Еще и над мертвой ругаешься? Ну, пусть простят мне мои детушки... Не могу! Задушу тебя, псина! *(Кидается к начальнику.)*

НАЧАЛЬНИК *(с взвизгом)*. Взять! *(Зеленые хватают ее. Наталья отбивается.)*

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Сильная какая, стерва красногвардейская!

НАЧАЛЬНИК. Забрать и детей. *(Наталью ведут, она отбивается, кричит.)*

НАТАЛЬЯ. Моих детей изничтожить, другие есть. Не одни мы кусками пробавлялись. Большевицкая партия заплатит вам за наши куски!

(Ее уводят. В толпе смятение. Возгласы защиты и осуждения.)

ФЕКЛА. Ай, батюшки, люди добрые хороши головы, до чего баба дошла. Чисто львиха разрычалась, бестыжая!

НАЧАЛЬНИК. В один день два покушенья. Маленько утомительно. *(Зеле-*

ным.) Сегодня суд закончен. *(Обращается к народу.)* Итак, братья-мужики, мы не белые, не красные. Мы стали зелеными. Большевики притесненными загнали нас в зеленые леса. Да. Мы верим в бога, стоим за справедливость, стоим за мужика. Да. За трудящегося крестьянина, за хозяина, не за лодыря, что у нищих покупает. Да. Ни за городского рабочего, который вам на шею сел. Да. Те пролетарии пускай скорее пролетают... вместе с большевиками. *(В окружении подобострастный смешок.)* Да. Большевики тем, действительно, родня. А вам врут, что, будто, вам они — родная власть. Мы вам—родня, да! Мы сами землеробы и стоим за вас. Да. Стоим за крепкого хозяина, за свободную торговлю для него. Да. И, чтобы всего этого добиться, надо вывести большевицкое семя вконец. *(Во время его речи прискакал конный. В окружении шопот, некоторое смятение. Доходит и до оратора. Он оборачивается, спрашивает негромко.)* Что?.. *(Поспешно.)* Ну, ладно, братья-мужики. Завтра побеседуем. Расходитесь.

1-й ЗЕЛЕНЫЙ. Расходитесь, расходитесь, хватит. По домам...

(Площадь пустеет. Зеленые сбиваются плотней. Слышны возгласы: «Разведчики, выдали... уж в Красноярске». Потом команда к сбору. Площадь совсем пустеет. Через нее двое зеленых торопливо ведут Наталью к ближнему леску. За церковью село кончается. Выйдя туда, Наталья поворачивается к селу, кланяется в пояс, падает на землю, целует ее. Один из зеленых, в бешенстве, с большой силой ударяет ее прикладом по голове. Она содрогается, падает мертвая. Зеленый ткнул ее ногой, чуть наклонился, махнул рукой. Оба бегут обратно в село. Видно: зеленые удирают поспешно и нестройно. Жители прячутся по домам. В конце пустой церковной площади лежит тело Натальи. Выбегает девочка Наташка.)

НАТАШКА. Мама! *(Слышна песня приближающегося отряда Красной армии. Девочка бежит на звуки этой песни.)* Мама-а!

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина 1-я

(Прошло четырнадцать лет.)

Из ворот своего двора выходит Фекла. По дороге, к ней навстречу, ее сват Григорий Миронов, степенный, очень кроткого вида, пожилой, плешивый мужик. Фекла постарела. Село изменилось.

МИРОНОВ. Ждали, ждали мы тебя, сватья, так и не дождались. Здравствуй-ко. *(Приподнимает картуз.)*

ФЕКЛА. Здравствуй, сват, мила голушка. Пошла, было, к вам, да своя семейна забота придержала.

МИРОНОВ. Аль и у вас из-за колхоза в родне расстройство?

ФЕКЛА. А какая у меня теперь родня? Чуть что не бобылка. Дочери замуж хотят, из дому вон глядят. Кровный сын родной — один Андрей. И тому я — одно званье матушка. Живет жениным умом. Марья чихает, а он переносицу чешет. Тыфу, прости меня господи, грешницу, сердце во мне расхотилось, поучила бы я их по-старому, по-родительскому, да... *(вздыхает и, собрав горсточкой руку, ладонью вытирает сухой рот)* ...в нынешнее время это внушенье кабы самой хворью не отрынулось. Развела дела сермяжна власть, объявила баб людьми...

МИРОНОВ *(оглядываясь)*. А ты, сватья, потише горячись. Не глядя, видят, не слыша, догадываются.

ФЕКЛА. Да ведь, сватушка, золотая ты голова, горе мое бунтует, не я, одним-одна, сама по себе при нарожденной семье, гляди, остануся. Ванька, милый сыночек, в жертвах революции. Кусковы его затанули, зеленые убили, мою старость обезрадили.

МИРОНОВ. Это не скажи. За Ваньку тебя в ближних держут. Ванька — большая заступа за твое хозяйство.

ФЕКЛА. Хозяйство мое расценила одна молва завистная. Кабы Ваня, хороша головушка, живая заступа был, а мертвый — одно почтение. Житейской выгоды не обхлопочет. Ни словом, ни делом уже не вступится за свою родимую. Вон сейчас у колхозников дела-то выходят небогатые. они и на меня зло-

бятся, не только на вас, на других одиночников.

МИРОНОВ. Да, ить, к слову сказать, от нас ты не отмелась и к ним не примелась.

ФЕКЛА. Я, сват, хороша голова, ни от кого не отметаюся, ни с кем не спорю, абы меня бы, вдовицу, не обидели. А вон, прошлый раз, как собирали колхозные свой галдеж, Наташка Кускова про меня что закинула? Орет девка на всеё избу: «Кулачиха, только памятью сына откупается. Батрака, — кричит, — держит». Где же у меня батрак? Где он такой? *(Складывает руки под грудями, склоняет голову на правое плечо.)*

МИРОНОВ. Это не иначе она, как про Федора, про твоего приемыша.

ФЕКЛА. Федор — мой приемный сын, по советскому закону усыновленный. И доброе дело нам же боком. Шатающийся нищий, царский ссыльный, волчок, сиротку оставил, я призрела...

МИРОНОВ. Опять, сватья, не в обиду тебе, — не я так думаю, а как они-то рассуждают... Мир, ведь, тебя приневолит парнишку к себе взять. У твоего двора волчок замерз. Усыновила ты Федьку не сразу, а уж готовым работником.

ФЕКЛА *(сердито)*. Ты, сват, елова голова, на чужие прибыля тоже знаток. А хлебушки, одежи, не сочтя заботы моей, разве не расходовала я на Федьку?

МИРОНОВ. Не сердчай, сватья, пожалуйста! Не в осужденье, в разъяснение чужих толков я словом обмолвился.

ФЕКЛА. Не тем словом, хороша голова! Не тебе со мной перекоры заводить. Это Наташки Кусковой слова. Она Марью под елдыкивает затануть Андрея в колхоз. Она и Федора манит с моего двора уйти.

МИРОНОВ. Да, ведь, он обязался никак на племяннице твоей, на Фетиске, жениться? А Фетиска без твоей воли дыханья не переведет.

ФЕКЛА. Фетиска, может, и дохнула бы не по-моему, да на это ума у нее нехватает. Зато будет Федору жена работающая, покорная, не то, что кусковское паскудное семя.

МИРОНОВ. Мне кусковская эта девка самому попеоек горла. Правда, руки

золотые, как батрачила у меня, нахвалиться не мог. А теперь каюсь, что во дворе своем держал. В кого такая безбоязная, задери ее волк!

ФЕКЛА. Лицом вылитая мать и в поступках такая же львиха вредная. Тьфу, помяни к ночи нечистого, он тут как тут. Идет, хороша голова! Хоть брюхо голодно, да на устах песня. Удивляйтесь, люди добрые.

(Уже близко подходит Наташа, обняв за плечи двух подруг. Она ведет песню, подруги подтягивают.)

НАТАША.

Приди на тихое свиданье,
Положь мне руку на плечо.

(Заметив осуждающий взгляд Феклы, останавливается около нее.) Не глянется тебе моя песня, хозяйка?

ФЕКЛА *(со сдержанной злостью)*. Не глянешься, нет, не глянешься ты мне, мила головушка.

НАТАША. Чегой так, бабушка Фекла?

1-я ПОДРУГА *(смушенно)*. Наташа, брось...

2-я ПОДРУГА. Д'пойдем ты, право; какая...

НАТАША. Работала у тебя, словно я не ленилася. Подружки праздник — гулять, я в закуток — спать. Рано ты подымала, поздно спать отпускала. Никогда я у тебя в буден день не высыпалася.

1-я ПОДРУГА. А ну тебя! Айда, Глашка!

2-я ПОДРУГА. И правда что... *(Уходят быстро.)*

ФЕКЛА. Вот, хороша головушка, совестливые девки ушли. Видят, старые люди промеж себя беседуют, они прошли мимо. Уважительные, в разговор не встречаются. Эдаки мне глянутся. А ты кому же поглянешься?

НАТАША. У них до вас интересу нет, а я постою, посмотрю. Вы мне оба очень интересные.

ФЕКЛА. Чем, золота головушка, мы тебя в эдакий интерес завлекли?

НАТАША. С охотой бы сейчас я вас на карточку сняла. А портретик

дорогой в газетку напечатать, чтоб не одна любовалась.

МИРОНОВ. Пойду я, сватья, от греха. Прощай покуда. *(Хочет идти.)*

ФЕКЛА. Погоди, сват, говорю тебе, постой, хороша голова.

НАТАША. Не пугайся, хозяин, аппарату еще нету, погожу снимать. А хорошо бы в газете под карточкой надпись пропечатать: тайные кулаки села Хворостянского.

МИРОНОВ. Ты, девушка, напраслину не возводи. *(Вдруг, неожиданно для себя, прорвался злостью.)* Не скаль зубы, шалава. А то крепки, да вдрызг разлетятся.

ФЕКЛА. Не шибко ль на высокий голос завела ты, хороша голова? Постаршей тебя большевики нас не пугивали, а ты не рано ли...

НАТАША *(сильно)*. Нет, не рано, в самое, в самое во время. А то мои зубы сокрушите, других не найдется на вас, коли запоздаю. Вы чего своими сплетками разбиваете наш колхоз? Вы хоть и богатые, а жили в темноте и в дерьме, в них и кончитесь. А мы людьми станем. И мешать нам не смейте! Не только мои зубы найдутся на вас! *(Идет.)*

ФЕКЛА. Озлела как. Кусковская кровь! На чужих-то кусках, как собака, озлела...

НАТАША *(поворачивается к ней)*. Были Кусковы — люди не люди, вам — батраки. Было! Но кончилось. Обзови теперь еврея жидом, казака киргызом, а меня еще хоть раз Кусковой, мы найдем на вас управу, помните! Держите вредилки свои за зубами. *(Идет.)*

(Мионов плюет ей вслед.)

ФЕКЛА. И подумай, сват, как разговаривает! А ведь голь перекатная. У ней одним-одно платьишко на все праздники, да вот это тряпье, в чем сейчас. Чего принесет она в колхоз? Избились в нем больше все эдаки. Да она, головушка золотая, дождетсся, что и последняя одежонка по ниткам расползется, как без нас, без хозяев, поживет.

МАРЬЯ *(выбегая со двора)*. И в нитках, а свету ясному, может, порадуетсся. Ты меня взяла за сына с бедного

двора. А на том дворе вся моя радость осталась. У тебя что я нажил? Рядила ты меня людям напоказ, выйти, в праздники. И за это, свекровка, села ты мою молодость. На твоей на работе уж на горб спина выгинается. А что своего есть с Андреем у нас? Все из твоих рук. Все, как тебе взглянется, как милость будет. И доживем эдак до собственной старости. Вот она... *(Срывает с себя платок.)* Вот она, уж у меня у самой седина. *(Наташа стоит у своей избы, слушает.)*

МИРОНОВ. Тебя еще откуда вынесло? И впрямь, сваха, сбесились бабы.

ФЕКЛА. Айда-ка, сват, на твой двор, беседа есть. Пускай без меня здесь пролютуются, головушки победные. *(Марье.)* Закрой хайло, хороша голова, подбери космы. Правда, ведь, уж не молоденька. Люди осудят, а мне жалко тебя, не чужая, ведь. *(Уходит.)*

МАРЬЯ *(бессильно ей вслед)*. Ах ты, ведьма приветная! *(Заправляя волосы под платок, идет к Наташе.)* Слушай, девка. Мое дело такое: от свекры на вольный свет либо вырвусь, либо нет. Кругом обвязана: и муж, и дети. А ты поберегись, не наживи беды.

НАТАША. Тетенька Марья, над нами беда, что к ильину дню оса. И над головой вьется, и в рот лезет. Так что же, и трястись весь век?

МАРЬЯ. Я тебя, Наташка, жалею. Ты мне вроде крестницы. Не спрячь я тебя в тот день, была б и ты с братишкой да сестренками в глухой земле могильной.

НАТАША *(обнимая ее)*. Тетенька, разве я чурка бесчувственная? Забуду ли, как у Феклы на работе сберегала ты кусочек послаще для меня. В батрачках жалела ты меня заместо мамоньки. Забуду ли? *(Припадает к ее плечу.)*

МАРЬЯ. Ох ты, моя ласковая! *(Гладит ее по голове)*. Не навредили бы тебе лиходеи.

НАТАША. Было времячко, чуть за гундосого силком замуж не выдали. Теперь-то я за себя постою.

МАРЬЯ. Свекровка больней всего на тебя злобится, что Федора-приемыша насильно женить мешаешь.

НАТАША. Здравствуйте, уж тут я не при чем. Сам не маленький.

МАРЬЯ. То-то и дело, что в года, в плоть вошел. Ребятишками игрался вы себе, когда и дрались. А теперь, ведь, изводится он по тебе, Наташка. Без смеха сказываю.

НАТАША *(усмехаясь невесело)*. Вяжет судьба феклин дом с лачужкой нашей. Аксюты сестры жених оттуда был, и мне... *(Сильно смутившись.)* То же и ты, тетя Марья, порой скажешь, слушать нечего! На что мне ваш Федор сдался. Я выбиться на ученье хочу. Не надо мне мужа ни постылого, ни милого.

МАРЬЯ. Седни не надо, завтра запросишь. В старых девках, что ль, тебе оставаться?

НАТАША. И в девках останусь, не пропаду.

МАРЬЯ. Ну да! С эдакой-то вывеской *(треплет ее по щекам)*, была охота. Старых девок на том свете козлов пасти бог заставляет. *(С феклина двора приторно слащавый голос Феклы.)*

ФЕКЛА. Марья, голубушка милая, муж пришел. Поесть ему собрать просит.

МАРЬЯ. Уж возвратилась свекровка, пропасти на ее нет! А все на свои ноги жалится. Пойду, куда денешься. *(Уходит.)*

Картина 2-я

Сумерки совсем сгустились. Наташа, задумчиво напевая, идет в огород за своей избой. Опустив голову, останавливается между грядами.

ФЕДЯ *(перескакивает в огород через плетень)*. Наташк... Натальюшка.

НАТАША *(вздрагивает от неожиданности, но спрашивает спокойно)*. Чего?

ФЕДЯ. Поди-ко сюда. Иди сюда поближе. Не увидел бы кто.

НАТАША. Боишься, так не лазий в чужой огород.

ФЕДЯ. Фу ты, об себе, что ли, я? Об тебе дурная слава побежит.

НАТАША. Пятнадцати лет еще не минуло мне, а бабы всякие сплетки уж заводили про меня. Девушка я одино-

кая, семья не защитит. Как цвет при дороге. Не сорвут, так хоть обхаркают. Грустно мне сегодня, Федя.

ФЕДЯ. А мне, скажешь, весело с названной с моей матушкой, с невестой, котору силком на шею вяжут. Э-эх!.. (Хочет взять Наташу за руку.)

НАТАША. Постой!.. С чего ты хвататься стал? Никогда я тебя к тому не приглашала.

ФЕДЯ. А когда пригласишь, может, поздно будет. Вон в Покровке Степка Лысая от любви... (Дрогнувшим голосом.) Нашли за околицей его молодой, красивый труп!

НАТАША (насмешливо). О? И ты так же? Так ты же некрасивый.

ФЕДЯ (уныло). Другие девушки уверяли, что довольно красивый.

НАТАША. Они тебя обманывали. На феклин справный двор тянулись. А может, и не обманывали. Поди, у невесты, тебе припасенной, спроси.

ФЕДЯ. Моя матушка названная прямо толкает меня на грех с ней. Через нее к дому своему привязать меня, приемыша, хочет покрепче. Фетинья никуда от нее не уйдет.

НАТАША. А ты?

ФЕДЯ. А я — бабушка надвое сказала. Могу и уйти, если наше с тобой дело...

НАТАША. Я не про то. А как ты... насчет этого самого греха?

ФЕДЯ. К Фетинье? Ее все-таки жалко, Наташа. Из себя рябоватая, робкая, да и старше меня. Только что телом здорова... Но я не уважаю этого. Вон ты какая легонькая, пташечка... (Хочет обнять ее.)

НАТАША. Говорят, не смей! Сказал, пташка! Погляди, на мельнице какие мешки вороचाю... Серчает на тебя Фетинья, что не любишь ее?

ФЕДЯ. Н-нет. Не знаю. От нее мало узнаешь. Ворочает работу, как лошадь, и все молчком. За работу Фекла и любит ее. Теперь, ведь, не наймешь, а это — своя.

НАТАША. С тобой, женихом, что-нибудь же она говорит?

ФЕДЯ. Один раз сказала: «Не лежит у меня к тебе сердце. Мне мужа постарше да попроще». Она смиренная.

Днем она мне ничего, не противная. А ночью...

НАТАША. Что ночью?

ФЕДЯ. Мамаша чуть не под бок мне толкает Фетиску по ночам. А Фетинья мне очень уж не на душу ночью. Ты вот...

НАТАША. Я-а? Разве я под бок у тебя проводила ночи? Иди-ко ты, товарищ, домой. Скатывайся через плетень! Живо!

ФЕДЯ. Мыслям-то, ведь, не закажешь. Все одно ты со мной, как живая. Ночью ли в постели, днем ли по дороге, когда один иду...

НАТАША. Не разводи бобов! За этим отправляйся в свой огород. Иди... Фетинья хватилась тебя.

ФЕДЯ. Она-то не хватится. А мать названная, в рот ей дышло, уж вопит. Настойчивая мамаша нашлась у меня, сироты.

ФЕКЛА (со двора Феклы слышен зев). Сынок, хороша голова! Федор, Федю-ю! Федька, куда запропастился?

НАТАША. Иди, иди. А то еще сюда придет. Мне сегодня уж довелось побеседовать с ней. Хорошенького помаленьку.

ФЕДЯ. Наташ! Что бы ты... когда-нибудь... хоть один разок пристально... меня поцеловала.

НАТАША. Ишь ты, любишь мед... Не расцвели еще те мужчински губы, чтобы я целовала.

ФЕДЯ. А ты приглядишь... Может, мои вдруг да расцветут. (Обнимает ее, целует в щеку.)

НАТАША (высвободившись, вытирает щеку рукой). Хулиганский дурак! Ты, гражданин! Иди домой. (Вздыхнув.) Никогда мужчина женское сердце не поймет. Без того сегодня мне печаль, а ты обижаешь. Мама с Аксюткой шибко вспомнились.

ФЕДЯ. Я? Тебя? Эх, миленькая моя, рассеки мне грудь, погляди прямо в сердце.

НАТАША. Да у тебя и сердца-то нет, одна печенка. Интерес мне в нее глядеть! Ну, ладно уж, не сержусь. Иди.

ФЕДЯ. Наташа. Эх, Наташа, ты моя Наташечка! Да стой! Как тебя

увидел, все забыл. Ты слушай-ко, не ночуй одна в избе и не ходи далеко одна. Кабы не извредили тебя. Я и то ночью, как проснусь, сейчас к твоему плетню...

НАТАША. Да на это ты охотник!

ФЕДЯ. Кроме всяких шуток. Ночевалка есть у тебя?

НАТАША. Есть две. Поди, уж пришли. Уходи, не бойся, не расходишься.

ФЕДЯ. Как не бояться! Знала бы ты, какая мне дорогая ты вещь!

НАТАША. Я и сама себя не дешево. Отошли денечки, когда нас без ответа губили. Без возврата, милый, отошли. Сам берегись, чтоб тебя Фетинья сонного не унесла.

(Далеко на селе гармоника ведет грустную песню. Наташа, обняв березку, прижавшись к ней, тихонько вторит ей.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 1-я.

Колхозный коровник. Напротив него феклин огород и двор, виден вход в ее дом со двора. Рассветает. Слышно, как шелкает по дороге бич пастуха и его несердитые, хоть настойчивые, призывные оклики. В сторонке стоят 2 подойника, повязанные грубыми, но чистыми холстинами. Из коровника Наташа выгоняет корову, ласково похлопывая ее по заду, поглаживая по шее. Другая корова, как бы раздумав, с дороги возвращается в открытые ворота за прясла двора, где коровник.

НАТАША *(выпроставивая корову).* Иди, Малашенька, иди, ленивая. Иди, капризница! Иди, иди, покормись. Густо-ого молока принеси! Слышишь наказ, а? *(Гладит ее по шее, слегка подгоняет, хлопая по боку. Другой, вернувшейся коровы.)* Белоножка! Ты зачем назад, зачем? Подумай, неумная! Не хочешь свежей травы, не хочешь. Вы обе сговорились, что ль? Опять за вчерашнее? А? *(Кричит на дорогу.)* Антон! Антон! На одно слово, на коротку минуточку.

(Она, погоняя коров, быстро идет к воротам. С другой стороны к ним же, к пряслам двора, подходит пастух Антон.)

ПАСТУХ *(подходя).* Чего ты? Аль не всех подоила?

НАТАША. И подоила, и напоила, чтоб не мукали на тебя раньше времени. Слушай. Эти две у меня, как младенцы, — трехлетки. Часто капризятся, обижа-а-ются. С вечера Малаша захотела пить. Я, было, ушла на собрание, не уговоривши. Но с дороги воротилась. Через десять-пятнадцать каких-нибудь минут, четыре ведра Малашка выпила!

ПАСТУХ. Ну, и што?

НАТАША. Антошенька, у этих двух уж такой характер. Ты потрафь им, пожалуйста. Как погонишь на водопой, они, может, отстанут, аль, не напившись, от реки отойдут. Дай поблажку им. Пусть еще сорвут лишний листок. Они сами потом к стаду подбегут. Не любят, когда их принудительно поят.

АНТОН. Я вчера не сдогадался. А это мне ничего не стоит. Уважу их характер.

НАТАША. Что корова, то отдельный нрав. Не обзнакомишься хорошо с ней, сейчас сбавит молока. *(На коров.)* Идите вы, идите! Вам тут нечего слушать.

ПАСТУХ. Коров надо знать. Каждую надо знать. *(Идет. Оборачиваясь на ходу.)* Я с того и отказался от дома отдыха.

НАТАША. Ну! Не поедешь?

АНТОН. А если, который вступит за меня, бить их зачнет? Они сбавят удой. Как же я уеду?

(Из феклиного двора выходит Марья, приближается к ним.)

НАТАША. После воспаленья тебе, сказывали, нужен отдых. Расслабла грудь.

АНТОН. Нельзя. Корова — понимает. От битья она в тоску может впасть, убавит молока. Я знаю, кого за место меня погавят. Не доверяю. *(Идет.)*

НАТАША. За это иные тебя дураком назовут.

ПАСТУХ *(уходя).* Там поглядим, кто дурак. Вот будет колхозное стадо молочней помещицкого — увидят, кто дурак. *(Уходит.)*

НАТАША (*кричит ему вслед.*) Мы тебя за это молочком, молочком парным выходим.

АНТОН (*уже невидимый.*) Дело! Корова, она... поддержать может. (*За сценой, пощелкивая бичом по дороге.*) А ну, идите. Слышите, щелкаю! Пойдем, пойдем, погуляем!

МАРЬЯ. Впрямь, ведь, дураком зовут. Первый случай у нас, в дом отдыха назначили, а он из-за коров отказался.

НАТАША. Которые смеются, им охота всех нас отправить на отдыхи... на вечные. А нам это не с руки. Колхоз молодой, крепости еще нет в нем. Отдохнем, когда хорошее хозяйство поставим.

МАРЬЯ. Не все-ко и у вас такие старательные. К свекровке бабы забегают, ругаются, на работу жалются. Наталья, что, Федька от нас ушел навовсе? Перешили, значит, вы с ним?

НАТАША. Увидим. Вот в колхозе поработает... (*Поворачивается к ней спиной.*) Молоко мне надо нести.

МАРЬЯ. И мужика себе с колхозной проверкой берешь. Буде врать... Перед кем секреты разводишь. Федька уходил, сияет, чисто месяц молодой.

НАТАША. Теть Марья, золотая моя названная крестынька. (*Обнимает ее, крепко к ней прижимается.*) Нет от тебя секретов. Сама еще не знаю, как все будет. (*Вдруг кружит ее вокруг себя.*) Хорошо будет? Ха-арашо на свете жить!.. Очень, братцы, хорошо! (*Пританцовывает.*)

МАРЬЯ (*освобождаясь*). Погоди, верчная! Не молоденька я тебе, как подружку, меня вертеть. (*Поправляет на голове сбившийся платок, концом его вытирает губы и вздыхает.*) Тебе хорошо, а кому-то бедой отрыгнулося.

НАТАША (*покачиваясь на легких ногах, мерно ударяет в ладоши перед собой, потом за своей спиной*). Нет беды, беды нет, нет, нет, нет, нет беды.

МАРЬЯ. А вот глянть в наш огород! Фетинья еще до свету пала на колени над грядками. Не спится. Лебеду полет, а на пальцы, может, слезы капаят. (*Наташа смотрит в огород и медленно опускает руки и голову. Вдруг решительно поднимает голову.*)

НАТАША. Если даже я тем слезам причина, — все одно не откажусь.

МАРЬЯ. Федька — причина. Опасался жениться, да не опасился. Оставил Фетинью в тягости.

НАТАША (*сквозь зубы*). Правда ли?

МАРЬЯ. Свекровь сперва радовалась, что до венца оженала их на одну ночь. Теперь, как Федька отрезал: «Не вернусь, не сын и не работник я тебе», — она другое завела. Куда ей на страду брюхатая баба? Сколь годов безотцовское дитя кормить, пестовать? А Федька выдел себе стребует обязательно.

НАТАЛЬЯ (*идет во двор, берет в обе руки стоявшие там подоюники, возвращается*). Отец-то ребенку не святой дух. Не придется розыск подавать, Федор — здешний.

МАРЬЯ. Отец подневольный. Почему не отказаться, кто докажет? Да и велик ли барыш? Силу свою рабочую унес, свекровка за ней гналась, а не за подачкой на дите. Теперь приказала Фетинье младенца вытравить.

НАТАША. Теть Марья, иди ты от меня со своей свекровкой... Пусти-ко, молоко понесу.

МАРЬЯ. И впрямь, девка, загордела ты, не знай, с какой прибыли. Моя свекровка вроде и тебе засвекрит, все-таки Федору заместо матери мир считает. Стой-ка ты, постой!

НАТАША. Тетенька Марья, видишь, дело у меня в руках. (*Идет, оборачивается, говорит мягко.*) Не сердчай. Дай мне поразмыслиться.

МАРЬЯ (*махнув рукой*). А ну вас! Закрутили вертень. Кто сбоку, и тому покою нет. Свекровь, на что кремень-баба, и та в лютюю молитву ударила. С ночи бьет поклоны, сейчас не кончила.

НАТАША (*шла с подоюниками, еще раз останавливается, снова поворачивается, теперь уж всем телом*). Не сердчай, тетя Марья. Ты мне близкая, вся родня — ты.

МАРЬЯ. Ну-ну, иди! Зачем сердчать, понять могу. (*Идет к своему огороду, ворчит сама себе.*) Гребтит на сердце мне свекровкина молитва. Намолит нам на горб. Скорей бы и нам с Андреем за Федькой, со двора. (*Видно, как в фек-*

лин двор вошла старуха, входит на заднее кобылье.) Мирониха к нам шастнула. Тоже богомольная. Вместе с моею свекрухой обдурят они бога, эти обдуря-ят. Тыфу! (Плюнув, идет вдоль по улице, к выгону. Еще две-три старухи, шушукаясь, задами пробираются к Фекле в дом.)

Картина 2-я

В огороде полет лебеду рослая Фетинья, низко опустив голову. Пауза. Издали слышно постепенное пробуждение деревни, рассвет сильнее, близок солнечный восход. Из своего огорода перескакивает через низенький плетень Наташа, медленно идет к Фетинье. Та чуть приподнимает голову, видит Наташу, но сейчас же снова голову опускает, будто не видит. Наташа подходит с несвойственной ей нерешительностью.

НАТАША. Полешь? (Фетинья молчит, не поднимая головы. Неловкая пауза. Наташа опускается на корточки у другой гряды, не близко к Фетинье.) Не шибко еще заросли. (Выдергивает две-три соринки.)

ФЕТИНЬЯ (неожиданно, очень злобно). Не трожь! Двину, полетишь вверх копытами. (Полет, что-то невнятно ворчит про себя.)

НАТАША (вставая). Ты чего собачишься? Я и сдачи дать смогу. Ты — дюжая, а я ловкая.

ФЕТИНЬЯ (тоже вставая). Известно всем твое ловкачество. Постыдилась бы хвалиться. Силком в снохи сюда лезешь.

НАТАША. Не знаю, кто насильно парня вяжет, только не я. Бери себе связанного. Я ничего ни с кем не приспала.

ФЕТИНЬЯ (двигаясь к ней в ярости, как слепая, вытягивая вперед кулак). Дам тебе разок промеж твоих бесстыжих глаз. Еще меня страмить пришла, я те... (Зацепляет ногой за грядку или кустик, нога подвернулась, падает на землю всей своей большой тяжестью. Уткнувшись лицом в землю, воеет бесслезно, дико, но глухо, как изнемогшее животное.)

НАТАША. Фетинья! (Приближается сначала осторожно, потом спокойней, все ближе.) Фетиска! Не вой, погоди,

не надрывай мне душеньку. Фетис, я с добром шла... Провалиться мне на этом месте, не со злом пришла. Фетинья, а Фетиса! Поды-ымись! (Вой становится глуше, тише, смолкает, но Фетинья лежит вниз лицом.) Не пойду я за Федора... Пускай с тобой. Не пойду! (С отчаяньем.) Обещаю тебе, откажусь от него. (Сильно.) Откажусь! (Сникает головой, зажимает лицо ладонями, горестно приподняв плечи, тихо плачет. Совсем тихо.) Обещаюся!

ФЕТИНЬЯ (приподымается, сидит на земле тяжело, точно каменный идол. Такое же каменное у ней лицо). На радость мне такой муж? Будет злоститься, что век заела постыла жена. Будет космы драть, в непраздный мой живот пинать сапогом. Всеё мою силушку изведет мужней ненавистью. Ох, не вытерплю, топором порублю его сонного.

НАТАША (робко подходит еще ближе, прижимая обе руки к груди). Фетинья... Фетис, зачем же ты с ним слюбилася?

ФЕТИНЬЯ (угрюмо приподнимая каменное лицо). Ты — врагиня моя. Тебе бы такое слюбенье! Как скотину, свели. Крѳвь здоровая, свое требовала. Спыхватились, оба друг дружке нелюбы, а спутаны.

НАТАША (опускаясь неподалеку от нее на траву). Так чего тебе об нем убиваться теперр? И без меня, все одно, человек не твой.

ФЕТИНЬЯ. У, проклятая, спрашивает! Соблюла свое девичество и кобенишься. Уходи! Слышь, уходи. (Стучит крепким кулаком по своей коленке.) Не вводи меня в лишний грех.

НАТАША (встает). Я уйду. Только не со злом я пришла.

ФЕТИНЬЯ. А злей злого сделала. (Тоже встает.) Завидую твоей вольной волюшке, ненавиствую! Уходи, пока сердце сожмя держу. Ну-у!

НАТАША (идет медленно, поникнув головой. У плетня останавливается, смотрит на Фетинью). Я тебе... добра желаю.

ФЕТИНЬЯ. Колом в сердце мне твое добро. Не нужен мне твой жених! Не возьму его на погибельный бабий век. Владей сама тем добром. Дите вы-

травлю, на тетку работать не остануся. В город, в прислуги наймуся. Дите вытравлю, руки развяжу... (С прорвавшимся вдруг плачем.) Незамолимый грех дите травить! Собака не делает! Свинья не схочет, волчица пожалеет, человечьей матери приходится. (Глухо, дико, как волчиха.) Вытравлю-у...

НАТАША. Не трави! (Кидается к ней от плетня.) Не бей, не ударь меня. А хоть ударь, стерплю! Послушай меня. Для дитя... Для несчастного, для кровного своего, послушай меня. На! Ударь! Вцепись в волосы! Не уйду, уговорю...

(Фетинья смотрит пораженная. Как бы остерегаясь ударить, крепко стискивает ладони, держит их прижатыми у своей груди.)

НАТАША. Как сестре говорю. Сестры мы, Фетиса, обе женщины. Одинаковая у нас повинность женская. Произойдет время, и я понесу. Не вспомню ль тогда про твоего? Не трави...

ФЕТИНЬЯ. Куда же я с ним, с безщцовским, денуся?

НАТАША. Все отцами заложены. Нету безотцовских, не прежнее времячко. Будет Федор моим мужем, нет ли, я ручаюсь, не бросит беспомощное дитя. Крепко ручаюсь, потому что не одна того добыюсь. Если добром отец не схочет, мы заставим!

ФЕТИНЬЯ. Кто такие еще вы?

НАТАША. А кем я держусь на всем беззащити моем. Я — молоденька, одинока, бедная девушка. Давно б меня богатые, самосильные испозорили, а может, и совсем ухмякали. Всечестьем загубили бы, как Аксюту, сестру-покойницу. Давно! Кабы не было на селе защиты. Это — мы!

ФЕТИНЬЯ. Чего я партейным! Какая припека! Ты — комсомолка.

НАТАША. Может, и ты станешь комсомолкой, многим ли ты старше меня? Только что дюжая, а на работе пригрубела, пристарилась.

ФЕТИНЬЯ. Двенадцати лет полных не было, зимой сено навивала на возы в снегу по пояс. Поворачивала не слабее мужика.

НАТАША. И не бросим тебя, трудящую. А алименты будут плочены, и дружбой тебя с ребенком поддержим. Не сдавайся Фекле, не трави.

ФЕТИНЬЯ. Хорошо у тебя язык привешен, болтаешь сейчас, а время дойдет...

НАТАША. Не верь моим словам, в поруку других людей тебе приведу. Только помедли, не сдавайся Фекле.

ФЕТИНЬЯ. Сроду не бывало у нас на деревне, чтоб невеста об жениховых детях, дуrom прижитых, обзаботилась.

НАТАША. Мало что не бывало...

ФЕТИНЬЯ. Эдак и заботушки на парней нехватит.

НАТАША. Их же горб в работу берем. Повежливей станут с приплодом.

ФЕТИНЬЯ. Задурила ты, Наташка, меня кругом обошла. Уходи! Чего сроду не было. Ой, двину я тебя все-таки покрепче.

НАТАША (смеется). Теперь не двинешь, рука не подыметя. Сама видишь, не за что.

ФЕТИНЬЯ. Ничего не вижу. Прямо, как обдуреная. Уходи, говорю! Я обдумаюсь. (Из дома Феклы уж давно доносится неясный шум. Видно, как во двор постепенно набирается народ.) Что-то шумят у нас. Не обо мне ли судят! Боюсь я тетки Феклы.

НАТАША. Не бойся, слушайся меня. Я сама Феклы боюсь, только не сдаюсь страху. И ты не сдавайся, никак не сдавайся!

ФЕТИНЬЯ. Уйдешь ты, краснобайка липучая, а?

НАТАША. Ухожу-у, а ты не сдавайся. (Идет к плетню, поворачивается к Фетинье.) Я и твоих кулаков не боюсь, еще приду... Я порукой своим словам.

ФЕТИНЬЯ (беспокойно прислушивается, глядя в свой двор, держит щитком руку у глаз. В это время уже совсем вошло солнце. Наташа стоит у плетня, вся на свету). Чего-то шумят: «обновилась» или «обвалилась», — не разберу. Чегой-то крестятся!

НАТАША. Крестись, не крестись, ихнее валится, наше встает. Встает, Фетинья! Фетис, не дам я тебе ребенка вытравить!

ФЕТИНЬЯ. Ой, ты не дашь!
НАТАША. И я не дам. И наша власть не даст. *(Перепрыгивает через Фетинью, поворачивается всем лицом к Фетинье, уже оттуда.)* Травить наших детей Сталин не даст!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Картина 1-я.

До поднятия занавеса на сцене разноголосый шум. Преобладают бабы визгливые голоса, мужские рокоcut, как аккомпанемент. Шум, то умиленный, то угрожающий. Пронзительный женский голос прорезывает сложный этот шум: «Православные! Чуть-та потише! Расскажет нам Фекла Митревна». Женские и мужские голоса: «Тише» «Ну-ка, как дело было?». «Тетка Фекла, говори без утайки». Голос Феклы: «Стародавняя икона божья матерь обновилась у меня. Милостивый лик проглянул явственно, а то было ничем не разглядеть. Знала, что богородица, а не видать. Во скорбях у с ночи встала на колени перед ней, перед матушкой...». Голос звучит невнятно, потом долгий шум. Прорываются крики: «В церкву, в церкву владычицу». «Попа... Тащите попа. Пусть замолествует». «Забойтся поп». «Тащите!..». «Что такое? Что стряслось у Феклы?». «И колхозники привалили». Пронзительный женский голос: «Не вам святыня объявлася». Бас: «Вали назад. Вертай на свой край». Шум, умиленный женский плач, мужские голоса, вопль кликуши. Когда поднимается занавес, все уже в порядке. В большой раме, наподобие киота, из глубины сцены несут на зрителя небольшую домашнюю икону. Еще загодя, перед ней, прямо на пыльную дорогу, ниц падают люди: женщины, мужчины, подростки, дети. По приближеньи вскакивают, быстро прикладываются, целуют краешек иконы, снова падают на землю, чтобы пронесли икону над их распростертыми телами. За киотом они вскакивают, расходятся по обе стороны идущего за иконой наскоро собранного причта: священника в облаченьи с кадилом, Григория Миронова, поющего за дьячка, и Феклы. За ними толпа снова смыкается, образуя хор. Вместо вставших, на дорогу падают новые молещички. Несут параличного, ведут слепого, в корчах бьется эпилептик. Когда икону проносят над ним, причт и толпа расступаются, обходя его, потом смыкаются, скрывая от глаз зрителя. Мать несет истощенного, плачущего ребенка, с ним падает на дорогу. Баба тащит пьяного мужа, толкает его под икону, вопя: «Пречистая мати, исцели от запою, исцели!». Пьяный падает на четвереньки: «Исцелю! Я, вла-

ды (икает) чица, исцелю. Я те...». В ответ в толпе обрадованный смех мальчишки, сердитый окрик взрослых: «Ково привела, дура». «Уберите с дороги, уберите скорее». Пение: «Заступница усердная, мати господа вышнява». Пьяный, заслышав пенье, поет сзади иконы в толпе свое: «Э-эх, и э-эх, и-и-и эх, ть!». Его отгаскивают. Из-за деревни, с поля бегут колхозники. С широко раскрытыми, изумленными, испуганными глазами подходит Наташа, останавливаясь у дороги, смотрит на процессию.

Две бабы чуть не подрались.

1-я БАБА. Куды меня от владычицы ссошьешь, куды?

2-я БАБА *(часто крестясь)*. Еще мало тебе? Еще надо над самой башкой. Пресвятая мати дева!

1-я БАБА. Злоба ты человечья! Па-скуда! Божья мати, заступница.

(Сбоку дороги, там же, где Наташа, стоит взерошенный старик с батожком. Он, как заводной, поворачивается то влево, то вправо, упорно спрашивает).

СТАРИК. Обновленная аль явленная? Обновляная аль явленная? Обновленная аль...

ФЕКЛА *(отъезжается сердито)*. Да тебе не все одно, дедушка? Молися!

СТАРИК *(строптиво)*. Не знаю, которой молиться-то, обновленной аль явленной.

СВЯЩЕННИК *(благообразный, ничуть не карикатурный, кадит, сердито озираясь по сторонам, говорит сильно недовольным голосом)*. О, всепетая мати, родшая всех святых, святейшее слово... Григорь Максимыч, подтвердите, что я молебствовал по принуждению...

ГРИГОРИЙ МИРОНОВ *(поет)*. Пресвятая богородице, моли бога о нас! *(Отвечает попу скороговоркой)*. Не сумлевайтесь, батюшка! Прихожане застоят перед властью...

СВЯЩЕННИК *(еще более недовольно, торопливо и маловнятно)*. Странных прибежище, больных исцеленье, сирых признание... Знаю вас, заступничков, испытал!

ГРИГОРИЙ МИРОНОВ *(поет)*. Пресвятая богородице... *(Скороговоркой)*. А ты, отец, справляй свое дело, справляй. *(Поет.)* Моли бога о нас.

СВЯЩЕННИК. Яко купина неопалимая... (Несушим впереди икону.) Несите быстрее. В церкви еще молебствовать... Быстрее, быстрее.

ОДИН ИЗ НЕСУЩИХ. Да что, твое благословенье? Жеребцы мы, что ли? И так чуть не вскачь несемся.

ВТОРОЙ ИЗ НЕСУЩИХ. К тому же народ затоптать можем.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА (страстно кидается наземь, навстречу иконе, отбрасывая в сторону грабли). Не карай, владычица, смилосердуй! Не своей волей в колхоз!.. (Пронесят над ней икону.)

КОЛХОЗНИК (очень высокий, худой мужик, также в сторону бросает косу, восклицает неожиданно басом). Мать-дева пречистая! (Пролезает под икону.)

(Наташа смотрит на него и с боязнью, и с укоризной, зовет по имени, голос ее не слышен.)

ФЕКЛА (проходя мимо Наташи, громко). Есть правда, есть! Не в колхозе обновилась матушка пречиста головушка, не в колхозе, нет!

НАТАША (вздвигнув, сразу опоминается, резко дергает высокого мужика за руку в сторону, кричит). Семен Петрович! (Указывает пальцем вверх, на его голову.) На вышке у тебя неблагополучно! Зачем косу звырнул? Ответственное добро. Подыми!

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА (иступленно). Собственное! Сами наживали. Защитит теперь владычица от общественного. Уйду, уйду из колхоза, уведу сынов. Выводи, заступница. (Икона уже далеко впереди. Доносится пенье: «Моли бога о нас».)

СТАРУШОНКА (согнутая так, что может, опираясь на батожок, поднимать только голову, а не весь стан, злобно дребезжит). Обещали всех в достатке уравнивать. Ни тебе иголки в дому, ни тебе нитки.

ВЫСОКИЙ МУЖИК (подняв и отбрасывая косу подальше). Мое, нажитое! Хочу—берегу, хочу—прочь кидая.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. А ну да, ну да, сынок. Не доставайся ни вам, ни нам! (С остервенением ногой,

руками ломает грабли. Вокруг них сбивается народ, больше бабы и старики, но кое-кто на их шум взвращается назад и от основного шествия.)

СТАРУШОНКА. С богатыми не судись, с сильным не борись, с господом не спорь. А вы все это порушили, вот и нитки нету в дому.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. То да се, да вместе наживем. А где у меня сапоги?

НАТАША. У тебя их и не было.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Не было, а я их желаю. Взяться богатить, так давай.

ВОСТРОНОСАЯ БАБЕНКА. Наташа сивка, как общественну гонют, все в свой двор завернет. И скотина свою хозяина помнит, из чужих рук рвется к нему.

СТАРУШОНКА. Проглянула ты теперь, обновилась, божа мати, заступница. (Появляется Миронов.) Увидала нас. Сохрани, спаси, не причинны мы.

НАТАША (с сердцем). Где тебя увидишь. До земли в работе на хозяев скрючилась. Она б лучше распрямила тебя, чудотворица.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Над святыней, девка, издеваешься? А?

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Над старостью ругаешься, непутная. Ты гляди, берегись.

СТАРИК. Скотину сдали в колхоз, живот свой сдали, бога не сдадим.

БАБЫ (с визгом окружают Наташу, хватают ее за руки, за плечи, наскაკивают). Чудо бог явил, ты с издевкой. Как тянули наших мужьев на ксылны берега, на молочны реки, ты всех больше разорялася.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Чего с ней говорить. Поучить хорошенько. Вожжой поучить надо.

СТАРУШОНКА (стуча батожком). Все девка потеряла стыд. Гляжу, все с мужиками зубы скалит...

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Чего терять. У Кусковых ни достатку, ни стыду сроду не было.

ВОСТРОНОСАЯ БАБЕНКА. Ей-ная родная сестра отряд целый ублажила, сказывали.

МУЖИК. Эта эдака же вертишлюха, нас в колхоз тянула, тьфу!

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Чего в том колхозе ты нам припасла, чего?

МАРЬЯ (*подбегает, в смятении тычется между баб, кольцом окруживших Наташу*). Матушки, бабоньки, да пустите девку. Обновленную-то свою хоть побойтесь.

СТАРУШОНКА. Обновленная назад нас зовет, к своему тихому двору.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. В единоличном хозяйстве обновилась. Слышишь, девка подлая. Мало исщипать, истерзать тебя. Рушить наши хозяйства натаакивала.

МАРЬЯ. Ой, Фёдку на грех в город услали. Бабы, мужики, заступитесь. Ой, да пустите вы девушку. (*Она бежит вокруг срудившихся около Наташи, как наседка вокруг цыпленка, схваченного коршунном. Ветром доносится пень: «...за всех молишь господ».*)

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Нечего с ней канителиться, взгреть хорошенько, да к молебну в церкву пора. Ну-ка... (*Сквозь толпу кидается к Наташе.*)

СТАРУШОНКА (*приподымая батожок*). Заголить ей подол, провести на показ по селу бесстыдницу, богохульницу.

КРИКИ. Заголяй подол!

— Хватай за руки!

НАТАША. Товарищи, братцы, бабоньки, за что же? А-ай!

МУЖСКОЙ ВОЗГЛАС. Дай покрепче в морду ей, чтоб не кусалась.

ФЕТИНЬЯ (*вырастает в толпе, мощным ударом в лицо отшибая мужика*). Не тронь! (*Чрезвычайно ловко для громоздкого ее тела кидается в сторону, поднимает брошенную косу, наступая на толпу, размахивая косой.*) Ну-ка, сунься кто.

(*В толпе грозят кулаками, ругаются, насканивают, но отступают. За спиной Фетиньи Наташа, все ниже склоняясь набок, покачиваясь на ногах, медленно падает на землю. По бледной щеке из рта у нее струится кровь. Другая щека и шея с разорванным воротником платья расцарапана. С одного боку платье изорвано.*)

МОЛОДОЙ ПАРНИШКА (*бежит к толпе из села*). Партейных в одну избу заманули, заперли. Двое, было, вылезли, сюда бегли...

ФЕТИНЬЯ. Одна справлюся. Дурачье безмозговое. Подкрашена икона, подмалевана. Сама вида-ала.

СТАРУШОНКА. Нечестивица!

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Отсохнет язык у тебя.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Што? Што? Погоди, бабы.

МАРЬЯ. Свой, баушка, береги. Постыдилась бы на старости велеть девок голить.

2-й МУЖИК. Чего видала? Где видала?

ФЕТИНЬЯ (*оглядываясь на лежащую за ней Наташу, показывая на нее косой*). Золотую девку угробили. За прокуратные ихние штуки. (*Марья наклоняется над Наташей, трогает за руки, своей щекой и губами цупает тепло ее лица, шеи, груди*). И не феклина вовсе икона, а схожая. Ненаороком видала я, как иконами менялись, да мне было невдомек.

(*Нестройный шум толпы, смятенье, сомненье.*)

ВЫСОКИЙ МУЖИК. А ты не разводи бобов, ответить можешь.

СТАРИК. Чего слушать? Проверку надо. Проверку!

ФЕТИНЬЯ. Не боюсь ответу. Да и было бы, за что отвечать.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Станулись они с Наталкой, стакнулись.

СТАРУШОНКА (*веско, все знает*). Не могли,—Фёдку феклина меж собой делили.

2-й МУЖИК. Стой-ко, помирать пора, бабка, а ты со сплетками. Сказывай, Фетиска, сказывай.

ФЕТИНЬЯ. Стара девка, бывша монашка, у Мироновых проживает, родственница. Она в монастырю, в живописной, занималась. Она мироновску икону и подновила чуть.

РАССПРОСЫ БАБ. Ой, да чего же мироновску? Зачем не феклину? Как же у Феклы обновленная?

ФЕТИНЬЯ. Тетка моя посмелей, порысковее, у себя Мирговы не реша-

лись. А феклину икону снять — угол бы впусовал, мы бы, семейные, при-метили.

МАРЬЯ (*приподнимаясь от Наташи, хлопает себя по бокам*). Пустосвяты прожженные. Так, ведь, и есть: обдурили бога. Ай-пра, самого обдурили. Бабоньки, помогите-ка мне. (*Кое-кто склоняется с ней тоже над Наташей, закрыв ее от зрителей.*)

ФЕТИНЬЯ. Иконами в глухой вечер менялись. Я видала, меня они не видали. Мне все одно ни к чему. Думать об этом забыла. Ранним-рано, до свету, я поднялась, в огород собираюся, гляжу, свекровка под образами поклоны бьет. Подумалось: «Что тебя, тетка, вздрючило, никогда столь усердна до молитвы не была». И опять мне ни к чему. В огороде слышу: «Обновилася, обновилася»...

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА.
Врешь, девушка.

СТАРУШОНКА. Грех на душу берешь, по злобствию на тетку, что ли?

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Как же ты дозналася?

ФЕТИНЬЯ. Это они, бабка, по злобе чудо творили. Через чудо чаяли колхозников разбить. А не я дозналася, парнишка-четырёхлеток, махонький. Обмочился ночью грехом, проснулся, заплакал, мать не слышит. Бабка, Мирониха, на его цыкнула, он притих и разглядел. Поутру сказывает матери: «Бабка с тетей божу мать румянили». Мать осерчала, не велела ему пустяков болтать. А еще через день молится утром, видит, икона не та. Она тихая, но приметливая. Эта ихняя сноха седни шепнула мне. Я б смолчала тайну, кабы вы девуку не трогали. Мне ответом грозили, а теперь отвечайте-ка вы за убитую.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА (*кидаясь к Наташе*). Марья, да ты водичей. Где бы водичицы. Ах, грех какой!

(*Из толпы дают бестолковые советы, охают, жалеют.*)

МАРЬЯ. Не толкайтесь. Жива девка, сомлела, сейчас отдышалася. Ну-ка подымай.

БАБЫ (*суетятся*). Ах, грех какой, ах, беда какая! И платьишечко-то призорвали.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Платьишечко. Саму-то было кончили. Ду-уры зевластые. Подымай, дядя Егор, понесем. (*Несут Наташу. Она, тяжело дыша, открывает глаза, снова их закрывает, смотрит все сознательней. Бабы приговаривают над ней ласковые слова, поддерживают сбоку. Она вдруг говорит слабым, но настойчивым голосом.*)

НАТАША. Не топчите наш клевер. Несите по дороге.

ВЫСОКИЙ МУЖИК. Не докосили из-за чуда, туды бы его...

ПОЖИЛАЯ БАБА. Ах, мы темны головы.

СТАРИК. Вы первые и побросали грабли, завели про чудо стрекотню. Обновленная, явленная... Разложить бы вас вместе с Феклой...

НАТАША. Подобрать грабли-то надо. Эй, товарищи! (*Тяжело дышит, сплевывает кровь.*)

ПОЖИЛАЯ БАБА. А ты лежи, лежи, голубка, не ворошись.

МОЛОДОЙ ПАРНИШКА. На церковной площади собранье. Мироновых с Феклой допрашивают. Фетинья, меня за тобой послали.

ФЕТИНЬЯ (*с косой на плече*). И пойду. Мне чего не пойти, я чуда не сотворила.

(*Все идут поспешней, наступают идущий на площадь народ. Туда же идет священник. Он останавливает почти каждого проходящего.*)

СВЯЩЕННИК. Подтвердите, граждане, я молеbstвовал принудительно. Не прошу, а настаиваю.

(*От церкви слышен шум, потом пенье: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и не герой...».*)

Картина 2-я

Изда Натали. Очень чисто. Красный уголок. Маленький угольник заложен книгами. Под ним прибита треугольная свежая полочка, на ней газеты, аккуратно подобранные, репродуктор. Вместо кровати топчан, покрытый белым пикейным одеялом. На стене, поближе к кровати, прибито небольшое зеркальце. По-

середине стол, покрытый клеенкой, на нем букет расцветивших осенью листьев, на окнах занавески и т. д. Русская печка отделена старенькой, но чистой занавесью. На стуле у стола сидит скрюченная старушонка, батожок прислонен тут же к столу. Она вяжет чулок. С другой стороны сцены виден двор Натальи.

В избе:

СТАРУШОНКА (поет *дрезжащим голосом*). «Гора Афон, гора святая».

МАРЬЯ (проходит по двору, заглядывает в окна, входит в избу). Здравствуй-ка, не по месту бога расславилась, баушка. И образов-то у Наташи не видать.

СТАРУШОНКА. Здравствуешь. У Натальи свои патреты. Я здесь домовничаю, от скуки молитовку завела. (Смеется *тренькающим, тоненьким смешком*.) «Вставай проклятья» не на голос мне. Пэшибчее голос надо. А молитву все одно: хуть шепотком, хуть с икоткой, хуть в приговорочку.

МАРЬЯ. Ты бы икотку свою в другом месте разводила. С чего ты сюда повадилась? (Садится на сундук около кровати.)

СТАРУШОНКА. Копаюсь, по избе прибираюсь. Когда картошечку Наталье сварю. Самой-то ей неколи.

МАРЬЯ. Велика от тебя подмога в дому. Я б на месте Наташки близко тебя не пустила. Неужто забыла она твое старанье? Посейчас коло уха шрам.

СТАРУШОНКА. То не я харапнула. (С сожаленьем.) Где уж мне? Я только батожком намахивалась. И не ширнула ни разу.

МАРЬЯ. Следовало бы тебя за это батожком поторопить на тот свет. А мы вот жалеем твою бедную старость. Кормим колхозом. Наташка пуще всех жалеет, дура сердобольная.

СТАРУШОНКА. Как же дура? На этаку девку ты тень не наводи. За коров ей, слышь, награда и всему колхозу спосobie. Она все вокруг себе вскребет, вычистит. И мене и обмыла, и вошек вывела, одежонку перечинила. Дура! Ты скажешь...

МАРЬЯ. Стала бы умная с тобой вожжаться. Своих делов хватит.

СТАРУШОНКА. Все в делах, в дела-ах. Коров уберет, в колхозно правленье. Не раз, не два по ее совету дела в колхозе повертаются. (С *дрезжащим смешком*.) А мужики вокруг ее увиваются... ой. Выбериай любого да лучшего. Хошь холостого, хошь женатого.

МАРЬЯ. Смотрица ты, баба. Как была, так и осталась. Горбатого, видно, могила исправит. Дело через тебя передать, — опять сплетишь, не знай чего. Дождаться неколи мне. (Смотрит в окно.) Ктой-та? Никак Федор? Вот и ладно.

ФЕДЯ (проходит по двору, входит в избу). Нету Натальи?

МАРЬЯ. А ты бы хоть «здравствуй» сказаа. Ай мы не люди?

ФЕДОР (сумрачно). Здравствуй, коль не шутишь. (Садится на стул, вытирает рукавом пот со лба.) Устал. Только с трактору.

МАРЬЯ. Ну, и раздышался бы сперва, умылся, а то грязный к невесте. Наталья-то чистюха, не позволит неумытого. Еще в городе недавно обучался.

СТАРУШОНКА (с *дрезжащим смешком*). Невестушка и умает, и кудерьки расчешет, волосок к волоску.

ФЕДОР (сквозь зубы). Эта умает. Она расчешет.

МАРЬЯ. Кошка, что ль, промеж вас пробежала? Ну, мне мирить некогда. (Встает.) Федор, скажи Наташке, коров нынче в колхозное стадо сдаем. Ветинар приедет ввечеру. Обязательно наказывал ей притти, вымя осмотреть. И тебе надо свой выдел принять. Свекровка с чудом-то образумилась, по чести все разделила.

ФЕДОР. Ладно, скажу, коль сам ее дождусь.

МАРЬЯ. Придет, своего двора не минует. А ты отработал, здесь и отдохнешь. Чегой-то вовсе заспесивился. Прощайте, покедова. (Уходит.)

ФЕДОР (сердито смотрит ей вслед, достает из кармана табак, свертывает цыгарку, закуривает. Бабка вяжет чулок, исподлобья взглядывая на него. Помолчав). Какой еще ветеринар?

СТАРУШОНКА (подавшись к нему всем своим сторбленными туловищем).

Из совхозу наезжает. Тоже все круг Натальи... *(Ехидно поджав губы, качает головой, вяжет некоторое время в молчаньи, вздыхает.)* Пригоженька, молоденька, часто около мужиков... Ох-ох-ох. Все одно — повесть перед котом сало. Што ли кот от сала удержится?

ФЕДОР. Когда я на тракторных курсах был, кто без меня тут... чаще захаживал?

СТАРУШОНКА *(захлебывающимся шепотком)*. Тоже тракторист... Степанов Николай, что с этого, с военного, обучения недавно звернулся. И песни здесь вместе играли, на танцы и вместе ходили, и шу-шу, и ха-ха. Было, было, не скроешь.

ФЕДОР *(сплюнув на цыгарку, швырнул в сторону, отрывисто)*. Ночевал?

СТАРУШОНКА. Нет, не случилось. А зачем в избе ночевать? Только с покровы студь завернула, а то ноченьки-то были чуток холодные.

ФЕДОР *(ходит по избе, руки назад, мрачно насвистывает)*. К утру домой она возвращалась?

СТАРУШОНКА *(уклончиво)*. Дать... всяко доводилось.

ФЕДОР *(сердито откашливается)*. Гкхм. *(Подходит к окну, упорно смотрит в него.)*

СТАРУШОНКА *(вздыхает)*. Ой, грехи. Что невесты. И женихи-то эдаки, что все по собраньям... Не схочется им к мужьям прилепляться, нет, не охота.

ФЕДОР. Молчи. Наташка идет.

(Выходит в сени, притворив за собой дверь, но во дворе не появляется. Сквозь одинарные окна в избе слышен разговор со двора.)

НИКОЛАЙ *(высский тракторист, одет, как красноармеец)*. Напрасно, Наташа, вы меня понимаете, как грязь. Если я к вам и с намерениями, они добросовестные. Собираюсь просить вашей руки.

НАТАША *(со смехом)*. Долго больно собираетесь. Другой просто возьмет за руку, да и уведет от вас. *(С кокетливой гримаской.)* М-мм?

НИКОЛАЙ. На это и я согласен, сию же минуту. *(Хватает за руку.)*

НАТАША. Ну-ну. Повезливей. Пошутила я. *(Вырывает руку.)* Не собиралась еще и думать об замужестве. Вот зимой посвободней будет, подумаю...

НИКОЛАЙ. А если другой... до зимы уведет? Болтают люди, что уже невеста вы...

НАТАША. И другой подождет. *(Смеется.)* Я невеста невестная. Не даром мне за богородицу чуть щеку не разорвали. *(Показывает под волосами шрам от уха на щеке.)*

НИКОЛАЙ. Злодей от своего невежества. А следовало бы проучить. Обошлись слишком мягко с Феклой Хороша Голова.

НАТАША. Нет, чего же... После раздела хозяйство у ней уж не кулацкое. У ней сын погиб в борьбе с зелеными. Федор, воспитанник, в колхозе, ударник премированный.

НИКОЛАЙ. Есть упорный слух, что этот Федор—соперник мой, а, Наташ?..

НАТАША. Ну вас, разведете любви да соперничество. Не люблю. Надо нам всем быть дружными.

НИКОЛАЙ. Нет, все-таки. Надежду я могу иметь... в ожидании зимы?

НАТАША *(смеется)*. Недавно через радио из Москвы передавали песенку. *(Напевает.)* «Лучше не надеяться, чем после каяться, себя бра-анить...». *(Серьезно.)* Оставим этот разговор...

НИКОЛАЙ *(прищелкнув пятками, покорно склоняет голову набок)*. Прикажите.

НАТАША *(смеется)*. Обучили вас на допризывной подготовке здорово.

НИКОЛАЙ. Не подгадим, когда и в кадры попадем.

НАТАША. Очень вы образовались в городе. Ан все-таки хочу вам совет дать. Не сердитесь, что вроде не в свое дело суюсь, но ведь общее дело-то.

НИКОЛАЙ. Что вы, что вы. Покорнейше попрошу.

НАТАША. А что, если в трактор, в карбюратор, дождевой воды наливает? Она меньше осадку оставляет.

НИКОЛАЙ. Да-а. А я-то. Пожалуй. Испробую. Спасибо за совет.

НАТАША. Попробуйте, пожалуйста. До свиданья.

НИКОЛАЙ. Нельзя ли мне сейчас

в гости к вам напроситься? Уж очень приятно с вами беседовать. И даже прямо могу сознаться — полезно с вами беседовать.

НАТАША. Нельзя. Уж извиняйте, хочу от людей отдохнуть.

НИКОЛАЙ (любуюсь ею). И от меня?

НАТАША (смеясь). От вас, себе представьте, особенно.

НИКОЛАЙ (приподняв плечи, разведя руками). Воля женщины — закон. Честь имею кланяться. (Прикладывает руку к фуражке, щелкает каблуками, поворачивается по-военному и уходит со двора. Наташа идет в избу. В сенях слышен ее вскрик.) Он! Как ты напугал меня, Феденька. (Скрюченная старуха кидается с чулком за занавеску. Наташа входит в избу, сумрачный Федор за ней.)

ФЕДОР. Чего ж пугаться? Я такой страшный иль у тебя совесть нечистая?

НАТАША. Что-о? (Удивленно поворачивается к нему. Смеется.) Правда, страшный. Чего ты не побрился? (Снимает пальто и вязаную шапочку с головы.) В «Крокодиле» было напечатано: Что такой дикобраз? Ответ: Небритый зритель в театре. (Напевает, поправляя волосы перед зеркалом.)

ФЕДОР (скручивает цыгарку. Пальцы у него слегка дрожат. Табак рассыпается. Свертывает другую, нервно закуривает). Я не в театре. Из себя тоже не представляюсь, как в театре. (Злобно вскакивает, щелкает каблуками.) «Прикажете. Имею честь кланяться. Женщина мне закон».

НАТАША (всплеснув руками, хохочет). Похоже. Он, похоже. (Вытирая слезы, выступившие от смеха.) А все-таки красиво. И он очень хороший человек.

ФЕДОР. Похоже? (Свирепея.) Красиво? Тебе по нраву, а?

НАТАША (удивленно). Ты что это? В ревность ударился? (Пожимая плечами.) Глупый какой! (Подходя к нему с протянутыми руками.) И не целовал ни разочка. Хоть небритый, колючий, да уж ладно, сегодня стерплю. А уж завтра нет. Нет, нет, нет. (Обнимает его за шею обеими руками.) Обой-

ми меня покрепче, согрей. Сегодня холодно, я озябла.

ФЕДОР (грубо отрывая и отбрасывая ее руки от своей шеи). Озябла-а? А на дворе с милым сердцу не холодно в беседе прохлаждаться? Я тебе... (Вдруг, вспомнив, кидается за занавеску, вытаскивает оттуда скрюченную старушонку с чулком и батошкой, тащит за руку в сени. Наташа, хлопнув себя руками по коленям, опускается на стул.)

СТАРУШОНКА (семеня под его рукой к сеням). Роденький ты мой! Что тебе попритчилось? (Из сеней.) Пальтишку, платчишку хоть дай накинуть. Не зима, а студено на улке.

(Федор выкидывает в сени старушечье пальто и теплый платок, висевшие на спинке наташиной кровати.)

НАТАША (в то время, как он тащил старуху). Федь, никак ты впрямь свихнулся? Федор, не трогай, оставь баушку. (Встает со стула.) Что это с тобой? Я аж растерялась.

ФЕДОР (захлопывая дверь, накидывая на нее крючок). Пускай разнесет, вредная, по людям, по соседям. Немного подслушала, ведьма. (Гнев его несколько разрядился. Он уж спокойней, но все еще хмурый, опускается на стул у стола.)

НАТАША. Зачем ты так-то? У меня только и отдыкала, ветхая. Теперь посоветится, обидится. Больше не придет.

СТАРУШОНКА (со двора стучит пальцем в окно). Ночевать мне приходиться, ай уж не казаться вам до завтра?

НАТАША (в окно). Приходи, баушка, не бойся. (Усмехнувшись невестело.) Эх, нужда царская. Какую пасть из бедного человека делала. И юлит, и сплетками угождает, и половичком под ноги готова лечь старушечка. Мало ль таких несчастных?

ФЕДОР. Они, может, несчастные, а вы — бессовестные, нынешние бабы и девки.

НАТАША. И про меня ты так понимаешь?

ФЕДОР (злобно взглядывая на нее). А хоть бы и про тебя. Не закажешь. Как поступаешь, так и получай.

НАТАША. Как я поступаю? В чем я скверно поступаю?

ФЕДОР. В том. Круглый год собою свадьбу справляешь.

НАТАША (*вскочив с места, стукнув ладонью по столу*). Ах ты... (*Сделав над собой усилие, сдержалась. Говорит гневно, но с твердым спокойствием.*) Задумали мы на цельную жизнь сойтись. Я с мужем своим собираюсь в такой дружбе жить, чтобы ни разу мы друг дружку дураком не обозвали, 'не то, что еще какая брань. А у нас с тобой, как видно, не выйдет. Значит...

ФЕДОР. Чего значит... К другому переметнулась. Чего вилять? Уж не говоря об хаханьках да песенках, про дождевую воду не мне подсказала. Пусть чужой парень отличится. Это как?

НАТАША. Чужой? Не кулаку помогла. Ты ли, он ли, не все одно? Была бы колхозу польза. Которому довелось, тому и посоветовала. И тебе еще вот как присоветую.

ФЕДОР. Не нуждаюсь. Не стану бабьим умом жить, не на таковского напала. Правильно мамаша Фекла меня остерегала, что уложишь мужа себе в подметочки. На мне обожгешься.

НАТАША. Следовало бы то названную мамашу с другими кулаками на выкидку. Ну вот—отстояли, так воспитывай ее на наш лад. А ты сам под ее дудку норовишь.

ФЕДОР (*вскакивая*). И знаю, чего я норовлю. (*Грозит кулаком.*) Догадаешься, как норовлю.

НАТАША (*всплеснув руками*). Федор! Федя! Да ты что? Подменили тебя, что ли? Не ты ли крепко обнимал, не дать ветерку на меня дунуть обещался?

ФЕДОР. Мало ль чего обещал честной девке, не захватанной. Выпялила зенки! Пялится перед всеми, раскраскарасавица! Стерва.

НАТАША. Перед кем я пялюсь? Что пошучу когда, что приятно мне, кляб не только тебе одному нравлюсь... Так ведь и за тебя это приятно мне.

ФЕДОР. За меня? Заботливая... Ух, так бы и плюнул в лицо твое, в ненавистное.

НАТАША (*улыбаясь нерешительно и кротко, протягивает к нему руки*). Не правду говоришь. По любви злишься, не по ненависти. Ведь я твоя милая. Сам выбрал. Не свахи насватали. Давай помирился, а, Федь?

ФЕДОР. М-м, заужималася. Так и вьешься змеей, прямо к сердцу к самому. (*Подходит к ней, сильно трясет ее за плечи, потом бешено целует.*) Убью я тебя, подлюю, попадешь под случай. Ветеринару ноги обломаю. Кольку-тракториста стукну, что не встанет. (*Снова трясет ее, жмет к себе, нагибает спиной сильно назад. И с любовью, и с ненавистью.*)

НАТАША. Постой, погоди, меня-то не изломай всеё. (*Высвобождается, смеется, поправляя растрепавшиеся волосы.*) Ты уже всех мужчин в колхозе поубивай, тогда ходи спокойный.

ФЕДОР (*с угрозой*). А ты не расстривай сердца. Покаешься, как придет беда.

НАТАША. Свое сердце не расстривала, скрепила я, когда ты меня уверял, а с Фетясой ребенка прижил. Тебя же утешала, как об расходах на алименты расстривался. Ничего, говорю, вместе наживем, хватит на твое дитя. А ты за какой пустяк в ненависть на меня?

ФЕДОР. Этого не разводи. Сравняла бабу с мужиком. Мой грех я еще отрицать могу, а вот Фетиска пусть попробует. Ты не мужчина...

НАТАША. Я не мужчина? А кровью, сердце у меня овечьи, что ли, не человекьи?

ФЕДОР. А ты что, сатаной хочешь над мужиком царить?

НАТАША. Сатаной, не сатаной, а не дурой, кротким ангелом. У кого в деревне жены ангелами слыли, у тех жен ребра мужьями поломаны.

ФЕДОР. И твои не уцелеют, коль хвостом вертеть не перестанешь.

НАТАША. Я хвостом не верчу. Я те верная. Только ты такие разговоры прекрати. Вон пастух наш корову ни в жизнь ударить не позволит, а я—человек.

ФЕДОР. Обхаживают вас, деревенских дур, городские страдальцы, втол-

ковали, что баба — человек, а вы и на дыбки. Думаете, и впрямь сталося Тьфу!

НАТАША. А ты с оглядкой плюйся. Уйду, ни разу не оглянуся на тебя.

ФЕДОР. Уйдешь? К ко-ому? Сказывай, потаскуха! (Схватывает ее за волосы, ударяет кулаком по спине.)

НАТАША (вырывается, в борьбе падает на пол). Федор... Фед...а-а...

ФЕДОР (все больше свирепея от ее беспомощных криков). Колхозная... Не дам над собой верх взять. Не уйдешь добром. Изувечу-у... Я тя научу мне противиться... Не оставлю цельной косточки... Я те дам с другими пересмеиваться... Не убили тебя цельным обществом... я добыю-ю...

РЕПРОДУКТОР. Внимание... Внимание... Говорит Москва...

(От неожиданности Федор вздрагивает, разжимает руки, растерянно оглядывается, встает. Наташа лежит на полу затихшая.)

ФЕДОР (тяжело дыша). До чего довела; змея... Говорил, покорись. Вправду, что ль, убил? Ты чего молчишь? (Быстро идет за занавеску, возвращается с ковшом воды. Наташа медленно встает, стряхивает платье, поправляет волосы. Держась за сундук, за кровать, за встречные предметы, нетвердо идет к двери.) Испей. Дура какая, своебышная... Небось, теперь больно? (Наташа поворачивает к нему лицо от двери). Наталья... Ну, ладно. Сама на грех навела...

НАТАША. Наши деревенски били... простила ихнюю темноту. Не прошу тебя. (Выходит в сени, плотно затворяет за собой дверь.)

ФЕДОР (кидается за ней с ковшом, полным воды. Вода на-ходу расплескивается, обливает ему ноги. Он со злостью швыряет на пол ковш.) Будь ты проклято, все на свете!

(Наташа в это время проходит по двору к воротам. Федор выбегает в сени, во двор. Наташу уже не видно или видно вдаль.)

ФЕДОР. Воротись, куда? Наташа. Мало ль что бывает... Наталья...

ГОЛОС НАТАШИ. Прощай, Федя, навсегда!

(Федор возвращается в избу, как пьяный. Растерянно ищет фуражку. Под ноги ему попадает стул или табуретка.)

Он с силой швыряет ее об пол.)

ФЕДОР. Препadaй ты, моя жизнь... неудачная...

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Картина 1-я.

Прошло около года. Август месяц. Бабы на колхозном поле копают картошку. Ссыпают ее в телеги. Поют.

МАРЬЯ. А что, бабы, принавыкли в колхозе артелью, да все с песней. Мне уж перестало быть чудно, что про всяк случай я играю песни, чисто девка али молодушка.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Нонешни молодушки не торопятся прибавиться, пристариться. В модах, в нарядах от девок нипочем не отстают. (Толкает шутливо в бок Стешу.)

СТЕША (молодая баба со стрижкой «фокстрот»). Что мне отставать. Не я виновата, что Мотья еще в девках, а я замужняя. Ни в жизнь не позволю, чтоб Мотья, ведьма, культурней меня сделалася.

ПОЖИЛАЯ БАБА. А я-то, ба, смолду эдаку кохточку (держит Стешу за рукав) не то на работу,—не в кажны гости бы надела.

СТЕША. Ой, куда это я в гости пойду, так одетая?

ФЕКЛА. Мы-то, бабоньки, хороши головы, смирней овцы были. (Вдыхает.) Из мужниных рук глядели. Это у вас деньжонки заработаны свои, так и форсите, не дорожитесь.

МАРЬЯ. Ну, тебя муж, сказывают, не присмирля, свекровушка. Недолго жил, да и живой шибко кроток был. А вот ты снох наряжала, да и протирала за наряды глазыньки нашими же следами.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Чего старо ворошить, отбитое, не спиже уж

отношенное вспоминать. *(Вздыхает.)* Отошла свекровья власть. Отменили нас, как царя. Моя сноха и матушкой меня николи не назовет.

СТЕША *(Марье тихо)*. Чортушке она матушка. Сноха-то жаловалась.

РЯБЕНЬКАЯ БАБА. О свекрах теперь не разговор. Свое отлютовали. А через мужей еще льются наши слезы. *(Вздыхает.)* С этого боку наша женская жизнь еще не устроенная.

МАРЬЯ. Тебе желательно, чтоб каждый день тебя с мужем Сталин сам разнимал. Великое спасибо, что об нас и об детях в законах занимается. Зато мы за него всем бабьим миром горой стоим. Шутка ль дело, деревенску бабу раскрепостил. Когда слыхано, когда видано, такой хороший у каждой свой заработок. Муж не пригнетет, сама прокормлюсь, оденусь и обуося. Не распускай губы перед своим мужиком, будешь устроенная.

СТЕША. Мой отец пять ртов кормил, за это всю жизнь мамашу корял. Точно мы — чужое рождение. Я сама пятерых прокормлю, в том числе и своего мужа. И пенять ему не буду.

МАРЬЯ. Шибко разбахвалилась. За чем дармоеда из мужа делать? Их только приучи. *(Показывает на рябенкую бабенку.)* Будешь, как Фросья, плакать, что с мужем не устроена. Когда с матушкой-свекровкой мы жили, сын у нее считался все-таки человек, а сноха так кой-чего, без души, при нем... Тогда Андрей мой не раз с придурью на меня покрикивал: подай, принеси, убери.

ФЕКЛА. Ой, Марошка, хороша голова, у нас злые сыновья уродились, не знай, зачем вы в жены к ним напросились.

РЯБЕНЬКАЯ БАБА. Не сами выбирали. Волей родительской, чать, шли.

ФЕКЛА. Зато теперь вам, хороши головы, воля вольная. Сами хвалитесь, и детей одни прокормите. Чего ж Андрея теперь Марья за собой увела, матери не скинула?

МАРЬЯ. Теперь не спожидается. Остались без твоего наузыкиванья, так душа в душу живем. Он ли мне подаст, я ль ему, — не считаемся. Кому время да по силам, тот и сделает. Не то, что

всю заботу по детям и по дому на бабу валить.

СТЕША. Наташа Соколова вон отослала тебе Федора. *(Все смеются.)* Будет и влюбленная была в него, а отставила.

ФЕКЛА. Ой, хороша головушка. Мы и слов-то эдаких стеснялися — влюбленная.

ПОЖИЛАЯ БАБА. Наташе теперь кто в ровню угодит? Кто эдаку возьметса привадить? Не светило, не горело, да вдруг припекло. Была дьвка — сирота Куськова, стала Соколовна, Соколова. Одних платьев, чать, сундук цельный в приданое. Поглядела я, как она, в город отъезжаючи, прибиралась, одежду перекладывала, матушки!..

РЯБЕНЬКАЯ БАБА *(захлебываясь от восхищения)*. Одно у ней тако цветастенькое, с отливчиком, из чистого шелку.

БАБЫ. Сизое шерстяное с вышивкой.

— Юбка тоже полшерстяная черная, а к ей блюзочка: серенька, да перлова, да синенька цветочками, да беленька.

— Две сумочки: кожаная да бархатная.

— А магазинных чулок у ей чуть не боле полдюжины.

— В прошлом годе шубку справила себе. В нонешнем пальто на сюровой подкладке.

— Сюра не бумажная, а шелковая.

МАРЬЯ. Бабы, бабы. И про картошкү позабыли, раззавидовались. *(Сама с невольной завистью.)* У ней рубашки городские, белые, с кружевцами. Нашею всякие буски... И чего, чего нет. Вот тебе и доярка-коровница.

ФЕТИНЬЯ. Тетка Марья, завидки и тебя разобрали.

ПОЖИЛАЯ БАБА. А тебе, небось, не завидно?

ФЕТИНЬЯ. Об этом я смолчу. Только желаю Наташке и придано богатое, и мужа получше Федора. И не потому, что, окромя платьев, она теперь член правительства.

ФЕКЛА. Наталья — золотая голова, на усе удатная. Как теперь охаешь ее? Но все-к тебе, Фетиса, мила головушка, не ее бы хвалить, а не Федора бы хаять.

ФЕТИНЬЯ. Без Наташки я, может, давно в речке плыла бы утопая. Может, под твоим, под сараем, тетя Фекла, в петле повисла бы я горькая. *(Повысив голос.)* Все вы бабы законные, а я девка. Безмужнее брюхо носила, бедовое. А я не из дерева тоже слажена, чтобы столь без подмоги стерпеть.

РЯБЕНЬКАЯ БАБА *(испуганно)*. Да ты чего, Фетис... руками размахалась. Мы тебя, вроде, не осуждали.

ФЕТИНЬЯ. Помолчи. На что робка, а и ты пересуживала. Все я слышала, все знаю: и смешки, и осужденья, и ругачку вашу за моей спиной. Идешь, бывало, мимо вас к колодцу за водой, земля под ногами от стыду горит.

МАРЬЯ *(примиряюще)*. Ладно, ладно. За спиной и царя ругали. Мало ль что было. Теперь уж мы привыкли к твоему греху.

ФЕТИНЬЯ. Царь-то, доказано, стона не одной ругани. А меня в извод извели бы за мое же за горькое несчастье. Извели бы, как не наташкина поддержка. Тебе, тетя Фекла, моя злодетельница, не довелось Федьку на мне оженить. Не удалось тебе сына моего сравить, как еще в пути на свет он был. Обидно тебе, но знаю я, пуше всего зато на меня ты со злым намекиванием, что Наташку из-за меня прогнала, упустила. Сколь сноха-то выгодная в твоём доме, старалась бы из самого из правительства. Сама проворонила, старая карга, а меня завинить хочешь? А?

ФЕКЛА *(визливо)*. Что ж это, бабоньки, головы хороши, вы за меня не вступитесь? Чисто собаки, взелись на меня сноха Марья и эта... федыкина забалушка. Каково терпеть на себя волосы, при старых-то моих годах. *(Плачет с невнятными причитаниями.)*

ПОЖИЛАЯ БАБА. Наталью-то, разлучницу, не достанешь? Трогать боишься? Потому на старухе сердце срываешь? Не гоже это, девка!

МАРЬЯ. А ей было гоже тиранить нас? Вам заболело, не на вашей спине горб нарастал.

ФЕТИНЬЯ. Никого я не боюсь, Руки, ноги не оторвать, спина целая, и в тягости была здорова, а теперь порожняя, любого обидчика уважу. На-

талья, не то, что ругать-бить,—я богу за нее молось. Она пожалела незаконное дите мое, в душу мою материнскую не харкнула.

МАРЬЯ. Ну, Наташка сама лба не крестит и тебя об этом, чать, не просит. Видала она ваши молитвы-то.

ФЕТИНЬЯ. Я еще неграмотная, темная. Обучуся, без молитвы для нее чистое слово найду. Утрися, тетя Фекла. Жалится, как праведная. У-у, лиходейка моя. Сына у меня чуть не извела. Вот как дам тебе за свои обиды... *(Двигается на нее.)*

ФЕКЛА. Ой, убьет она меня, бабоньки. Ой, прищубет, золоты мои головушки, заступитесь...

МАРЬЯ *(отстраняя Фетинью плечом)*. Да не станет она рук марать. Фетис, не станешь ведь? Еще молоко в грудях у тебя перегорит, ну их...

ФЕТИНЬЯ. Не стану. Хоть криком сердце отвела за все ихние издевки. Пугнула маленько на будущее время.

1-я БАБА *(до сих пор молчавшая)*. Кончились ихние надсмешки да поспешки. Над Соколовой над Наташей сколь злого смеху было. Теперь те же бабы перед ней мигают юбками, кланяются.

2-я БАБА. И люди нас пригибали, и сами старались, перед богатыми в три дуги сгинались. Ну, Наташка, хоть и в начальство вышла, не падкая до этого. Ее не обманешь.

3-я БАБА. Сила ломит и солому. Когда у меня мужик погиб при белых в Красной армии, осталась я с детьми нестой Кусковых, только привету и слышала вослед: побирушка идет. А собрали колхоз, не отмени меня, приняли. Теперь четыреста дней имею сама. У меня кровать светлая *(всхлипывает)*, кисейные занавески висят.

СТЕША. Да об чем же плачешь? Ой, и у меня на тебя невольные слезы напросились. С сумой ходила, а теперь четыреста дней. На прошлом празднике я видала, в хороший трикотаж ты оделась.

МАРЬЯ. Ну, бабы, бабы, поспешай. А то хвалились, да кабы набок не свалились. *(Короткое молчание)*. Наташка в дорогу отправилась тоже в хорошем трикотаже.

СТАРУШОНКА (*сидит в сторонке, вяжет чулок*). Эта пущей носит кожу, как не ей? Эдаку самосильную я впервой вижу, а мне уж шестьдесят семей, не то восьмой пошел...

МАРЬЯ. Да ты, бабка, поди, прочиталася. Не все ли восемьдесят?..

СТАРУШОНКА. Э, нет, не пристаивай. Кабы у меня от тяжелой работы спина не согнутая, я бы еще очень видная была из себя.

МАРЬЯ. На женихов еще глазом косила бы? Баба-ягодка.

(*Все смеются.*)

СТАРУШОНКА. А смеху-то мало тут. Кругом я сирота, все поубиваты, где налиться ягодкой? И то в колхозе в нынешний год я в тело вошла. Брюхо вот появилось, а то была так, под ребра западина.

МАРЬЯ. Да ты грехом понесла, может? Не с мужиком ли с жиру расшлалася?

(*Все смеются.*)

СТАРУШОНКА (*довольная*). Гляди, пустишь сплетку: с мужиком. Еще люди подхватят. Пища есть, она хорошо идет в меня. И пожить теперь охота мне. Еще бы годков с десяток. (*Вздыхает умильно.*) Определила бы мне наша власть советская еще десять годков бы пожить. Расстаралась бы, милостивая.

(*Все смеются.*)

СТЕША. Эдак ты, пожалуй, и воскресать себя затребуешь.

МАРЬЯ. Смехом, смехом, а как жизнь получшала, неохота помирать. Нонешний год вовсе хорошо мы в колхозе раздышались.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА (*Фекла*). Федору вашему, сказывают, хорошо Наташа отбрила? Прямо ножки подкосились у его.

ФЕКЛА (*нехотя*). Кто их знает, мила головушка, что промеж двоих вышло. Это вон бабка сказки складает, про что, сама не знает.

СТАРУШОНКА. Я не знаю? Ты скажешь. Все ихни тайности Наталья не таила. Он ей снова...

РЯБЕНЬКАЯ БАБА. Погоди. Слышали уж тебя, баушка. Чего же Федор еще все расстраивается?

МАРЬЯ. Кабы не сгубился человек! То напьется, то с колхозным правлением в дерзости, то начнет сверх меры работу ворочать. Опять все кинет, опять в запой...

СТЕША. Обсуждали уж об нем принять решение. Товарищи жалеют. Сам по себе человек стоящий, все такого мнения.

ФЕКЛА. Эх вы, мои хороши головы, на деревне все известно, не утаишь. На работу всегда спорый с малолетства был, ничего не скажешь. И не дурак, а все вроде парень-ротозей.

МАРЬЯ. Где же ротозей? В чем примечено? Чать, и мы на одном дворе с ним работали.

ФЕКЛА. Тоже, знать, неприметливы, хороши головы. О выгоде для себя аль для семейства никогда не умел. Как Наташка была горькая голь перекатная, неотрывно к ей припадал. Имущество нажила, собрала придано, купецкой дочери в пору, он кулаками от себя невесту отмахал, умна голова. А она вон теперь, дале боле, сколь высокого достигла.

ПОЖИЛАЯ КОЛХОЗНИЦА. Ты чего ж плохо глядела. Для его же добра натакнула бы, поучила парня в дело обращенью, когда еще в высокую власть Наташку не ставили.

ФЕКЛА. Эх, мила ты моя головушка, видала здесь, как теперь в семействе старших почитают.

ФЕТИНЬЯ. Какие старшие, по делам да по советам по ихним и почет. Да не бойся, не шарахайся. Нужна ты мне, как подного дерьма. Отчитаю — и ладно.

МАРЬЯ (*вставая*). Ну вот и скончено, и картошь покопали, и людям досталось. Всеё воду из нашей речки не перелить, айдате-ка, складайте остатки, да и по дворам. (*Встает, встряхивается. Другие шумно поднимаются за ней. Молодые бабы негромко запевают: «Девушки плачут, девушкам сегодня грустно...». На поле бежит трактористка.*)

ТРАКТОРИСТКА. Товарищи. Девушки. Лякуйте. Хоть на губах. Давай-

те музыку. На-аши еще вперед пошли... Эх-да, эх-да! *(Припрыгивает, пританцовывает на-ходу.)*

МАРЬЯ. Овода, што ль, тебя в поле накусали? Аль вина ненароком хлебнула? С чего ты?

ТРАКТОРИСТКА. Давно все попропали овода. Взвеселиться легко нам и без вина. Газеты привезли. Снова здорово про Наталью Васильевну Соколову отпечатано.

РЯБЕНЬКАЯ БАБА. Жилая. И где ж она? Опять в Москве, иль все еще чужие крахозы наблюдает?

СТЕША. Молодец Соколочка. Значит, не зря ее послали.

МАРЬЯ. Нашему колхозу от нее только прибыль да честь.

ТРАКТОРИСТКА. Сам непобедимый наш сотрудник Сталин с ней опять лично беседовал об результатах поездки по колхозам. Товарищи, вместе опять она в газете с ним. Так вот стоит прямо снятая, около него. *(Показывает, как стоит Наташа, и размахивает газетой.)*

ГОЛОСА. Дай посмотреть. Да что одна завладела? Покажите, бабоньки. Ну-ка, ну-ка, я погляжу.

ТРАКТОРИСТКА. Тише. Вы меня с ног собьете. Никому не дам. Сейчас пора в столовую, там все прочитаем. Все снимки пересмотрим... А когда с Ворошиловым Наташа разговаривала, сказала: мы хоть деревенские женщины, но не растяпы. Не только граблями и мотыгами сможем орудовать. Обещаюсь—и боевым оружием в большинстве научимся владеть. И в тылу, и на фронте, вместе с женихами, с мужьями, с братьями, с товарищами свой СССР сумеем защищать.

СТЕША. А не правда, что ли? Я стрелять умею, я целюсь хорошо.

ТРАКТОРИСТКА. Буду ворошиловским стрелком, помяните мое честное слово, комсомольское.

МАРЬЯ. А я уж там помене чьим, хоть не самим ворошиловским. Только на врага и моя рука научится. Нас, баб, тоже цельное воинство.

ТРАКТОРИСТКА. Ну, воинство, пошли в столовую. Стройся! *(Смеется, бабы выстраиваются в шеренгу. Трак-*

тористка первая, за ней Стеша и другие. Идут.)

ТРАКТОРИСТКА. Выше ногу. Бодрее шаг!

(Песня «Взвейся соколом»).

(Сзади всех, прибодрившись и тоже стараясь вскидывать ногу, идет скрюченная старушонка).

Картина 2-я.

В бывшем доме попа зальце деревенское. Набито людьми. Горит электричество.

НАТАША. Дорогие товарищи! Очень я была счастливая, что было с чем стоять перед Сталиным. Я сказала: с нами хотела бороться природа, но не смогла. Колхозники ее победили. Урожай хорош. Скот хорош. На ипподром, где кони бегают, мы рекордную лошадь доставили. В Эркака наши два коня были приняты на большой палец. Хорошо работает свиная ферма. А еще счастливы мы, товарищ Сталин, что можем доложить одно достижение, про которое я в других колхозах не слыхала. У нас открыт дом отдыха для ударника. Пастух Антон не хотел далеко уезжать, чтоб не оставлять безнадзорных коров. В нашем доме отдыха он четыре кило прибавил. Приезжайте к нам, дорогие товарищи правительство, отдохнуть. Мы вам и по шесть кило прибавим, наше честное колхозное. Жизнь у нас такая хорошая стала, что об пустяках, как самовары, стулья, одеялы, я и разговаривать не стану. Есть два трактора, получено разрешение на грузовую машину. Пятнадцать велосипедов имеют колхозники, один фордик в премию добыт лучшему бригадиру—Федору Рязанцеву, питомцу тетки Феклы Воропаевой. Сама бабка Фекла была враждебный элемент, но мы ее воспитали. Дала она хорошие показатели, и мы прямо на полосу старуху премировали. Мы у нашего правительства учимся и казнить, и миловать. Личные расчеты у нас не живут. Мы—колхоз, мы общим интересом крепки. И потому все у нас есть. Чего еще нам надо? Аэроплан понадобится, аэроплан заведем. И очень крепка в на-

шем колхозе женская сила. Раньше говорили: курица не птица, женщина не человек. По твоей заботе, товарищ Сталин, уже не курица жена и мать. Она уж в орлиную породу пером пошла, и не только своей семье, а всей дорогой нашей стране она работница и защитница. (Аплодисменты).

(Праздник с играми, песнями и т. д.).

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.

Картина 4-я.

Зимняя лунная ночь. Улица у бывшего дома попа. Здесь клуб. Окна освещены. На улице, на высоком крыльце, сидят двое парней, две девушки и молодой женатый. Они переговариваются друг с другом, тихонько смеются, так же потихоньку запевают, смолкают. Изнутри клуба доносится глухой гул разговора. Когда кто-нибудь выходит оттуда и дверь открывается, отчетливо слышны отдельные голоса и фразы.

На крыльце:

1-й ПАРЕНЬ. Ночка сегодня очень хорошая.

1-я ДЕВУШКА (напевает).

Ах, зачем эта ночь так была хороша...

2-й ПАРЕНЬ. Нет, объясните мне, барышни, что такое любовь? Никак я связно понять про это не могу.

2-я ДЕВУШКА. Собрание кончилось, а никому расходиться не охота. Все с Наташей Соколовой беседуют. Вот влюбиться в Наташу, узнайте про любовь...

1-й ПАРЕНЬ. Тогда проклинай свою мамашу, когда влюбишься в Наташу.

1-я ДЕВУШКА. Это почему? Объясните?

1-й ПАРЕНЬ. Очень разборчива. Скажет, личиком не вышел. Не такого, как ей надо, мамаша испекла.

2-й ПАРЕНЬ. Зачем нам Наташа, поближе сидящие есть. (Придвигается ко 2-й девушке.)

2-я ДЕВУШКА. Оставьте намеки при себе. Возьму да подальше отсяду. (Отодвигается. Парень снова придвигается к ней.) Ну вас. (Счастливо смеется.)

1-я ДЕВУШКА. В Наташу, чать, все наши парни теперь влюбленные.

1-й ПАРЕНЬ. Покорно благодарю. Пускай Федор сохнет, я подожду.

2-й ПАРЕНЬ. Очень уж деловая, и подружиться с ней поближе некогда. До любви маленько дружба нужна. Не сразу, ведь, полезешь обниматься. (2-й девушке.) Вы не озябли, Нюрочка? Пойдемте, прогуляемся. (Хочет ее обнять.)

2-я ДЕВУШКА. Не беспокойтесь. Спрячьте ваши руки в рукава. Перчатки-то потеряли, что вам Феничка связала?

2-й ПАРЕНЬ. Что Феничка? Наелась хлеба за счет красоты. Теперь и спортом не интересуется, растолстела.

1-я ДЕВУШКА. Ну дружбу напрашивается. А только с кем подружись маленько, сейчас кругом другой об этом разговор. Сплетут про половые отношения.

2-я ДЕВУШКА (отодвигаясь от 2-го парня). Истинная правда. Васька комсомолец сейчас видит, с кем сидишь.

1-й ПАРЕНЬ. Внимание к человеку. А ты бы с ним самим раньше близко не сидела...

1-я ДЕВУШКА. Нюрка, Вася теперь все округ Кати Киселевой. За тобой смотреть ему теперь некогда, радуйся.

2-я ДЕВУШКА. Врешь. Да когда же это? Что-то я не примечала. Ты правду говоришь? Вот какой... Ну, ладно, я ему отпою...

2-й ПАРЕНЬ. Хоть вам и не гожа, так и другая не трожа. Так, что ли? Эх, Нюрочка, роковая вы женщина.

2-я ДЕВУШКА. Вы не знай чего навоображаете. У меня сердце не постоянный двор. О себе лучше бы доказали. Феничка — перчатки, Настя — вышила...

2-й ПАРЕНЬ. Ну, и что ж, мой возраст, Нюрочка, опасный возраст, — двадцать лет. А все-таки не отношусь к тому количеству мужчин, которые обладают этим качеством. Кому-то объяснялся я в своей преданности. Очень обидно, что вы такая недоверчивая.

2-я ДЕВУШКА. Правда, что-то холодно. Надо согреться, пробежаться. (Сбегает с крыльца, бежит по улице.) Догоняйте, Коля.

(2-й парень бежит за ней.)

ЖЕНАТЫЙ (уныло). Дружи с вами, не дружи, а до женитьбы вас не раскусишь. Моя жена в невестах заливала то да се, а теперь — напротив. Раньше я много читал, а теперь она говорит: со мной поговори. Я люблю заниматься спортом, и она говорила — любит, а теперь в этом инертная. Вот на собрание не пошла, а я вернусь, покою мне не даст. Немножко ревнивая, в драку лезет. Плохое у наших жен с нами обращенье. (Открывается из клуба дверь, кто-то выходит. Доносится звонкий голос женщины: «А у нас, Наташа, на общей еде в поле бабам мяса не давали, чтоб мужчинам больше...». Голос Наташи: «Это где так распоряжались?»).

1-я **ДЕВУШКА**. Извините, зазвоните, в нашем колхозе только бы это попробовали.

1-й **ПАРЕНЬ**. За это Соколовна всех мужчин из колхоза у нас выселит. На племя не оставит.

• 1-я **ДЕВУШКА**. Стойте. Никак расходятся?

(Встает. Из клуба выходит народ. С разговорами расходятся по улице. Слышно, как прощаются с Наташей.)

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Я тебя жду, Наташа. Как ты одна...

НАТАША (невидимая зрителю). Не, не жди. Я тут в газетах пошвыряюсь. Не бойся. Я с защитной игрушечкой.

(Улица скоро пустеет. Издали доносится песня. В клубе гаснет свет. Голос Наташи: «Запирай, Пахомыч, запирай». Наташа сходит с крыльца. Идет за клуб по тропинке между деревьями, опущенными снегом. Когда она проходит мимо одного дерева, из-за него выходит мужчина, лицо которого закрыто воротником полушубка. Он идет за девушкой осторожно и медленно. Наташа не сразу слышит шаги, потом оглядывается, мужчина быстро прячется за дерево.)

НАТАША (останавливается). Кто это? Кто спрятался? (Опускает руку в карман шубки, идет назад.) Я, брат, не буду с тобой в прятки играть. (Останавливается.) Ну? (Некоторое

время стоит в ожидании, потом нерешительно поворачивается. Прямо навстречу ей, из-за деревьев, выходит Федор. Сразу не узнав его, Наташа вскрикивает.) Ой! Кто-о? (Вглядываясь, узнав.) О... испугал...

ФЕДОР (приподнимая шапку). Здравствуйте, Наталья Васильевна. Сердце-то, все-таки, женское, пугливое.

НАТАША. Если неожиданно, и мужчина пугается. Почему ты сразу не подошел? Зачем крался? Здравствуй. (Протягивает ему руку.)

ФЕДОР (не взяв руки). А может быть, я сзади хотел... чем-нибудь... Незаконченный счет с тобой у нас остался.

НАТАША (махнув рукой). Не умнел. (Идет, говорит, оглядываясь презрительно, через плечо.) Разбойник ты, что ль, по ночам счета сводить.

ФЕДОР. Днем не достанешь тебя. Птица важная стала. Наталья Васильевна, поговори со мной... в последний раз.

НАТАША (приостанавливаясь). А ты заставь. Дубинкой сзади. Ведь грозил?

ФЕДОР. Наталья Васильевна, человеку сердце нельзя так распалать...

НАТАША. О... убьешь? (Тихонько смеется и приближается к нему.)

ФЕДОР (очень серьезно, мужественно и просто). Наталья Васильевна.

НАТАША (шутливо, но сквозь смущенье). Что ты меня... все по батюшке? Прощался с выраженьем по матушке, встречаешь величаньем, М-м, Федя?

ФЕДОР. Отойдем в сторонку. Вот сюда. Не помешал бы кто. Надо нам поговорить.

НАТАША (отходя, куда он указывает). А не убьешь? Ведь грозил сейчас. А зачем? Ведь знаешь, давно я непугливая.

ФЕДОР. А испугалась, как подошел...

НАТАША. Ну да, испугалась. Да и привыкла я, что ты все пугаешь... Помнишь, Федя, вон на том, на моем старом огороде ты пугал (подняв голову, быстро) ...что твой труп увижу, если не отвечу на любовь.

ФЕДОР. А ты что... велишь мне теперь... такое сделать?

НАТАША. Я не злодейка и не дура. И не враг, чтоб из колхоза такого работника... Ты ж глупый. Нет, помнишь ты, о чем спрашиваю?

ФЕДОР. Я-то все помню, а ты?

НАТАША. И я все... Как ты побил меня...

ФЕДОР. Э-эх! Тебя побил, а себя тем покалечил. Не побил бы, кабы не любил. Понять должна.

НАТАША. Это старо, деревенское: не бьет, так не любит. Советская женщина не так понимает. Э, да что нам разъяснять друг дружке. Что ты хотел мне сказать? Зачем остановил?

ФЕДОР (печально). Не знаю. Показалось, что сегодня выйдет меж нами разговор.

НАТАША. Об чем?

ФЕДОР. Что ли, так и не о чем? Нет, коротка твоя память, Наташа. Это другим ты то да се, да член правительства.

НАТАША. А тебе что, разве на это чихать? Разве тебе это балабочки?

ФЕДОР. Ты меня еще укори, что я правительство не признаю, если в такой час не об этом твоим званием думаю. Не в нашем разговоре тебе свои права-обязанности доказывать, я за них не протестую.

НАТАША. Еще бы ты попробовал.

ФЕДОР. Я ведь тоже не в прежнем мурье живу, чтобы не понимать. Достигла ты большего, нам всем нужного. За это и почет, и уважение тебе и от меня, как от всех наших прочих граждан. Так это я завтра при всем колхозе сказать могу, а... А ну тебя. Дернула меня нелегкая. (Круто повернувшись, идет от нее.)

НАТАША. Федор, Федя, остановись. Я тебе говорю. Ну, на одно слово. Не хочешь разговаривать? Ну, и ладно. (Идет в другую сторону.)

ФЕДОР (возвращается). Нет, чего же ты? Наташа! Наташа! Сама вернула. Ну, хоть на прощанье слово скажи. Эх, загордела. Член правительства!

НАТАША (возвращаясь). А ты этим не кори. Это не всякому доверяется.

ФЕДОР. Да не этим, а твоей спесью-гордостью. Не хочешь со мной разговаривать, зазналась.

НАТАША. Не хочу. Да, я член правительства, имею право тем гордиться. (Вдруг, по-детски, искренно и беспомощно.) Хочу с тобой разговаривать, да не знаю, как.

ФЕДОР (подходя к ней). Чего не знаешь, Наталья Васильевна, дорогая?

НАТАША. Ты подумаешь, я обрадовалась. Ты скажешь: ее на ответственное дело выбрали, а она обо мне помнит... Ты подумаешь: я ее побил, она сказала: «Прощай навсегда», а сама опять: «Бей, пожалуйста». Нет, уж это извиняюсь. Ни меня, ни другую женщину никакому молодчику не допущу.

ФЕДОР (схватив ее за руки). Не буду. Никогда. Прямо торжественно обещаюсь. Как на Красной площади Ворошилову: «Я сын трудового народа...». Пальцем не трону. Ни тебя, ни чужую, хоть самую негодную бабу... Тьфу, извиняюсь, женщину.

НАТАША (смущенно смеясь). Да, не будешь. Руки-то все изломал, пусти. (Высвобождает руки.) Беда моя (закрывает глаза вытянутой до локтя рукой, воскликнув), что я такая верная...

ФЕДОР (обнимая, крепко прижимая к себе). Наташа, светик ясный, розацвет, ты осталась мне верная?

НАТАША. Ну да... Бывало, кто понравится, а тебя вспомню,—и не надо... на-дух, не надо никого... Бывало, подумаю или приснится, что ты неверный... что ты с другой, и просыпалась я в Москве в слезах. (Отстраняя его, разводя руками.) Чем обошел? Ну, чем? Уши. как уши, нос, как нос, глаза, как... Н-нет. (Припадая к нему.) Ни у кого таких нет, глазыньки мои, драгоценные. (Федор крепко прижимает к себе Наташу, целует долгим поцелуем.)

ФЕДОР. Не родилась та девушка, чтоб на нее тебя сменял. Не быть такой женщине, чтоб для нее тебе я неверный стал. Ох, Наталья, ты моя Наташа. (Снова обнимает, целует ее, вдруг неожиданно, с силой отрывает, как бы отбрасывает от себя.) Ты не думай, что я, кроме тебя, еще за чем гонюсь. Как

вспомнил, так обожгло. *(Хватает ее снова за руки.)* Наряды твои я все топором порублю. За себя возьму тебя в одной посконной юбке. Какую выбрал недетую, бедную, такую и возьму.

НАТАША. Ишь ты, ласковый! А меня гордячкой обозвал. Хочешь, чтоб во всем из твоих рук глядела... Ошибешься, миленький. *(Припадая головой к его плечу.)* Не наряды тогда, уж меня изруби. Я их заработала, богатство мое во мне, как отнимешь, а? Изрубишь, а я не с тебя новых спрошу, а сама заработаю. Вот этими вот руками. На, возьми их, руби. *(Федор хватается ее руки, сжимает их, потом обхватывает ее за плечи, снова крепко прижимает к себе.)*

НАТАША. Нет уже, не руби ты ни меня, ни моих трудов приобретенья. Давай будем верные друг дружке до старости, а в делах одинаково способные. Давай?

ФЕДОР. Да-авай. Ах, чорт задерн, до чего сменилась жизнь. Мне, мужику, здорово за женой попевать придется, чтобы вровень. Ну, я уж не отстану.

Шалишь. Вровень, так вровень, а не позади. Нет!

НАТАША. Сегодня вечером говорили, что за эту зиму ты хорошо работал. Не в наживе дело, за работу хвалю.

ФЕДОР. Ишь ты! И впрямь — правительство. Ну, что ж, теперь не скрою: для тебя подтянулся. А то чуть было не каюкнул в слабые.

НАТАША. Товарищи хорошие...

ФЕДОР. Я их только теперь, как стоит, оцениваю. А то без тебя, Наташка, в тоске я жил. Нехорошо я, трудно жил. Милка моя. *(Обнимает ее за плечи, заглядывает в глаза.)* А ты не обманешь? Может, завтра раздумаешь? А? Выйдешь за меня? Не врешь?

НАТАША. Я—член правительства, разве я могу врать? *(Смеется.)* Да что ты не видишь, что сама по тебе страдаю. Такое паршивое сердце у меня неразженное. А ноченька-то какая серебряная.

ФЕДОР. А невеста у меня золотая...

НАТАША. Эх, счастливая наша жизнь молодая.

Витязь в тигровой шкуре

ШОТА РУСТАВЕЛИ

Перевод Пантелеймона Петренко

При участии и под редакцией К. Чичинадзе.

ШОТА РУСТАВЕЛИ И ЕГО ПОЭМА

Достоверным источником биографических сведений о Руставели является единственное его произведение — поэма «Витязь в тигровой шкуре».

В двух строфах вступления и двух — эпилога поэмы сказано, что пишет эти стихи он, Руставели (Руствели). Затем первая строфа эпилога словами: «Пишу это я, некий месх» — дает знать, что родом он был из Месхетии, одной из культурнейших провинций древней Грузии. И, по народному преданию, Руставели происходил из месхетского села Рустави, поэтому имевшие место попытки отнесения Руставели к другой провинции Грузии не имеют никакого реального основания.

Третье и последнее, что мы узнаем из поэмы об ее авторе, — это время его деятельности: эпоха царствования царицы Тамары, конец XII и начало XIII веков. Об этом свидетельствует ряд вступительных и заключительных строф, в которых поэт восхваляет царицу Тамару и ее супруга Давида в качестве своих современников.

Это была эпоха наибольшего усиления Грузинского царства и расцвета его культурной жизни. Начатое еще при Давиде Возобновителе дело укрепления и расширения границ и улучшения хозяйственного состояния государства продолжалось больше столетия и достигло полного своего завершения в царствование царицы Тамары. Перестав быть объектом вторжений главных сил мусульманского мира, оттянутых к берегам Средиземного моря долгими крестовыми походами, Грузия XII века сама

перешла в наступление и далеко расширила свои пределы на восток и на юг за счет соседних стран.

В эту эпоху страна достигла также и максимального благополучия. Процветало сельское хозяйство, строились дороги и мосты, возводились храмы, дворцы и крепости, поощрялось искусство, подчеркивалось эстетическое отношение к вещам. Накопленные в результате ряда победоносных войн богатства вызывали в господствующем классе повышенную потребность к благоустройству жизни и к роскоши. Феодалное общество перестало довольствоваться одними церковными песнопениями. Оно потребовало восхваления не только божьей благодати, но и своих дел. Ему нужно было большое зеркало, в котором оно могло бы любоваться своим, немного прикрашенным, отражением. И такое зеркало не замедлило явиться: это была поэма Руставели. Она вся проникнута духом того времени. Перерастая идейно породившее ее общество и уходя корнями в область общечеловеческих идей и чувств, эта поэма вместе с тем полностью отражает высокий стиль своей эпохи, который ни в какой степени не повторился в дальнейшей истории Грузинского царства.

На протяжении трех столетий (XIII — XVI вв.) в результате ряда опустошительных нашествий Джелал-Эддина, монголов и Тамерлана культурная жизнь в Грузии совершенно замерла. Эти века не оставили после себя ни одного памятника художественной литературы. Но начавшееся с XVI века возрождение

духовной культуры страны выдвинуло ряд поэтов, по произведениям которых мы можем заключить, какой колоссальной популярностью пользовался в те времена Руставели. Почти все поэты этой эпохи упоминают его имя, обращаются к нему, словно к музе. Только к концу XVIII века поэма Руставели, застыв на высоте непревзойденного образца, перестала быть предметом непосредственного подражания.

Трудно себе представить другого поэта, в творчестве которого интеллектуализм и эмоциональность так подчеркнута и одновременно давали бы себя чувствовать, как это мы наблюдаем в поэме Шота Руставели.

Руставели любит размышлять о различных явлениях жизни и человеческого существования, делать заключения и обобщать свои мысли. Наряду с этим струя лиризма и высокой патетичности, доходящей иногда до настоящей экзальтации, заполняет всю его поэму от начала до конца. С одной стороны, Руставели составляет для своих героев и читателей рецепты благоразумия, а с другой — выступает апологетом такого всепоглощающего чувства любви, которое в своем течении разрушает все плотины благоразумия.

Руставели любит называть мир «мгновенностью», размышлять о его скоротечности и тщете суетных стремлений:

Да, не прочен мир наш бренный, быстротечный, переменный!
Он лишь взмах ресниц мгновенный. Все пройдет подобьем сна.
Что нам то, чего мы ищем? Мы стоим над пепелищем,
И судьба над духом нищим в двух мирах царит одна.

Поэт обвиняет этот мгновенный мир в том, что он строит всякие козни против человека, причиняет ему страдание и горе. Однако он верит, что добру все-таки предназначено окончательное торжество над злом.

В одной из вступительных строф своей поэмы Руставели говорит: «Это персидское сказание я переложил в грузинские стихи, превратив таким образом простую повесть в стройные ряды жемчужин». Однако до последнего времени в иранской литературе и устной словесности не удалось обнаружить произведения, которое хотя бы приблизительно напоминало содержание руставелевской поэмы. В то же время трудно себе представить, чтобы знаме-

нитые иранские поэты, которые в поисках тем и сюжетов для своих стихотворений и поэм часто допускали переработки и заимствования, прошли бы мимо столь богатой, сложной и в высокой степени интересной фабулы, какой является фабула поэмы «Витязь в тигровой шкуре», если только она им была известна.

Вообще же, влияние иранской литературы на творчество Руставели бесспорно. Об этом влиянии свидетельствует не только лексика поэта, изобилующая словами иранского и арабского происхождения, но и самая манера его письма, цветистая и мозаичная, богатая метафорами и высказываниями общевосточного происхождения, а также архитектура поэмы и ее колорит. Сам поэт несколько раз сравнивает своих героев с героями известных произведений иранской литературы, главным образом «Шах-Намэ» и «Висо-Рамин».

Однако Руставели, ссылаясь в поэме на художественные произведения иранской литературы, не упоминает ни одного представителя научной или религиозной мысли Востока; зато в его поэме упоминаются имена греческих мудрецов, хотя и нет ссылки на какие-либо произведения поэтов Греции.

Поэма Руставели сложна в своем сюжетном построении и ситуациях. Руставели глубок в изображении людских чувств и разнообразен в своих откликах на явления жизни. Убеждение в скоротечности земного существования и суетности мирских дел приводит его не к восхвалению вина, минутной любви и других подобных средств забвения, как это имеет место в творчестве многих иранских поэтов, а к глубокой, всечеловеческой скорби, находящей утешение в надежде на конечное торжество добра. В описании чувства любви главных героев своей поэмы Руставели совершенно не допускает ни фривольного тона, ни проявления грубого физического влечения.

Одухотворенность и возвышенность любовного чувства героев произведения Руставели, сквозящие и в его рассуждении об этом чувстве во вступлении к поэме, «сближают нашего поэта с великими поэтами Запада, хотя следует все же отметить, что его любовь менее платонична, чем любовь Данте, и вовсе не литературна, подобно любви Петрарки. Наряду с этим высоко вознесенным чувством любви великая дружба между положительными героями поэмы, а также острый ум поэта, размышляющий над явлениями окружающей жизни (далеко не всегда с точки зрения религи-

озного суеверия и фанатизма его темного века), дают право считать Руставели в некотором роде провозвестником той эпохи в истории человечества, которая светом своих гуманных идей сумела прорвать глубокий мрак средневековья.

Поэт глубоко безразлично относится ко всякой обрядовой стороне религии. Бог в этой поэме наделен самыми общими чертами. К такому богу обращается Руставели в первых двух строфах своего вступления, прося у него сил для выполнения взятой им на себя поэтической задачи. Автандил — один из главных героев поэмы — молится богу, «не постигаемому разумом, не поддающемуся словесному определению, владыке всех прав и всякой власти». В XVIII веке поэма Руставели подверглась гонению со стороны духовенства за ее безразличие к религии и за то, что она отбивала читателей и слушателей у «священного» писания. Большая часть первого печатного издания поэмы, вышедшего в 1712 году, была по приказанию католика предана огню.

По произведению Руставели трудно составить себе представление о реальном образе жизни его времени. Он не станет, например, описывать, подобно Гомеру, из чего и как сделан щит или копье его героя. Это не автор «Песни о Нибелунгах», который во многих местах своей поэмы детально изображает разные стороны повседневной жизни. Руставели нет дела до повседневности, до бытовой стороны жизни вообще. Он интересуется лишь

общими взаимоотношениями между людьми. Гиперболизируя и сгущая краски, он все время стремится уловить главную суть изображаемых им явлений. Только случайно прорывается у него иногда какая-нибудь фраза, характеризующая ту или другую бытовую особенность современной ему жизни. Почти обо всем приходится догадываться на основании общего стиля поэмы, энергичного бичення ее пульса и характера ее героев.

Все общество в поэме Руставели делится на господ, войско и рабов; в ней дана также незначительная прослойка торгового люда, но совершенно отсутствуют ремесленники и земледельцы. Только в одной вступительной строфе поэт упоминает земледельца: «Пусть всякий мирится с тем, что ему дает судьба,— воину надлежит проявлять храбрость, а земледельцу — все время работать».

Поэма «Витязь в тигровой шкуре» исключительно популярна и до сего времени читается в широких массах народа. Читателя подкупает в ней сила и глубина чувств, переживаемых ее действующими лицами, увлекательность фабулы, глубина сюжета и, наконец, блестящая форма стиха. Большое обилие афоризмов превращает ее в настоящую сокровищницу поговорок и пословиц на всевозможные случаи жизни. Собственно, вся поэма перешла в фольклор и, своеобразно видоизменившись, до сего времени продолжает существовать параллельно в устной народной словесности.

К. ЧИЧИНАДЗЕ.

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Ты, вселенную создавший, силой собственной велик,
Дуновеньем животворным бездыханное проник,
Людям дал весь мир — несметной многоцветности цветник,
Странам дал владык, и в каждом отражается твой лик.
2. Бог единый, ты — прообраз всех земных и горних тел,
Дай мне силу, чтобы дьявол полонить меня не смел!
Дай любить еще, доколе смерть не вырубит предел!
Облегчи грехи, что телу навсегда даны в удел!
3. Льву приличны меч и пика, медный щит ему пристал,
Солнца блеск идет царице, чье обличье алый лал.
Где мне равных совершенству вне его найти похвал?
Взору в дар Тамар явилась, но хвалы отдарок мал.
4. Слез кровавых дождь хвалебный только ей да будет мил!
Темных слов мы не сказали, и творил я без чернил:
Не перо — тростник высокий Черным озером поил,
Чтоб хвалебный стих иному, точно меч, по сердцу бил.
5. Петь уста, ресницы, брови — долг почтительный певца,
Зубы выложены ровно — два хрустальные венца;
Бело-розовый точеный люб овал ее лица.
Наксвальня камень твердый точит мягкостью свинца.
6. Мне нужны язык и сердце в начертании судьбы.
В песни дай вложить весь разум, чтобы не были слабы.
Так поможем Тариэлю силой песенной волшбы.
И да будут три героя друг для друга — как рабы!
7. Этот плач о Тариэле не иссякнет, — вечен он.
Сядьте все вокруг Руствели, кто рожден, как он рожден.
Я пою о нем стихами, в сердце копьями пронзен,
Вышив повесть жемчугами, дал я прозе перезвон.
8. Я — Руствели — сказ певучий до исхода доведу
Для тебя, царица войска, иль умру здесь на виду.
Обессиленный любовью, я спасения не жду.
Коль спасти меня не можешь, схорони со мной беду!
9. Сказка персов по-грузински мною песенно дана —
Перешла из рук на руки, как жемчужина, она;
Мной наряженная в рифмы, здесь она вознесена.
Омрачившая мой разум, не отвергни письмена!
10. Проясниться снова жаждет ослепленный ею взор,
И, стесненное любовью, сердце в доли я простер.
Я душою возрождаюсь, подымаясь на костер.
Три воспетых цвета смогут исчерпать стиха простор.
11. Должен каждый с тем смириться, что дает ему судьба.
Для борца борьба годится, а работа — для раба,

- А влюбленный стать провидцем должен, грезя и любя.
Пусть упрек не устремится на тебя и от тебя!
12. Испытав судьбу влюбленных, что пришла из мглы небес,
Я в себе сумел увидеть всех судеб суровый лес.
Полнозвучный, щедростишный, я несу красу словес.
Бед моих десятой доле — бед их тяжких равен вес.
13. Есть в поэзии течение слов премудрых и святых,
Счастлив, кто благоговейно высоту ее постиг.
Весь простор могучих мыслей заключает краткий стих.
Тем прекрасна речь поэта, тем отлична от иных
14. Коль по длинным перегонам проверяют скакуна,
Коль по взмаху и размаху ловкость мячника видна, —
То лишь тот поэт, чья песня, словно конь, ему верна.
Осадить ее он должен, коль исчерпана она.
15. Приглядишься к певцу и к песне: если речь его мелка,
То и рифма у бедняги неприглядна и редка.
Что же речи не обрежет и словам не даст щелчка?
Или больше нет чогана для мяча у игрока?
16. Кто случайно два-три слова склеит рифмой тут и там,
Тщегно чтит себя поэтом, к славным тянется певцам,
Сложит стих, другой приложит, хоть нескладность видит сам,
Но твердит: «Всех превзошел я и затмил!», — как мул, упрямя.
17. Есть иного рода песни — дара малого удел,
Что, сердца рассечь способных, слов составить не сумел,
Словно слабый лук подростка, перед хищником не смел,
Лишь на мелкую дичину тратя мелочь робких стрел.
18. Есть еще род песен, годный для забавников пустых,
Для любовных объяснений, для пиров и шуток злых;
Эти песни нам любезны, если красит ясность их,
Но поэт лишь тот, кто в песнях величавости достиг.
19. Тратить попусту не должно дарование свое,
Для единой страсти должно в сердце выстроить жилье,
Надо все творить искусно, коль творится для нее,
И не ждать, чтоб воздаянье протянула длань ее.
20. К той, что прежде восхвалял я, вновь летит моя хвала.
По достоинству я славил, и не ждет меня хула.
Жизнь моя и беспощадность леопарда в ней жила,
Пел я имя несказанной, что единственно светла.
21. Чувство истинное — это отражение высших сил.
Надо, чтоб язык поэта несказанность изъяснил.
Есть возвышенная сила широко растущих крыл —
Тот, кому она открылась, все страданию открыл.

22. Не поймут любви подобной и мудрейшие земли,
Коль признаньями и уши, и язык уже сожгли.
Я сказал: земные чувства те, что с плотью расцвели,
Горним вторят, избирая лишь томление вдали.
23. По-арабски однозвучно слово бешен и влюблен:
Кто влюблен и кто безумен — тщетной грезой омрачен;
Кто возносится любовью, тронет дланью небосклон;
Кто телесным очарован, крылья к травам клонет он.
24. Коль высокой страсти служишь, то, как солнце, будь красив,
Будь свободен ты и молод, мудр, богат, красноречив,
Будь и чуток, и уступчив, и меж витязей ретив, —
Коль достоинств не имеешь, удержать сумей порыв.
25. Есть краса в искусстве чувства, и рекут мои уста:
Сочетать служенье сердца с грешной скверною — тщета.
Меж любовью и развратом — грозной бездны пустота.
Меж несходными да будет непройденною черта!
26. Коль возлюбленной влюбленный посвятил себя вполне.
Разлучась, он должен вздохи учащать наедине,
Должен верным оставаться и в пучине, и в огне.
Бессердечных поцелуев звон веселый мерзок мне.
27. Пусть никто любовь такую настоящей не зовет,
Где сегодня той все ласки, завтра этой весь почет.
Лишь себе ни в чем отказа, в детской страсти без забот;
Но влюбленный все мирское в жертву милой принесет.
28. Кто влюблен, пусть жар утратит лишь с дыханием своим,
Станет пусть пред легким счастьем и бедой невозмутим,
Для одной забыть он должен всех и жить, как нелюдим,
И не жаловаться, если жизнь растает, словно дым.
29. Тот, кто истинно полюбит, ото всех любовь таит,
В даль страдания уносит, одиночеством сокрыт.
Ведь душа в самозабвении, если пламенем горит,
От любимой примет кротко даже горький яд обид.
30. Обретя любовь, не должно молвить слово ей во вред.
Надо скрыть любовь, чтоб люди не нашли ее примет.
Если чувства не заметят — и смущенья вовсе нет.
Надо пламенем одеться, счастья блеск творить из бед!
31. Лишь безумной люб с нескромным откровенный разговор;
Разглашающий приносит и себе, и ей позор.
Как, любимую ославив, снова встретить нежный взор?
Пусть не ранит сердца милой дорогого наговор!
32. Как возлюбленному верить, коль с предателем он схож.
Сам не выиграв, любимой он готовит слезный дождь.
Что ж возвел ее высоко, если низко низведешь?
На земле всего милее злему сердцу — злая ложь.

33. Если плачут о любимой — эти слезы всех светлей,
Одиночество зачтется, как уход в простор полей.
В долгих думах о единой неразлучно слейся с ней;
Чтоб рассудка не утратить — лучше спутников имей.

Сказ первый

О Ростэване, царе арабов

34. Ростэван был царь арабский, божьей милостью храним,
Войск бесчисленных властитель, был он щедрым и простым,
Мудр, любезен, правосуден, прозорлив, неотразим,
Кроме доблести, прославлен красноречием своим.
35. Не имел детей державный, кроме дочери одной;
Ум и сердце созерцавших уносившая с собой,
Солнцем солнц она сияла, посылала блеск и зной.
Нужен мудрый, чтобы словом славить облик световой.
36. Тинатин — ей было имя, это значит самосвет.
Расцвела, огней рассвета стал ясней ее расцвет.
Царь призвал визирей, сел он, и в очах печали нет,
Усадил и обратился к ним, пришедшим на совет:
37. «Я спрошу у вас о деле достождном, не о зле:
Свой цвeток иссушит роза и развеет по земле,
И исчезнет, но воскреснет новым цвeтом на стебле,
А для нас померкло солнце, видим ночь в безлуной мгле.
38. Старость — худший из недугов — смертный бой ведет со мной,
Умирать не нынче-завтра — на земле закон земной.
Что нам свет? Зачем он, если ночь за ним грозитя тьмой?
Дочь моя, светлей светила, на престол восседет мой».
39. Изрекли царю визири: «Не терзай себя тоской!
Если роза отцвeтает, то венец ее сухой
И тогда, благоухая, все цвeты затмит красой.
Блеск звезды не смеет спорить и с ущербною луной.
40. Царь, твоя не гаснет роза, много лет не вянуть ей!
Твой приказ, недобрый даже, доброты других добрей.
Хорошо, что речью вылил тайной горечи ручей.
Пусть над нами воцарится та, что ярче всех лучей.
41. Хоть царем девица будет — и ее создал творец.
Что царить она достойна, в том никто из нас не льстец.
Лишь ее лучам подобен добрых дел ее венец.
Львенок львенком остается, будь то самка иль самец».
42. Сын амира-спасалара, был спасетом Автандил,
Станом стройный, как чинара, он луной и солнцем был,
Гладкий лик имел хрустальный — молод, мужествен и мил.
Взор царевны Автандилу блеском сердце истомил.

43. Он, любовь свою скрывая, превратился в беглеца,
Розан скрыл себя от солнца и лишился багреца,
Рану спрятал, в страхе встречи с полным пламенем лица.
Сожаления достойна страсть, губящая сердца.
44. Ростэван сказал: «Царевну царь на царство воцарит».
Был спасет, как цвет отцветший; днесь рубином он горит,
Молвя: «Буду видеть часто тот хрусталь и сталактит, —
Может быть, от угасанья блеск мне сердце исцелит».
45. Повелителя веленье всей Аравии речет:
«Тинатин, по воле отчей, днесь на трон свершен восход.
Пусть, как солнце, просветляет весь подвластный ей народ.
Пусть несет ей всякий зрячий уваженье и почет».
46. И сошлись аравитяне всех племен со всех сторон.
Автандил, водитель войска, был, как солнце, озарен;
Был визирь Сограт из многих приближенных приближен;
Был двумя поставлен ими драгоценный царский трон.
47. И, лицом своим сияя, Тинатин возвел отец,
Возложил своей рукою на чело ее венец,
Дал ей скипетр и закутал всю во злато и багрец.
Все проникла взором дева, проникая сонм сердец.
48. Царь и войско поклонились, отступив пред ней назад.
Днесь, царем провозглашая, все мольбы о ней творят.
Тут кимвалом загремели и ударили в набат.
Дева плачет, льются перлы, крылья ворона дрожат.
49. Деве мнилось: «Недостойна я воссесть на отчий трон».
Оттого-то ливнем долгим был к земле склонен бутон.
Царь учил: «Родивший должен быть рожденным замещен;
Буду в пламени, доколе не исполнен сей закон».
50. Приказал: «Не плачь и слушай, что велит отец родной:
Дочь моя, ты — царь-девица, ныне призванная мной;
Ты отныне станешь править Аравийскою страной;
Будь же знающей и кроткой, мудро долг исполни свой».
51. Солнце розам и навозу шлет равно дары лучей:
Ты большим и малым также царской ласки не жалея,
Так отвязанных привяжешь мощной щедростью своей,
Воды снова притекают, вытекая из морей.
52. Щедрость царская, подобно древу райскому, растет.
Даже подлый покорится воздаятелю щедрот.
Снедь полезна, а хранимый бесполезным станет плод.
Что отдашь, твоим пребудет, что оставишь, пропадет».
53. Дева, чуткая к теченью поучающих речей,
Отчей мудрости училась, и не скучно было ей.
Царь, за чарой изрекая, становился веселей.
Тщетно солнце подражало Тинатин игрой лучей.

54. Дева ключницу позвала и сказала: «Я звала,
Чтоб замки с моих сокровищ и печати ты сняла.
Дайте все, что я имела, как царевною была».
Принесли сокровищ груды, блеск без меры и числа.
55. Все, что в юности имела, тут же выдала она,
Знать и чернь обогатила, осчастливила спелна
И сказала: «Я учиться отчей благодати должна,
Из сокровищниц не будет сокровенной ни одна.
56. Все сокровища откройте, не оставив тайника,
Пригоните много мулов и коней издалека!»
Привели — и раздарила, и утрата ей легка.
Как разбойники морские, загребали все войска.
57. С тяжелой кладью уходили, словно с боя овладев,
С жеребцами, что стояли в царских стойлах, раздобрев.
Как метель, неистощима, Тинатин, свершая сев,
Без даров не отпустила ни воителей, ни дев.
58. Длился пир весь день. Гремело ликование кругом,
Много ратей услаждалось царской пищей и питьем,
Лишь монарх сидел безмолвно с отуманенным челом.
Чем он был обеспокоен? — много спорили о том.
59. Во главе сидел, сияя, всем любезный Автандил —
Полководец славный, ловкий, словно лев в расцвете сил.
Был визирь Сограт с ним рядом, разговор меж ними был.
Говорили: «Что же ныне царь так бледен и уныл?
60. Он дурные мысли мыслит, если пир ему не мил;
Ведь никто его как будто здесь ничем не омрачил.
Пусть решит наш спор». К Сограту обратился Автандил:
«С ним дерзнем шутить за то, что скукой нас он осрамил».
61. Сразу встали от застолья и предстали пред царем
И, наполнив азарпеша, подошли к нему вдвоем.
Вот, коленапреклоненный, со смеющимся лицом,
Вольно речь визирь слагает изощренным языком:
62. «Царь, в лице твоём погасла днесь веселости заря;
Прав ты — блеск сокровищ редких столь прискорбно гибнет зря
Дочь раздать все злато хочет частодарная твоя.
Что ж венчал ее на царство, горе сам себе творя?».
63. Слыша это, улыбнулся повелитель всеблагой,
Удивился он визирю: «Как дерзнул шутить со мной?».
«Хорошо ты сделал, — молвил, полный милостью одной, —
Порицать меня за скупость — будет живой болтовней.
64. Мне, визирь, не это в тягость, есть на сердце гнет иной:
Побелел я, исчерпавший чашу младости златой;
Не рожден в пределах наших только юноша такой,
Чтоб обычаю могучих ныне был обучен мной.

65. Только дочь одну имею; я, любя, ее взрастил;
Сына не дал мне всевышний; был бы юный сердцу мил.
Кто царю в стрельбе и в играх на арене равен был?
Хоть отчасти мне подобен мной возвращенный Автандил».
66. Слову царскому внимая, смелый юноша поник
И улыбкою украсил ослепительный свой лик.
Зубы снежные устлали светом бледным поле вмиг.
Царь спросил: «Чему смеешься? Или стыд меня постиг?
67. Что во мне ты порицаешь? Чем постыдна речь моя?».
Кротко юноша ответил: «Если нет запрета, я,
Не сердись и не обидься, все открою, не тая.
Не сочти за дерзость слово стража славы твоея!».
68. Молвил царь: «Когда же злое слово вымолвил ты здесь?».
И поклялся жизнью девы, затмевавшей свет небес.
Автандил сказал: «Дерзну я говорить с тобою днесь:
Не хвались стрельбой из лука, лучше слово точно взвесь!
69. Автандил, ваш прах, пред вами. Лук и стрелы здесь лежат.
Ваших подданных распросим, будем биться об заклад.
Кто мне равен в ратных играх? Препираться я не рад.
Пусть на деле дол и стрелы этот спор наш разрешат!».
70. Царь сказал: «Грозы не ждал ты и вознесся до высот. —
Как ты выговорил это во дворце своих господ?
Пусть войска мои услышат, что властитель их речет:
Коль меня ты одолеешь, жди невиданных щедрот!
71. Если принял ты решение, воплотить его сумей,
Коль дерзнул стрелять, старайся оказаться не слабей!
Как свидетелей, правдивых мы возьмем с собой людей.
Пусть решится на арене, кто хвалы достоин всей».
72. Так на том и порешили. Подчинился Автандил.
Разговор их был приветлив и ласкателен, и мил.
Был заклад положен ими — уговор меж ними был,
Чтоб три дня, кто проиграет, не покрыв чела, ходил.
73. Царь сказал: «Рабов двенадцать заберу с собой в поход —
Для подачи стрел и копий и для всех иных забот;
А с тобою, равный многим, Шермадин один пойдет.
Пусть правдиво всей добычи совершат они подсчет».
74. И охотникам велел он: «Обойдите все кругом,
Всех зверей с полей сгоняя, — для того мы вас берем».
А потом войска призвал он — быть как зрителям при том.
Пир был прерван, где сидели все за радостным питьем.
75. Рано, стройною лилеей, вышел витязь — бел, румян.
Был хрусталь и лал он ликом, был наряжен статный стан.
Златотканый шарф накинул, при себе имел колчан.
На коне под'ехал белом, приглашая на мейдан.

76. Снарядившись, на охоту царь поехал, и потом
Поле ратью окружил он, оцепил его кругом.
Войско поле покрывало, шумно тешась торжеством,
Ради царского заклада стрелы частым шли дождем.
77. Вызвал царь: «За мной, двенадцать сопричисленных людей!
Лук и стрелы подавайте вы властителю скорей!
Верно выстрелы считайте и число добычи всей». —
И пошло стечение дичи с опоясанных полей.
78. Стадом стад пришла добыча, велика, издалека:
Лань, кулан, коза и серна с дивной дальностью прыжка;
К ним хозяева помчались, вслед — рабов гурьба, дика.
Вот стрела и лук жестокий, и без устали рука.
79. Блеск небес угас, увидя отблеск конского следа.
Мчались конные, стреляя. Кровь хлестала, что вода.
Нехватало стрел, и люди подавали их тогда.
Все в крови, вперед ни шагу не могли ступить стада.
80. Но стрелки стада согнали и погнали пред собой;
Истребили. В небе сущий бог разгневан был резней.
Стали красными долины под кровавою рекой.
С драгоценным райским деревом юный сходен был герой.
81. Так долину проскакали. Наступил конец игры.
Протекал поток за полем, за потоком шли бугры.
Дичь в леса уйти успела, где и кони не быстры.
Все усталость ощутили б, как бы ни были бодр.
82. «Я ловчей тебя» — с улыбкой повторяли те вдвоем.
И смеялись и шутили, словно равные во всем.
А потом рабы приспели, вслед скакавшие верхом.
Царь велел: «Скажите правду — вашей лести мы не ждем!».
83. Те осмелились: «Мы правду без боязни подтвердим;
Лук спасета не могли бы встарь мы сравнить с твоим,
Но теперь помочь не в силах; хоть убей, он несравним.
Дичь, намеченная юным, мертвой падала пред ним.
84. Вместе оба вы убили сто раз двадцать, — мы сочли.
Автандил на двадцать больше. Царь властительный, внимли!
Все, им пущенные, стрелы в цель без промаха вошли.
А твои мы зачастую очищали от земли».
85. Но царю та весть — как будто в нарды легкая игра.
Проиграть он рад питомцу, и душа его добра.
Соловья стремление к розе в нем росло. Пришла пора.
Отошла печаль от сердца, омраченного вчера.
86. У деревьев для прохлады в тень сошли они с коней,
И войска стекаться стали, затопляя ширь полей.
За спиной царя двенадцать стали бодрого бодрей.
Для очей царя забавой были берег и ручей.

Сказ второй

О том, как дарь арабов увидел юношу, тигровую шкуру носящего

87. У ручья, рыдая, чуждый чудный юноша сидел,
Льву подобный, в поводу он тьмы темней коня имел;
Удила, седло, доспехи сплошь усеял жемчут, бел,
Слезный дождь, из сердца хлынув, розу инеем одел.
88. Шкуры тигра облаченье шерстью кверху телу шло.
И шелом из той же шкуры облачал его чело.
С длани мощного героя плеть свисала тяжело,
И глядящих загляденье без конца глядеть влекло.
89. Молвил царь: «Кто сей чудесный, чья осанка столь горда?».
Тут же воину велел он: «Приведи его сюда!
Я — скажи — его не видел в нашем войске никогда.
Кто бы ни был, пусть придет он, иль грозит ему беда».
90. Раб отправился, чтоб слово молвить юноше тому,
Что склонил чело и плакал, недоступен потому.
Озарял хрустальный ливень желобов гиштерных тьму.
Раб растерянный не властен передать приказ ему.
91. Раб дерзнуть не смел; от страха в столбняке стоял без сил,
Долго силился промолвить, очарован и уныл;
Доложил: «Велел...» Вплотную подошел и вновь застыл.
Тот не чует и не чает, целый мир ему не мил.
92. Так раба и не услышал, сокрушенный скорбью, лев,
Шума войск не ощущая, он сидел, оцепенев,
И рыдало сердце, словно в нем огней свершался сев.
Слезы, будто сквозь запруду, просочились, покраснев.
93. Грозных мыслей вихрь отсюда в область грез его отнес.
Повеление монарха раб еще раз произнес,
Но не вял ему чудесный, не унял теченья слез,
Грустных уст раскрыть не властен красный куст прекрасных роз
94. Раб дерзнул, представ пред очи государя своего:
«Я узнал — от вас тот витязь не желает ничего.
Ослепляя оц, словно солнце, дивен, будто колдовство.
Слух его был глух к призывам: я промешкал оттого».
95. Царь немало удивился, стал надменен и суров
И послал к ручью двенадцать сопричисленных рабов:
«Вы оружие возьмите! Не идущего на зов,
Там сидящего схватите, и узнаем, кто таков».
96. Подошли рабы, раздался гром оружия в тишине,
И тогда лишь вздрогнул юный с сердцем, плачущим в огне.
Огляделся и увидел рать, готовую к резне,
Молчаливый и угрюмый, только крикнул: «Горе мне!».

97. Очи вытер, удаляя застилавший их покров,
Укрепил колчан и меч свой, в путь таинственный готов,
Сел на лошадь, не желая даже выслушать рабов.
Не внимая, повернул он и поехал вдаль без слов.
98. Протянуть посмели руки, пересечь дерзнули путь.
Он же — каждый пожалел бы, даже недруг злейший будь, —
Перебил одним другого, не хотел мечом взмахнуть,
А иных ударил плетью, рассекая их по грудь.
99. Пуще прежнего разгневан, царь погнал рабов за ним;
Тот же, словно их не видит, равнодушен вовсе к ним.
Лишь когда его догнали, он сразил их, несразим,
Вмиг раба в раба швыряя, всех рассеял, нелюдим.
100. На коней тогда вскочили Автандил и Ростэван;
Уходил тот горделиво, колыхая статный стан.
Конь его сравним с Мерани. Весь, как зарево, багрян.
Слышит юноша погоню, гром копыт и звон стремян.
101. Своего коня внезапно лишь коснулся плетью он,
В тот же миг исчез, от взоров неприметно скоронен.
Словно в бездну провалился иль взлетел на небосклон:
Вкруг нигде следа не видно с четырех со всех сторон.
102. След его ища, дивились, что нигде не обретен.
Только дэвы так бесследно исчезают, словно сон.
Всюду павшие, остались, всюду плач стоял и стон.
Царь промолвил: «Этой встречей светлый праздник омрачен.
103. Я, досель счастливый, богу надоел, и оттого
Мне печалью увенчал он дорогое торжество.
Днесь до смерти уязвлен я, не спасет и волшебство.
Что ж! Хвала творцу — то было провидение его».
104. Так промолвил, опечален, вспять он путь направил свой,
Не продолжил он потехи, отточил тоску тоской.
Все ушли, и той охоты был расстроен стройный строй.
Кое-кто подумал: «Прав он», а иной: «О, боже мой!».
105. Царь вошел в опочивальню, раздосадован, устал.
Автандил его в покой, словно сын сопровождал.
Из семейства ни единый Ростэван не встречал.
Все расстроилось веселье, лютня смолкла и кимвал.
106. Тинатин тотчас узнала, что отца печаль мрачит,
Подошла к дверям, имея непосильный солнцу вид,
Тихо стольника спросила: «Ныне бодрствует иль спит?».
Долежил: «Сидит, страдает, изменяет цвет ланит.
107. Автандил при нем один лишь, там сидит он перед ним.
Царь был очень опечален странным юношей одним».
Дева молвила: «Не в пору я пришла. Коль спросят, им
Скажешь: здесь была, к покоям в тот же миг ушла своим».

108. Скоро царь спросил о дочке: «Что с единой, что с одной,
Что с моим утешным лалом, с милой жизненной водой?».
Стольник молвил: «Приходила, схожа с бледною луной,
Все узнав, ушла, чтоб снова скоро свидеться с тобой».
109. Царь велел: «Терпеть нет силы. Ты ступай, осмелся ей
Доложить: зачем вернулась, жизнь отца и свет очей?
Приходи, спасенье сердца, горе нежностью развей!
Расскажу я — чем затмилась ясность радости моей».
110. Тинатин пришла исполнить волю отчую сполна.
Лик ее светился, словно неущербная луна.
Царь, целуя, слово молвил, тихо слушала она.
Он сказал: «Неужто зова моего ты ждать должна?».
111. Доложила дева: «Царь мой, в час, когда ты омрачен,
Кто дерзнет тебя увидеть — пусть гордится этим он.
Скорбь твоя светила свергнет, сотрясет и небосклон,
Но решительному сердцу не приличествует стон».
112. Молвил царь: «Хотя и ранен я свирепую судьбой,
Оживаю, лик твой милый лицезрею пред собой.
Ты, целительная, тучи разгоняешь красотой:
Все узнав, ты оправдаешь скорбь и стон унылый мой».
113. Некий юноша чудесный взор мой странностью привлек.
Шел сияньем над вселенной от него лучей поток.
Он рыдал, а я не ведал, чем его измучил рок.
Не меня пришел он видеть, я за ним бежал, жесток.
114. Слезы вытер, сел на лошадь, чуть меня завидел, он,
Я схватить его пытался — был я войска им лишен.
Не приветствуя, пропал он, словно бесом схоронен.
Невдомек мне и донныне — явь я видел или сон.
115. Что увидел, удивило: кем он был — я не пойму;
Словно смерч кровавый, мчался он по войску моему,
Из телесных так исчезнуть невозможно никому.
Разлюбил меня создатель, погрузил меня во тьму.
116. Так даров его сладчайших вкус мне горек стал потом.
О былых счастливых летах я забыл, бедой ведом.
Все мне скорбью угрожает, нет отрады мне ни в чем.
И вовеки я сжигаем буду горестным огнем».
117. Дочь осмелилась: «Лукавый сердце отчее мрачит.
На судьбу зачем твой ропот? Или бог тебе не щит?
В чем винишь того, чей миру животворный взор открыт?
И зачем добра создатель злое чудо сотворит?»
118. Если было то от беса, — не черни души ничем.
Из-за этого к чему ты затуманился совсем?
Вместо сладости от бога хочешь горечи зачем?
Призови святых к молитве, и очищен будешь тем.

119. Царь царей, дозволю поведать думу дочери родной:
Ты владеешь беспредельной, безграничною страной!
Пусть пойдут искать повсюду отягченного виной
И узнают о безвестном — неземной он иль земной.
120. Тот безвестный, коль телесен и ступает по земле,
То кому-нибудь встречался он в пустыне иль в селе.
Иль тебе являлся дьявол уподобить блеск золе,
И поэтому, родитель, пребываешь ты во мгле».
121. Царь, словам ее внимая, только радовался им,
И лицо ее приблизил и лобзал, неутолим,
Молвя: «Сделаю согласно с помышлением твоим.
Тот спаситель, кто из праха сотворил меня живым».
122. На восток, на север, запад и на юг людей тогда
Разослали, приказали: «Не боясь беды, труда,
Всюду юношу ищите, что сокрылся без следа,
А куда и не дойдете, письма шлите вы туда».
123. Диво-юношу искали эти люди целый год
И спрашивали всюду ими встреченный народ,
Но не встретили выдавших, был напрасен их поход,
И вернулись, огорчаясь тщетной тягостью забот.
124. Те рабы дерзнули молвить: «Обошли мы лик земли,
Но того, кого искали, мы увидеть не смогли,
Кто б на свете с ним встречался, и такого не нашли,
Мы ничем помочь не можем. Средств иных искать вели!».
125. Молвил царь: «Наверно, правду отгадала дочь моя:
В самом деле, оборотня у ручья увидел я.
Знать, явилось то виденье для затмения бытия.
Ни о чем уж не заботясь, грусть отрину я, друзья!».
126. Так на радостях он молвил и умножил ряд затей:
И певцов, и лицедеев повелел собрать скорей.
Раздарил подарков много верной челяди своей,
Ведь создал его создатель всех властителей щедрей.
127. Автандил в опочивальне был в одежде распашной,
Легкой песней услаждался, вторя арфе золотой.
Появился негр царевны передать приказ такой:
«Облик солнца, тополь тела, склонен свидеться с тобой!».
128. И досталось Автандилу дело всех желанней дел.
Встал — и лучшее из лучших платье быстро он одел,
Торопясь увидеть розу, был он радостен и смел.
Приближения желанной сладко ждать себе в удел!
129. Горделивый, без смущенья устремился Автандил
И увидел ту, которой столько слез он посвятил.
Дева молнии подобна — грозный блеск ее уныл,
Расстилаемый до неба, он и свет луны затмил.

130. Горноста́й нагое тело тяготил ей снеговой,
Был вуаль на ней накинута, помрачительный ценой,
Сердце рать ресниц разила — черных острий строгий строй,
Шею белую ласкали кудри пышные волной.
131. Был вуаль ее пурпурен, был нахмурен, чуден взгляд;
Автандилу сесть велела, тихих слов был ровен лад;
Стул придвинул раб спаспету; сел он, радостью об'ят...
Заглянул в глаза ей витязь, преисполненный услад.
132. «На устах я чую горечь, нахожу слова с трудом;
Что сказать я не хотела, умолчать нельзя о том:
Я должна тебе поведать, почему призвала в дом,
Почему сижу я мрачно с помутившимся умом».
133. Он сказал тогда: «Ты сердце огорчить не можешь мне.
Перед солнцем лучезарным как сиять еще луне?
Бесполезно размышляю. Кто я? Что я? Все во сне...
О, поведай все тревоги и доверься мне вполне».
134. Как достойно, к Автандилу обратилась дочь царя:
«Хоть вдали досель держала от себя богатых,
Но бровям моим сведенным удивляешься ты зря.
Речь сама начну я ныне, нетерпением горя!»
135. Помнишь день, когда с монархом ланей стрелам ты обрек,
Диво-юноша был виден, но мгновенно стал далек...
Чтобы доблестей спаспета не кокнулся наш упрек,
Вслед бесследному обследуй землю вдоль и поперек.
136. Хоть на людях сохранял ты лишь таинственность одну,
Я любви твоей безмолвной понимала тишину.
День за днем слезами розе придавал ты близину
И, подавленный любовью, сердцем был у ней в плену.
137. Ты служить теперь обязан мне прилежнее вдвойне:
Ни единого с тобою мы не ставим наравне,
А к тому же, как влюбленный, пребываешь ты в огне,
Так найди ж его, хотя бы в отдаленнейшей стране!
138. Это сделай ты и в чувстве неизменном укрепись,
Чтобы, скорбью омраченной, мне опять открылась высь.
Мне надежд фиалки в сердце насади и возвратись,
И с тобой соединишь я, ты со мной соединишь.
139. Ты ищи его три года по окраинам земным,
Коль найдешь, приди с победой, провидением храним.
Убедимся в чародействе, коль не встретишься ты с ним.
Мною, розой неотцветшей, будешь встречен, пилигрим.
140. Я, клянусь, твоей останусь, безупречною во всем.
Если кто-либо телесный мужем стает мне потом,
Пусть лишусь тогда эдема, поглощенная огнем,
Пусть любовь твоя во гневе поразит меня мечом!».

141. Молвил он: «Твои ресницы обратил в гишеры бог.
Что сказать еще дерзну я и какой я дам зарок?
Я погибели страшился — ты продлила жизни срок.
Ведь себя уже издавна я рабом твоим нарек».
142. Вновь дерзнул: «Тебя, о, солнце, бог светлейшей сотворил.
Оттого тебе подвластны все движения светил.
Слыша сказанное слово, снова радость я вкусил.
Цвет ланит моих не блекнет, мне лучи придали сил.
143. Я служить тебе желаю, твой покорный паладин.
И немедля в путь безвестный завтра выеду один.
Ныне сердце не лазурно, обращенное в рубин.
Больше жизни что ж могла ты подарить мне, Тинатин!».
144. Поклялись тогда друг другу посвятить себя они,
Стали речи их потоку полноводному сродни.
Он не чувствует больше горя, что досель мрачило дни.
Зубы, перлами сверкая, мечут молнии огни.
145. Сели вместе и шутили, разговор их частым стал,
И свою создали радость, свив гишер, хрусталь и лал.
Молвил юноша: «Безумен, кто хоть раз тебя видал.
В грудь огонь, тобой зажженный, мне стократно проникал».
146. Он, к убийце милой близясь, взором ясным озарен,
Уповая лишь на бога, мыслит, сдерживая стон:
«Если бог одних не сгубит, как других народит он?»
Только это помнит юный, деве отданный в полон.
147. Хоть не мог разлуки выгнеть, хоть в очах стоял туман,
Он ушел, не обернувшись, был безумьем обуян.
Град побил хрустальный розан, зашатался статный стан.
Сердце он имел для сердца, был в гореньи неустанн.
148. Он сказал: «Не может роза жить без солнечных лучей,
Был хрусталь и лал обличьем, янтая я стал желтей.
Что же делать, коль надолго разлучаюсь ныне с ней?
Я скажу себе: ты жизни для единой не жалеи».
149. Он прилег в опочивальне, падал долго слезный град,
Будто в бурю тополь гнется, статный стан бедой обят,
Будто милую он видит, грезы дразнят и казнят.
То он вздрогнет, то застонет, то к земле он клонит взгляд.
150. Он, с желанной разлученный, пожелал ее втройне,
Перлы сыпал, уподобил розу блекнувшей луне.
А когда настало утро, подготовленный вполне,
Ко дворцу, к собранью свиты устремился на коне.
151. И послал он царедворца к повелителю послом,
Поручил сказать: «Осмелюсь, вашей славы слыша гром;
Все края земли раздольной покорили вы мечом,
Если надо, пусть узнают и неверные о том.

152. Я пойду границы ваши защищать от злых племен.
Будет в честь державной девы каждый недруг усмирен,
Будет весело покорным непокорных слышать стон.
Дань царю пускай подносят, низкий делая поклон».
153. Царь изрек в ответ на это благодарственную речь:
«Знаю, лев, ты не страдаешь отклоненьем ратных встреч,
И твое решенье славно, как воинственный твой меч.
Но старайся гнет разлуки снять пораньше с наших плеч».
154. Автандил к царю явился, низко кланяясь ему:
«Царь, излишне благосклонны вы к спасету своему.
Если снова мне создатель осветит разлуки тьму,
К вам, веселому, веселый взор я снова подыму!».
155. Целовались, словно были нежным сыном и отцом.
Воспитателя с питомцем, нет им равного ни в чем.
Встал спаспет и вышел; день тот черным стал разлуки днем,
Слезы лить царю досталось, мягкосердому, о нем.
156. Вышел юноша походкой величавою своею,
Двадцать дней он ехал кряду, ехал столько же ночей.
Он, подобный утру мира, был всех радостей светлей;
Неотвязно мучил сердце знойный свет ее очей.
157. Он к своим владеньям прибыл; шла хвала ему вослед,
Знать дары несла навстречу, говоря ему привет;
Солнцеликый, не отвлекся тем от шествия спаспет,
Мимолетный, тешил встречных, словно радостный рассвет.
158. Пограничная твердыня всем врагам была видна,
Ей скала была оградой, — не на извести стена.
Лев три дня был на охоте, — там была она славна, —
И решил он Шермадину сердцем ввериться сполна.
159. Шермадин, что выше назван, Автандилу верен был,
Вырос вместе с господином, сил на службе не щадил;
Но не знал, что Автандила распалил безумный пыл.
Днесь рабу воитель юный тайну сердца изяснил:
160. «Шермадин, мне стыдно стало, что лежит меж нами мгла.
Хоть, со мной ходя повсюду, знаешь все мои дела,
Но не знаешь ты, что роза от бессонных слез бела;
Та, чей блеск меня измучил, днесь утеху мне дала.
161. Знаешь ты, что взор царицы ярче солнца озарен.
Сердце — трут, любовь — огниво. Жил я, сдерживая стон.
Лишь тебе открою тайну, будь в советники зачтен:
Исполненье приказаний повелел рабам закон.
162. К Тинатин я привязался. Жизнь мою сожгла любовь.
Ливни слез цветущей розе замораживали кровь.
Лишь теперь себе я молвил: «Сердце к счастью приготовь».
Днесь дана надежда ей — оттого я весел вновь.

163. Прежде издали казнила, был огнист ее расцвет.
Ныне я надежд исполнен, мне дала она завет:
«Поезжай, презрев опасность, и исполни свой обет.
Найден должен быть безвестный, если жив и если нет».
164. Мне рекла: «Ищи повсюду ты о витязе вестей.
Все разведаеть, вернешься, назовешь меня своей.
Не отдам иному сердца, будь он тополя стройней!»
Солнце страждущую душу исцелило от скорбей.
165. Как подвластный, я обязан этот выполнить зарок.
Подчиненный властелину дань уплачивает в срок.
Уняла она тот пламень, что на смерть меня обрек.
Твердый сердцем, не склоняясь, должен встретить грозный рок.
166. Из господ и слуг с тобою мы дружнее всех друзей.
Ты, внимая этой речи, все в душе запечатлей.
Уходя, тебя оставляю править вотчиной моей.
Все тебе я доверяю, от сокровищ до мечей.
167. Заставляй войска и знатных на врагов итти войной.
Во дворец к царю с вестями пусть гонец приходит твой.
За меня царю шли письма и казну его удвой.
Скрой мое исчезновенье, замени меня собой!
168. Уподобься мне повсюду, на охоте, на войне,
Жди меня три года, тайну сохраняя в тишине.
Покажусь, быть может, снова я в родимой стороне.
Коль не будет возвращенья, то заплачешь обо мне.
169. Доберусь до края неба, путь свой кровью обагря,
Испрошу себе успеха у небесного царя,
И найду, коль он позволит, я того богатыря,
Хоть бы мне пришлось обехать все пустыни и моря.
170. Если в срок я не прибуду, то не жди меня домой.
Засвидетельствуй повсюду, что расстался мир со мной,
Что вотще мой труд и служба, — я лежу в земле сырой,
Часто слезы утирая, войску истину открой.
171. Доложи царю о деле, нежеланном для него,
Доложи ему, что тело Автандилово мертво,
Что утратил на чужбине я земное естество.
Нищим выдай медь и золото, не жалея ничего.
172. В мире сем печатью смерти всякий цвет запечатлен.
Скажешь: «Тело молодое стало пищей для гиен.
Юных, с дряхлыми равняя, обращает смерть во тлен.
Не горюйте: вседержитель вам другого даст взамен».
173. Там в помощнике нуждаться буду я еще сильнее,
Не изгладь меня, прошу я, ты из памяти своей,
О душе моей заботься, горячо молись о ней
И, горюя, плачь о смерти преждевременной моей!».

174. Ужаснулся раб, услышав о решении таком;
Слезы-перлы уронил он, застонал, клонясь челом,
И дерзнул: «Тебя утратив, сердцу чем дышать потом?!
Не останешься ты, знаю, — потому молчу о том.
175. Лев, ты ныне обнадежен той виновницей чудес,
Той царицей солнцеекой и высокой до небес.
Без тебя не нужен буду, где бы ни был, даже здесь.
Что ж отправиться в дорогу ты один решился днесь?!
176. Заменить тебя могу ли? И на что приказ такой?
Как господствовать сумею? Как сравняюсь я с тобой?
Без тебя я исстрадаюсь и в земле найду покой.
Лучше скроемся мы оба потаенною тропой!».
177. Тихо юноша ответил: «Слушай, верь и не забудь:
Коль бежит в поля влюбленный, то один свершает путь.
Разве перл дается даром, без затрат, кому-нибудь?
Ведь изменник вероломный должен пасть пронзенный в грудь.
178. Коль не ты, то кто бы тайну охранить достойно смог?
Без тебя кому спокойно вверю власть на долгий срок?
Укрепи границу, чтобы враг не вырыл там берлог.
Возвращусь я невредимый, коль того захочет бог.
179. Одного иль сотню року погубить не все ль равно?
Одиночество не губит, коль погибнуть не дано.
Не вернусь — твое да будет одеяние черно.
Дам тебе письмо — отныне власть отдаст тебе оно».

Сказ третий

Здесь письмо Автавила к подданным

180. «И кормильцы, и питомцы, все внимайте вы сему,
Верноподданные наши, днесь я голос подниму!
Вы, скользящие, как тени, вслед желанью моему,
Соберитесь и внемлите Автандилову письму!
181. Мною, вашим властелином, сей завет подвластным дан,
Он рукой моею писан для моих аравитян:
Предпочел теперь утехам я обезд далеких стран.
Пусть меня отныне кормит полный стрелами колчан.
182. Дело некое имея, я далеко им влеком.
Должен, странствуя, один я год пробыть в краю чужом.
Я — проситель, и сердечно умоляю об одном:
Дайте вновь увидеть царство, неразбитое врагом!
183. Я оставил Шермадина — заменить меня в стране,
До тех пор, пока известья не получит обо мне.
Розоцвет при нем зардеет и раскроется вполне;
Вредных, воску уподобив, он растопит на огне.

184. Я рæстил его, как брата, и с собою наравне.
Словно мне, ему служите на охоте и войне!
Коль затрубит он, собирайтесь, а не стойте в стороне.
Если в срок я не приеду, с ним скорбите обо мне».
185. Так письмо dokonчил, слаще слов не сыщет, кто ни будь.
Золотой надел он пояс, облачился в дальний путь.
«В поле выеду» — он молвил, рать стеклась — к нему примкнуть.
В тот же миг он вышел, в доме не замешкался ничуть.
186. «Мне защитников не надо» — крикнул юный властелин.
Удалив рабов, умчался в даль неведомых равнин,
Тростники проехал быстро, опечален и один,
Вспоминая смертоносно-ясный пламень Тинатин.
187. Вмиг долиной проскакал он, не нашли следа войска.
Кто вдали его увидел, мчался вслед издалека.
Не проста над ним простерся белый меч — ее рука,
От нее печали ноша и достойна, и тяжка.
188. А когда войска узнали, что спасета с ними нет,
Потускнели все ланиты и утратили свой цвет.
Горем радость заменяя, ожидая новых бед,
Быстрокожные скакали — не могли напасть на след.
189. «Лев, кого ж господь возвысит? Кем ты будешь замещен?»
Разных вестников собирали, с разных бегали сторон.
Тщетно войны искали — за предел сокрылся он.
Об утраченном рыдали, был погибелен урон.
190. Шермадин созвал сословья, и пришли они на зов,
Автандилово посланье каждый выслушал без слов.
Вняв ему, сердца заняли у господ и у рабов.
Били в грудь себя, и каждый заколоться был готов.
191. «Ваше горе мне понятно, — объявил им Шермадин, —
Но не лучше ли исполнить, что велел нам властелин?
От трудов своих не должен удаляться ни один,
Но скрепитесь в ожиданьи ряда бедственных годин».
192. Все дерзнули: «Хоть без солнца мы навряд ли расцветем.
Лишь тебя иметь хотел бы на престоле он своим,
И тебе, конечно, будем мы покорными во всем».
Так раба на трон избрали, били все ему челом.

— После этого Автандил ускакал в безвестные дали на своем белом коне. Долго разезжал он по белому свету, ища след безвестного юноши и орошая слезами свой путь при воспоминании о светозарной Тинатин. Ездил он и на запад, и на восток, и по населенным местам, и по безлюдным пустыням, но нигде не смог обнаружить того, кого он искал.

И, подобный ликом солнцу, мир измерил пилигрим,
Брел по странам населенным и по местностям пустым;
Счет узнал он водам, скалам, долам, зарослям густым.
В Риме спрашивал китайцев, а в Китае — зревших Рим.

Уже кончался трехгодичный срок, оставалось всего два месяца. Автандил решил вернуться назад, чтобы не пришлось возвращаться после того, как царю доложат о его гибели. Но возвращаться ни с чем у него нехватило сил, и он вновь продолжал свой тяжелый путь, полный печали, тревоги и тоски.

Почувствовав однажды голод, Автандил убил лань, развел костер и зажарил мясо. Вдруг он видит, что к нему направляются шесть всадников: двое из них поддерживают одного. Автандил надел на себя доспехи, сел на коня и поехал к ним навстречу. Всадники сказали ему, что трое из них — братья, князья; они охотились в этих местах и только что повстречались с неизвестным безумным юношей на вороном коне, одетым в тигровую шкуру и с лицом ослепительным, как солнце, который одним ударом плети разбил голову их младшему брату, попытавшемуся задержать его. Они указали на удаляющегося вдаль виновника их несчастья. Охваченный радостью при этой вести, Автандил горячо поблагодарил сначала бога, затем всадников, и стремительно понесся за таинственным юношей.

Преследовал он его двое суток. На третий день вечером показалась высокая скала с пещерами. Под скалой протекала речка, берега которой были покрыты высоким лесом. Когда юноша проехал лес, из пещеры вышла женщина в черном платье. Сойдя с коня, юноша назвал ее «сестра моя Аснат». Затем, рыдая громко, они обняли друг друга. Автандил, чтобы лучше было наблюдать за юношей и женщиной, спрыгнул с коня и взобрался на высокое дерево.

На другое утро Автандил увидел со своего дерева, как та же самая женщина вышла из пещеры и оседлала черного коня. Юноша сейчас же сел на коня и уехал обратно той же дорогой, какой вчера приехал. Автандил успел только увидеть его могучий, стройный стан и поразительной красоты лицо.

Автандил вблизи увидел вновь сияние чела.

Гладкий облик безбородый — внешность солнца столь светла.

Кипарисный дух разнесся, сладость ветра возросла.

Мог, казалось, этот юный льва убить, как лев — козла.

Автандил направился в пещеру, надеясь у женщины выпытать тайну.

Очутившись с глазу на глаз с незнакомым человеком, женщина начала кричать и звать на помощь какого-то Тариэля. Автандил схватил ее и потребовал объяснить, в чем тут дело и кто они такие. Женщина сначала отказалась сообщить ему что-либо, но после долгих уговариваний, проникшись жалостью к Автандилу, сказала, что ее зовут Аснат, а юношу Тариэлем, и что она согласна познакомить их друг с другом, если Автандил дождетя его возвращения. Пусть юноша сам расскажет ему свою горестную историю, она же не вправе это делать.

Через некоторое время доносится плеск воды и топот копыт. Аснат скрывает Автандила в пещере и встречает Тариэля, объясняющего ей причину своего случайного возвращения. Аснат осторожно подготавливает Тариэля к встрече с Автандилом. Она уговаривает его перестать безумствовать и подыскать себе хоть одного друга. Тариэль соглашается с нею, но спрашивает, где он найдет себе друга? Тогда Аснат выводит к нему Автандила. Каждый из них поражен красотой и блеском другого. Они скоро подружились. Оба они бесподобные витязи, красавцы и ровесники. Автандил напомнил ему про случай на берегу ручья, а Аснат упростила его рассказать Автандилу свою историю. Следует длинный рассказ Тариэля, прерываемый его жерданиями.

Сказ пятый

Тариэля первый рассказ о себе, Автандилу поведенный

341. «Я хочу, чтоб со вниманьем ты в рассказанное вник,
В то, что я едва заставлю выговаривать язык.
От которой стал безумен, безутешен, бледнолик,
Та вдали, а я, скорбящий, кровью плачущий, поник.
342. Всем известно, что царило в Индостане семь царей.
Парсадан шесть царств индийских сделал вотчиной своей;
Был царящий над царями всех богаче и щедрей,
Станом — лев, а ликом — солнце, побеждал других вождей.

343. Был седьмым царем отец мой — устрашитель вражьих стран.
Не таясь, вступал в сраженья мой родитель Саридан.
В царство враг войти боялся, был он ждан или неждан,
И охотой услаждался царь, удачей осиян.
344. Но свобода надоела, стало сердце тосковать.
Он сказал: «Врагов привык я отражать и поражать,
Отовсюду их отбросил, и велик мой пир опять.
Что ж, отправлюсь наше царство Парсадану передать!».
345. И тогда же к Парсадану он гонца послать велел,
Поручил сказать: «Ты целым Индостаном овладел;
Силу сердца твоего я днесь изведать захотел,
Пусть же верной службы слава мне достанется в удел!».
346. Парсадан веселый молвил: «Пусть на пир все поспешат»,
Саридану весть отправил: «Славлю бога многократ,
Ибо, в Индии мне равный, царь ко мне явиться рад.
Приезжай, тебя я встречу, как родитель и как брат!
347. Я щедрот снискал довольно, богом благостным взращен,
Царь, окончен между нами ныне вестников разгон,
И нигде уже не будет наговор произнесен.
Отдыхает лук, и сабель не исторгнем из ножен».
348. Амирбарством и уделом был отец мой наделен;
Там амиром-спасаларом амирбару быть — закон.
В этой должности высокой славы всей достигнул он:
Амирбар царю подобен, только цезарства лишен.
349. Царь с отцом моим достойным обращался, как с ровней,
Говорил: «Тебе подобных нет в державе ни одной».
Шел он в бой, — с мольбой о мире шли враги наперебой.
С ним настолько я не сходен, сколь со мною кто иной.
350. Царь с царицей грусть прияли, как бездетной жизни суть,
Неутешно горевали, и в тоске сжималась грудь.
День пришел, и я родился, — день несчастный, проклят будь.
Царь сказал: «Взращу, как сына, нам нечуждого отнюдь».
351. Я, четою царской взятый, к царской пышности привык,
Для господства был воспитан, чтоб над войском стал велик,
Мудрецы меня учили поведению владык.
Стал я львиной силой славен, словно солнце, светлолик.
352. Ты, Аснат, прерви рассказ мой, если будет в нем обман.
Лет пяти имел я облик, что расцветшей розе дан;
Льва, как птичку, убивал я, столь созрел мой статный стан.
Не тужил, родного сына не имевший, Парсадан.
353. Сколь померк я, знает это свет мой видевшая там,
Мне завидовало солнце, словно сумерки утрам.
Все шептали: «Он, подобно древу рая, свеж и прям».
Днесь я тень того сиянья, прежним преданного дням.

354. На пирах, меня встречая, становились веселей,
Спор со мною был мечтою для славнейших силачей,
Но борцы склонялись быстро перед силою моей,
И никто из копыеносцев не бывал меня ловчей.
355. Зачала царица наша, было мне тогда пять лет,
Разрешилась дочерью...». Молвил и вздохнул, теряя цвет.
Грудь ему Асмат омыла и очам вернула свет.
Вновь сказал: «Эфир тогда же был светлейшею согрет.
356. В день, когда свершились роды, мчались письма без числа,
За гонцом гонец гонялся, весть всю землю обошла;
И луны, и солнца радость небо в пурпур облекла,
Вся земная тварь зыграла, так светла та весть была.
357. Я сказал о несказанном, и мала моя хвала.
Парсадан развеселился — торжествам пора пришла,
И сошлись цари с дарами дорогими без числа.
Рать навек раздачей кладов ошастливлена была.
358. Так окончились родины. Стали нас растить вдвоем.
Солнца треть она являла и тогда в лице своем.
Были мы равно любимы и царицей, и царем.
Назову я ту, мне сердце заменившую костром».
359. Чувств лишился витязь юный, вспомнив имя дорогой.
Автандил заплакал также, тронут горестью такой.
Свет очам Асмат вернула, грудь обрызгала водой.
Таризель промолвил: «Слушай, ныне смерть пришла за мной.
360. Царской дочери той имя было Нестан-Дареджан.
Был царевне семилетней богом ясный разум дан,
Облик, лунному подобный, был чудесно осиян.
Даже сердцу из алмаза не стерпеть подобных ран!
361. В бой вступить я мог, она же взоры нежила, созрев.
Царь гордился, для правленья в ней помощницу узрев.
Был отцу обратно отдан я, стройнее всех дерев,
Не однажды, словно кошка, был растерзан мною лев.
362. Царь для дочери особый приказал построить дом.
Безоар, рубин и яхонт заменяли камень в нем;
Брызгал розовой струею водомет перед дворцом,
Где жила та дева, сердце мне одевшая огнем.
363. День и ночь к ней из кадилъниц вился ладан голубой.
То она сидела в башне, то сходила в сад густой;
И Давар, вдове каджетской, что была царю сестрой,
Дочь свою отдал в ученье — он, владеющий страной.
364. Во дворце парча повсюду взор узорностью влекла,
Там росла для нас незримо эта роза из стекла;
Лишь Асмат и две рабыни знали дверь, что к ней вела.
Как возвращенным в Габаоне, станом там она росла.

365. Парсадан меня, как сына, лет пятнадцать опекал,
Был я с ним все дни, меня он даже спать не отпускал;
Силой льву, красую солнцу, станом пальме равен стал,
На полях и на арене всех похвал я достигал.
366. На коня садясь, будил я гул рогов и ловчих тьму,
Роем пчел вздымалось войско, только руку подыму,
Девы, юноши толпились, близясь к взору моему;
Кто видал меня, хватало на год гордости тому.
367. В поле промаха не зная, била дичь моя стрела,
А с охоты на арену в мяч игра меня влекла,
После игр на пир веселый шел с друзьями без числа;
Но теперь меня та дева с милой жизнью развела.
368. Мой отец ушел из мира — смертный час его настиг.
Царь индийский омрачился, всех утех лишенный вмиг.
С облегченьем те вздохнули, что дрожали, как тростник,
Каждый враг отвык от плача, каждый друг в слезах поник.
369. Целый год я находился в черной келии одной,
И, горя днем и ночью, позабыл я свет дневной;
Чтобы вывести из мрака, от царя пришли за мной,
Он велел: «Прошу, как сына, Тариэль, расстанься с тьмой».
370. Мы ведь больше сожалеем, был он с нами наравне».
Подарил мне сто сокровищ, траур снять велел вполне,
Сан пожаловать отцовский Парсадан изволил мне:
«Тариэлю амирбарство в нашей отдано стране».
371. Я огнем горел, горя о родном отце своем,
Но из мглы меня исторгли слуги царские силком.
В честь мою назначен праздник был царицей и царем,
Что навстречу шли далече, как родители вдвоем.
372. Верно, с этими в сравненьи, слез я выплакал тройне,
И поминки годовые справил я в родной стране.
«Вряд ли выживет» — шептали, так я таял на огне.
Об отце одни рыдали, а другие обо мне.
373. Ими был, как сын, посажен я поближе к их местам,
И поведали, что надо мне защитой быть царям.
Попытался отдалиться, стал от робости упрям,
Но цари не отступились. Амирбаром стал я там.
374. Не один народ индийский мне судьба во власть дала;
Побеждал я порубежных, если те желали зла,
Задавал пиры, бывало приглашенных без числа,
Одевал войска и славой покрывал свои дела».
375. Автандил внимал безмолвно тем реченьям дорогим,
После молвил: «Тот удачлив, кто с тобой неразлучим.
Передам я эту повесть той, которою томим,
Не умру, даст бог, не сделав должником тебя моим».

376. Если кто тебя утратил, — целый мир ему постыл.
Хоть платиною слезам ты входа в сад не преградил, —
Впиться в каменное сердце туче стрел не станет сил.
Есть в тебе неразделенный, слитный свет семи светил».
377. Вновь Асмат сказать дерзнула: «Знаю, душу давит ночь.
Все же повесть всю поведай, доброй воли не порочь:
Ведь ему, страдальцу так же, оставаться здесь невмочь.
В путь он должен торопиться, чтоб тебе потом помочь»
378. Таризель умножил слезы, побежавшие рекой,
Вспоминая о любимой и о радости былой.
Розы лика оросились, пал индусов черный строй:
«Такова ты, жизнь, мне сердце пронизавшая стрелой!
379. Много лет прошло, о многом я забыл, судьбой гоним.
Труден мне рассказ подробный. Витязь, верь словам моим!
Мир изменчивый и лживый в злых делах неумоим,
На меня упали искры, высекаемые им».

Сказ шестой

Рассказ Таризэля о том, как впервые он полюбил

380. Он кровавыми слезами затемнил прекрасный взор,
Молвил: «Я ль достоин видеть всех лучей ее костер!
Без нее к чему братанье нежных братьев и сестер?
Назову я день, чьим блеском жизнь моя горит с тех пор».
381. После долгих воздыханий он рассказ продолжил свой:
«Помню я, с охоты доброй возвращались мы домой,
Царь сказал мне: «Дочь увидим» — руку взял мою рукой.
Удивляюсь, что дышу я, вспоминая день былой.
382. Турачей велел властитель отнести в покой ее.
Дичь забрал я, отправляясь на сожжение свое;
Жизни долг платить я начал, стало грозным бытие.
Сердце каменное ранит лишь алмазное копье.
383. Краше радостного рая сад расцвел передо мной:
Птицы там сирен искусней пели в зелени густой,
Водоем многофонтанный брызгал розовой водой;
В башню вход был занавешен тяжелой тканью золотой.
384. Изумрудных пальм высоких мы узрели там шатер,
Безоаровую башню, изумляющую взор;
Мы прошли ковров простертых нескончаемый узор.
Устоять могло ли сердце, стае стрел наперекор?
385. Знал я — царь хотел царевну уберечь от всех очей,
Я остался пред завесой, он вошел в покой к ней;
Ничего не мог я видеть, слышал только шум речей,
Был приказ: у амирбара взять в подарок турачей.

386. Подняла Асма́т завесу, заглянул я в то жильё,
И узрел её, и в сердце мне ударило копье.
Турачей Асма́т просила, тело вспыхнуло мое.
Горе мне, с тех пор не гаснет жар, палящий бытие!
387. Но исчезло то светило, что светило для светил!»
Он не снес воспоминанья, пал без чувств, лишенный сил.
Плач Асма́т и Автандила эхо долгое будил:
«Ах, зачем врагоубийца длани грозные сложил!»
388. Грудь ему Асма́т омыла, вновь глаза открыл герой,
Время долгое молчал он с сердцем, скованным тоской,
Сел, заплакал, и смешались слезы с черною землей;
Крикнул: «Множит боль и ужас отзвук радости былой.
389. Пробавляется ничтожным — кто влеком к мирским вещам,
Под конец дарит измену этот мир, любезный нам.
Жизнью сей непокоренным, мудрецам хвалу воздам.
Слушай дальше, если дух мой не взовьется к небесам.
390. Турачей Асма́т я отдал и дошел до забвения,
Там упал и обмер, сила изменила мне моя;
А, когда очнулся, слышал — громко плакали друзья,
Окружив меня, как будто те — пловцы, а я — ладья.
391. Во дворце на пышном ложе я лежал, как неживой.
Царь с царицей неутешно горевали надо мной,
На своих щеках ногтями след чертили кровяной.
Маги званые сказали, что сражен я сатаной.
392. И лишь только я очнулся, чуть коснулся свет очей,
Царь воззвал: «Ты жив, о, сын мой, слово вымолви скорей!»
Не разжал я уст и вздрогнул, как безумный средь людей.
Снова я упал и обмер, кровяной лия ручей.
393. Все ученые смущались положением моим,
Все в руках коран держали и читали над больным,
Я не слушал их — болтали, будто бесом одержим.
Был три дня в бездушном теле тот огонь неугасим.
394. Лекаря, дивясь, решили: «Знаем мы, чем болен он:
Не томим ничем лечимым, но тоскою истощен».
Зачастую, как безумный, гнал я выкриками сон;
Царских слез росой обильной был я щедро окраплен.
395. Так, ни жив ни мертв лежал я во дворце три дня без сил.
А потом господь сознание мне внезапно прояснил,
Догадался я, несчастный, отчего мне свет не мил,
И терпения у бога всемогущего просил.
396. Я сказал: «Создатель, сжался над повергну́тым рабом,
Превозмочь мученья дай мне, позаботься о больном,
Здесь любовь свою я выдам, отведи меня в мой дом».
И железным стало сердце, закаленное творцом.

397. Я привстал. Ко мне ходили люди царские гурьбой,
И царю они сказали: «Встал без помощи больной».
Властелин вбежал в волсньи с обнаженной головой,
Он творца прославил громкой, люди — тихою хвалой.
398. Дали мне испить чего-то, отхлебнул я влаги той
И промолвил: «Государь мой, тело вновь сошлось с душой».
Захотел я дол из'ездить вдоль излучины речной;
Привели коня, и сел я, и поехал царь со мной.
399. Мы пробрались по долине, долгий видели поток,
К дому царь со мной доехал, я вступил на свой порог.
Дома вновь предался власти прежних болей и тревог,
Пршептал: «Приблизься, гибель, — я от жизни изнемог!»
400. И от слез неосушимых стал шафрана я желтей,
Думы сердце рассекали, словно тысячи мечей,
Вратарем, вошедшим в спальню, уведен был казначей;
Думал я: что знает этот или тот? И ждал вестей.
401. «Раб Аснат». «Впустите!» — было приказание дано.
Тот вошел с письмом любовным, странным было мне оно,
Усмехнулся: как другою будет сердце сожжено?!
Мог ли эту заподозреть? Мне ли это суждено?
402. Изумился я: чем вызван дерзкой женщины призыв?
Если буду неговорчив, то, невеждою прослыв,
У нее, отняв надежду, злобный вызову порыв.
Мой ответ на то посланье был любезен и красив.
403. Проходили дни, и сердце все жесточе пламень жег.
В поле шли войска для игрищ, я ж, веселью чуждый, слег;
Во дворец не шел; врачами наполнялся мой чертог;
И долги земные начал я уплачивать, как мог.
404. Но врачи не помогали, стал мне белый свет не бел,
И никто не мог заметить, что в огне я пламенел,
Тяжесть крови усмотрели, царь мне руку вскрыть велел;
Разрешил я, чтобы спрятать рой застрявших в сердце стрел.
405. Так лежал со вскрытой жилой я, сжигаемый огнем.
С чем вошел мой раб, я взором спросил его о том.
«Раб Аснат пришел». Велел я, чтоб его пустили в дом,
Осудив ее за дерзость в помышлении своем.
406. Вновь пришлось отдать вниманье неманящему письму,
В том письме желанье встречи было видно по всему;
Я в ответ: «Пора возникнуть удивленью твоему, —
Призовешь — и я поспешно приглашение приму».
407. Сердцу молвил: не откройся, хоть печали натиск лют!
Ведь индийцы амирбара, ими правящего, чтут,

- И меня они осудят, если слухи к ним дойдут,
И в своих местах прохода мне тогда уж не дадут.
408. Человек явился царский, объявил: «Царь вести ждет;
Кровь пустил ли? — вопрошает, преисполненный забот». Я ответил: «Руку вскрыл я, улучшение настает,
К блеску царскому из мрака будет весел мой приход».
409. Я к царю вошел, он молвил: «С этих пор всю боль забудь». Дал коня мне, тетиву же не дозволил натянуть;
В небо ястребов пустил он, турачей сковала жуть.
В поле лучники усердно славословили наш путь.
410. А когда пришли с охоты, царь затеял славный пир
С неустанным пеньем хора, с ликованьем арф и лир;
Драгоценности швырял он тем, кто немощен и сир,
Одарил и приглашенных, и немолчно певший клир.
411. Тосковал я, не терпевший ни притворства, ни лганья,
Вспоминал, ярилось пламя, содрогалась грудь моя;
Взял ровесников к себе я, любовались мной друзья, —
Чтобы скрыть страданья, праздник я устроил, скорбь тая.
412. Тихо на ухо сказал мне мой домашний казначей:
«Дева спрашивает: можно ль амирбара видеть ей?
Хоть чадрой лицо закрыто, но видна краса очей». Я сказал: «В опочивальню отведи ее скорей».
413. Встал я — те, что пировали, повскакали второпях,
Я сказал: «Вернусь немедля, оставайтесь на местах». Заходя к себе, поставил копьеносца при дверях.
Обязал к терпенью сердце, волю всю свою напруг.
414. В дверь вошел я. Вижу, дева пала наземь. Я смущен.
Слышу: «Истинно да будет этот час благословлен». Я дивился: кто ж содеет пред возлюбленным поклон?
Тихо села бы, коль ею навик страсти обретен.
415. Я взошел на возвышенья; в отдалении, одна,
Та на край ковра присела, уважения полна.
Я промолвил ей: «Приблизься, раз любовью зажжена». На слова скупясь как будто, не ответила она.
416. Наконец проговорила: «Ныне стыд мне сердце жжет:
Ты подумал, что предпринят мой для этого приход?
Но теперь твоя же скромность мне надежду подает;
Недостойна и не знала я божественных щедрот».
417. Я сознание теряю, правит страх моей душой:
Ведь направлена к тебе я солнцеликой госпожей;
Эта царственная смелость подобает ей одной.
Вот письмо от повелевшей мне беседовать с тобой».

Сказ седьмой

Первое письмо Нестан-Дареджан к возлюбленному

418. Я узрел письмо той девы, что казнит, огнем одев;
Солнца луч писал: «Ты рану скрой, мучения стерпев:
Обмирание и мленье только вызовут мой гнев.
Я в уста Асमत влагаю речь мою к тебе, о лев.
419. Эти обмороки, слезы я за службу не сочла,
Соверши ты для любимой небывалые дела.
Многолюдная Хатайя нашей данницей была;
Нам терпеть не должно ею причиняемого зла.
420. Я иметь хотела мужем лишь тебя, желанный мой, —
Дело давнее сказалось только нынешней порой;
В паланкине я сидела, обезумел ты, герой;
Все слыхала я оттуда о случившемся с тобой.
421. Верь словам моим правдивым, не печалься ни о чем
И, нагрянув на Хатайю, там прославь меня мечом.
Не терзай напрасно розу слез томительных ручьем!
Я рассеяла твой сумрак. споря с солнечным лучом».

Сказ восьмой

Первое письмо Таривля к возлюбленной

422. Тут Асमत уже со мною говорила без тревог.
Ясность радостей несметных мой наполнила чертог;
Я дрожал в самозабвеньи, сладкий трепет сердце жег,
И шафран в хрусталь и лалы превратить я снова смог.
423. Положил я пред очами дорогие письма
И ответил: «Можно ль солнцу одолеть тебя, луна?
Бог свидетель, что не будешь мною ты огорчена.
Ах, живу я или умер, или это греза сна?!»
424. Я сказал Асमत: «Отвечу то, что сердце изречет:
Доложить осмелюсь: солнце, мне ниспослан твой восход.
Ведь меня ты воскресила, указала мне исход,
Сослужу тебе я службу, не отвергну я забот».
425. Та сказала: «Мне царевны повеление гласит:
Пусть ко мне его прихода здесь никто не проследит,
Увлеченного тобою сохранять он должен вид;
Пусть по совести поступит, чтобы не было обид!»
426. Мне понравился столь мудрый девы царственной совет;
Даже солнцу стал угрозой огневой ее расцвет,
Мне досталась от любимой не обида, а привет.
Ах! В лучах ее терялся полдня яростного свет!

427. И камня дорогие в чаше подал я Аснат;
Дева молвила: «Не надо, я сыта уже стократ».
Лишь одно взяла колечко небольшое, наугад:
«Этим знаком я довольна, не лишенная награда».
428. И ушла Аснат, из сердца моего копье из'яв.
Тьму надежда осветила, я почуял счастье в'явь.
И к пирующим вернулся для питья и для забав;
Одарил друзей, веселый, — веселее стал их нрав.

Сказ девятый

Письмо, к хатайцам написанное, и отправление говца

429. Я послал с письмом в Хатайю человека моего,
Написал: «Царю индийцев мощь дарует божество;
Царь покорное любое насыщает существо:
Кто проявит непокорство — пострадает от того.
430. Вы, наш брат, не пожелайте стать причиной скорбей,
Сей приказ прияв, придите к нам по-братски поскорей;
А когда не поспешите — звон услышите мечей.
Навестите, чтобы кровью не окраситься своей».
431. С тем послал я человека. Стал я сердцем веселей
И, воскреснув, услаждался снова в обществе царей.
Одарял меня в то время мир изменчивый щедрей;
Ныне я, лишась рассудка, мерзок даже для зверей.
432. Я хотел уйти скитаться, но потом огонь утих,
На пирах я появлялся средь ровесников моих;
Но желаний разрастанье отравляло радость вмиг,
Мной печаль овладевала, белый свет казался лих.
433. Как-то раз домой вернулся я из царского дворца,
Вспоминал ее, не спалось, реял свет ее лица;
Я письмо держал во мраке, сладко грезя без конца.
Тут раба вратарь мой вызвал; пропустили в дом гонца.
434. «Раб Аснат». Велел я в спальню провести его живею.
Был я призван той, что в сердце мне вадила сталь мечей.
Мне во мгле блеснула радость, легче стал зажим цепей;
Взяв с собой раба, поехал, чтоб увидеть свет очей.
435. Неприметно в сад безлюдный я пробрался без помех,
Вдруг Аснат пошла навстречу и промолвила сквозь смех:
«Все шипы я удалила; вам увидеться не грех.
Подойди. Увидишь розу — свежий цвет своих утех».
436. Тяжкий занавес с усилием кверху вздернула Аснат.
Засверкал престол, большими бадахшанами богат, —
Там сидела та, чей солнце ослепит внезапный взгляд.
Черных двух озер сверканьем был я, замерший, об'ят.

437. Долго я стоял. Безмолвно восседая предо мной,
 Дева сладостно смотрела, словно был я ей родной;
 Подошла ко мне служанка, пошептавшись с госпожей:
 «Уходи, невмочь сегодня ей беседовать с тобой».
438. Мне Асमत открыла выход, снова занавес подняв;
 Произнес я: «Мир мгновенный, я познал твой нежный нрав;
 Исцеляя, ты готовишь для принятия отрав,
 Пустоту приносишь сердцу, нежной грозой истерзав».
439. Но Асमत, когда мы с нею проходили сад густой,
 Прошептала: «Уходящий, не терзай себя тоской
 И, закрыв калитку страха, двери радости открой:
 Та безмолвием спасалась от смущенья пред тобой».
440. Я сказал ей: «Врачеванья от тебя, сестра, я жду, —
 О, не дай с душой расстаться, удали мою беду,
 Посылай почаще письма, не покинь меня в аду;
 Знаю, ты не будешь скрытной, в письмах правду я найду».
441. Я в слезах уехал, чуя в сердце трепет огневой.
 Угасить не смог я в спальне неусыпный пламень свой,
 И хрусталь и лал в безумьи облекая синевою,
 Предпочел я ночь, и утра не желал, полуживой.
442. И пришла пора вернуться из Хатайи вестовым;
 Лишь заносчивые речи там пришлось услышать им:
 «Мы не трусы, крепостями не бедны, и постоим!
 Кто такой ваш царь, и как он господином стал моим?»

Таризель выступает с огромным войском против хатайцев, побеждает их и, пленив их царя Рамаза, с несметной добычей возвращается в Индию. Он привозит оттуда в подарок Нестан-Дареджан замечательную, вышитую золотом черную шаль и зеленое платье.

Сказ двенадцатый

Письмо Нестан-Дареджан, к возлюбленному писанное

535. От Асमत письмо я принял, мне писало пламя дня:
 «Чистоту воды алмаза в светлом облике храня,
 Статным станом красовался ты, прищпоривший коня.
 Ах, не даром так обильно слезы льются у меня!
536. Мой язык тебя прославит — бог его обогатит.
 Коль покинешь, то погибну я без жалоб и обид.
 Для тебя гишер и розы блеск небесный да взрастит.
 Твоему, о солнце, лику мой приличествует вид.
537. Знай, не тщетно слезы лились, не бесплодные они!
 А теперь уйми стенанья, скорбь от сердца отгони!
 Увидать тебя стараясь, люди ссорятся в тени.
 То, чем лоб твой был окутан, для меня ты сохрани!

538. Подари мне тот хатайский шарф, что так тебе идет,
Чтоб твоей красы прикрасу я одеда в свой черед.
Сей браслет надень ты, если дар мой радость принесет!
Для тебя рассвет подобный пусть вовек не рассветет!»
539. Тариэль заплакал, дрогнул, страшным пламенем задет,
Молвил: «Вот он, дар любимый, с дорогой руки браслет».
Драгоценность снял, которой и цены на свете нет,
Приложил к лицу и обмер, как мертвец, утратил цвет.
540. Так лежал, подобно трупу, иль тому, кто обречен,
Дланью мощной поразивший грудь нагую, с двух сторон.
Взяв кувшин, Асма,т, чей облик был истерзан, искажен,
Вновь струей воды смывала с Тариэля страшный сон.
541. Вздрогнул юноша, увидев, что повергнут в прах герой.
Дева камень просверлила жгучей слезною струей,
Льву сознание возвратила, угасив огонь водой.
Молвил он: «Я жив, хоть кровью вновь упился мир земной».
542. И привстал он, побледневший, — озираясь, он утих.
Облик розы, прежде алый, белизны вполне достиг.
Говорить не мог он долго и не мог смотреть на них;
Этой жизни ужасался вновь оставшийся в живых.
543. Он сказал: «Хотя мой разум затемнен судьбою злой,
Доскажу, что испытал я со своею госпожей.
Рад в тебе увидеть друга, повстречавшийся с тобой.
Удивляюсь, как не умер я, от мук полуживой!»
544. Я в Асма,т сестру увидел, возвратившую мне свет,
И, когда письмо прочел я, мне дала она браслет.
Дар тот на руку надел я и отдарок дал в ответ:
Снял с чела тот шарф, имевший искрометно-черный цвет.
545. Шарф и платье дать в подарок бесподобной был я рад;
Увязал, послал я солнцу столь же солнечный наряд.
Как надежду на дыханье, отпустил с трудом Асма,т.
Я с другою не сумел бы побеседовать, как брат.

Сказ тринадцатый

Письмо Тариэля к возлюбленной, написанное в ответ

546. Написал я ей: «О, солнце, к твоему припав лучу,
Сердце я пронзил, и смелость стала мне не по плечу.
Ослеплен твоим сияньем, весь от страсти трепещу,
За неожиданное блаженство чем тебе я оплачу?»
547. Ты с душой не захотела разлучить меня вполне.
Столько блеска не бывало ни в одном прошедшем дне.
Твой браслет надев на руку, не погибну я в огне;
Всех отрад прошедших слаще радость нынешняя мне.

548. Шарф, который ты просила, я спешу тебе послать.
Посылаю также платье, что одной тебе под стать.
Не покинь меня, больного, вспомни скорбного опять.
Лишь тебя одну хочу я в мире этом почитать».
549. Вышла дева, и, улегшись, впал я сладко в забытие.
Вздрыгнул я, во сне увидя солнце жгучее свое.
Лишь проснулся, все исчезло. Мерзким стало бытие.
Так провел я ночь, не слыша даже голоса ее.
550. Рано вызванный к державным, чуть забрезжила заря,
Ко дворцу я устремился, нетерпением горя:
Там нашел я трех визирей и царицу, и царя.
По велению властных сел я, их воссевшими узря.
551. Изрекли: «Изнемогая, обрели мы седину —
Время старости настало для утративших весну.
Нам наследник не дарован, мы имеем дочь одну;
Но не гужим — вместо сына озарит она страну.
552. Для нее теперь, как должно, мужа доброго найдем,
Свой престол ему оставим, воплотим наш образ в нем,
Власть над царством предоставим, нам да будет он щитом,
Чтобы враг на одрахлевших не обрушился с мечом».
553. Я сказал: «Не скрыть от сердца — у достойных сына нет,
Но достаточно надежды в ней, затмившей солнца свет.
Вам в зятя отдавший сына будет радостью согрет.
Сами знаете, что делать. Что скажу еще в ответ?».
554. Сердце обмерло, услыша об утрате неземной.
Я подумал: не поставишь им преграды никакой.
Царь сказал: «Хорезмша правит Хорезмийскою страной,
Если он отдаст нам сына, не сравнится с ним иной».
555. Что давно свершили выбор, говорил их каждый знак,
Так слова согласовали, переглядывались так;
Не дерзнул я прекословить замышлявшим этот брак.
Сразу в прах я превратился, поселился в сердце мрак.
556. И царица подтвердила: «Хорезмиец славный нам
Сына даст в зятя, который не под стать ничьим сынам».
Я поспорить не решился о желательном царям,
Согласился я, и день тот жизнь рассек мне пополам.
557. И пошли в Хорезм посланцы — взять наследника в зятя.
Без царевича, — сказали, — наша Индия — ничья.
Дочь у нас одна, как солнце, — украшенье бытия.
Ничего не опасаясь, дай нам сына для нея!».
558. Человек пришел, принеший много пышных покрывал;
Хорезмийский шах воспрянул, просиял, возликовал,
Приказал сказать: «Стремленью бог свершенье ниспослал!
Нам желанна дочь такая, что превыше всех похвал».

559. Вновь послали за желанным хорезмийским женихом,
Поручив просить: «Идите и не медлите — мы ждем!».
Наигрался в мяч, устал я, отдохнуть вошел в свой дом.
Беды сердце обступили, стал богатый бедняком.
560. В грудь свою клинком ударить я немедля был готов.
Раб Асмаат вошел — и снова стал я весел и здоров;
Взял письмо, прочел: «Стан пальмы, цвет невянувших садов,
Днесь тебе повелевает: поспеши притти на зов!».
561. К саду быстро подскакал я, бурной радостью об'ят,
И увидел — там, под башней, трепеща, стоит Асмаат,
И невысохшие слезы на щеках ее дрожат.
Ни о чем не вопрошал я, все сказал печальный взгляд.
562. Первый раз Асмаат при встрече так была невесела,
Смех былой она забыла, из очей глядела мгла,
Мне и слова не сказала, слезы частые лила,
Старых ран не исцелила, много новых нанесла.
563. Больше в сердце упование не сияло ни одно.
В башне занавес открылся, точно в божий рай окно.
Я вошел, увидел солнце, стало больше не темно.
Сердце сразу озарилось, но растаяло оно.
564. Упадал на ту завесу блеск безрадостных лучей,
Был, накиннутый небрежно, златотканый шарф на ней;
Взлезающая в зеленом, божьих гроз была грозней.
Обливали слезы очерк огнемечущих очей.
565. Так над бездною тигрица огневзорая лежит.
Был блистательнее солнца пальмы властвующей вид.
Сесть Асмаат мне предложила, был я зрелищем разбит.
Встала грозная во гневе, перлы падали с ланит.
566. Об'явила: «Удивляюсь, как явился во дворец
Ты, предатель и изменник, преступивший клятву лжец?»
По достоинству заплатит за дела твои творец!»
Я сказал: «Непониманьем скован слов твоих ловец.
567. Если правды не постигнем — об'яснения не найдем.
Обвиненный, я с причиной обвинения не знаком».
Вновь сказала: «С вероломным мне беседовать о чем?
Я по-женски обманулась и теперь горю огнем!
568. Хорезмийцу отдана я — это знаешь или нет?
Дал на то и ты согласишься, приглашенный на совет.
Ты свою нарушил клятву и служения обет.
Я, оставленная, страшный на тебе оставлю след!
569. Помнишь, как стонал, слезами омывая ширь полей.
Как лежал ты, окруженный целой ратью лекарей?
Что же может быть в мужчине этой лживости гнусней?
Знай, отвергнутого отвергнуть я смогу еще больней.

570. Кто великим и обильным Индостаном ни владей,
Я владычицей пребуду, не останусь без путей!
Не бывать же ты в ловушку лжи своей!
Мысли все твои подобны самому тебе, злодей!
571. На изгнание из царства, знай, ты мною осужден;
Коль посмеешь ты остаться, будешь тут же умерщвлен.
Равной мне не сыщешь, даже тронув дланью небосклон!»
Речь свою прервал прекрасный и опять заплакал он.
572. Молвил: «Я обрел надежду, возвращенный бытию,
Вняв речей ее горячих возмущенному ручью;
Но над бездною безумья я теперь опять стою.
Что ж ты, мир непостоянный, пьешь так долго кровь мою.
573. Я привстал, коран открытый в изголовии нашел,
Восхвалил творца, а после — расстилающую свет,
Ей дерзнул сказать: «О, солнце, свод небес тобой согрет!
Ты меня не убиваешь, я одно скажу в ответ.
574. Если сказанное мною будет низкой клеветой, —
Пусть разгневается небо и сокроет светоч свой!
Не кривящего душою правосудья удостой!»
Соизволившая слушать мне кивнула головой.
575. Я промолвил: «Коль нарушил я зарок, что мною дан,
Божий гнев да покарает оскорбившего коран!
Для меня чужой не станет солнцем—облик, пальмой—стан.
Коль копье пронзит мне сердце, как я жить смогу, Нестан?
576. На совет меня позвали, хоть жених, угодный им,
Для тебя давно был выбран, в царских помыслах таим.
Неучтиво было б спорить с повелителем своим.
Я сказал себе: покорствуй, будь пока невозмутим!
577. Как дерзнул бы я перечить, если даже Парсадан
Позабыл, что без владельца не остался Индостан,
Что лишь мне он весь подвластен, и иным не будет дан.
Коль прибудет соискатель, то себя введет в обман.
578. Я решил — необходимо средство тяжкое весьма:
Не спасешься в этом деле изворотами ума.
Зверем по полю блуждал я, поселилась в сердце тьма.
Отдана ты мной не будешь, не украв себя сама!».
579. Обратил в базар ту башню, сердцу сердце я продал.
Дождь утих, что прежде розу непрерывно заливал.
Улыбнулся, войско перлов окружающий, коралл.
«Как могла я так подумать? — голос ласковый сказал. —
580. Нет, не верю, чтоб изменой ты ославился, герой,
Чтобы господу за щедрость не был верным ты слугой,
Помолись, чтоб дал тебе он власть над Индией и мной.
Мы на трон воссядем вместе полновластною четой».

581. Всю жестокость угасила, состраданьем смягчена,
Мир собою осенила, словно светлая луна, —
Близко сесть мне разрешила, вновь безоблачно-ясна.
«Стих огонь, меня сжигавший» — тихо молвила она.
582. Приказала: «Кто разумен — от поспешности далек:
Лучше быть неторопливым, чем безумно встретить рок.
Царь вспылит, коль ты непустишь хорезмийца на порог.
Спор ваш Индию рассек бы и пустыней стать обрек.
583. Толькопустишь хорезмийца, обвенчают девч с ним,
Мы расстанемся навеки, радость в траур обратим;
Возликуют властелины, мы печаль усотерим.
Не позволю сделать перса я наперсником своим»
584. Я сказал: «От сей женитьбы бог его да отвлечет!
Только станет мне известен персов в Индию приход,
Покажу себя пришельцем, с ними вмиг свершу расчет,
После этого едва ли впрок что-либо им пойдет!».
585. Та в ответ: «Природы женской не хочу менять ни в чем,
Потому не допущу я, чтоб хлестала кровь ручьем.
Войск чужих не истребляя, жениха срази мечом!
Правый суд плоды рождает и на дереве сухом.
586. Сделай так, мой лев, сильнейший из живущих ныне львов:
Жениха убей, подкравшись; не прибавь к нему рабов,
Не закальвай их, словно стадо мулов и коров.
Удержи свою десницу — тяжела невинных кровь.
587. Жениха убей, а после ты царю дерзни сказать:
«Я не дам презренным персам наше царство пожирать
И ни драхмы не позволю им из Индии отдать.
Покорись, иль в прах твой город я сумею разметать!»
588. Перед ним не уподобься ты несчастным женихам;
Нежеланием женитьбы больший вес придашь словам,
И с надломленною выей умолять начнет он сам.
Я тогда твоею буду, блеск, дарованный очам!»
589. Эту речь дослушав, мудрость я нашел в ее словах,
И врагам своим сулил я моего меча размах.
Я поднялся. Хоть склонилась та с улыбкой на устах —
Не дерзнул желанный тополь ощутить в своих руках.
590. И, промедливши немного, я ушел, огнем об'ят.
Шедро слезы проливая, предо мною шла Асмаг.
Для одной утехи — муки я умножил во стократ,
Я оглядывался часто, не спешил, бредя назад.
591. Человек пришел и молвил: «Хорезмиец к нам грядет!»
Но не знал жених, что будет роковым его приход.
Этой вестью царь индийский услаждался без забот.
Мне сказал он: «Приходи же, ныне празднествам черед!»

592. Объявил он: «День сей будет для меня утешным днем.
Свадьбу праздновать мы станем, как достойно, с торжеством;
Мы сокровища для свадьбы отовсюду соберем.
Все раздарим! Ведь не стану я, владетельный, скупцом!»
593. Я послал людей повсюду — совершить сокровищ сбор.
И жених приехал также, не медлителен, а скор.
Вышли встретить хорезмийцев наша рать и царский двор.
Войск, собравшихся в долине, не вмещал ее простор.
594. Царь велел: «Шатрами площадь разукрасьте, взяв шелка,
Чтобы там наш гость желанный отдохнуть сумел слегка.
Пусть пойдут ему навстречу царедворцы и войска;
Ты же встреть его в чертоге — хватит этого пока».
595. Там на площади поставил я шатров атласных строй.
Зять приехал, день, казалось, был не пятницей страстной.
Выход начался придворный, подразрядный, не простой,
И войска установились многостенной пестротой.
596. Я к закату утомился от обязанности той.
Так меня ко сну клонило, что вернулся я домой.
Раб Аснат с послащем новым появился предо мной:
«Пальме райской поскорее надо свидеться с тобой».
597. Я с коня не слез, поехал, поспешил, что было сил,
Всю в слезах Аснат я встретил, о причине спросил.
Та сказала: «Кто ж, с тобою встреться, щек не оросил?
Обеляемый пред милой, вновь себя ты очернил».
598. Мы вошли, и сдвинул брови на лице светила гнев,
Мир, как солнце, та царевна озаряда, заалев;
Объявила: «Что ж бездействен, бранный день узревший, лев?
Лучше скройся, если предал, к тайне нашей охладев!»
599. Огорчился я и вышел с обещаньем для нея:
«Обнаружится сегодня, кто возжаждал, коль не я!»
Девой послан в бой, как будто ослабела длань моя!
Я домой пришел, убийство в быстрых помыслах тая.
600. Сто рабов тогда собрал я, и в порядке боевом,
Оседлав коней, за город мы поехали тайком.
Я в шатер вошел: царевич там лежал, об'ятый сном.
Я убил его без крови, не рубил меча мечом.
601. Я полотнище палатки острой сталью раскроил,
Гостя за ноги схватил я, головой о столб хватил.
Плач неожиданно пробужденных всю долину огласил.
Я, в кольчугу облаченный, поскакал, что было сил.
602. Доносился крик погони, хорезмийцев дикий вой.
Изрубить пришлось мне многих, устремившихся за мной.
В город собственный, высокой опоясанный стеной,
Я сокрылся, не затронут ни единою стрелой.

603. Вестовому приказал я: «Все войска собрать на сход:
Каждый, кто помочь захочет, пусть ко мне сюда придет!»
Появлялся неприятель темной ночью у ворот,
Но, узнав меня, спешил он защититься в свой черед.
604. Встал я в час, когда ночное небо стало розоветь.
Царь устами трех визирей мне изволил повелеть:
«Ты, возвращенный вместо сына, мой воспитанник, ответь, —
Для чего мое веселье ты заставил потускнеть?»
605. Почему невинной кровью запятнал ты царский дом?
Если дочь мою хотел ты — почему молчал о том?
Почему покрыл кормильца несмываемым стыдом,
Почему же не подумал ты о дряхлом и седом?»
606. Передать ему велел я: «Царь, я тверже, чем гранит!
Оттого огонь смертельный жизнь мою не прекратит.
Должен печься лишь о правде — кто порфирую покрыт.
От меня желанье брака ваша мысль да отстранит!
607. Знаем, сколько в Индостане и дворцов, и тронов есть.
Все повымерли владельцы — вам досталась власть и честь.
Я того добра наследник, что пришлось вам приобрести.
Днесь лишь я один по праву на престол могу воссесть.
608. Отстою права! Клянусь я в этом вашей добротой!
Сыном бог не одарил вас, только дочерью одной;
Если трон отдать чужому, что же будет взято мной?
Меч возьму я, коль на царство сядет в Индии иной!
609. Вашей дщери не ищу я и не стану женихом.
Здесь хозяин я! Другому не царить в краю моем!
Кто забрать мое захочет — распростится с бытием!
В этом деле не нуждаюсь я в содействии чужом».

Узнав, что к этому убийству причастна его дочь, Парсадан в бешенстве клянется убить ту, которая ее воспитала. А воспитала ее сестра Парсадана, Давар, вдова, из страны каджей, страшных сказочных существ, проявляющих всевозможные сверхестественные свойства. Давар же в свою очередь обрушила гнев на Нестан-Дареджан, избива ее, а затем, призвав двух каджей, своих слуг, приказывает им посадить царевну в лодку и отвезти туда, где находится «пуп моря», чтобы она там умерла, лишая пресной воды. Каджи сажают Нестан-Дареджан в лодку и быстро уплывают. Это видела Асмаат и, плача, передала ужасную весть Тариэлю.

Тариэль наскоро снаряжается на поиски Нестан-Дареджан. Забирает с собой небольшой отряд воинов и слуг, а также Асмаат, садится на корабль и пускается в море. Целый год блуждал он по морям в тщетных поисках Нестан. Отряд его погиб от разных невзгод. Наконец, не будучи больше в силах оставаться в море, он высадился вместе с уцелевшими Асмаат и двумя рабами на берег какой-то страны, недалеко от города. Здесь он постречался с прекрасным, молодым витязем Придоном, царем этой страны. Придон пригласил Тариэля в свой город и во время охоты рассказал ему, что однажды с того холма, на котором они сейчас находятся, он увидел на море необыкновенное зрелище: с невероятной быстротой неслась лодка, которая вскоре пристала к берегу. Из лодки вышли два черных раба и вывели на сушу женщину, блеск лица которой озарил всю окрестность. Ошеломленный этим зрелищем, Придон помчался на своем молниеносном скакуне в их сторону, чтобы отбить женщину у рабов; но они его заметили и снова ушли в море.

Услышав это, Тариэль соскочил с коня и, рыдая, рассказал о своем горе Придону, видевшему здесь, на берегу моря, без сомнения, Нестан-Дареджаи. Придон успокаивает его и рассылает на поиски царевны во все стороны своих людей. Но люди через некоторое время возвращаются ни с чем. После этого Тариэль оставляет гостеприимного хозяина, подарившего ему своего знаменитого черного коня, и пускается странствовать по миру, ища всюду следы своей пропавшей возлюбленной. Безрезультатные скитания приводят его в полное отчаяние. Желая быть вдали от опустылевших ему людей, он забирается вглубь пустынных мест, находит пещеру и, истребив живших в ней страшных чудовищ, превращает ее в свое жилище. Два раба его погибли в схватке с дэвами, осталась только Аснат. Она служит ему, питаются они дичью. Тариэль уподобил образ незабываемой возлюбленной тигрице, и поэтому-то он одет в тигровую шкуру. Уже десять лет прошло с тех пор, как пропала Нестан-Дареджаи. На этом кончается рассказ Тариэля.

Автаидил тоже рассказал Тариэлю, кто он и кем послан на его поиски... Дав Тариэлю слово вернуться в кратчайший срок, Автаидил устремляется в Аравию. Его возвращению безмерно рады и Ростэван, и Тинатни, и войско, и народ. Он рассказывает им удивительную историю обнаруженного им витязя. Своей прекрасной, тоже не мало страдавшей от разлуки с ним, Тинатин он сообщает, будучи с ней наедине, что ему без замедления надо выехать снова на помощь Тариэлю. Та, скрепя сердце, одобряет его доблестное решение. Но Ростэван и слышать не хочет о новой поездке Автаидила. Тогда Автаидил уезжает от него тайно, оставив свое знаменитое завещание.

Сказ двадцать первый

Завет, который Автаидил оставил для Ростэвана перед своим тайным уходом

843. «Нынче сел я, полный скорби, начертать тебе завет;
Снова к солнцу устремляюсь, расточающему свет.
Если с пламенным не встречу — для меня спасенья нет.
Ты пошли благословенье и прощенье вослед!
844. Знаю — после не осудишь, хоть поступок мой неждан.
Разве мудрым будет брошен друг в огне сердечных ран?
То, что сказано Платоном, не забудь, о, Ростэван:
«Вслед за телом губят душу двоедушье и обман».
845. Коль во лжи лежит начало всех несчастий и утрат —
Как могу в беде покинуть друга лучшего, чем брат?
Надругательство над дружбой — это с мудростью разлад:
Ведь с божественным порядком нас науки единят.
846. Царь, апостолов читал ты — о любви они твердят,
Прославляют, объясняют — сердцу знание дарят.
«Нас любовь возносит!» — миру не спроста они гласят.
Ты не веришь — как же неуч этой правде будет рад?
847. Кто создал меня, тот волен в битве дать мне торжество;
От его незримой силы все земное не мертво.
Он, бессмертный, властен мощью помышленья своего
Одному дать силу сотни, сотне — слабость одного.
848. То, что богу не желанно, не исполнится вовек.
Коль цветков не видит солнца, то наряд его поблек.
Льнут к чудесному все очи и сомкнуть не могут век.
Без него и я не в силах до конца дожить свой век.

849. Не сердись, что повелению твоему я изменил:
Мне, как пленному, в томленьи пребывать не стало сил.
Кроме бегства, я, палимый, чем бы пламя погасил?
Где бы ни был я — мне воля и простор открытый мил.
850. Слезы горю не помогут, понапрасну их не лей.
Предрешенное не сходит с предначертанных путей.
Не ропща встречать нам должно все невзгоды жизни сей.
Из телесных кто способен избежать судьбы своей?
851. Да придет все, что вышний начертает надо мной,
И вернусь, приемля в сердце, вместо горести, покой.
Пусть, пирующих, найду вас в блеске славы боевой —
Мне ж, коль другу буду в помощь, славы надо ли иной?
852. Пусть беда меня настигнет, коль достоин я суда.
Царь, ужель на ясный лоб твой ляжет гнева борозда?
Если друга я забуду, то под бременем стыда
Как лицом к лицу в надмирном мире встречу с ним тогда?
853. Дума долгая о друге сердцу зла не принесет.
Проклинаю пламя лести, сокрывающее лед.
Как державному герою друг единственный солжет?
Кто презренной ратоборца, опоздавшего в поход?
854. Кто презренней ратоборца, приходящего на брань
И дрожащего от страха, видя близкой смерти дань?!
Человек трусливый равен лишь ткачихе, ткущей ткань.
Всех стяжателей богаче, кто стяжает славы дань.
855. Нет дороги, что для смерти показалась бы узка, —
Слабых с мощными равняет и разит ее рука,
Зарывает прах младенца вместе с прахом старика.
Жизнь покрытого позором горше смерти смельчака.
856. А теперь, о царь, подходит слова трудного черед.
Слаб, кто каждое мгновенье той безжалостной не ждет,
Что, сливая ночь и полдень, в каждый дом находит вход.
Помяни меня, державный, если жизнь моя уйдет!
857. Если буду я погублен беспощадною судьбой,
Если в странствии безвестном припаду к земле сырой,
Путник, в саван не одетый, не оплаканный родней, —
Пожалей меня, властитель, всепрощающе-благой!
858. Раздари мои богатства, — пусть сойдутся все на эв:
Сделай бедных богачами, отпусти моих рабов,
Обеспечь несчастных сирот, нищих, немощных и вдов.
Будет каждый одаренный помянуть меня готов.
859. И сердца убогих к богу обратятся за меня,
Чтоб, оковы тела сбросив, дух вознесся, блеск храня,
Чтобы не был я низвергнут в область адского огня,
Чтобы мне войти в обитель вечно-радостного дня;

860. Чтоб из мрака был я поднят до сверкающих высот,
Где душа моя от скорби исцеленье обретет,
Где не гложут сердца черви, где лишаются забот,
Где крылатый дух свершает бестелесный свой полет.
861. Из того, в чем для владыки не окажется нужды,
Часть отдай на богадельни, часть на новые мосты.
Пусть наполненные станут все хранилища пусты.
Кто мое потушит пламя, если в том откажешь ты?
862. От меня уже известий не получишь ты потом;
Я тебе вручаю душу завещательным письмом.
Никому не будет прока в сделке с дьяволом-лжецом.
Дай прощенье, ибо тяжба невозможна с мертвецом.
863. Будь нестрог с моим подручным — Шермадином дорогим;
Этот год он долгим рядом бедствий яростных язвим;
Успокой своею лаской столь привычного к моим,
Чтобы слез кровавых токи не струил, как нелюдим.
864. Вот рукой моей дописан этот горестный завет;
Я бегу с безумным сердцем вожделенному вослед.
О, цари! Не облекайтесь мглой моих докучных бед
И на страх врагам парите без печали много лет».
865. Дописал и к Шермадину обратился он потом:
«Отнеси к владыке это и поведай обо всем.
Ты в усердии великом несравненным был рабом». —
Он, обняв слугу, излился слез кровавым родником.

Сказ двадцать второй

Молитва Автандзла в мечети перед тайным отъездом

866. Оросил слезами поле он, готовясь в путь большой;
Вся Аравия в закате заволакивалась мглой.
Должен все доверить богу испытуемый судьбой.
Вот в мечеть, просить победы, едет страждущий герой.
867. Он молитву произносит: «Боже неба и земли,
Приближающий утехи, настагающий вдали,
Всех властителей властитель, истомленному внемли!
Ты, царящий над страстями, силу сердцу ниспосли!
868. Роком грозным разлученный с блеском солнечных лучей,
Я молю тебя, владыка неба, суши и морей,
Для людей любовь создавший и законы давший ей,
Не давай любви угаснуть у возлюбленной моей!
869. Мой единый покровитель, вездесущий, всеблагий,
Защити меня в дороге, огради своей рукой
От врагов, от ураганов и от нечисти ночной!
Если выживу, то жертвы принесу тебе с хвалой».

870. Сел на лошадь, помолившись, тайно выехал он в путь;
Отпустил и Шермадина; горя вновь пришлось хлебнуть.
Слезы льет слуга усердный, бьет себя нещадно в грудь:
Как, не видя господина, сможет раб легко вздохнуть?
871. Говорит и причитает: «Затененное сейчас,
Ты, светило, удалилось, чтоб заря не занялась;
Издалека мечешь стрелы и пронзаешь всякий раз,
Слез потоки извлекая из моих незрящих глаз».

(Окончание следует)

Матвей Кузьмич

Рассказ

ПАВЕЛ НИЛИН

У под'езда гудел автомобиль. Шофер, должно быть, нервничал. Волков торопливо одевался. Он проспал сегодня. Открыв форточку, он сказал: «Я сейчас, Иван Прокофьевич». И, выйдя в переднюю, стал надевать шляпу, пальто, галоши. Новые галоши надевались очень туго. Волков с трудом натянул первую и услышал звонок. У дверей стоял почтальон: «Вам — телеграмма». Волков вскрыл ее, прочел и, так и не надев вторую галошу, вернулся в кабинет.

Нинка думала, что папа не слышит автомобильных гудков, побежала ему сказать и, ворвавшись в кабинет, увидела, что папа плачет. Большой, широкоплечий папа сидел в пальто, в шляпе, в одной галоше и плакал, не утирая слез. Это зрелище испугало Нинку. Она побежала к матери.

Татьяна Федоровна, взволнованная, заспанная, шурша узбекским халатом, вошла в кабинет, взяла из рук мужа телеграмму, прочла ее и тоже заплакала. И, глядя на них, заплакала Нинка. В телеграмме было сказано: «Мама умерла приезжай скорее папа».

Волков три раза перечел телеграмму. Он все еще думал, что произошла какая-то ошибка, что почтальон, может быть, перепутал адрес. Он все еще не хотел верить, что умерла именно его мать, эта маленькая, сухонькая старушка, с коричневым, скорбным лицом, которую он видел в последний раз несколько лет назад и с которой со-

бирался увидеться в этом году летом. Да, в этом году он собирался поехать к матери, привезти ее в Москву и выполнить, наконец, все обещания, данные еще в детстве.

В детстве Волков часто жалел свою мать. Она стирала белье чужим людям, ходила чужим людям мыть полы. Уходила из дому чуть свет и возвращалась затемно. И ночью дома продолжала работать при свете керосиновой лампы, стирать и шить, починять и гладить. За всю жизнь свою, беспокойную и торопливую, она, как говорится, не присела ни разу, не съела ни одного сладкого куска, приберегая его для сына Витеньки или для мужа, Матвея Кузьмича.

Муж служил швейцаром в дворянском собрании. В свободное от службы время он сапожничал на дому — принимал заказы на починку. А когда заказов не было, ходил по дворам — чистил нужники, носил воду, колол дрова. Заработанные деньги шли на книжку. Затаенная мечта о собственном домике с огородом и с садиком не давала спать Матвею Кузьмичу. Он даже в снах своих, тревожных и кратких, видел собственный домик. И ради домика этого, существовавшего пока только во сне, жена зимой и летом ходила в одних и тех же ботинках, в одном и том же платье и старалась есть не дома, а у хозяев, где стирала белье, мыла полы и домовничала.

Виктор в детстве жалел свою мать и, глядя на руки ее, худенькие, тоненькие, в синих жилах, говорил: «Вот, подожди, мама, я вырасту. Ты посмотришь, как я буду тебя кормить. Работать ты не будешь. Ты в театр все будешь ходить, конфеты есть». Мать смеялась и, счастливая, плакала. «Ты учишь только, Витенька, — говорила она, просветленная, в слезах. — А там увидим».

Виктор учился в гимназии. Отец хотел, чтобы сын его вырос таким же господином, как те, которым отец подавал пальто. Скупой, прижимистый, отказывающий себе во всем, он ничего не жалел для сына. Сын учился в гимназии вместе с барскими детьми. Учился он хорошо, прилежно. Он, наверное, окончил бы учебу с золотой медалью, как пророчили ему, если бы на шестнадцатом году его не исключили из гимназии с волчьим билетом. Исключили его за какую-то, как говорил отец, неподходящую речь на сходке.

Мать заметно постарела после этого случая. Матвей Кузьмич ходил угрюмый. А Виктор, устроившись рабочим на кожевенный завод, продолжал говорить матери: «Ты только подожди, мама. Я, вот, подучусь на этом деле, и мы хорошо заживем. Вот посмотришь». «Ничего, Витенька, — говорила мать. — Ничего. Все устроится как-нибудь». И она крестила сына, сокрушаясь втайне, что сын не похож ни на нее, ни на отца. Они были смиренные, забытые люди, а он рос какой-то неугомонный, неукротимый. «В дедушку он, наверно, такой-то, господь с ним» — боязливо думала мать, вспоминая отца своего, волжского грузчика, пьяницу и буйана.

Но и дедушка, может быть, не позволил бы себе того, что позволял Виктор. На кожевном заводе он организовал забастовку, пошел просить поддержку у других заводов и угодил в тюрьму. Где уж теперь было думать, что сын вырастет благородным господином. Надежды рухнули окончательно. И родители думали только о том, как бы вызволить сына из тюрьмы. Матвей Кузьмич ходил кланяться в ноги разным господам, просил слезно, клялся вечно бога молить. Но сын крепко был поса-

жен, и ни просьбами, ни молитвами невозможно было сократить положенный ему изрядный срок.

Из тюрьмы он убежал в разгаре лета, в самый знойный праздничный день, в середине дня, на глазах у всего караула, чем прославил себя и наделал в городе много шума.

В начале осени он явился к родителям, рассказал о своих делах, похлебал нежирных щей, взял рубаху и штаны и в ту же ночь ушел неизвестно куда. И надолго ли — тоже неизвестно.

В родном городе, в Сызрани, он опять появился только в революцию. Выступал на митингах, ругал царя и еще кого-то ругал. Голос у него был звонкий, сильный. И весь город, небольшой, вечно тихий, слушал его, волнуясь. В городе помнили его, говорили: «Это Витка Волков. Матвея, швейцара, сын, политический». И прибавляли при этом не то в осуждение, не то в похвалу: «Ох, и бедовый парень!..».

Отец и мать не ходили слушать его речей. Они сидели дома, ожидая новых несчастий. Сын приходил домой охрипший, усталый. Он хлебал, как и прежде, нежирные щи и, как и прежде, уговаривал мать: «Ты только подожди немножко. Ты не думай, что вечно так будет. Вот посмотришь, как все устроится». Он всегда разговаривал больше с матерью. С отцом он говорил очень редко и мало, и видно было, что он не любит отца.

Поздней осенью он снова уехал из города и сказал матери, что едет на фронт. На гражданскую войну.

«Буржуазию уничтожать еду» — сказал он весело, и зубы белые, блеснув в улыбке, осветили загорелое, исхудавшее его лицо. «Ты слышишь, Матвей Кузьмич? — сказала мать. — Витенька-то... на войну поехал...». Но отец ничего не сказал. В последнее время он уже не вмешивался в дела сына. Пусть делает, что хочет. На войну, так на войну...

Эта война продолжалась почти пять лет. Волков-сын приезжал иногда на побывку. Мать стирала ему белье и одежду, а он, голый, сидел за печкой и, как в детстве, говорил: «Подожди». Мать ждала не чудес, не богатства, не

роскоши, не хорошей еды, а спокойного житья, когда сын, наконец, вернется домой, осядет навсегда, может, женится, и она будет качать его детей—своих внуков.

Но после войны сын заехал домой всего на три дня и снова уехал.

Жил теперь он в далеких краях, где-то в Западной Сибири. А потом заехал еще дальше, на Дальний Восток. Он работал там и учился, был директором завода и студентом. О делах его родители знали только по письмам, которые писал он регулярно. И так же регулярно он присылал им деньги. Дела у него как-то изменялись в своей материальной части, ухудшались или улучшались, но сумма денег, посылаемых родителям, оставалась неизменно крупной. Он старался только увеличивать эту сумму. Он хотел, чтобы старики хоть на закате дней своих пожили по-человечески, чтобы мать не отказывала себе в сладком куске, чтобы одевалась почище, как не могла одеваться в молодости.

Но, посылая деньги родителям, сын знал наверное, что они попрежнему скупятся и даже не едят как следует, что отец попрежнему урезывает себя и мать, проводит жесткую экономию, и, хотя теперь у него есть свой домик в три окна и свой огород, он продолжает копить деньги, якобы на черный день, который никогда не наступит. Эта неистребимая жадность отца, потомственного нищего, мечтающего разбогатеть, безумная страсть, которой подчинен старик с молодых лет, чуть ли не с детства, возмущала сына. И, жалея мать, вынужденную во всем подражать мужу, отказывать себе во всем, сын стал думать, как лучше перевезти стариков на Дальний Восток. Здесь отца бы удалось взять под особое наблюдение, ограничить его власть над матерью. Мать пожила бы в свое удовольствие.

Этот замысел сын вынашивал долго. Но замысел этот было трудно выполнить. Сын был занят необыкновенно. Он переезжал из города в город, и дела, неотложные, важные, волновали его больше, чем забота о матери. Он думал, что мать подождет, что если не в этом

году, так в будущем он обязательно заберет стариков к себе, и все устроится в лучшем виде. Он спешил постоянно, каждый день, каждый час, и в этой спешке проходили годы.

О родителях Виктор Матвеевич снова стал думать, когда его перевели в Москву. Он жил теперь в большой квартире, в которой свободно вместе с ним, с его семьей могли поселиться и родители. Он написал им об этом, пригласил приехать. Но они отказались. Отказался, вернее, отец. Он заявил, что у него—дела, хозяйство: домик, огород, коза и куры. Он уехать никак не может, а если мать желает, пусть едет. Он ее не удерживает.

Но мать самостоятельно не могла отправиться в Москву. За нею надо было приехать. И Виктор Матвеевич решил, что за матерью он поедет сам. Он сам привезет ее в столицу, сам будет водить ее в столице по театрам, катать на автомобиле, показывать достопримечательности. Словом, сделает все, чтобы выполнить давние свои обещания. Это ему ничего не стоит сегодня. Вот только бы выбрать время. Но свободного времени в последние годы у него было все меньше и меньше. Он даже в отпуск ездил не каждый год. И каждый год он думал, что именно в это лето он поедет в Сызрань. Ведь это же тут, под боком у Москвы...

Через две недели Волков, наконец, должен был поехать. Он уже подготовил себя к этой поездке, стал мечтать о скорой встрече с матерью, стал, как в детстве перед каникулами, считать дни. И вдруг принесли телеграмму: она умерла.

Волков и в четвертый, и в пятый раз перечитал телеграмму. Но смысл оставался прежним. Она умерла. Умерла его мать, которая сорок лет назад родила сына, вынянчила, выкормила, вырастила его, как могла. И вот теперь, когда сын ее стал известным человеком, директором крупного треста, она умерла, ни разу, быть может, не отдохнув, как следует, ни разу за всю свою беспокойную, торопливую жизнь.

Большой, широкоплечий, седеющий мужчина сидел в кожаном кресле и пла-

кал. Выражение лица у него было угрюмое, злое. Он злился на себя. Неужели за все время он не мог выбрать двух недель, чтобы съездить к матери? Неужели, наконец, нельзя было поручить кому-нибудь съездить к ней и привезти ее в Москву? Можно было, конечно же, можно было. Волков злился и плакал. И рядом с ним плакала его жена. Она плакала, больше встревоженная печалью мужа, чем собственным чувством к свекрови, которую не видела ни разу, и не могла сказать о ней ничего плохого и ничего хорошего.

В комнате тикали часы. За окном цвела черемуха. У под'езда гудел автомобиль, ожидая директора треста. Но директор не слышал его. Он сидел в кожаном кресле, опустив седеющую голову, и на какое-то время весь мир замер в его сознании. Жизнь остановилась.

Волков находился в горестном оцепенении. Потом встал, застегнул пальто и пошел в переднюю, чтобы надеть вторую галошу. В передней он взглянул на себя в зеркало, увидел влажные следы от слез и покраснел, устыдившись. «Нервы, — как бы оправдываясь перед самим собой, подумал он. — Лечиться надо». И вышел на улицу.

В тресте ждали его на заседание. Но Волков сказал, что заседать сегодня он не может. «У меня умерла мать, — сказал он. — Я должен сейчас же поехать в Сызрань». Заместитель директора поднял брови в знак удивления и сочувствия. Через полчаса курьерша треста несла в редакцию траурное объявление, в котором дирекция, партком, местком и сотрудники выражали свое соболезнование директору треста товарищу Волкову Виктору Матвеевичу по случаю смерти его матери Екатерины Петровны.

А Волков в это время ехал на вокзал. Время, наконец, нашлось. Волков наконец, выбрал время, чтобы поехать в Сызрань. Он сидел в купе мягкого вагона и думал о предстоящей встрече с отцом. Он представлял себе в подробностях, как отец встретит его, улыбнется через силу, приподняв тяжелую верхнюю губу, сделает жалкое лицо, что никак не

идет к его огромному росту. И сына заранее коробило от этих рабских, холуйских ужимок отца. Виктор с детства привык стесняться его. В гимназии сын старался улизнуть куда-нибудь, спрятаться подальше, когда видел из окна, что в гимназию идет его отец. Сын стеснялся не того, что отец его — швейцар, бедный человек, а того, что отец готов унижаться перед всяким, даже перед мелкой сошкой, лишь бы вымолить какую-нибудь льготу, пустяк какой-нибудь. Все это видели, всем это было смешно, и гимназисты смеялись не только над отцом-швейцаром, но и над сыном. Волков помнит, как однажды отец его увидел в дверях гимназии законоучителя, отца Григория Горизонтова, и, подойдя к нему под благословение, поцеловал при всех полу засаленной его рысы. Этот поступок смутил даже попа Горизонтова.

— Ну, что ты, — сказал он. — Как можно...

— Так ученики встречали Христа, — сказал почтительно Волков-отец. И приподнял по привычке верхнюю мясистую губу, что должно было походить на улыбку. — Вы наш учитель, батюшка. Благодетель...

Волков-сын после этого случая готов был удавиться.

В другой раз, когда, расшалившись во время перемены, он чуть не опрокинул китарисовую тумбочку в коридоре, поп поймал его за руку и сказал сердито:

— У такого благочестивого, богобоязненного отца воспитываешься, а сам какой разбойник...

— Плохо ты воспитываешь сына, Матвей, — сказал законоучитель, когда отец снова явился в гимназию. — Озоует. Остолопом растет.

— Я укажу ему, — пообещал отец. — Вы только, батюшка, не оставляйте его вашей милостью. А я укажу ему...

И Виктору в тот же вечер была задана знатная порка. Эту порку никогда не мог забыть не только гимназист, но помнит до сих пор и директор треста. Хотя отец порол его не однажды и может быть, еще более сурово порол, чем на этот раз. Но это была самая неспра-

ведливая порка, и забыть ее было трудно.

Волков снова вспомнил ее и снова возненавидел отца, как в детстве. И ненависть, горячей струей подступившая к сердцу, детская ненависть, неожиданно пробудившаяся в сердце взрослого, пожилого мужчины, на минуту потушила все иные чувства, заставила даже забыть о смерти матери, о горечи, связанной с ее смертью.

Виктор Матвеевич вдруг ощутил непривычную мальчишескую ярость в теле, стремительно встал, открыл окно и зашагал по купе взад-вперед, нервно пощелкивая пальцами. Хотелось сделать что-то такое необычное, отомстить кому-то и за что-то, может быть, схватить камень и запустить его в чужое окно. Поп Горизонтов особенно злил сейчас Волкова: «Вот, если б встретить его сейчас...».

Ветер рвал занавеску и врвался в купе, шевеля газету на полке. Запахи талой земли, прошлогоднего листа и зеленеющей травы наполняли вагон. И вместе с ними приходило успокоение, такое же неожиданное, необъяснимое, как внезапная вспышка ненависти, запоздалой и, пожалуй, смешной.

Волков снова сел на диван, поставил локти на колени и, положив в ладони курчавую свою голову, задумался. Вагон качало, подбрасывало. И мысли шли такие же неровные, как качка вагона. Виктор Матвеевич снова думал об отце, но уже не так непримиримо. Все-таки отец учил его. Швейцар, собирающий пятаки и гривенники, хотел сделать сына своего образованным. Добивался этого, как мог, как умел. И порол-то он сына, может быть, потому, что хотел его сделать лучше, умнее. По-своему хотел ему счастья. Воспитывал его по-своему. Неужели теперь надо ненавидеть неграмотного, жалкого старика, сводить с ним старые счеты. Виктор Матвеевич подумал, что старика сейчас, пожалуй, надо приласкать, надо сказать ему что-нибудь такое хорошее, подбодрить его надо, поддержать. И, неожиданно даже для себя, после горьких воспоминаний, после ненависти, разбуженной этими воспоминаниями, сын почувствовал неж-

ность к отцу, пожалел его и, укачиваемый непрерывной дрожью вагона, заснул.

В Сызрань он приехал в конце дня. Была хорошая, солнечная погода. Пассажир взял маленький чемоданчик и, не торгуясь, сел в извозчичью пролетку. Извозчик удивленно посмотрел на него, потом хмыкнул, чмокнул, озабоченный, и косматая, сонная лошаденка, вздрогнув, потянула облезлый экипаж.

Извозчик вез важного пассажира. Пассажир сидел на кожаной подушке, нагретой солнцем, и рассеянно смотрел по сторонам. Он везжал в родной город, и смутное чувство радости, грусти и сожаления волновало его. Оно волнуется каждого, входящего в город свой после стольких лет отсутствия. После странствий, увлечений, разочарований и побед.

Девушки, любившие нас, уехали, вышли замуж, постарели. Дома и заборы, на которых злоупотребляли мы грамотой, много раз сменили свою окраску. Выросли новые дома. Улицы, поросшие когда-то буйной травой, покрылись булыжником и асфальтом. Все изменилось как-то. И мы изменились. Витька Волков, озорной швейцаров сын, стал директором треста. В этом нет, пожалуй, ничего удивительного. Это не удивляет и Волкова. Он привык. И все привыкли к этому. Но только в родном городе на знакомых улицах, где играли в детстве в чижика и в лапту, директор треста, сорокалетний человек, вдруг с особой силой почувствовал всю необычность и своеобразие собственной судьбы.

Сорок лет он прожил, как один день, без оглядки назад, без воспоминаний, все вперед и вперед. И только смерть матери задержала на мгновение стремительный бег его дней, заставила вспомнить прошлое. Директор оглянулся на пройденный путь и удивился несказанно. Будто не он проделал этот путь.

— Извозчик, — сказал директор, строгий и нахмуренный, привыкший к быстрой езде. — Что это она у тебя спит на-ходу? А ну, подгони ее. А ну!..

— Сейчас, — с готовностью сказал извозчик и торопливо вытащил из-под седенья кнут.

Лошаденка неожиданно перешла в галоп.

Экипаж со скрипом и грохотом в'ехал на пустынную улицу, заваленную трубами, цементом и бревнами. В конце улицы, под железной крышей, освещенной солнцем, стоял маленький домик, как декорация. Окна в домике были открыты. Из окон доносилось церковное пение. Извозчик сказал:

— Вот он самый и есть. Поют...

И кнутом показал на домик. Волков вылез из пролетки, расплатился и пошел вдоль по улице. Церковное пение было неприятно ему. Он как-то не подумал раньше, что мать, наверное, будут хоронить по старому обычаю, с попом, и что ему, как сыну, придется стоять у гроба и выполнять безмолвно, из деликатности, весь этот чуждый ему обряд. Он прошел мимо домика. Он надеялся, может быть, что обряд будет закончен до его прихода и он избежит неприятной встречи со священником. Но в ту же минуту он подумал, что ходить так по улице неудобно, несолидно, что это мальчишество, и, вернувшись, остановился у окна отцовского домика.

В окно был виден синий дым от ладана и в дыму — обеденный стол, на котором лежала покойница, окруженная горящими желтыми свечками, священник в подряснике и в епитрахили и десятка два людей, столпившихся у стола. Они молились, склонив головы. Виктор Матвеевич смотрел на них в окно. И минуты две никто не замечал его.

Наконец, Матвей Кузьмич, стоявший на коленях у гроба жены, поднял голову и увидел в окне незнакомого бритого мужчину. Мужчина был в гаустуке, в сером костюме, без шляпы. Матвей Кузьмич поднялся с колен и вышел на улицу.

Виктор Матвеевич увидел в калитке высокого, сутулого старика. Борода его была такой же черной, как раньше, как двадцать, как тридцать лет назад, но в двух или трех местах проступали белые полосы.

Мгновение они молча смотрели друг на друга, отец и сын. Потом отец пошел навстречу сыну.

— Витенька, — сказал он очень тихо и, обняв сына, заплакал. Виктор Матвеевич тоже обнял отца и растерянно гладил его по плечу. При этом он заметил, что отец меньше его, ниже ростом. И отец, большого роста человек, тоже вдруг почувствовал себя маленьким в объятьях сына, ничтожным, слабым.

Когда они вошли во двор, отец винным голосом спросил:

— Тебе, может быть, неловко, Витенька... а?.. Что я попа-то позвал?

— Нет, почему же, — сказал сын твердо и пошел в дом.

На него пахнуло сыростью, затхлостью, запахом кислых щей и ладана, отчего запершило в горле. Он прошел в большую комнату, где лежала покойница, поклонился всем и встал в сторонку у окна.

Священник ходил вокруг гроба и размахивал кадилом. Из кадила вылазали, как зубы, раскаленные угли и вырывался струйками синий дым. Он все больше и больше обволакивал комнату и поднимался к потолку. В дыму было трудно рассмотреть лица людей и лицо покойницы. Виктор Матвеевич не сразу узнал отца Григория Горизонтова. А когда узнал, опустил глаза и стал смотреть в пол. И священник тоже был смущен, увидев коммуниста Волкова. Он заметно торопился, бормотал что-то невнятное и ходил вокруг гроба не так уверенно, как несколько минут назад.

Волков, однако, не обращал на него никакого внимания. Запах ладана, кислых щей и еще чего-то резкого, режущего нос снова напомнил ему детство, и он стоял в сторонке, у окна, угрюмый, усталый, погрузившись в далекие свои мысли. Вокруг него шептались, показывали на него локтями и пальцами, подмигивали друг другу соседи. Но он ничего не слышал. Он не слышал даже, как окончилось богослужение. Поп Горизонтов подошел к нему:

— Доброе здоровье, Виктор Матвеевич!

Поп уже был без подрясника. В комнате было душно. Дым от ладана все

еще плавал по комнате, уходя от раскрытых окон. Виктор Матвеевич, запрокинув голову, развязывал галстук, расстегивал ворот рубашки, и рука, протянутая ему бывшим законоучителем, повисла в воздухе. Наконец, Волков сказал:

— Здравствуйте!

В углу висела большая почерневшая, старинного письма икона. У иконы горела, мерно покачиваясь, зеленая лампадка. И Волков смотрел не на попа, стоявшего перед ним, а на эту покачивающуюся лампадку. Поп говорил:

— А вам, наверно, все это дико, что мы тут, так сказать...

Бывший законоучитель как будто оправдывался, извинялся. Волков посмотрел на его измятые, узенькие штанишки из чортовой кожи, на рыжие, заплатанные башмаки, потом на лицо, изжеванное, сморщенное, с потухшими глазами, с бородавкой на носу, и вспомнил, что в гимназии законоучителя звали «носорогом».

Ничего, кроме бородавки, не осталось от этого грозного когда-то носорога, пугавшего малодушных гимназистов даже видом своим. В бывшем гимназисте он не вызывал больше ни вражды, ни ненависти. Но и жалости он тоже не вызывал. Волков смотрел на него угрюмо и равнодушно.

— Вы, ведь, не меня отпевае, и не я вас пригласил, — сказал он усталым голосом. — Какое мне дело.

И подошел к гробу. У него появилось желание выгнать из дома всех, всех и, оставшись наедине с трупом матери, вот стоять так весь вечер и, может быть, всю ночь. Мама, это я, твой Виктор. Я приехал к тебе, выбрал время. Мама...

Из глаз вдруг выкатились две слезы. Виктор Матвеевич склонился над гробом и уронил седеющую ручью голову на край оклеенной белой бумагой доски. Люди, столпившиеся у гроба и в прихожей, поспешно и молча стали расходиться.

У гроба матери плакал сын. Плакал взрослый, пожилой, несентиментальный человек, давно отвыкший от матери, сам ставший отцом. Плакал горько, пе-

чально, и внутри что-то вспыхивало у него, рвалось.

Позади остались детство, молодость. Хорошо, что они остались позади. Человек до смерти стремится вперед, влекомый нарастающим интересом к жизни. Впереди еще много неизведанного, нового. Вечные дела влекут человека вперед. Но иногда пустяк какой-то, случай непредвиденный, внезапность пугающая напомнят человеку о пределе, о краткости его пути, и станет жалко прожитого. И детства станет жалко, и молодости.

Волков прожил немалую жизнь. В волосах его появилась седина. Под глазами залегли лучистые круги. По лицу прошли морщины. И в паспорте был отмечен значительный возраст его. Но он почти не замечал всего этого, не думал об этом. В Сызрани жила его мать, для которой он попрежнему был ребенком. И, как ребенок, он думал о своей матери. И это молодило его. Он не чувствовал своего возраста. Вернее, не чувствовал с такой силой, как почувствовал у гроба матери, убедившись в смерти ее. И он плакал сейчас не только о матери, которую любил и с которой так и не встретился при жизни ее, но и о себе, о молодости своей, которую не вернуть, о детстве. Безутешно и горько плакал.

А на дворе сгущались сумерки. Однорогая коза ходила по двору и ждала еды. Ненакормленные куры уселись на насест, и сон не шел к ним. Маленькая, худенькая старушка лежала в гробу, и порядок в доме был нарушен. Муж и сын ее были выбиты из колеи. На дворе сгущались сумерки. В сумерках таинственно мерцала зеленая лампадка. В масле плавал беленький огонек, и вокруг него летали две бабочки и огромный майский жук, шумевший, как самолет. Шум этот разбудил задремавшего у гроба высокого, сутулого старика. Он встал, вытер ладонью слезы, застывшие в морщинах, и пошел на двор.

Однорогая коза приблизилась к нему, прижалась к его коленям. Он потрепал ее ласково, потом, согнувшись, вытащил из-под крыльца узкую кормушку.

насыпал в нее корму и снова вошел в дом.

В доме попрежнему было тихо, и только жук ревел оглушительно, и шелестели крылья бабочек, круживших у огонька лампы. Старик разжег огонь на кухне, поставил самовар и сел на табурет, склонив голову к коленям.

У него умерла жена. Он прожил с ней больше полвека, пятьдесят с лишним лет. И вот она умерла. И вместе с ней он потерял какую-то долю себя самого. Да, это именно так. Он стал слабее после смерти ее. Хотя не она поддерживала его, а он ее поддерживал. Всегда, во всем. Во всяком случае, он сам так чувствовал. Он знал, что она слабее его, беззащитнее. Он защищал ее. Он постоянно чувствовал свое превосходство перед ней. И вот ее нет. И не перед кем чувствовать ему свое превосходство, некого защищать и некуда, пожалуй, стремиться. Жизнь прожита. Заново ее не начнешь. Все кончилось.

В кухне жалобно пел самовар. Угли, сгоревшие, шуршали, рассыпаясь. Вода медленно закипала в самоваре. Было тихо, тихо. И вдруг самовар зафыркал. Он зафыркал так же громко, с той же веселой яростью, как фыркал при хозяйке. Как будто ничего не случилось. Матвей Кузьмич поспешно встал, заварил чай и чайник поставил на самовар. Несколько привычных движений, легкое возбуждение. И снова слабость какая-то, отчаяние, туман.

— Витя, — сказал он печально. — Витя! Чай пить...

В кухне стаял голый, некрашенный стол, чисто выскобленный и промытый еще руками хозяйки, лежавшей сейчас в гробу. И они пили чай за этим кухонным столом, отец и сын. Это были, в сущности, разные люди, разных вкусов, разных привычек, разных взглядов на жизнь. Их свело здесь общее горе. Свело на несколько часов или дней. А послезавтра или дня через два они снова расстанутся и не встретятся, может быть, никогда. Очень возможно, что никогда.

Первым об этом подумал сын. Потом эта же мысль пришла отцу. И отец сказал:

— Вот, значит, Витя... Я один остался... Как же я теперь буду жить один?..

На столе стояла лампа. Желтый свет ее разделял отца и сына. Щурясь от света, сын зачем-то спросил:

— Тебе лет-то сколько теперь?

— Мне?.. Семьдесят шестой...

— Порядочно, — сказал сын и задумался. После раздумья он сказал: — Ну, что ж, поедem в Москву.

Виктору Матвеевичу жаль было отца. Он хотел как-нибудь приласкать его. Однако он знал, что отец ни за что не оставит этот домик, мечту своей жизни, огородик, одногородую козу и этих кур, загадивших весь дворик. Но отец неожиданно сказал:

— Хорошо бы... Повидать, какая она есть. Сроду не видал.

На лбу у него выступили крупные капли пота. Он стер их ладонью, отбросил длинные плоские волосы, падавшие ему на лоб, и... это, может быть, кощунственно сказать, что он повеселел, но он повеселел действительно. В неверном свете лампы показалось даже, что он улыбнулся радостно. Или это отблеск лампы заиграл на мгновение в его глазах.

— А домик как же ты оставишь?

— Продать можно. У меня тут есть одни люди. Давали, да мало. Я сам за него тыщу семей в шестнадцатом году отдал. Да пристройки делал, да огород...

— Ну, вот, — сказал сын, не слушая длинных отцовских рассуждений, — если успеешь собраться, пока я здесь, поедem вместе. А не успеешь, я жену попрошу приехать за тобой...

— Я успею, Витенька, — сказал отец поспешно. — Чего же мне тут такое собираться? Конечно, успею. Ты меня денька два подожди, я все обтяпаю...

— Денька два, — сказал сын, — подожду.

И отодвинул пустой стакан на середину стола.

— Еще стаканчик, — предложил отец, обращаясь с сыном, как с гостем, и поставил пустой стакан под самоварный кран. — Чай, он хорошо душу греет...

Но сын уже закурил и вышел из-за стола.

Хоронили мать торжественно, со всей пышностью, на какую был способен Матвей Кузьмич. День был солнечный. Солнце вспыхивало и горело в посеообренных вышивках серой ризы отца Григория Горизонтова. Пели певчие. И две лошади в белых пополах, в белых стареньких султанах, запряженные в белый ветхий катафалк, шли медлительно впереди толпы. Виктор Матвеевич шагал по тротуару. Этим самым он как бы подчеркивал свою непричастность к этой процессии. И сам же осуждал себя за это.

«... Уж лучше бы совсем не итти» — думал он. Но все-таки заставить себя итти рядом с попом не мог. И шел по тротуару. Вскоре и Матвей Кузьмич, шагавший за гробом, отделился от процессии и пошел рядом с сыном. Мать везли на кладбище чужие люди, поп и певчие, десятка два старух и стариков. А отец и сын шли по тротуару. У сына на этот счет были свои соображения, а отец просто подражал ему. Сын сейчас для него был самым авторитетным человеком. И, шагая рядом с сыном, отец спросил:

— Витенька, ты не знаешь, водку-то на поминках надо подавать?

— Я не знаю, какой порядок, — серьезно ответил сын. — Если принято, надо подавать. Надо, чтобы все было похорошему, как следует. И главное — скупиться не надо.

Но на поминках сын не присутствовал. После похорон он весь день бродил по городу и вернулся домой только вечером, когда поминки уже закончились. На кухне, при лампе мыли посуду две женщины, и отец помогал им. Виктор Матвеевич неслышно прошел в комнату, разделся и лег спать.

Дни стояли жаркие, томительные. На другой день после похорон сын проснулся очень рано и до завтрака пошел купаться на Волгу. Волга была такая же, какой он знал ее в детстве. И берег был такой же. Трава, песок, камни.

Виктору Матвеевичу здесь были известны все глубокие и мелкие места. Он разделся, погладил грудь, бедра. Потом забрался на бревенчатый помост, при-

способленный, вероятно, для полосканья белья, и прыгнул в воду. Вода вскипела вокруг него. Волков вынырнул и, далеко выбрасывая сильные руки, поплыл на середину реки. Он плавал так же хорошо и неутомимо, как в детстве, как в ранней молодости. И с берега так же, как в детстве, смотрели на него мальчишки, может быть, дети тех мальчишек, которые купались с ним в детстве.

Волков вышел из реки и, одеваясь, стал разговаривать с ребятами. Он спрашивал, как их фамилии, как звать их отцов, матерей. И удивлялся, услышав знакомые фамилии, знакомые имена. «Вон что, — думал он, разглядывая веснушчатого мальчишку, — это, значит, Васьки Пахомова сын. Какой здоровый! И нос такой же, как у отца». Он решил сегодня же побывать у каждого из бывших своих друзей, с которыми не виделся много лет. Интересно было посмотреть на старых своих приятелей и поговорить с ними. Правда, в Сызрани их не так много осталось: четыре-пять человек. Остальные разбрелись по всей стране. Но Волкову захотелось поговорить и с теми, кто остался.

Виктор Матвеевич, не торопясь, оделся и побрел по улицам. На одной улице он поочел вывеску: «Почта и телеграф». Он зашел. Веселая курчавая девица выдала ему четыре телеграммы из Москвы. Директор треста прочел их и сейчас же, нахмурившись, написал четыре ответа. Лирическое настроение его моментально прошло. В Москве, в тресте, дела шли не блестяще, провалилась важная смета. И Волков не мог больше думать о старых своих друзьях, о детстве, о приятных прогулках по Сызрани. Он думал о Москве. И все больше и больше мрачнел. Хмурый, он вышел из здания почты и пошел домой.

Матвей Кузьмич в длинной выцветшей рубашке без пояса возился на дворе. Руки его были вымазаны в саже, лицо покраснелось от напряжения. Увидев сына, он закричал:

— Завтракать, Витенька! Чай пить. Я тебя уже давно жду.

Здесь же во дворе у самодельного умывальника, прибитого к столбу, он вымыл руки, расстелил холстинную ска-

терть на столе под единственным чахлым кустиком, во дворе же подогрел самовар, и они сели пить чай. Матвей Кузьмич говорил:

— Вот, видишь, Витенька, у меня тут, как на даче. Я хотел еще пару кустиков посадить, да и цветов бы еще надо. Но все некогда было. Мамаша болела. Эти вон цветочки, ведь, она сама посадила.

И он показал рукой на крошечную клумбу, окруженную побеленными кирпичами и защищенную от козы и кур проволочным заграждением. Виктору Матвеевичу показалось, что старик раздумал ехать, тем более, что настроение у него было уже не такое унылое, как два дня назад. Он выглядел возбужденным и как-то особенно любовался своим хозяйством. Сын сказал:

— Ты знаешь, папа, мне уже ехать надо. Меня в Москве ждут. Ты как, собираешься?

— А как же, Витенька. Я уже домик почти продал. Я вот хотел только с тобой посоветоваться.

Виктор Матвеевич не смог дать совета. Но Матвей Кузьмич как будто и не нуждался в этом. Он все, что надо было ему, уже сделал и советовался с сыном только «для порядка», как он любил говорить.

— За домик я теперь не беспокоюсь, — сказал он. — Покупатель у меня хороший, надежный. Помнишь, на похороны приходил старичок рыженький. Пузырев ему фамилия. Андрей Андреич. Вот он и покупает. Сегодня пойдем с ним уделывать все дело по закону. Мебель я тоже продал Вавилову. Он уже деньги отдал. Теперь бы мне еще козочку продать и курей. Куда я их повезу?

В сенях сын увидел запакованные тючки, мешки, набитые чем-то. Видимо, отец торопился. Виктор Матвеевич прошел в комнату, открыл свой чемодан и, вынув из него портфель, сел к столу. На том самом столе, где лежала еще вчера его мать-покойница, он разложил бумаги, повесил на спинку стула пиджак и начал писать. За стеной возился отец. Он отдираал что-то клещами и кричал.

Виктор Матвеевич встал из-за стола и пошел помочь ему.

— Ну-ка, папа, дай я попробую!

— Не надо, ничего не надо, — почти закричал на него отец. — Я тут сам. Занимайся своими делами, Витенька. Я вот полочку хочу отодрать. Жалко все-таки отдавать чужим людям.

Виктор Матвеевич ушел и опять занялся бумагами. Отец продолжал возиться за стеной. Он отдираал полку, что-то передвигал. Потом кто-то позвал его из окна, и он вышел во двор. На дворе его ждали покупатели. Он показал им козу, кур и двух кроликов. Покупательница, высокая старуха с сердитым лицом, трогала козу за вымя и, потрогав, брезгливо поджимала губы. Все это Виктор Матвеевич видел в окно. Он видел, как покупатели подошли к его окну и сели на лавочку, чтобы потроговаться.

— А это кто же у вас в дому-то, — спросила старуха отца, — квартирант?

— Зачем... — сказал отец. — Сын мой, из Москвы. Вот я к нему и еду. Приглашает.

— Он, что ж, на службе там, что ли?

— Директор, — сказал отец, почему-то шопотом. — Директор треста, конторы...

Виктор Матвеевич, услышав это, улыбнулся.

Однорогую козу увела старуха. Кроликов и кур, усадив в бельевую корзину, унес молодой человек в майке. Потом во двор вкатилась двухколесная тележка, и два парня стали укладывать на нее купленную мебель. Матвей Кузьмич вошел в комнату, где сидел сын, и сказал:

— Я этот столик, Витенька, тоже продал. Все продал...

И в голосе его послышались слезы.

— Быстро ты, — сказал Виктор Матвеевич и, собрав свои бумаги в портфель, встал. Два здоровых парня подхватили стол и понесли к дверям.

Дом, обжитый, любовно оклеенный пестрыми обоями, фотографиями знакомых и незнакомых людей, олеографиями битв и курортных видов, обставленный небогатой, но любимой мебелью, — сейчас лишенный всего этого, лишенный

полочек и этажерок, фарфоровых петушков и глиняных зайчиков, возвышавшихся на подоконниках цветочных вазонов, икон и занавесок, — выглядел жалким, страшным и чужим. На полу валялись смятые бумажки, рваные подметки от давно изношенных ботинок, яичная скорлупа, сушившаяся для того, чтобы кормить ею кур.

Матвей Кузьмич ходил среди этого мусора и вздыхал.

В сенях стояли два окованных жестью сундука. Он складывал в них свою одежду, обувь и даже ведра, кастрюли и сковородки. Он замыкал это все тяжелыми висячими замками. Он уезжал отсюда, где было страшно ему оставаться одному, чтобы жить на новом месте так же самостоятельно и хозяйственно. Он умирать не собирался. Он собирался жить.

Через день отец и сын уже ехали в поезде. Отец был в сапогах, начищенных до блеска, в черном длинном пиджаке и в такой же черной суконной фуражке с суконным козырьком. Сын был в шляпе, в сером фланелевом костюме и в широконосых американских штиблетах. Они ехали в мягком вагоне. Сын лежал на верхней полке, отец — на нижней. И изредка они разговаривали. Сын односложно отвечал на вопросы отца и больше молчал, занятый своими мыслями. А отец, неожиданно забыв все горести, радовался, как мальчик, и тому, что едут они, и тому, что вагон мягкий, и тому, что на станциях все можно купить, и всячески хотел угодить сыну.

— Витя, — кричал он, — жареных порсят продают. Купим?

— Купи, — говорил равнодушным голосом сын и протягивал ему десять рублей.

— Да не надо... господи... — говорил отец, — у меня своих, дай бог всякому.

И охотно объяснял соседям по вагону:

— В Сызрани домик продал. Еду вот сейчас в Москву. К сыну еду, собственно говоря...

В голосе его звучала гордость. Молчаливый обычно человек, он на старости лет внезапно стал словоохотливым

до смешного. И это произошло с ним в вагоне. Он лез теперь к людям с разговорами, и, о чем бы речь ни заходила, он все сводил к сыну, директору треста, и к собственному домику в Сызрани. О жене-покойнице он как будто и не вспоминал теперь.

Виктор смотрел на него и не узнавал отца. Что случилось со стариком? Уж не рехнулся ли? На одной большой станции они вместе вышли из вагона, чтобы погулять по перрону. И опять отец говорил, а сын молчал.

— Витя, — говорил отец, — ты бы взял к себе мои деньги. Все-таки они тебе нужнее. Дашь мне там какую-нибудь тройку. Мне по-стариковски и хорошо будет. Куда мне...

Это тоже было непохоже на отца. Прижимистый человек, он никогда не проявлял подобного великодушия и, казалось, не способен был на это. А тут вдруг расчувствовался.

— Ты положи их на книжку, — посоветовал сын. — Когда надо, будешь брать.

— А для чего мне они? — сказал отец. — Ну для чего?

Виктор Матвеевич молча прошелся по перрону. Потом сказал нехстати:

— Ты смотри, пиджак-то как испачкал? Где это ты так?

Они снова вошли в вагон. И ехали дальше, как малознакомые пассажиры. Отец обиделся на сына. А сыну вообще не хотелось разговаривать.

В Москву они приехали вечером. На вокзале им подали автомобиль. Виктор Матвеевич сел рядом с шофером. Матвей Кузьмич уселся позади. Опять его охватило радостное волнение. Он зачем-то ощупал руками плюшевый коврик в ногах, потрогал блестящую ручку дверцы и, огладив собственный пиджак, сделал строгое лицо, откинулся на кожаную спинку. В таком состоянии он пробыл минуты две. Потом привстал, протянул руку, потрогал сына за плечо и спросил:

— Это, что же, Витенька, у тебя машина-то своя или казенная?

— Казенная, — сказал сын. Шофер улыбнулся. И, заметив эту улыбку, сын

skonфузился. — Еще вопросы будут? — спросил он насмешливо.

Но отец смотрел в окно и молчал. На улицах было светло, как в театре. Народу было много, как на демонстрации. «Это куда же я еду, господи? — думал старик. — Шум-то какой, грохот...».

Наконец, автомобиль остановился эколо большого дома. Виктор Матвеевич ловко выпрыгнул из шоферской кабины и открыл вторую дверцу, чтобы помочь выйти отцу.

Матвею Кузьмичу было жаль, что путешествие уже окончилось. Он вылез из машины и, смотря себе под ноги, пошел в двери.

Из дому навстречу ему вышли невестка и внучка. Они встретили старика приветливо. Помогли ему снять пальто. Потом повели его по комнатам, показывали квартиру. Нинка вытащила из клетки белую крысу и продемонстрировала дедушке ее выучку. Дедушка вначале хотел плюнуть и сказать, что это глупость держать в квартире такую гадость, как крыса, хотя бы и белая, но ничего не сказал и даже погладил крысу. Золотых рыбок он одобрил, сказал: «Хороши, каналы». Белка и синичка ему тоже понравились. Ему понравилась квартира, большая, уютная, обставленная хорошей мебелью. Он заглянул в уборную, в ванную комнату и на кухню, где сидела в чистом переднике среди сверкающих кастрюль пожилая домработница, Ольга Михайловна. Он поздоровался с ней, сказал задумчиво: «Аккуратность — это в первую голову». Потом ему согрели ванну. Он выкупался, посвежел, разгладил пышную сьюю бороду и пошел в столовую пить чай.

За чаем сын вспомнил о покойной матери. Матвей Кузьмич большим пальцем смахнул слезу. «Поглядела бы покойница, — сказал он. — Это ж, как в доме отдыха в Крыму». Пил он чай с блюдца, поставив его на широкую ладонь, прикусывал сахар. Блаженствовал. Хорошо ему было, потерявшему семью, вновь обрести ее. Над столом висела большая пестрая люстра, и свет ее, нежный, покойный, озарял всю комнату.

— Хорошо у вас, — сказал Матвей Кузьмич. — Тихо. Как будто и не в Москве.

После чая он подошел к сыну, сказал негромко:

— Возьми ты, Витенька, мои деньги к себе. Пусть они будут твои. Я уж у вас так и останусь. Буду жить, как свой.

— Да живи ты, пожалуйста, на здоровье, — сказал сын и улыбнулся. — Не надо мне никаких денег. Зачем они мне?

— Все-таки, — сказал отец. — В хозяйстве...

Вошла Татьяна Федоровна и сказала, что постель папаше приготовлена. можно, если он хочет, отдыхать. Матвей Кузьмич прошел в свою комнату. Она была небольшая, но уютная. Кровать, столик, этажерка. Матвей Кузьмич достал из чемодана иконку, хотел повесить в уголок, но сейчас же раздумал. Неудобно: сын партийный, в бога не верует, невестка тоже, наверно, такая. Матвей Кузьмич поставил образок на стул, встал на колени, помолился и снова спрятал его в чемодан.

Уснуть он долго не мог. Ворочался. Кряхтел. Думал. Жизнь прожитая представлялась ему во всех подробностях. Ожидал ли он когда-нибудь, что судьба занесет его на старости лет в Москву? Никогда не ожидал. И вот довелось. Занесла судьба. Он живет в Москве. Москва шумит за его окном. Звенят последние трамваи. Матвей Кузьмич потушил свет и долго смотрел в окно. Потом усталость сморила его. Он лег на спину и мгновенно уснул.

Проснулся он чуть свет. Все еще спали. Матвей Кузьмич умылся, причесался и на цыпочках вышел на улицу. Дворник, вытягивая длинную резиновую кишку, поливал асфальт. Матвей Кузьмич поздоровался с дворником, присел на лавочку. Ни цветов ни деревьев вокруг не было. Дворник поливал голый асфальт.

— Это зачем же? — спросил удивленно Матвей Кузьмич. — Поливаете-то?

— Исключительно для гигиены, — с достоинством ответил дворник. — Пыль же ужасная. Это для здоровья нехоро-

шо. — Помолчал, сколько надо, и спросил: — А вы откуда?

— Из Сызрани я...

— А-а... Не поливают у вас?

— Нет.

— По-настоящему-то, — сказал философски дворник, зажимая пальцем рвущуюся струю, — и здесь поливать не надо. Это лишняя, как бы сказать, морока. Но велят. Что сделаешь?

— А кто велит-то?

— Милиция. Раньше-то тоже не поливали...

— Не поливали? — как бы удивился Матвей Кузьмич. И они разговорились. Дворник сообщил, какую зарплату он получает, сколько у него семьи, где учатся дети и как учатся. Матвей Кузьмич рассказал, что он приехал к сыну, что сын его — директор треста.

— Это что же, товарищ Волков, что ли, ваш сынок будет? — почтительно спросил дворник. — Виктор Матвейч?

— Он самый, — подтвердил Матвей Кузьмич.

— Ну, как же, знаю, — сказал дворник. — Уважительный человек. Завсегда первые шапку сымут. Здравствуй, мол, дядя Левонтий. Видать, человек негордый, несмотря, что такую самостоятельную должность занимают.

— С детства приученный, — заметил Матвей Кузьмич. — Это многое значит.

— Ну, как же, — сказал дворник. Он завернул винтиль, намотал на руку резиновую кишку и сказал как бы небрежно, к слову: — У меня тоже дочка — медик. Я это сам вижу на факте. Собственными глазами.

Матвей Кузьмич сказал:

— У многих теперь дети, слава богу, ничего. Я одного мужика знаю. Так у него сын — теперь командующий войсками всей России. Вроде Ворошилова.

— Ничего удивительного нету, — сказал дворник. Положив кишку и брандсбойт на тротуар, он подошел к лавочке и сел рядом с Матвеем Кузьмичом. Матвей Кузьмич вынул папиросы.

— Закуривайте.

Они закурили и продолжали разговаривать о разных делах. О детях, о погоде, о жизни. Потом в первом этаже открылась форточка, и Матвей Кузьмич услышал голос Нинки:

— Дедушка, чай пить!

— Сейчас я, сейчас, — сказал Матвей Кузьмич и подмигнул дворнику: — Зовут...

После завтрака Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест. Татьяна Федоровна ушла на дежурство к себе в клинику. Дома остались Ольга Михайловна и Нинка. Матвей Кузьмич разговаривал с ними. Потом и Нинка ушла в пионерский отряд. «На сбор» — сказала она важно. Ольга Михайловна стала готовить обед. Матвей Кузьмич зашел к ней на кухню. Он рассказывал ей про Сызрань. Она слушала его. Но через каждые две минуты, как нарочно, говорила: «Пересядьте, пожалуйста, вот сюда. Мне эта табуретка нужна». Матвей Кузьмич покорно пересаживался и продолжал рассказывать. Он говорил:

— Вот посмотрите, я не сегодня-завтра получу багаж. Какие у меня там вещи. Весь, например, кухонный набор, ведра там, кастрюли...

— Посмотрим, посмотрим, — скороговоркой говорила Ольга Михайловна. — Увидим.

Она спешила. Он ей мешал. Наконец, он это понял и вышел из кухни. Делать ему было нечего. Он придумывал себе дела. И не мог придумать. В Сызрани у него была служба. Он не бросал ее, несмотря на то, что давно уже получал пенсию. Было у него свое хозяйство: коза, куры, кролики. А здесь у него ничего не было.

Побродив по квартире, он вышел на улицу. Знакомый дворник куда-то ушел. Матвей Кузьмич хотел пройтись по Москве. Но грохочущие трамваи, вереницы автомобилей напугали его с непривычки, и он вернулся домой. Зашел к себе в комнату, прилег и заснул. Разбудила его Нинка. Она пришла из школы, веселая, озорная.

— Дедушка, — кричала она, — обедать!

И тянула его за ногу.

После обеда сын вызвал автомобиль и пригласил отца кататься. «Покажу тебе Москву» — сказал он. В машине они сидели рядом. Виктор Матвеевич просил шофера останавливаться в наиболее интересных местах. Отец и сын выходили из автомобиля и осматривали достопримечательности. «Это аэропорт, — говорил сын. — Вот отсюда самолеты улетают в разные стороны». И они видели пролетающий самолет. Потом сын показывал отцу Москва-реку, Парк культуры и отдыха, Кремль и Красную площадь. Были они в планетарии. Матвей Кузьмич долго и внимательно смотрел на звезды, на луну, удивлялся, ахал и вдруг озабоченно сказал:

— Витя, а пенсия-то как же у меня — пропадает, раз я уехал из Сызрани?

Виктор Матвеевич был удивлен таким внезапным вопросом и даже немного обижен, но все-таки сказал спокойно:

— Документы ведь у тебя все в порядке? Дай их Тане. Она тебе все устроит. Будешь и в Москве получать пенсию...

— А звезды-то какие, господи! — сказал Матвей Кузьмич. И снова заинтересовался космосом.

Утром на следующий день старик опять проснулся раньше всех. Умылся, оделся. Прошел на цыпочках в комнату сына. Взял его костюм, штiblеты, платье и туфли невестки, проходя через детскую, захватил ботинки внуки. Все это вынес на лестницу и принялся чистить. В пятнадцать минут он вычистил всю одежду и обувь и так же на цыпочках внес их в спальню. Все еще спали. Проснувшись, все были удивлены. Потом Виктор Матвеевич вдруг осердился.

— Что за холуйство! — закричал он: — Кто тебя просит это делать?

— А как же, Витенька? — смиренно сказал отец. — Помнишь, когда ты гимназистом был, я всегда тебе всю форму чистил. Или я, или мама.

— Это другое было дело, — сказал сын уже спокойно. — А теперь этого

не надо делать, папа. Я сам могу себе почистить и костюм, и ботинки. Ты, пожалуйста, не трогай их.

Завтрак прошел в молчании. Опять Виктор Матвеевич сейчас же уехал в трест, а Татьяна Федоровна ушла в клинику. Опять дома остались только Матвей Кузьмич, Ольга Михайловна и Нинка. Нинка возилась с белой крысой.

У клетки сломалась дверца. Матвей Кузьмич наладил ее. Потом он предложил сделать для крысы маленькую лестницу, по которой она могла бы взбираться. И сделал. Нинке очень понравилась эта лестница. Она спросила, не может ли дедушка сделать такую же лестницу и для белки. Пусть белка учится залезать в свою башенку по лесенке. Дедушка сказал, что не только лестницу, но и новый домик он может сделать. И он стал делать вторую лестницу и домик с помощью остро наточенного сапожного ножа.

Незаметно подошло время обеда. После обеда Виктор Матвеевич опять уехал в трест. Татьяна Федоровна еще не возвращалась с работы. Матвей Кузьмич продолжал строить домик для белки. Он сколотил его маленькими гвоздиками, выкрасил чернилами и поставил сушить на подоконник. Сам прилег отдохнуть. Нинка разбудила его к вечернему чаю. Вся семья была в сборе. Нинка показывала сделанный дедушкой домик. Дедушка довольно улыбался.

И так прошел день. Впрочем, и следующий день прошел почти так же. Матвей Кузьмич скучал в одиночестве и со скуки искал себе какое-нибудь дело. Но подходящего дела не было. Матвей Кузьмич бродил около дома, разговаривал с дворником, заходил в булочную. Времени, однако, было еще очень много. И некуда было девать его.

У швейцара на службе не всегда бывает работа: Приходится иногда часами сидеть и скучать. И Матвей Кузьмич бывало сидел так. Но это же на службе. На службе и бездельничаеть когда, — это не так заметно. А без

службы очень плохо. «Получается какой-то неприкаянный человек, — думал Матвей Кузьмич, — вроде лодыря. Ни хозяйства у него, ни гнезда. Небокопитель».

Матвей Кузьмич ждал все-таки, что вот придет его багаж и будет какое-то дело. Наконец, багаж пришел. Три сундука, обитых жестью, с тяжелыми висячими замками. Он затащил их утром после завтрака к себе в комнату и принял распаковывать.

Нинка прыгала вокруг него, счастливая. Дедушка подарил ей фарфорового петушка и глиняного зайца. Заяц был засижен мухами. Дедушка тщательно вытер его полкой своего пиджака и, передав внучке, сказал:

— Храни. Это тебе все равно, что привет от бабушки.

Потом он позвал к себе в комнату Ольгу Михайловну и стал показывать ей посуду и кухонный инвентарь.

— Вот, глядите-ка, — говорил он ей, улыбаясь. — Какое имущество. Могу второй раз свободно жениться. Ничего не надо заводить. Все есть.

Ольга Михайловна, украинка, веселая и насмешливая, вынула из сундука два ведра, подняла их и сказала, смеясь:

— Ой, какие страшные. Это кого ж с них поить?

Матвей Кузьмич обиделся. Но обиды своей никак не выразил. Однако он понял, что посуду и инвентарь вынимать из сундуков не стоит. Интерес к распаковыванию багажа у него пропал. Он повозился еще с полчаса у раскрытых сундуков и снова замкнул их. И теперь ему стало по-настоящему скучно.

Все последующие дни он ходил угрюмый. И даже прихворнул немножко. Колотья какие-то начались в пояснице. Но скоро и колотья прекратились. А он все себя чувствовал неплохо. Не радовала его теперь и эта хорошая, уютная квартира, и нежная привязанность к нему Нинки. Ничто его не радовало. Он ходил мрачный.

Наконец, он решил поступить на службу. Хоть куда-нибудь поступить.

Но поступать было некуда. Никого он не знал в этом городе. Да и ходить по городу он все еще боялся.

Правда, он уже два раза проехал самостоятельно на метро, ездил и в трамваях. Но все еще с опаской. Боялся заблудиться. И особенно боялся попасть под трамвай или под автомобиль.

Хорошо бы поговорить с сыном, попросить его пристроить куда-нибудь старика. Однако неудобно. Разве есть у сына время заниматься такими пустяками? Работает человек с утра до ночи. И ночью работает. Да и осердится он, пожалуй, если полезешь к нему с такими пустяками. Лучше всего поговорить с невесткой. Она в больнице работает. У них там, наверно, всякий народ нужен. И Матвей Кузьмич так и спросил невестку:

— У вас, Танечка, в больнице-то, наверно, всякий персонал требуется. И по медицине, и так. Нельзя ли меня там где-нибудь пристроить? Я, ведь, не только швейцаром могу. Я кем угодно. Я бы даже покойников мог выносить. Ведь я, вы поглядите, какой здоровый... — И он выпрямился во весь рост и разгладил бороду. — Меня хоть на войну посылай, а не только что в швейцары. Ведь в Сызрани-то я служил...

— А зачем вам, папаша, здесь служить? — спросила Татьяна Федоровна. — Все у вас готовое. Деньги у вас есть. Вот и пенсию будете получать.

— Скучно мне, — вдруг со стоном сказал Матвей Кузьмич. — До крайности прямо скучно. Вы представить себе не можете. Я и помереть так от скуки могу.

В тот же вечер жена передала этот разговор мужу. Виктор Матвеевич сердито сказал:

— В кино его надо сводить. В театр. Я же занят с утра до ночи. Мне вздохнуть некогда. А ты могла бы его развлечь немножко. Действительно, старику скучно.

Немедленно супруги поссорились. Жена кричала, что она тоже занята, чорт знает как. Но в следующий же вечер старика повели в кино. Водили

его и в театр, и по музеям, и еще раз в планетарий, по его просьбе. Виктор Матвеевич два раза ходил с ним в Парк культуры и отдыха.

Но все это слабо развлекало Матвея Кузьмича. По утрам он все чаще и чаще уходил из дома и один часами бродил по городу. Постепенно он освоился. Безбоязненно переходил он теперь через улицы, запоминал номера трамваев и ездил даже куда-то на окраину города — в церковь.

Однажды утром он зашел в большое учреждение на Ильинке и, разыскав завхоза, спросил, не требуются ли здесь швейцары. Завхоз сказал, что швейцары пока не требуются, но вот рабочие для дворовых работ нужны. Матвей Кузьмич подумал, что временно можно, пожалуй, поступить и рабочим, а потом, когда освободится должность, — стать швейцаром. Матвей Кузьмич сказал, что он согласен, но завхоз посмотрел его паспорт и замазал руками.

— Нет, нет, таких нам пока не надо, — сказал завхоз, — тебе же почти восемьдесят лет...

— Не восемьдесят, — сказал Матвей Кузьмич, — а семьдесят шесть. А вообще — вы не по годам смотрите, а по корпусу. Какой у меня корпус! Друтому и тридцать лет, а он весь скрюченный, квельый. А мне семьдесят шесть, у меня все зубы на месте. Не надо если вам рабочих, вы так и скажите, а для чего человеку намек делать...

Матвей Кузьмич ушел. После этого случая поступать на службу он уже не пытался, хотя был твердо убежден, что встреченный им завхоз — обыкновенный дуботол, и, если б на месте этого завхоза был кто-нибудь другой, более серьезный, договориться о службе можно было бы. Люди везде нужны. И всякие люди. Но Матвей Кузьмич, однако, больше ни в одно учреждение не ходил. Он попрежнему или сидел дома, или бродил по городу, погруженный в думы свои. Поговорить с сыном о работе он долго не решался. Да и сын был все время занят. Разговаривал Матвей Кузьмич чаще с Ольгой

Михайловной. Он простил ей тот случай, когда она высказывала свое нелицеподобное мнение о его ведрах. Он приходил к ней на кухню, иногда помогал мыть посуду и, присев на табуретку, говорил, вздыхая:

— Вот, значит, какая тригонометрия. Нахожусь я, как суслик в неволе. Ни дома и ни в солдатах.

Ольга Михайловна сочувствовала ему. Она была единственный сочувствующий ему человек. Она советовала ему поговорить с Виктором Матвеевичем:

— Он, ведь, очень хороший человек, — говорила она. — Вы объясните ему, как и что.

И Матвей Кузьмич решился, наконец. Но, как нарочно, сын собрался уезжать в командировку. Утром он позавтракал, простился со всеми и уехал в трест. Из треста он должен был ехать на вокзал. Разговаривать было некогда. Матвей Кузьмич потерял последнюю надежду.

Дома Виктор Матвеевич в спешных сборах забыл бритву. Он позвонил домой. Татьяна Федоровна снарядила в трест Матвея Кузьмича. Она со всеми подробностями рассказала ему, как надо ехать в трест, на какой трамвай садиться и как идти там от остановки. Матвей Кузьмич сказал, что он «найдет «безо всякого».

И он, действительно, нашел. Швейцар в тресте показал ему, как пройти в кабинет директора, и посоветовал сесть в лифт. Матвей Кузьмич решил обойтись без лифта. Он поднялся на третий этаж, разыскал кабинет. Но у дверей кабинета его остановил секретарь. Чернявый молодой человек сказал, что директор занят, он сейчас уезжает и никого поинимать не велел:

— Уезжает он. Понятно?

— Вот я по этому самому делу к нему и иду. Я ему — папаша.

Чернявый молодой человек критически осмотрел старика. Потом попоосил подождать и сам вошел в кабинет. Из двоей сейчас же показался Виктор Матвеевич.

— Папаша мой, собственной персоной! — сказал он весело и ввел отца

в кабинет. В кабинете сидели четыре человека в хороших костюмах. Они заулыбались, глядя на старика. Матвей Кузьмич смутился.

— Садись, пожалуйста, — сказал сын и пододвинул ему стул. — Отдохни...

Матвей Кузьмич сел. Но через минуту почувствовал себя особенно неловко. В кабинет входили все новые люди, а он сидел тут и, может быть, мешал заниматься. Он подошел к сыну и сказал негромко:

— Я, пожалуй, пойду. Мне еще в одно местечко надо зайти...

— Ну, как знаешь, Матвей Кузьмич, — сказал сын и пожал ему руку. — А дорогу-то обратно найдешь?

— Найду, — сказал отец и осторожно закрыл за собой дверь.

— Ну как, нашли? — спросил его внизу швейцар, сидевший теперь за маленьким столиком в широкой нише. Он пил чай.

— Свободно, — сказал, довольно улыбаясь, Матвей Кузьмич. И зашел к швейцару, в нишу: — Спички у вас случайно не найдется?

Швейцар, погромев спичками, протянул ему коробок.

Виктор Матвеевич вскоре прошел мимо отца, не заметив его. Он спешил. До поезда оставалось меньше четверти часа. Матвей Кузьмич, проводив сына глазами, улыбнулся и сказал швейцару:

— Видел? Это сынок мой — Виктор Матвеевич. Я к нему приехал...

Виктор Матвеевич пробыл в командировке больше месяца. Он ездил по заводам Сибири и Дальнего Востока. В Москву он возвратился поздней осенью. И прямо с вокзала поехал в трест. Но и в тресте ему не удалось разрешить всю дорогу мучивший его вопрос. Из треста он поехал в наркомат. Он хотел поговорить с самим наркомом. Чорт знает что! В Сибири простаивают два завода, а здесь, в наркомате, не хотят даже как следует отвечать на срочные телеграммы. Надо сейчас же докопаться до корней. В наркомате Виктор Матвеевич разговаривал с

таким видом, как будто готовился к драке. Он был взволнован. Сняв пальто и шляпу, он бросил их на руки стоявшего в темной нише швейцара и привычно протянул руку за номерком.

— Да не надо. Без номерка можно, — сказал швейцар. — Чего, я пальто не знаю?..

Директор треста услышал очень знакомый голос. Вглядевшись в темноту ниши, он увидел отца. Матвей Кузьмич стоял перед ним в длинной, черной ливрее с золотыми лацканами. Борода его, длинная, густая, была расчесана, разделена на две половины и лежала на груди, как дорогой воротник. Вид у него был величественный. Он сдержанно улыбался.

— Это что такое? — спросил растерянно и удивленно сын.

— Служу, — сказал отец.

Виктор Матвеевич хотел еще что-то сказать, но ничего не сказал, махнул рукой и пошел по лестнице.

В приемной наркома он встретил много знакомых хозяйственников, разговаривал с ними, шутил. Потом его позвали в кабинет наркома. Он спорил с наркомом, доказывал ему справедливость обвинений, выдвинутых против главка, делал подсчеты, вычерчивал на бумаге какие-то круги, говорил о бочках, о цементе, о гвоздях. И все время у него не выходил из головы этот швейцар, что стоит внизу у вешалки. Ведь, кто не знает, как это вышло, могут подумать, что он, директор треста, нарочно послал старика-отца в швейцары, чтобы не кормить. Ведь его директора треста, на смех поднимут. Безобразие!

Виктор Матвеевич не знал, что отец его устроился в наркомат по протекции швейцара треста, к которому он случайно зашел за спичкой и с которым познакомился, отрекомендовавшись папашей директора. Польщенный таким знакомством, трестовский швейцар охотно откликнулся на просьбу директорского папаша пристроить его куда-нибудь и написал ему записку к своему племяннику-коменданту в наркомат. Все это было бы интересно узнать Виктору Матвеевичу. Но он не узнал

об этом потому, что, выйдя от наркома и спустившись вниз, сразу же начал строгий разговор с отцом, потребовал, чтобы отец сейчас же подал заявление об увольнении.

— Или я попрошу, чтобы тебя уволили.

— Это как же так? — сказал отец, осердившись. Заискивающий, немножко печальный его тон моментально пропал. В голосе послышались гнев, обида и негодование. — Это как же так, уволить? Да ты знаешь, меня сроду никто не увольнял. Не за что было. Кто я, вор?

— Не вор ты, и не в этом дело, — сказал сын. — А надо, чтобы ты уволился. Тебе бумажку выдадут, что ты работал хорошо и ушел по собственному желанию.

— Да не желаю я, — сказал отец непримиримо. — На что мне бумажка, ежели я ни в чем никогда замечен не был. Я в местком пойду. Как же можно так делать? Это вам не старый режим. Просто-напросто человека угнетать. Довольно, поугнетали...

Матвей Кузьмич, сердясь, повышал голос. Проходящие смотрели на них. Виктор Матвеевич сказал:

— Ну, ладно, дома поговорим.

Оделся и вышел.

Дома Виктор Матвеевич рассказал жене о выходе отца. Он так и сказал: «отцовская выходка». Жена сказала, что знает об этом, удивлена, но все-таки считает, что требовать увольнения отца не следует.

— Это неправильно, — сказала она.

— Но надо что-то делать, — сказал муж. — Надо убедить его как-нибудь, что ли. Мне просто неудобно...

Вскоре пришел Матвей Кузьмич. Он разделся в передней, снял сапоги и босой прошел в свою комнату. Виктор Матвеевич постучал к нему.

— Ну, как дела, ударник? — спросил сын, входя в комнату.

— Ничего, — сказал отец. И, помолчав, молвил грустно: — Увольняешь меня. Подрыв мне делаешь. Подкоп. Тебе, конечно, все можно. Тебе поверют...

Он сидел на окованном жестью сундуке, в сарпинковой расстегнутой рубашке, босиком. Вид у него был обиженный. Без ливреи, без шапки с расписным околышем он был просто старик, дряхлый, немощный, усталый. Из расстегнутого ворота рубашки выглядывала темная, морщинистая, стариковская шея.

Виктор Матвеевич внимательно посмотрел на него.

— Это для чего же, папа, тебе служба-то потребовалась? А?

— Скучно мне, Витенька, — печально сказал отец. — Очень скучно без всяких делов. Я и помереть так могу. От скуки.

Виктор Матвеевич сел рядом с ним на сундук. Он смотрел на его большие, потемневшие от работы и времени, руки, мирно покоившиеся на коленях. И эти руки убедили сына больше, чем слова. Он подумал, что отец, действительно, может раньше срока умереть, вырванный из привычной для него обстановки труда, забот, мелких будничных волнений. На него надвигается смерть. И отец уже чувствует неотвратимое ее приближение. И боится ее. И, цепляясь за жизнь, хочет голову и руки свои занять делом, заботами. Хочет выйти из гнетущего одиночества старости. Хочет работать и хлопотать, чтобы не думать о смеоти, не чувствовать ее приближения. Это же так просто, так естественно. так обыкновенно.

— А они, знаешь, Витенька, — оживленно сказал отец, — меня прямо ударником считают. Мне нынче комendant сказал... Мы, говорит, вас очень ценим как старый кадр. Вы, говорит, порядок понимаете и разные манеры. Молодые могут свободно пример с вас сымать. И велел мне ходить на кружок. Говорит, покажите пример. Вы, говорит, у нас старый кадр. Понял?

— Ну, что ж, — сказал вдруг сын, — работай. Ладно. Раз тебе нравится. Я знаю, что ты работник хороший.

Выцветшие глаза отца заблестели. Он стал надевать торопливо носки и туфли, чтобы скрыть волнение, вдруг охватившее его.

Сын смотрел на него и улыбался. И, улыбаясь, сын спросил:

— Ну, а чаевые-то берешь?

— А как же, — сказа́л отец. — Приходится. Дают.

— Ну, это, пожалуй, лишнее, — заметил сын. — Мог бы и не брать. Что за холуйство...

— Как я могу? — сказал отец. — Раз дают, должен брать. Обижать публику я не имею полного права.

Матвея Кузьмича позвали обедать.

Он пообедал, закурил, вышел на кухню и, присев на табурет, сказал Ольге Михайловне:

— Вот, значит, какая тригонометрия. Увольняли, копали, значит, против меня... А потом — оставили. Ударник, говорят, хороший. Понимает свое дело. Не можем, говорят, без него обойтись.

Москва, лето 1937 г.

Рассказы рабочих о Ленине

С. МИРЕР и В. БОРОВИК

ЯЛКАЛА

Говорит мне дочь моя Лююли:
— Приготовьте, мама, комнату, — ту, которая отдельный ход со двора имеет. Поставьте стол и скамеечку. Гость придет.

А кто — не говорит.

— Мы привезем хорошего товарища из Петрограда.

Наш деревянный домик стоял рядом с лесом, от деревни далеко. Местность гористая, сухой песок. Озеро Красавец с одной стороны, а с другой — Кафи-Ярви озеро.

Приготовили для гостя комнатку, пристроенную к домику по финляндскому фасону. Комната в одно окошко. И вся ширина ее — кровать и стол. Кровать убрали, на стол поставили лампу.

Когда уже стемнело, послали лошадь на станцию. Ждем. Слышим: во дворе стучат колеса, ржет лошадь. Вышли встречать.

— Приехали, — говорит Эйно, со-скакивая с телеги. — Вот гость наш — Константин Петрович Иванов.

И подает нам Иванов руку, здороваемся. И с детьми со всеми поздоровался. При свете фонаря мы увидели Иванова — плохо одетый, простой рабочий. Просим его в квартиру. А Иоганн остается лошадь отпрягать.

Садимся за стол. Иванов выпил кофе и покушал с аппетитом. Целые сутки не ел! «Грязный, усталый, — думаем, — кто он такой? А по разговору видать — человек не простой».

Утром Иванов пошел в баню. Вернулся — кофе напился, стал бриться. Потом пошли гулять: Эйно, Лююли и гость. Показали ему озера: Кафи-Ярви — светлое и Питке-Ярви — темнее.

И говорят ему:

— Сюда вы, товарищ Иванов, можете ходить купаться и рыбу ловить.

Пошли по полю, где пахал отец. Эйно, Лююли и гость лежали на траве и смотрели, как он работает. Потом Иванов встал и пошел тоже с отцом работать, и смеялся над тем, что у Парвияйнена соха идет прямо, в ниточку, а у него криво.

Потом Иванов стал расспрашивать Парвияйнена — сколько в этой деревне жителей, как они живут, что делают. какое у них настроение.

После обеда Лююли с Эйно уехали в Петроград, а гость остался у нас.

По утрам уходил Иванов с Эвертом и Вернером в лес. Эверту восемь лет, а Вернеру — шесть. До обеда собирали грибы, после обеда уходили за брусникой.

Вернер и Эверт не умели говорить по-русски. Ходят с Ивановым по лесу. Он им говорит:

— Пунаден бунаны. Красные ягоды. Дети кивают головами. Смеются — весело им втроем.

А то пойдет Иванов купаться в Кафи-Ярви озеро. Купается в озере, а картуза с головы не снимает, на глаза постоянно кепка надвинута. Он хорошо

плавал, очень хорошо. А дети удивляются:

— Он в картузе плавает. Почему? Иванов им объясняет:

— Голова может простудиться у меня, оттого я не снимаю картуза и в нем плаваю.

А не снимал он его потому, что носил парик.

Катался также Иванов на лодке и рыбу ловил. Не скучал. Товарищами ему были наши маленькие дети. Он детей очень любил; бывало, возьмет их за руки, и идут в лес втроем, чуть не обнявшись.

Придет Иванов из лесу, сядет писать. Пишет много и мелко. Свободной минуты не теряет. Утром пишет. Днем пишет. Вечером пишет. Зайдешь в комнату, а он заметит и прячет, что пишет. Думаем; не хочет, чтобы видели, чем занимается. А уж потом, как подольше прожил, не остерегался.

Каждое утро Эдвард переезжал через озеро, а там пешком уходил на станцию и возвращался с газетами для Иванова.

В воскресенье приехали Эйно и Лююли из Петрограда.

— Как вам здесь нравится, не скучно ли вам, товарищ Иванов? — спрашивают они Иванова.

— Хорошо, — отвечает он. — У меня товарищей много здесь. Я такого спокойного места еще нигде не встречал. Я спокойно и ночью сплю. Еще никогда мне не приходилось так спокойно жить. Я когда-нибудь приеду с супругой к вам. Можно будет?

Отвечает старик Парвийнен:

— Со всем удовольствием, во всякое время.

— Вы думаете, я не догадываюсь, кто вы? — говорит Парвийнен. — Я знаю, вы не Константин Петрович, а Владимир Ильич. Вы же Ленин.

Косо посмотрел Ильич на Эйно Абрамовича.

— А вы почему думаете? — спрашивает Ленин.

— Я ничего не говорил, — оправдывается Эйно.

— Мы же читаем в финских газетах постоянно, что Ленин в Финляндии скрывается. Попригляделся к вам и вижу, кто вы.

Действительно, Эйно Парвийнену и полслова не сказал. Парвийнен понял сам.

Но не о чем было беспокоиться Ленину. Не выдал бы его Парвийнен и за миллиарды. И виду никакого не показывал, что боится. Лишь бы спокоен был Ленин, лишь бы спокойно у него жил. И уж мы держали Ленина, как родного, чтобы никто ни о чем не догадался из посторонних.

Ильич был в парике. По виду он был очень похож на финна. Одно только, как мне говорила потом дочь, могло его выдать, — это разговор его. Голос имел Ильич своеобразный, так что сразу можно было его узнать из тысячи. Но из деревни кто бы ни заходил, и подумать не мог, кто именно поселился у нас.

В свободное время муж мой с Лениным лягут на траве и разговаривают. И на сенокос приходил к нам Ленин и косил сено с нами вместе. Он интересовался финской жизнью, и очень ему нравилась укромность наших мест, лесной шум и тихие озера.

Он говорил:

— Многие языки знаю, а вот финского нет.

И старался изучать финские слова и просил мальчиков учить его говорить по-фински.

Домик наш в Ялкала сейчас за границей стоит. И никто не живет в нем.

Со слов вдовы литейщика Парвийнена Анны Михайловны Парвийнен.

РАПОРТ

Двадцать пятого октября я находился в Смольном. Наступала ночь. Смольный загорался огнями.

Я с товарищами расположился в одной из дежурных комнат. Винтовки наши стояли у стены.

Идем. Охватывает особенное чувство. Знаем, что в эту ночь произойдет небывалое — весь рабочий класс встал под ружье.

В дежурной комнате полутемно. Некоторые, сидя, дремлют, другим не сидится ничем. Рядом с нами за коридорными стенами заседает съезд.

Вдруг передают шопотом:

— На трибуне — Ленин.

Все — и бодрствующие, и сонные — вскочили и устремились в зал, не замечая, что нарушается дисциплина.

Вход в зал охранялся нашими же путиловцами. Мы тихо открыли дверь. Вошли. Остановились. При полной тишине говорил Ленин.

Решался коренной вопрос — война или мир.

В эту ночь на буржуазный мир налетел шквал и в плохо освещенном городе Смольный выглядел ярким океанским судном.

Под утро я заснул на полу. В половине одиннадцатого меня разбудили:

— Тебя вызывает Ленин.

Я растерялся. Думаю — подразнить хотят.

— Полно смеяться, товарищи.

— Еремеев, с тобой не шутят.

— Нет, в самом деле?

— Крестом, что ли, тебе поклясться? Подготовься, тебе придется выступить с рапортом.

Собрав необходимые сведения, я готовился к боевому докладу. И я по военному зазубрил:

— Разрешите доложить, товарищ Ленин, что рабочие Путиловского завода в количестве стольких-то человек, такими-то дружинами выступили на Зимний дворец часов около двенадцати ночи в полной боевой готовности. Точка. В районе же Нарвском никаких

происшествий в эту ночь не произошло. Юнкерские банды не появлялись. Точка. Весь район находится в боееспособном состоянии. В Петергофском Совете Рабочих Депутатов происходит круглосуточное дежурство. Точка.

Все это вызубрив, я направился без винтовки к Ленину.

Коридором прошел в зал, приблизился к двери, у нее стояло два наших путиловских красногвардейца.

— Меня вызвал Ленин, разрешите пройти.

Двери бесшумно открылись, и я робким шагом, на носках вступил в комнату. Оцепенел: в углу, напротив меня, за небольшим письменным столиком, сидел Ильич. Он писал, не замечая, что кто-то вошел в комнату. Я подошел к столу, взял под козырек и слегка ударил каблуками.

— Имею честь явиться, — осторожно произнес я, вытянувшись по-военному, взволнованный и смущенный.

Ленин поднял голову, и смутился больше меня.

— Что вы, что вы! Садитесь!

Со стулом подвинулся вперед, положил перо. Усадил меня и попросил объяснить цель прихода.

— Я от Путиловского завода. По распоряжению дежурного коменданта. Доложить о происшествиях... в нашем Наовском районе.

Мой заученный рапорт вылетел из головы, пришлось рассказывать без всякой рапортовки.

Ильич улыбнулся.

Я ожидал увидеть сурового, властного человека, который может и накричать, а оказалось — он себя ничуть не ставит выше других.

Но это не уменьшало моего уважения к Ленину, а наоборот — усиливало. И возрастало чувство любви.

Я рассказывал, а он все писал. Это придавало мне смелости. Делал ли он вид, видя мое смущение, будто работает над чем-то другим, или же он действительно обладал способностью заниматься несколькими делами сразу.

Я думаю, Владимир Ильич продолжал серьезно работать и в то же время не менее серьезно слушал меня. Он при мне закончил страничку и начал другую, не переставая задавать мне вопросы.

Вместо коротенького рапорта я сделал живое сообщение, которое Ленин с интересом выслушал.

Я вышел из комнаты Ленина взволнованный. Шел в дежурную комнату, и мысли мои кипели.

Меня окружили и стали расспрашивать:

— Рассказывай, Еремич, скорей рассказывай — как он тебя принял, что он тебе сказал?

Со слов бывшего путильовца
Ивана Федоровича Еремеева.

В СМОЛЬНОМ

Начальник Красной гвардии уже смолodu имел стремление померяться силами с буржуазией и кости ей потрясти, — как говорят финны, «кай-килопу» сделать старому миру. Одевался этот товарищ очень просто, маникюром, конечно, не занимался и, даже бриться приходилось ли ему, — не помню.

...Была поздняя ночь. Белый туман. Холод. А у Смольного костры горят, охраняют штаб революции двадцать охран, двадцать цепей. Броневики — в полной готовности.

Пасмурен, печален и тих снаружи Смольный. А внутри шумит штаб революции, сердце и мозг страны.

Предстали мы, три товарища, перед цепями охраны. Из Петропавловской крепости взять пропуск мы не успели за поздним временем. Идем с пустыми руками.

Останавливают нас моряки с винтовками наперевес, с наганами, ручными гранатами, вооруженные с ног до головы.

Наш комиссар, старый подпольный работник, говорил один за троих. Моряки Смольного чувствовали в нас товарищей, но только после тщательной проверки пропустили нас, — мы прошли через трое дверей, мимо вооруженных патрулей.

Пройдя по коридору шагов двести с лишним, очутились перед кабинетом Ленина, в первом этаже.

Комендант в военно-морской форме, парень строгий и изящный, оставил нас у дверей и пошел докладывать Ленину.

Через открытые двери мы увидели темную комнату.

Зажегся свет, нас пригласили войти.

В кабинете стояло шесть старинных письменных столов. Трое из товарищей Ленина лежали на столах. Видно, они давно не спали. Ленин тоже дремал, сидя в кресле, облокотившись. Но он уже не спал и смотрел на нас.

Наш командир поздоровался с Лениным и рассказал о положении, заставившем нас прибежать к нему. Что поздно пришли, — об этом разговоре не было. Время такое — Ленин день и ночь принимал.

Ленин выслушал внимательно.

Командир торопился высказаться:

— Имеющаяся в моем распоряжении Красная гвардия выступила против белых. И сейчас в Белоострове положение архитревожное. В Левашове, в крепости команда, составленная из царских опричников, еще стоит крепко. Октябрь ее не тронул. Держиморды! Боимся, что чуждые нам остатки из проезжих царских солдат соединятся с левашовцами. А у них силы серьезные, пушки и пулеметы в крепости, а крепость там — старокаменный дворец. И вот просим тебя, Владимир Ильич, дать нам указание, что делать: или арестовать, разоружить, или... что же?

Ждет командир, и ждем мы с командиром ответа от Ленина.

Он подумал немного и сказал:

— Не теряйтесь! Настроение массы за нас. Соберите ребят, организуйте отряд и двиньтесь!..

Просияло лицо командира — окрылился человек. И мы, как орлы какие, крыльями взмахнули. Ленина поблагодарили, простились с ним.

Шли из его кабинета, как будто уже дивизию разгромили. Вот понять не могу, чем таким особенным он нас прохватил. И слова-то его простые.

Охрана смотрела на нас, дружески улыбаясь: мы шли к Ленину с опущенными головами, растерянные, взволнованные, возвращаемся бодрые, веселые, будто нам и море по колено.

Идем и чувствуем: ленинский глаз смотрит на нас и руководит нами неустанно.

Мы миновали последнюю цепь и вышли из ворот Смольного. Кругом темно и тихо. Город застыл.

Мы повернули направо и по Захарьевской прошли к Литейному мосту, как бы купаясь в густом тумане.

Шли быстро, разговаривая, друг друга перебивая. Чувствовали, еще предстоит большие схватки.

И теперь, вспоминая начало восемнадцатого года, я все переживаю снова, будто время не унесло все это в невозвратное прошлое. И правда, и незначительные, казалось бы, события тех дней легли зерном в почву будущего. Не знает смерти великое дело Ленина, и светится в мыслях моих будущая земля, вся без остатка преобразованная — от Ледовитого океана и до окраин всех морей.

Со слов машиниста Германа Германовича Риконена.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО

Петроград охватила безработица, тяжелое продовольственное положение. Война все обобрала и очистила под ноль.

Малым детям нехватало молока, а у меня их было пять человек — мал-мала меньше, от тринадцатилетнего до восьмимесячного. Выдали мне карточки на получение молока — сгущенного, американского.

Выстояла я на морозе большую очередь. Мне выдают одну банку, а мы едем в Сибирь, и ехать три недели. Как же я одной банкой обойдусь?

А на собрании нас предупредили: что бы ни случилось — обратиться в партийный комитет Стеаринового завода.

Собралось нас таких матерей пятеро, и пошли. В комитете нашли секретаря, Парфен звали его, фамилию забыла.

— Идите, — говорит, — в Смольный — вам там дадут по 10 банок. — Смеется и подписывает бумажку: направляются, дескать, в Смольный за молоком.

Вот мы и отправились в Смольный, на Старые Пески.

А тогда ведь стража кругом, охрана. Смотрим — стоят вооруженные рабочие, солдаты и матросы. Как итти?

Стесняемся, жмемся. Потому что в валенках. А солнечная погода уже растеплила снега, и валенки у нас мокрые.

Торопясь, приводим себя в порядок у входа в Смольный. Кто снег отряхает, кто валенки выжимает, кто чем может себя охорашивает.

В это-то время и шел аллейкой товарищ один по тропинке, которая ведет к теперешнему Дому крестьянина. Вышел он из средних ворот, в кожаной тужурке, в сапогах и в кепке. Подходит к нам, а мы и не обращаем внимания. Когда он нас спросил:

— К кому идете?

Со смехом ответили ему:

— Лично к Ленину.

Пошутили.

— К Ленину? — серьезно переспросил прохожий.

— Да, к Владимиру Ильичу.

— Зачем?

— Я-то, видите ли, еду в Сибирь. Пятеро детей. Молока бы.

— Вам не отпускают?

— Отпускают одну банку, а у меня пять человек детей, а ехать три недели.

Он обратился к другим:

— Вы тоже по этому делу?

Все ответили:

— Да.

Хотя соврали. Они не ехали в Сибирь, но и здесь хотели чай белить американским молоком.

Тогда он сказал караульному:

— Пропустите их.

А сам прошел дальше в дверь, впереди нас.

У двадцать девятой комнаты он вдруг исчез. Очутились перед секретарем:

— Как вы прошли сюда? Кто вас пропустил и зачем?

Начали объяснять:

— Пришли, как видите, в Смольный, а кто пропустил, мы этого человека не знаем.

А он как-раз, тот товарищ, из других дверей и выходит, раздевшись, без кепки. Секретарь к нему обращается и, показывая нашу бумажку, объясняет:

— Пришли, — говорит и указывает на нас, — эти женщины с Шлиссельбургского проспекта.

Он улыбнулся.

— Я знаю. Они ко мне пришли. Отпустите им по пять банок молока.

Мы опешили: Ленин, сам Ленин! Вот уж нескладно получилось. В каком виде застал он нас.

Стоим, как мокрые овечки. Я растерялась больше всех.

Он подошел ко мне.

— Когда вы едете?

— Сегодня вечером.

— Все ли достали из вещей?

— Теперь, с молоком, будет все.

— Как с отправкой?

— Обеспечена.

Выслушал меня Владимир Ильич и говорит:

— Ну, добрый путь. Счастливого вам успеха.

И подал мне руку. Я растерялась.

Он взглянул на секретаря и проводил нас веселым добрым взглядом. Улыбнулся и ушел к себе.

Вот такая встреча произошла!

Со слов ленинградской ткачихи
Клавдии Дмитриевны Тимофеевой.
Жена слесаря завода им. Ленина.

ЛЕНИН И КАРАУЛЬНЫЙ НАЧАЛЬНИК

Двадцать третьего августа восемнадцатого года я привел в Политехнический музей своих красноармейцев на политический доклад. На ступенях лестницы оказалось скопление саботажников. Их не пропускали в аудиторию, и бывшие люди шумели и скандалили.

Увидя пришедшую воинскую часть, распорядители митинга попросили меня расставить ребят у всех двенадцати входов. Я обеспечил охрану, а сам встал у главных дверей.

Толпа ломится. Я с красноармейцами еле ее сдерживаю.

В самый разгар этой катавасии кто-то очень напористо полез на меня, добиваясь во что бы то ни стало пройти в аудиторию. Я его, как и других, отталкиваю, но гражданин настойчив, непременно желает пройти. Я особо сердито отнесся к нему.

— Товарищ, пропустите меня, — умоляет гражданин, подпираемый с одной стороны толпой, а с другой — мною.

— Предъявите, гражданин, — требую я от него, — согласно общего порядка, профсоюзную книжку.

— Пропустите меня, товарищ, — объявляет он. — Я...

Не соображаю. Слова не доходят. Вся мысль моя направлена на профсоюзную книжку.

— Я... Ленин... пустите меня.

А я все еще не различаю слов, произносимых у самого моего уха.

— Советский документ, документ предъявите, — требую я, машинально повторяя эту фразу.

Когда дошло до сознания, что он произнес, всмотрелся и вижу — Ленин. Оробел, будто упал в пропасть. «Что же я делаю?»

Извинился, пропустил и скорее закрыл за ним дверь.

А Ленину и сердиться некогда. Быстро он пошел к трибуне, на ходу снял пальто и говорит мне, улыбаясь:

— Посмотрите, товарищ, за ним.

Я вернулся к входным дверям, где попрежнему ломилась толпа, но дверь для саботажников не открывалась.

Убедившись, что все в порядке, я вошел в залу и прослушал часть ленин-

ской речи. Он говорил о необходимости защитить советский строй.

Со слов бывшего путиловца Ивана Федоровича Еремеева.

НА ФРОНТ

Регулярная Красная армия сформировалась из рабочих. Бомбы висели на ремнях, носили мы солдатские ботинки и обмотки. Одним словом, дым заводов сменили на порох, цех — на поле битвы.

Мы отправлялись против Краснова под Воронеж. Накануне отправки к нам на Ходынское поле приехал Ильич. Вышел из машины, стал на крыло автомобиля.

Он говорил об Октябрьских боях. Говорил: рабочий класс уже не одну взял крепость. Нет силы, которой рабочий класс не мог бы победить.

Рабочие, одетые в шинели, Ильичу ответили:

— Начатое дело доведем до конца.

Со слов рабочего-орденоносца завода «Серп и молот» Арсения Гладышева.

ЧТО Я ЕМУ СКАЗАЛ БЫ

Теперь я уже многое забыл. Память плоха стала. Мне семьдесят четыре года. Но Владимира Ильича помню хорошо.

Вскоре, как он появился в Москве, пошли рабочие с нашей фабрики в Большой театр на большое, очень торжественное собрание.

А я ведь на фабрике с девятьсот первого года, а родился еще при крепостном праве. Мне и говорят:

— Хочешь, Иван Ильич, Ленина послушать?

Как же не хотеть? Читать я про него много читал: и маленькие брошюрки, и большие книги. А когда был молодой, и газету «Искра» читывал.

И я пошел со всеми. Я даже, помню, принарядился в праздничный пиджак. Думаю: пойду, поблагодарю Владимира Ильича за все, благо случай пришел.

В Большом театре все места заняты. А меня запытали наверх. Взгляну я вниз: где уж тут поблагодарить—увидать бы, услышать мудрого человека—и на том спасибо.

Поглядел я на собравшихся:

— А где же, спрашиваю, Ленин-то?

Не успел я это проговорить, как захлопали все и давай ура кричать.

Перевесился я через бархатное покрывало из кибитки, в которой сидел, — как она, ложа, что ли, называется? — смотрю, а он там, внизу, стоит.

Стоит, и видно, что он говорить желает. Пока ему хлопали, вынул он из кармана платок, вытер пот с лица, сунул руку за борт пиджака и начал:

— Теперь, — говорит, — всем нашим самым закоренелым врагам, всем Колчакам и подколчаковцам должно быть известно, что республика наша живет, власть рабочая-крестьянская здорова и что эта власть советов есть вихрь, ураган, который закрутился на всей земле.

Если бы знамо было тогда, что будут и меня, Кондракова, спрашивать про Владимира Ильича, я бы тогда записал, что он говорил для нас, какие он делал нам наставления. Можно пожалеть, что я этого не сделал.

Если бы не было там в тот вечер так много нашего брата, я бы к нему пошел и сказал:

— Кроме меня самого и моих мозолистых рук, у меня, дорогой Владимир Ильич, ничего нет. Возьми их и

используй на защиту свободы и на развитие нашей жизни.

Со слов бывшего рабочего ф-ки «Красный Октябрь» Ивана Ильича Кондракова.

ВЕТЕРОК

Владимир Ильич, большой любитель природы, однажды зимой, видимо, очень переутомившись, высказал желание поехать хотя бы на часок за город, побродить по лесу и подышать свежим зимним воздухом.

Присутствовал при разговоре один шофер из кремлевского гаража, он и предложил:

— Владимир Ильич, хотите, я вас в Подсолнечное к Сенежскому озеру свезу. Там на Конном заводе мой дядя наездником. У него хорошо — лес кругом. Найдется, где походить на лыжах, и поохотиться есть где.

Ильич ухватился за предложение.

— Уж если поехать, — сказал он, — то нужно и поохотиться.

И попросил приготовить наутро машину. И выехать с таким расчетом, чтобы провести день, а к вечеру вернуться на какое-то ответственное совещание.

Рано утром шофер заправил машину и подал Владимиру Ильичу. Ждет и думает: «Наверное, ему разохотилось».

А Владимир Ильич выходит в дубленой шубе с лыжами и ружьем, такой довольный. Укладывает лыжи, улыбаясь, говорит:

— Ну, задам же я перцу сегодня зайцам!

— Да уж будьте покойны — походить есть где! Жаль только, что не лето, а то там озеро большое — глаз не оторвешь. Диких уток, рыбы — руками бери.

Отбыли из Москвы, когда чуть светало. Миновали Фирсановку, Крюково, а там рукой подать и Подсолнечное.

Утром на крыльцо в шубе нараспашку вышел комиссар Конного завода. Увидав подъезжающий автомобиль,

удивился: «По какому делу, — думает, — в такую рань?».

Автомобиль остановился. Из машины выскочил племянник наездника.

— Гостя, — говорит, — привез, Михаил Николаевич, принимайте!

Из автомобиля выходит человек с ружьем, лыжами, направляется к крыльцу. Комиссар сходит к нему навстречу и отрекомендовывается. Человек с ружьем, в свою очередь, подает руку и называет свою фамилию.

От неожиданности комиссар сделал шаг назад, взглянул на приезжего и еще дальше попятился.

Владимир Ильич ему улыбнулся:

— Давненько я, — говорит, — не видел ни неба зимнего, ни леса, — поохотиться к вам приехал.

— Очень рады, милости просим, — сказал, немного придя в себя, комиссар завода. — Проходите ко мне в дом, пожалуйста. Отдохните, закусите с дороги. Чем богат, тем и рад. А я сейчас.

Собирается бежать распорядиться. Но Владимир Ильич его просит не беспокоиться и проходит вслед за ним в дом.

На столе пытит самовар. Жена комиссара завода расставляет посуду. Узнав Ленина, остолбенела.

Сели за стол. Хозяин предложил Ильичу перед охотой поесть щей.

— Да я с собой захватил всякой снеди, спасибо, — поблагодарил Владимир Ильич.

Развязал узелок и вынул завтрак. Но хозяйка все же подала Ленину тарелку со щами.

У гостя в узелочке было несколько бутербродов. Он разложил их на столе, а сам с удовольствием поел щей.

Пока закусывали, шофер сбегал за своим дядей — наездником. Пришел дя-

дя, любитель охоты, и Владимир Ильич направился с ним в лес.

Где и как они бродили — неизвестно. Ходили, ходили, — хотя бы паршивый зайчишко перешел дорогу. Как на грех — и следа нет. Спутнику Ильича даже неудобно стало.

— Вот досада, — говорит, — хоть бы общипанный какой выскочил.

— Мне неважны, — говорит Владимир Ильич, — зайцы, может, я, и встретив, не стал бы бить. Я рад, что походил, а зайцы пустяк.

Побродив по лесу без единого выстрела, к вечеру Ильич вернулся на завод.

Был приготовлен самовар, но он поблагодарил за внимание и заторопился в Москву.

Пока заправляли машину, комиссар завода очень осторожно подыскивал повод увлечь Ленина посмотреть на лошадей и настойчиво тянул в конюшню.

— Мне сейчас некогда, — говорит ему Ильич. — Я как-нибудь в следующий раз приеду и посмотрю.

Но не успели они отъехать полкилометра, — застряли в снегу. Трудно сказать, что случилось с автомобилем, но все старания шофера пустить машину оказались безуспешны.

Владимиру Ильичу пришлось вернуться в завод. Ему предложили поехать до станции на лошади. Вынув часы и недоверчиво улыбнувшись, безнадежно покачал головой — до поезда оставалось 12 минут.

— Не беспокойтесь, товарищ Ленин, — успокаивал его комиссар, — доставим вас к поезду во-время, побыстрее автомобиля.

Через несколько минут, нервно вздрагивая и наострив уши, перед Владимиром Ильичом стоял запряженный в легкие санки Ветерок, знаменитый рысак.

Владимир Ильич сел в сани и скрылся в сумерках зимнего вечера.

Ветерок не бежал, а стлался по дороге, показывая и класс, и резвость. Приближались огоньки станции.

Когда Владимир Ильич, запорошенный снегом, вышел из саней и посмотрел на часы, оказалось, что до поезда еще остается время. Он был поражен.

— Никак не мог допустить, что успеем, — сказал Владимир Ильич, стряхивая снег, — оказывается, неплохо иметь к автомобилю и хорошего коня.

Записано на Московском ипподроме со слов инструктора по коневодству Александра Васильевича Смирнова.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Эту историю я знаю со слов покойного Демидова, он рассказал мне ее по телефону в 20-м году, когда я был помощником секретаря смоленского губкома, а он председательствовал в исполкоме, в городе Белом.

Там большие леса. Хорошая охота. Туда Владимир Ильич с товарищем и направился однажды зимой, и, чтобы не привлекать к себе внимания, поехали в общем товарном вагоне.

Выйдя из поезда, пошли в лес и стали охотиться. Но кто-то заметил двух странных людей с оружием, их нагнали в лесу, задержали и представили в город

Белый. В то время бандиты хозяйничали в уезде.

Председатель уисполкома сейчас же позвонил в Смоленск и вызвал губком.

— Кто у телефона? — спрашивает. — Помощник секретаря губкома? Товарищ Шубин? Я задержал в лесу двух охотников. Один из них утверждает, что он — Ленин. Как мне быть? Отпустить или же обезоружить и отправить в Смоленск?

Я ему сказал:

— Этого ты не делай. Самое лучшее подожди. Я сейчас найду секретаря губкома.

Привожу секретаря. Он по телефону переговорил лично с товарищем Лениным и очень смутился за неловкость Демидова. И долго извинялся.

Так неудачно в тот раз окончилась охота Ильича.

Со слов бывшего слесаря Путиловского завода Павла Ефимовича Шубина.

В ЛЕСУ

Ильич имел чуткость к природе и любил охотиться. Когда попадал в лесистые места, непременно брался за ружье. Лучшим отдыхом для него была охота.

В двадцать втором году, в предместьи Горок, однажды, в яркий зимний день, когда от мороза лопались деревья, а зайцы зарылись глубоко в снегу, я охотился за ними. Одного из них разыскивал по следам сонного в логове. За зайчишкой я ушел довольно-таки далеко.

Потеряв надежду найти его, я вернулся собаку и пошел в другом направлении.

Гончар, бежавший впереди меня, остановился, наострил, заворчал — признак встречи в лесу с посторонним.

Я услышал в стороне голоса и пошел туда. На небольшой поляне стояли три человека. Двое из них дымили папиросами. Третий из них, не куривший, был среднего роста, в высоких валенках, в меховом полушубке, в барашковой шапке с ушами. Руки он засунул в рукава, подмышкой сжимал приклад бескуркового тульского ружья. Все это мне, как сейчас помню, бросилось в глаза. Производил он очень приятное, располагающее впечатление.

Когда я появился на поляне, охотники посмотрели на меня и, главным образом, на мое двуствольное шомпольное ружье. А я — пацан-мальчиш-

ка, в овчинном полушубке красной деревенской дубки, в подшитых валенках, на самодельных лыжах — имел вид деревенского охотника.

Некурающий товарищ, улыбаясь, спросил:

— Ну, паренек, а где же зайцы?

— Гонял двоих, — отвечаю, — но постигла полная неудача. Даже выстрелить не пришлось.

— А много ли тебе удавалось убивать зайцев?

— Да, приходилось, — ответил я.

И рассказал об удачных своих вылазках.

Распростился он со мной:

— Ну, счастливо.

— Ни пера тебе, ни пуха, — шуточно добавил его товарищ.

Это значит — если придется ударить по зайцу, пух пойдет, а убить — не убьешь. А по птице ударишь — перья полетят, а птица улетит.

Я ушел.

И только после уже, по портрету, я догадался, кто был этот охотник. То был Ленин, часто охотившийся в этих местах.

Вот мое первое свидание с Ильичом. А второй раз я его увидел в мавзолее, под Кремлевской стеной.

Со слов изобретателя в области электрохимии и электромеханики Сергея Дмитриевича Воротниковца.

ОХОТНИКИ

Года два до смерти по Рязанской дороге, через Шевлягино, на Куровскую Ильич приехал на охоту в Самарский лес. Лес там сосновый, яркозеленый, на мшистой почве. Глухари в нем — на одиннадцать-двенадцать фунтов. Есть рябчики. Идешь на ток

вглубь леса — бьют тебя по лицу еловые ветви.

Однажды днем встретился я в этом лесу со своим приятелем Степаном Чуркиным из Минина, а это — страстный охотник.

День был хороший, солнечный. Август.

— Ну, как охота твоя кленится? — спрашиваю я Чуркина Степана.

— Ленин был со мной на охоте. Поохотились хорошо, только что без собак, — отвечает Чуркин.

— Ленин был в Минине, на охоте!

— На автомобиле приезжал с товарищами.

Сели покурить.

Какой у охотников разговор? Кроме зверья и оружия, говорить не о чем. А тут о Владимире Ильиче как об охотнике — интересная тема!

— А товарищ Ленин, — спрашиваю, — в охоте специалист или любитель? Что его прельщает?

— Ему, как и нам с тобой, охота — лучшее на свете наслаждение. И старик себя чувствует молоденьким, когда с ружьем бежит в лес.

— Значит, любитель?

— Любит Ленин, очень любит природу. А разве есть лучший способ сблизиться с природой, иначе, как с ружьем в лесу?

— Выходит, он на охоте отдыхает?

— Все забывает. Голова отдыхает. А ты ведь знаешь, сколько Ильич работает.

— Я слышал, правда ли, — перебил я Степана, — что с охоты он не уезжает пустой, всегда, слышь, с дичью, с тетеревами, утками, с бекасами.

— Да, на сей раз Ленин вернулся в Москву из Самарского леса с тетеревами.

Разговоры на охоте короткие. Докурили папиросы, и я ушел от собеседника в лес.

Я подходил под глухариное токанье. Птица тянула свою песнь-трель и, несколько раз переливая, обрывала ее.

— Кто-то ему мешает, думаю, продолжать песню.

Я же подходил очень аккуратно, делая по два быстрых прыжка.

Наконец, подошел к дереву шагов на пятнадцать. Глухарь токует, но стрелять темно. Он — на сосне, но не видать его.

Стал я осматриваться кругом. Вижу — стоит человек. Откуда он появился? Я не слышал его подхода.

«Вот, — думаю, — охотник, этот уж действительно не промажет».

Прошло минут десять. Вижу — он подымает ружье и целится. А я стою в темноте. Выстрел — и глухарь падает к моим ногам.

Оказался он охотником из Москвы и прокурором Республики.

Это было в том месте, где охотился и Ленин. Очень жаль, что не пришлось мне поохотиться с ним. У меня ведь хорошие собаки — и, обратись ко мне Ильич, я бы его угостил лучшей охотой, чем Чуркин.

Сказал бы я ему:

— Владимир Ильич, приезжайте ко мне на выходной день. Пойдем на глухариный ток. Я знаю хорошие тетеревиные места. Ой, куда б я вас завел! С трех утра и до восьми мы набили бы с вами по десятку тетеревов.

Он приехал бы ко мне накануне выходного дня, — ночевал бы у меня и мы бы с ним раненько пошли в тот Самарский лес пешком.

И если бы такой случай представился, Ильич у меня в памяти стоял бы, как образ природы.

Со слов часоного мастера, механика по ремонту пишущих машин на Электрокомбинате Петра Алексеевича Бобышева.

ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ

Да, частенько приходилось видеть Ильича бодрствующим поздно ночью. Когда уже все спят и в большинстве зданий потушены огни, выходит он на

любимое место прогулок, на дорогу над набережной. Внизу, на уровне колен, крепостные зубцы. Через них видна Москва-река.

Тишина. Ночь темная, никого на набережной. Впечатление, что весь мир спит и только один Ленин бодрствует.

Однажды, в полночь, Ленин приехал к зубному врачу, на Чистые Пруды. Вышел из машины и говорит шоферу: — Поезжайте домой, машина мне не нужна.

Вышел от врача и пошел пешком, по Чистым Прудам, по Мясницкой.

Идет, смотрит по сторонам. Где афишу увидит, станет, прочтет и — даль-

ше, как и все прохожие. Народу много, и никто как будто не замечает.

Иной повернется, остановится:

— Смотри — никак Ленин!

Посмотрят — и продолжают путь.

Это было в хорошее зимнее время. И, должно быть, Ленину очень интересно было пройтись по улицам Москвы.

Записано в Горках Ленинских со слов коменданта при Доме Ленина Игнатия Викентьевича Пизена.

НА ЛЕСТНИЦЕ

Я подымалась по лестнице в кабинет к товарищу Свердлову, а Ленин спуускался вниз, по той же лестнице. И когда встретились, я смутилась и даже отшатнулась в сторону.

Он улыбнулся:

— Что вы так смутились?

А я — с фронта. У меня сумка военная через плечо. Я только-что из телячьего вагона...

Со слов Марии Соломоновны Бешенковской.

В ДВЕРЯХ

Однажды сижу я в Метрополе, у круглых дверей, вертящихся, как вечный двигатель. И вдруг вижу — идет знакомая фигура в демисезонном пальто и несет пропуск в развернутом виде.

— Ба! Владимир Ильич!

Я застыл от удивления. Ленин без всякой охраны.

Со слов рабочего завода «Серп и молот» Георгия Анисимовича Акуличева.

У ИВЕРСКИХ

Проходил я по Красной площади. Из Иверских ворот выходит Владимир Ильич и направляется через площадь пешком. Шел свободно. Публика узнавала его.

Помнится мне, как один из рабочих — на вид лет сорока — сказал рядом проходящему:

— Вот наш любимец, самый лучший товарищ!

Ему другой ответил:

— Да, уж этого действительно можно уважать. Не было таких.

Со слов электромонтера Александра Адриановича Ларионова.

В ОЧЕРЕДИ

В Москве, в Кремле, есть парикмахерская. И тогда, в двадцать первом году, парикмахерская была неплохой. Один раз только я в ней был, во время

командировки: возил оружие в Кремль, в склад, из Петропавловской крепости — винтовки, шашки и разные огнестрельные принадлежности.

И вот я попал в первый раз в Кремль московский. Зашел бриться. Нас было человек шесть, ожидающих очереди.

И вдруг в парикмахерскую входит Ленин, тоже бриться. Встали все и с ним поздоровались:

— Здравствуйте, Владимир Ильич.

— Здравствуйте, товарищи.

Он вынул из кармана журнал и стал читать. Мы сидели и смотрели на него, не отрывая глаз.

Прошло короткое время, кресло освободилось. Предложили Ильичу занять место не в очередь.

— Благодарю вас, — говорит Ленин, — мы должны соблюдать очередь и порядок. Законы ведь сами создаем. Он стал ждать свою очередь.

Со слов рабочего ленинградского завода «Красный выборжец» Григория Ивановича Иванова.

С НИМ ПО СОСЕДСТВУ

Я жил в Чудовом монастыре. Был строительным рабочим-маляром. Мое окно было обращено к под'езду Дома Правительства, и как-раз тот под'езд служил входом в квартиру Ильича.

Часто приходилось видеть Ленина. Я видел его гуляющим под тополями. Иногда он дожидался автомобиля — буквально в трех шагах от меня.

В двадцатом году первого мая пушка с Красной площади возвестила Москве о всероссийском субботнике. Мы, кремлевские рабочие и совнаркомовские служащие, расчищали Драгунский плац от досок, щебня и разной шушеры. С нами работал и Ленин. У него была в руках кирка.

По окончании работы я стоял у входа

на плац и с любопытством смотрел на работающего Ленина.

Помню, передавали такой случай.

Драгунский плац был обнесен решеткой, и у ворот стоит часовой. Ленин и какой-то высокий военный взяли доску и потащили ее в сторону.

Вблизи ворот, за оградой, они ее сбросили. Военный повернулся и пошел.

Часовой крикнул:

— Здесь бросать не полагается.

Тогда Ленин взял доску и оттащил ее в сторону.

Окончив работу, я шел к себе. Вижу Ленина, быстро идущего по панели после субботника.

Со слов сына старого мхельсоновского рабочего Степана Дмитриевича Наумова.

КОГДА ЖЕ ОН СПИТ?

Мой отец работал в Кремле, а жили мы с отцом на Поварской, и я училась в школе.

Он частенько рассказывал о Ленине, и по его рассказам я полюбила Ильича.

— Удивляюсь, — говорил отец, — когда Ильич спит. Проходишь раню утром — у него свет. Очень поздно — в час, два, у него все еще горит огонь.

— Когда же он спит? — спрашивала я отца.

— Об этом и я думаю.

— Мне очень хочется повидать Ленина. Когда же ты меня возьмешь в Кремль?

— Как-нибудь возьму.

Раз приходит отец домой и говорит:

— После семнадцатого года много валялось деревянных балок, бочек от баррикад, и комендант Кремля попросил рабочих очистить закоулки. И знаешь, кто работал с нами? Владимир же Ильич вышел и говорит одному из работающих:

— Возьмите, что ли, это бревно?

Взяли с ним балку и понесли.

— Мы — и без вас, Владимир Ильич, справимся,—говорят рабочие,— а вы идите. У вас поважнее дела.

— Раз это сверх-обычная работа,— говорит Владимир Ильич, — все должны участвовать.

— Пожалуйста, Владимир Ильич, уж поручите это нам.

А он — ни в какую.

Таким образом, дочка, я с Лениным сегодня работал на субботнике.

— Так возьми же меня, говорю, в Кремль, ведь очень хочется посмотреть Ильича.

— Ладно, при первом же удобном случае непременно возьму.

А однажды приходит отец домой и говорит:

— А вот сегодня вечер. У меня два билета, и ты пойдешь.

Я стала прыгать и обнимать отца.

— Будет ли Ленин?

— Может, и будет, — точно не могу сказать.

А я смотрела ему в глаза и внушала себе, что Ленин будет.

Мы дошли до высоких Троицких башен и по Висячему мосту прошли в ворота.

Идем Кремлем — глазам светло. Везде чисто, будто вымыто. Думаю: «Это с того момента, как Ильич на субботнике показал пример».

Все дети, присутствовавшие на вечере, сидели на первых скамейках. Выступал Владимир Ильич.

Окончив речь, он сел среди детей.

Все старались вести себя тихо. Ильич смеялся:

— Вы всегда такие тихони? Ай-ай-ай!

С ним рядом сидели девочка и мальчуган. А я чуть подальше и завидовала.

В тот вечер я думала — как много трудов положил Ильич, чтобы нас, лишенных радостей, приобщить к счастью человечества.

Со слов дочери рабочего Анны Дмитриевны Воронцовой.

НЕСОСТОЯВШАЯ ВСТРЕЧА

В двадцать втором году динамовцы решили вторично пригласить Владимира Ильича на завод. Отправили в Кремль меня, председателя завкома, и секретаря ячейки.

... Как сейчас помню — я держал подмышкой красную книгу. Вокруг никого не было.

Открываются маленькие боковые двери, и выходит Ильич.

— Здравствуйте, динамовцы! Здравствуйте, товарищи!

Пожал руку мне и секретарю ячейки. Но тот точно онемел. Взглянул я

на него — бледен. А я стал с Лениным речь держать. Не растерялся.

— Чем могу служить? — спрашивает Ленин.

— Владимир Ильич, вчера на общем собрании рабочие поручили нам обратиться к тебе с тремя просьбами. Первая — динамовцы спрашивают, как ты себя чувствуешь. Рабочие опечалены, Ильич, ты нездоров? Второе — динамовцы просят тебя и в этом году седьмого ноября пожаловать к ним в гости, подобно тому, как ты посетил нас в прошлом году. И третья прось-

ба — мы создали историческую книгу в память посещения завода любимыми товарищами и просим тебя расписаться первым. Ведь ты был у нас в прошлом году.

Ильич ответил:

— Я очень тронут заботами динамовцев. Видите, я совершенно здоров. Не беспокойтесь. Я себя чувствую прекрасно, работаю нормально. Передайте большую мою благодарность рабочим. Завод помню хорошо. Нас с вами подымала на лифте старая работница, я ее хорошо помню. И вас всех. Первое мое выступление будет на «Динамо».

Подошла третья просьба. Я передал Ильичу книгу и попросил расписаться.

Он задал вопрос:

— Зачем это нужно?

Я ему ответил:

— Я тебя убедительно прошу, от имени рабочих.

Он взял стул, сел за стол, посадил нас. Я раскрыл первую страницу, он обмакнул перо и написал: «С коммунистическим приветом. Ульянов-Ленин».

— Хватит? — спросил.

— Хватит, — ответил я. — Спасибо,

Владимир Ильич. Значит, мы тебя ждем.

— Да, я седьмого буду. Не хотите ли чаю? — спросил Ильич.

Поблагодарили — нам не до чая. Завернули книгу и пошли.

И вот седьмое. Собралось несколько тысяч рабочих. У всех праздничные лица. С нетерпением ждут и говорят:

— Вот-вот Ильич придет.

А лифтерша Выжгина, непрерывно подымая людей, чистит, полирует под'емник. Ждет с волнением и каждый раз, спустившись, вздрагивает, открывая двери.

Меня на всех перекрестках останавливают:

— Скоро ли?

Ильича все нет. Волнуемся. Звоним в Кремль — нам отвечают:

— Владимир Ильич занят, приехать не может. Вместо себя придет докладчика.

Я подумал — не заболел ли Ильич вторично?

И действительно — он заболел.

Со слов бывшего динамовского рабочего Александра Францевича Вежиса.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Это был последний выезд Ленина из Горок в Совнарком. Это был последний проезд Владимира Ильича по Каширскому шоссе, последнее прибытие Ленина в вечно живой, кипящий Кремль.

Было это так. Гулял Ленин по парку в Горках в раздумьи. Вдруг подходит к гаражу и просит машину. И Гиль повез.

Завидя Москву, Ильич обрадовался и рукой показывал, куда его везти. Машину повернули с Серпуховской площади налево. По Коровьему валу везли Ильича мимо сельскохозяйственной выставки. И, завидя выставку с

сотнями высоких павильонов всех народов СССР, Ильич был взволнован до крайности.

Проехав Крымский мост, Гиль повернул по Остоженке и выехал к Кремлю. Ильич в'ехал в Кремль, вошел в свой кабинет и некоторое время пробыл в нем.

Переночевав, вернулся в Горки, шумящие осенними листьями, и больше он не был в Москве и уже не видел Кремля.

Со слов Игнатия Викентьевича Пизена, коменданта дома Ленина в Горках.

ВНЕЗАПНАЯ ВЕСТЬ

Я жила на Выборгской стороне, в Лесном.

Был праздник. Наш драматический кружок готовился к постановке. В пять часов, в этот зимний морозный вечер мы вышли из общежития, нагретые костюмами и бутафорией.

Идем веселой компанией после первой удачной репетиции. Наши гатчинские комсомолки в этот праздник оделись все одинаково — в красные свитера и черные юбки.

Идем мы по Лесному парку, шутим, смеемся. Вьюга только что утихла.

Попадается нам на дороге крестьянин, везет на санях сено. А мне для пьесы нужна была солома — поджигать барскую усадьбу. Я ее решила заменить сеном.

Подхожу к нему и говорю:

— Дяденька, дай, пожалуйста, немного сена.

Он резко:

— Что вы здесь балуете? Не знаете, что Ленин умер?

— Что?! — оторопела я. — Что ты сказал? Повтори.

— Чего повторять... говорю тебе, Ленин умер.

...Мы побежали в техникум. Едва открыли дверь — увидели хмурые лица.

— Собери актив, — сказали мне.

Открывается дверь, и входит высокий Константин Сигизмундович, смотрит на нас строго, а сам не может говорить.

Он приблизился к нам и не своим голосом произнес:

— Ребятки, Ленина нет!

Один из наших парнишек не смог смолчать:

— Ну, и я жить не буду.

Тут наш старший товарищ крикнул:

— Ребята, голову вешать нельзя!

Ленин умер, но дело его будет жить.

Хотя он нам и говорил, что плакать нельзя, но у самого голос сильно дрожал. Мужественное поведение старшего товарища подействовало на нас. Мы подняли головы и дали обет, что каждый из нас неотступно пойдет по пути Ленина.

Мы жили вместе, шестеро девушек. Дома мы не стали зажигать свет и улеглись в темноте.

Со слов ленинградской работницы-железнодорожницы, комсомолки Хигерович.

ПЛАЧ АЛТАЙЦА

В ночь ячейка направилась на рудник, а мороз лютый до сорока градусов. Вьюга была большая.

Пришли. Собрание отменили. Кого-то поджидали из Усть-Каменогорска — не может быть, чтобы Ленин умер.

И дождались второй телеграммы.

Собрали митинг на руднике. Говорили о том, что начатое Лениным дело мы должны проводить в жизнь и дальше.

На митинг пришел издалека, по мо-

розу, алтаец Колька. Когда дали ружейный залп, он заплакал и упал. Уткнулся он в холодный снег и плачет, прижимая к себе винтовку.

Когда мы возвращались с митинга, он все говорил:

— Лучше бы мой дедушка Курман-Галей умер, а Ленин жил. Лучше бы он, Курман-Галей, умер, а не Ленин.

Со слов ленинградской работницы Клавдии Дмитриевны Тимофеевой.

НА БЕРЕГАХ СВИЯГИ

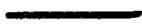
Когда в Симбирск пришла весть о том, что звезда человечества потухла, я не мог удержать слез.

Я ожидал, что он еще приедет на берега родной Свияги и мы с ним вместе пройдемся по местам, где протекло его детство.

Хотелось сейчас же отправиться в Москву взглянуть на него в последний раз и отдать ему последний поклон с родины — от людей, тополей и рек.

Хотелось и самому бросить прощальный ком земли на крышку его гроба. Мне казалось, что его хоронят, как хоронили его отца, как хоронят всех людей. Но оказалось — Владимир Ильич бессмертен.

Записано в Ульяновске со слов рабочего типографии Николая Григорьевича Нефедьева, друга раннего детства Владимира Ильича.



За рубежом

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мексин Девис

В последние годы печать капиталистического мира все чаще и чаще затрагивает проблему молодежи. «Судьба наших детей», «Трагедия молодого поколения» — эти и подобные им заголовки пестрят на страницах буржуазных газет. Но было бы ошибкой считать это внимание признаком озабоченности судьбой молодого поколения. Это скорее выражение тревоги господствующих классов, тревоги, порожденной «опасными настроениями», растущими среди молодежи в буржуазных странах.

Предлагаемая ниже читателю «Нового мира» (в сокращенном переводе) книга американской либеральной журналистки Мексин Девис¹⁾ — один из видов литературы этого рода. Но против воли автора книга превратилась в вопиющий разоблачительный документ против капитализма, обрекающего молодежь на неслыханные страдания.

Работа Мексин Девис — результат личных наблюдений автора, предпринятых им обследований, сводка статистических данных о положении американской молодежи. Книга эта, по замыслу автора, не ставила перед собой никаких разоблачительных целей; наоборот, она является лишь предостерегающим сигналом для правящего лагеря Соединенных Штатов Америки. Мексин Девис

собрала в своей книге огромное количество фактов, ярко показывающих по-длинную жизнь американской молодежи. Девис нельзя обвинить в одностороннем показе быта, учебы и работы юношей и девушек США. В течение четырех месяцев она путешествовала по стране, собирала данные о положении молодежи, принадлежащей к различным слоям населения: школьники, студенты, рабочие, крестьяне, банкиры и фабриканты, безработные и бродяги. Ее снабжали статистическим материалом буржуазные общественные организации, которые не склонны изображать в мрачных красках судьбу многих миллионов молодых людей. И сама Мексин Девис отнюдь не собирается устраивать «скандала в благородном семействе». Она лишь предостерегает господствующие классы США от той грозной опасности, которую таит в себе кошмарное положение обреченных юношей и девушек.

Мексин Девис все горести и нужды американской молодежи относит за счет экономического кризиса, разразившегося в 1929 году и бушевавшего до 1933 года. Она не прочь, в дозволенных рамках, покритиковать капиталистических хозяев страны. Но делает это нехотя и лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы отвести глаза американского читателя, хорошо знакомого с действительностью, от подлинной причины этой социальной трагедии.

¹⁾ Полностью эта книга выходит в скором времени в изд-ве «Молодая гвардия».

Три миллиона безработных молодых людей, не имеющих возможности учиться, лишенных ночлега, «слоняются», как говорит Девис. Три миллиона голодных, оборванных юношей и девушек бродят по Америке в поисках работы, ночлега и куска хлеба! Эти люди испытали все способы, чтобы добыть работу, но потерпели неудачу. «Честность, порядочность и трудолюбие, — говорит студент Мюрат Вильямс, редактор журнала одного из американских университетов, — уже не обеспечивают молодежи успеха». Для многих молодых людей США «будущее покрыто мраком неизвестности. Они могут выиграть в лотерее жизни, но могут и проиграть. Они ничем не могут себе помочь. Они должны ждать, страдать и надеяться», — вот вывод, к которому приходит Мексин Девис.

I

Будущее народа — это его молодежь. Наше будущее всецело зависит от 21 миллиона юношей и девушек от 16 до 24 лет. Они будут в свое время избирать президентов США, депутатов и пр. Они будут разрабатывать наши природные богатства и воздвигать плотины; водить поезда, учить школьников, стоять у конвейеров автомобильных фабрик, строить дома, шить ботинки. Они будут пасти скот, сеять хлеб, распространять газетные новости.

Наши юноши и девушки выросли с твердым убеждением в том, что Америка — обетованная страна. В их плоть и кровь вошло сознание, что право на жизнь, свободу и счастье является таким же неотъемлемым, как и право человека дышать, видеть, чувствовать. Они выросли с уверенностью в том, что образование и упорная работа являются тем волшебным средством, которое откроет перед ними все пути, обеспечит домашний очаг и уважение общества. Однако в последние годы многие молодые люди убедились на горьком опыте, что это далеко не так.

Около 3 миллионов молодых людей

Невольно сравниваешь эту страшную судьбу американской молодежи со счастливой и радостной жизнью молодого поколения Советского Союза. Перед нашей молодежью открыты все дороги в жизнь. Любая профессия — летчика, профессора, инженера, музыканта, артиста, врача — доступна нашим молодым людям. Они не знают, что такое безработица, ибо в Советском Союзе нет ее и в помине. Наша молодежь любит свою великую социалистическую родину, вскормившую и вспоившую ее.

Книгу Мексин Девис, этот исключительный документ, живописующий капиталистическое варварство, трагедию американской молодежи, следует рекомендовать самому широкому кругу читателей Советского Союза.

Америки, окончивших школы и колледжи, слоняются без дела, несмотря на огромное желание работать. Некоторым удалось получить жалкую работу, но они заняты лишь часть рабочего дня, и заработок их ничтожен.

Наша молодежь топчется на месте, а тем временем проходят лучшие годы — те годы, когда юноша и девушка должны были бы в нормальных условиях радостно сеять, чтобы в будущем снять обильную жатву. Это бегуны, оставшиеся далеко позади. Они потеряли слишком много времени при старте, и только очень немногие из них добегают во-время до финиша.

Юноши и девушки, достигшие совершеннолетия в 1935 году, родились в роковой 1914 год. Их воспоминания детства связаны с шовинистической историей. Потом они видели циничное отношение к войне, к военному энтузиазму. Их юность прошла в условиях грубого материализма 20-х годов, джаз-банда и экономической катастрофы. Многие из них ездили в школу в роскошных лимузинах, а когда они выросли и стали студентами, они вынуждены были мыть посуду, чтобы не умереть с голоду.

Они видели, как мы перестали верить в бога, и в черта. Мы поклонялись

деньгам, как божеству, а потом оказалось, что этот бог повержен в прах. Они видели, как мы с одинаковым энтузиазмом возносим на пьедестал Ал Капоне, и Вильсона, и Эйнштейна. Наша молодежь видела обнищание людей, всю жизнь работавших на заводах, стоявших за прилавком, сидевших за конторками. Одновременно с этим какая-либо выжившая из ума наследница миллиардера швыряет направо и налево миллионы. Рушились вековые традиции и принципы, вошедшие в плоть и кровь американцев.

Мы знаем, к чему все это привело в других государствах. Во многих странах Европы молодежь обречена на безработицу, ее надежды рухнули, и она осталась среди развалин, последствий экономической катастрофы. Диктаторы создали новые формы правления. Молодежь убедили, что эти формы являются идеалом. Однако они диаметрально противоположны нашему представлению о нормальном государстве.

А каково настроение нашей молодежи? Можем ли мы надеяться на то, что наша молодежь согласится жить и работать на основе наших принципов демократии? Или, может быть, она восстанет против существующего строя и поведет нас на опасный путь? Может быть, у нас так много безработных, несчастных молодых неудачников, что возникает опасность революционных выступлений?

Многие из нас задают эти вопросы. Мы не можем на них ответить одними теоретическими рассуждениями. Нужно отправиться в путь, стараться везде беседовать с нашими юношами и девушками и посмотреть, что они делают, что думают, чего хотят. И все это выслушать из их собственных уст.



Прежде чем тронуться в путь, я вспоминаю, что нужно вернуть книгу, которую я взяла у соседа. Сейчас 10 часов утра. Я бегу к дому. В свободном углу возле дома молодежь играет в мяч. 4—5 человек стоят возле гаража. Я вспоминаю, что они вечно здесь торчат. Я оста-

навливаюсь на минутку, чтобы поговорить о книге с молодым человеком, возвращающимся с грустным видом домой. Он уже устал от сознания, что впереди еще длинный, ничем не заполненный день.

Я сразу проникаюсь сознанием, что это пораженное поколение действительно существует, а не является измышлением газет. Ведь это наши сыновья и дочери, наши племянники и племянницы и дети наших соседей! Это не только дети безработных, живущих как бы в каком-то потустороннем мире. Мы находим безработную молодежь не только там, где царит хроническая нищета. Мы их находим и среди людей, которые смогли как-то продержаться в эти тяжелые годы, в домах, где сохранился некоторый комфорт, где висят чистые занавески, где весной и осенью проветривают ковры, где шницель не является редкостью и счет зубного врача не считается роскошью. Здесь также мы встречаем юношей и девушек, не знающих, куда им деваться.

Но пора ехать.



Мы попадаем в жалкий городишко, лежащий на пути в Солт Лейк-сити.

Раньше здесь был сталелитейный завод. Теперь он закрылся, и 400 семейств окончательно разорены. Около тысячи человек остались без работы. Сельским хозяйством здесь нельзя заниматься, а других отраслей промышленности нет. Ничего нет, кроме пустыни.

Вдоль узких улиц — жалкие лачуги с разбитыми окнами, со сломанными крылечками. Войдите внутрь: мужчины сидят без дела, женщины занимаются хозяйством.

Мы заходим в салун (пивную). Стены засижены мухами, бильярдные столы запылены, видно, давно уже на них никто не играл. Люди, живущие на пособие, не могут себе позволить такую роскошь — игру в бильярд. Мы подходим к Эдди Заневскому. Он сын польского горняка. Эдди сидит с угрюмым видом.

— Что вы собираетесь делать? — спрашиваем мы его.

— А что мне остается делать? — отвечает он.

— Ну, что бы вы хотели делать?

— Что нужно человеку? Конечно, работа.

— Думали ли вы когда-нибудь о том, чтобы поехать в другое место?

— Из этой труппы до ближайшего крупного центра не меньше 42 миль. Здесь нет приличных дорог и нельзя даже получить «хича» (т.-е. нельзя надеяться на то, чтобы кто-либо подвез на своем автомобиле).

— Я плохо чувствовала бы себя на вашем месте.

— Да, это может плохо кончиться. Пожалуй, что и тюрьмой. Компания еще является собственницей этого болота, и если не будешь держать язык за зубами, то вся твоя семья окажется на улице.

— Ну, что же, так вы собираетесь провести здесь всю свою жизнь?

— Нет, конечно, нет. Авось, наступят лучшие времена.



Везде, в величественных пустынных пространствах штатов Невада и Ута, в закопченных городах Миддль-Веста (Среднего Запада), проезжая по зеленым полям, везде мы встречаем множество этих юношей и девушек. Мы с ужасом замечаем, что эта молодежь приемлет свою судьбу с какой-то овечьей покорностью. Это видно и по ее отношению к общественным проблемам.

Лучшим примером является Джед Морхаус. Джед — интеллигентный парень, заведующий газолиновой станцией в заброшенном уголке, кажется, в Грет Смукис. Он нам рассказывает, что приехал из Миннесоты. Он сразу начинает нас расспрашивать о перспективах войны.

— Вы верите в войну? — прерываем мы его своим вопросом.

— Но это все равно, как если бы вы меня спросили, верю ли я в смерть, — отвечает Джед.

— Считаете ли вы, что наша страна должна воевать? Я не говорю об оборонительной войне. Вряд ли какое-либо

государство решилось бы послать свои армии за океан, чтобы напасть на нас. Но отправитесь ли вы за границу, чтобы вести с кем-нибудь войну?

— Откровенно говоря, я ни за что не хотел бы этого. Я не хочу никуда ездить кого-либо убивать. Я не хочу, чтобы и меня убивали. Что пользы от того, что нас всех убьют? Говорят, что в прошлой войне мы сражались ради Морганов и Дюпонов, а в будущей войне мы, пожалуй, будем драться ради медных королей Аризоны. Все это сплошной обман! Но, когда начнут махать флагами и заиграют оркестры, я, наверное, не отстану от других и запишусь в армию. Что поделаешь, такая уже подлая наша жизнь!

Теперешняя молодежь уже не может больше двигаться на Запад, как это было раньше, когда территория страны непрерывно росла. Кризис больно ударил по большому животноводческому фермам. Разработка природных богатств уже не открывает двери к счастью. Промышленность приняла такие размеры и настолько осложнилась, что отдельный человек терется, чувствуя свое бессилие. Можно ли говорить об индивидуальной инициативе на современной фабрике? Молодежь неохотно идет на фабрики, но психологическое влияние этих огромных механизированных предприятий чувствуется на каждом шагу.

Наши молодые люди все это знают, ко всему прислушиваются, все впитали в свое сознание. Они слышали, что кризис вызван жадностью международных банкиров. Они слышали, что не стало работы вследствие огромных успехов техники, они знают, что кучка людей держит в своих руках судьбы страны.

Послушаем, что говорит Тони Пикатти. Тони — один из четырех парней, которых мы застали на газолиновой станции в Янгстоуне, куда мы заехали, чтобы завести свой автомобиль горючим.

Улицы полны народа. Люди гуляют посередине мостовой, не обращая внимания на проезжающие автомобили и грузовики. Седые рабочие прогуливаются со своими женами и детьми. Девушки гуляют, одетые в выцветшие летние

платья. Группы людей стоят на улицах и слушают радио. Типичная картина американского фабричного городка в субботу вечером.

Тони со своими приятелями, видимо, тоскует. Они сидят, прислонившись к стене, в их глазах застыла скука, они ничего не видят, ничем не заняты, ничем не интересуются.

— Что вы делаете по целым дням? — спрашиваем мы Тони.

— Ничего.

— А что вы хотите делать?

— Мне нужна работа.

— Какого рода работа?

— Любая.

— Ваш отец работает?

— Он получает пособие.

— Давно вы бросили школу?

— Три года назад. Я не пропустил ни одной фабрики, я везде спрашивал работу, пока, наконец, не прекратил поиски.

Мы в западной части Чикаго, где тянутся ряды ветхих двухэтажных кирпичных домов. Мы останавливаемся возле одного из домов, на крыльце сидит девушка и читает журнал.

— Здесь живет мистер Грин? — спрашиваю я, чтобы завязать разговор.

— Нет, моего отца зовут Соренсон.

— Скажите, он не маляр? Мне нужен маляр, которого, кажется, зовут Грин.

— Нет, мой отец — парикмахер.

Девушка охотно болтает, ей, видно, наскучил ее журнал.

— Вы работаете?

— О, как бы я хотела работать! Я бы тогда не сидела дома, не мыла бы посуду и не стирала бы белье.

Ее лицо принимает мечтательный вид.

— Боже, чего бы я не отдала за работу! Уж будьте спокойны, я тогда здесь не жила бы. У меня никогда нет денег, отец злится, что мама его вечно кормит картофелем с подливкой, и оба они грызут моего брата Гуза за то, что он не говорит, где он по целым дням шляется. Но он, по крайней мере, может ходить куда угодно. А я не могу ходить. Ведь мне не в чем выйти! Если бы я получила работу, я имела бы свою комнату и платя. Мне не так уж много

нужно — одно, два хороших платя.

Мы беседуем в штате Южная Каролина с Бен Крауфордом.

— О, если бы я имел работу! — восклицает Бен. — Я бы все отдал за любую службу. Боже, как мне надоело здесь сидеть! Но я должен быть рад, что у меня хоть есть дом, ночлег. И я этого никогда не забываю.

Мы спрашиваем молодого инженера Эрнеста Терстона, почему он мирится с существующим режимом, если он недоволен им.

— А что же мы можем сделать? Страна находится в руках жульнических политиканов.

— Но ведь это и ваша страна, и вы все, ведь, голосуете на выборах.

— Чепуха!

Мы не находим чувства социальной ответственности, мы видим пассивное отношение ко всему.

Мы отправляемся в цитадель реформаторского движения, в Денвер, к «молодым демократам». Мы знаем, что прогрессивный сенатор Эдвард Костиган является одним из руководящих представителей местной группы демократической партии. Молодой адвокат, руководитель колорадской организации партии. Чарльз Бреннан беседует с нами с непринужденной откровенностью.

— Мы охотно занимаемся всякого рода расследованиями, — признается Бреннан, — но мы не крестоносцы.

«Молодые демократы» не так уж молоды. Их средний возраст 30 лет, в партию не принимают людей старше 40. В штате всего 1.800 «молодых демократов», и только одна десятая из них женщины.

Бреннан подчеркивает либеральные тенденции своей организации, но он не уверен в том, что она не пойдет по пути старых политических партий. Большинство членов организации, по его мнению, заинтересовано не столько в принципах, сколько в том, чтобы получить доходное местечко. Его организация хотела бы, чтобы правительство пошло дальше по своему пути реформ, но при этом он нам ничего конкретного не сказал.

Везде мы наблюдаем упадок интереса

к реформам. По мере того, как «крах» уходит в область истории, падает интерес к социальным и экономическим проблемам. Интерес сменяется индифферентизмом. Жалость к нуждающимся сменяется чувством раздражения по поводу расхождений, необходимых для их содержания.



У наших молодых людей нет религии, и церковь их отцов принадлежит в их глазах к далекому прошлому.

Мы не намерены искать причин банкротства церкви. Но мы видим, что церковь не помогла своим юным прихожанам найти истину, она не смогла в них вдохнуть веру. Конечно, нет правила без исключения, но, в общем, религии нет места или во всяком случае она не играет роли в жизни большинства юношей и девушек, с которыми нам приходилось беседовать.

В некоторых местностях, особенно на юге и в маленьких городах так называемого «библейского пояса», на западе, а также в деревнях Новой Англии молодые люди регулярно ходят в церковь. Но чаще они это делают потому, что этого требуют приличия, или потому, что они не хотят огорчить своих родителей.

Мы встретили много молодых людей, напоминавших того парня, который чистил автомобиль возле Балтимора.

— Что же, — ответил этот парень на наш вопрос, — что пользы от хождения в церковь? Не хочу я слушать нашего проповедника. Он хороший малый, но, видимо, совершенно не знает жизни.

— Зачем мне ходить в церковь? — заявила нам в Толедо девушка, сушившая свои волосы на крыльце ветхого домика. — Что для меня делает священник? Он заинтересован только в том, чтобы собрать побольше денег.

Другие вообще не думают о церкви. Они почти забыли о ней. Еврейская молодежь относится к религии с не меньшим индифферентизмом, чем христианская.

По всей видимости, день «страшного суда» скомпрометирован в глазах нашей

молодежи не меньше, чем был скомпрометирован бывший президент США Гувер в 1932 году. Вопрос о бессмертии души никого не интересует. Наша молодежь настолько поглощена сегодняшним днем, что не задумывается о завтрашнем. Естественно, что ее не интересует бессмертие души.

Но это неверие не ограничивается одной религиозной областью. Наши молодые люди потеряли веру в свою страну. Это не значит, что они не патриоты, и нет сомнения, что в случае нужды они будут мужественно защищать свое отечество. Но это какой-то инстинктивный патриотизм, и в них скорее говорит массовое чувство самосохранения, чем пламенная вера в принципы своей страны. В них говорит унаследованное, поддерживаемое печатью враждебное чувство к «чужим», страх перед всем чуждым и непонятным, а отнюдь не пламенная вера в принципы создателей нашего государства.

— Демократия? — ядовито усмехнулась молодой человек в Тексонском парке в Аризоне. — Что вы понимаете под демократией? Не гнусность ли это, если какой-либо нью-йоркский богач может по собственному произволу прекратить работы в медных рудниках и мой отец остается без хлеба? Кто ему дал право обречь нас на голод? А ведь он это делает!

— Шансы, возможности? — с горечью заявляет нам молодой школьный учитель в Индианополисе, — не говорите мне о возможностях! Я знаю очень многих учеников, которые не могут явиться в школу только потому, что им не в чем выйти на улицу, нечего одеть.

Наши юноши и девушки обнаружили, что американские идеалы являются не чем иным, как идолами, стоящими на глиняных ногах. Молодежи не свойственна покорность судьбе, которая развивается с годами в связи с появлением склероза и хронического ревматизма. Молодежь должна иметь нечто такое, за что нужно бороться и в случае необходимости даже отдать свою жизнь.

Наши молодые люди слышали, что во время войны, которая якобы должна была обеспечить господство демократии

во всем мире, солдаты в действительности проливали кровь в интересах фирмы Моргана и семьи Дюпонов. Они видели, что процесс чаще всего выигрывает тот, кто сможет пригласить наиболее искусных адвокатов и подкупить судей.

Наши молодые люди потеряли веру в демократию. Они к ней относятся скептически. Но они боролись бы за нее, если бы явился человек, который объяснил бы им сущность принципов демократии, заговорив на их языке, на языке молодежи, ее потребностей.

Один молодой человек, студент, живущий в Бремвеле, в Западной Виргинии, выразил довольно ясно это настроение.

— Я никогда не был красным, но с тех пор, как я сижу дома без работы и вижу, как разжиревшие дельцы осмеливаются критиковать Рузвельта, я часто думаю о России. У меня появилось новое стремление. Ведь там даже женщины работают, и у всех там есть свой идеал.

Эти студенты высказывают в более ясной форме то, о чем думает вся молодежь. Они выражают мнение своего поколения.

Другой студент, который учится в Чикагском университете, высказал по-своему те же мысли. Ожидая новостей в бюро по присканию работы, он заявил:

— Никто из моих приятелей не знает, что делать для того, чтобы придать своей жизни какой-то смысл. Моя жизнь совершенно бесцельна. В прошлом году я еще мечтал о каком-то обеспеченном положении, а теперь я об этом даже не думаю. Я живу в Гери, в Индиане. Там плохо... Тяжело видеть, как там работают на сталелитейных заводах. Хорошо было бы стать Мессией! Но на какой основе?

Мюрат Вильямс, сын богатых родителей, которого ожидает блестящее будущее, заявил нам, что «честность, порядочность и трудолюбие уже не обеспечивают успеха в жизни».

Спросите девять молодых людей из десяти, какого они мнения о нравственности, моральных принципах и пр. Они немедленно станут с вами спорить о половом вопросе и браке.

Молодежь старается приспособиться к новым условиям. Молодые люди решаются теперь жениться при гораздо меньших заработках, чем раньше. Женятся даже люди, живущие на пособие. Это вполне естественное явление, хотя оно и возмущает общественных работников.

Мы видели в Ньюарке такую пару: Джуни и Бени Сокольских. Они рассказывают нам свою историю. И семья Джуни, и семья Бени живут на пособие. Эти две семьи состоят из 13 человек. Бени не приняли в лагерь безработных из-за плохих зубов. Его не послали на общественные работы, так как его отец уже получил такую работу. Джуни вынуждена была сидеть дома, помогать матери по хозяйству и заботиться о голодных братьях и сестрах. Она могла бы помогать по субботам в парикмахерской. Но если бы она эту работу взяла, то вся ее семья была бы автоматически снята с пособия.

Джуни и Бени любили друг друга. Они тщательно обсудили свое положение. Живя у родителей, они тем самым увеличивали число едоков. Если бы они поженились, они, во-первых, жили бы отдельно, — а ведь это такое счастье! — и, кроме того, получали бы сами пособие. Бени, может быть, получил бы какую-нибудь работу, как безработный, вынужденный содержать семью. Они решили жениться, и родители одобрили их решение. Все довольны, кроме общественных работников и налогоплательщиков.

Более робкие молодые люди, считающиеся с общественными условностями, примиряются с судьбой и не женятся до тех пор, пока не получат работу, которая дала бы им возможность содержать жену. Отсюда их страдания.

На вокзале в Чикаго я не могла оторвать глаз от девушки, не обращавшей никакого внимания на подходившие и отходившие поезда. Она принадлежала к стандартному типу девушек с локонами а ля Гарбо, с выщипанными бровями, накрашенными ногтями. Она была одета в выцветшее от частой чистки платье. Ее подрумяненное лицо напоминало куклу. Я села рядом с ней.

— Что с вами? Не могу ли я вам помочь?

— Спасибо, не надо.

— Я — приезжая. Может быть, вам станет легче, если вы поделитесь своим горем с человеком, которого вы не знаете и никогда больше не увидите.

Она продолжала нервно мять платок. Потом, внезапно повернувшись ко мне, сразу выпалила:

— Мне нужно сделать операцию, но я боюсь, — при этом у нее в глазах появились слезы. — Я так боюсь!

— Вы идете туда совсем одна? — спросила я, догадавшись, о какой операции идет речь.

— Да. Наше бюро закрывается по субботам, и это, к сожалению, единственный день, когда мой знакомый занят на работе.

— Я пойду с вами, буду вас ждать и отвезу вас домой на такси.

— О, это было бы чудесно, я так боюсь, чтобы со мной чего не случилось!

Я поехала с нею. Никогда я еще не отправлялась в такую экспедицию. У меня не было уверенности в том, что я не окажусь в конце-концов участницей какого-либо преступления. Но я бы не предотвратила это преступление тем, что отказалась бы поехать с девушкой. Марианна рассказывает мне по дороге всю свою историю. Она работает в конторе при литографии. На 19 долларов, которые она получает в неделю, живут, кроме нее, парализованный отец, старая тетка и трое младших братьев. Своего друга она полюбила, еще будучи в школе. Не кончив школы, он поступил на фабрику сельскохозяйственных инструментов. Они рассчитывали жениться, как только ее друг получит повышение. Но, когда кризис обострился, его уволили в первую очередь. Вряд ли он может теперь надеяться на получение какой-нибудь постоянной работы.

— Мы любим друг друга. Мы потеряли надежду на то, что нам когда-нибудь удастся пожениться. Но ведь не могли же мы вечно ждать, — объясняет мне Марианна.

Теперь ее постигло несчастье. Ее друг продал свои часы, занял кое-что у сво-

их друзей и собрал таким образом 50 долларов на операцию.

Мы поднялись по разбитым ступенькам лестницы и вошли в комнату. Занавеси на окнах были опущены, комнате освещали электрические лампы без абажуров. Вошла няня, с лицом, лоснящимся от жира, с выпученными глазами. Она была одета в грязный халат, на котором недоставало нескольких пуговиц.

— Идем, дорогая, — сказала она, обращаясь к Марианне. — Если ваш дружок хочет подождать, скажите ему, что это продолжится 2—3 часа. Ведь нужно отдохнуть после операции.

За Марианной захлопнулись двери. Я осталась ждать. Приходили еще клиенты. Пришла огромная женщина — итальянка со своей худенькой дочкой. Обе они плакали. К моему крайнему удивлению, двери захлопнулись за мамашей, а не за дочкой.

Наконец, появляется Марианна. У нее измученный и вместе с тем радостный вид.

— Ну, все сделано. Доктор говорит, что все в порядке.

Я от нее потом получила письмо. Она писала, что у нее все благополучно, если можно назвать благополучием то, что ее друг так и не получил лучшей работы и они до сих пор не могут пожениться.



Требуется герой. Если бы подобное объявление было помещено в газетах, то вряд ли нашелся бы соответствующий кандидат, который мог бы оправдать ожидания американской молодежи. Наше молодое поколение осталось без героев. У нас ощущается недостаток в людях, которые могли бы своим героизмом пленить воображение молодежи. Так как поклонение тому или другому «герою» бросает свет на характер самого поклонника, то мы часто спрашиваем наших юношей и девушек, кто вызывает у них наибольшее восхищение, кого хотели бы они больше всего видеть, кто их бог.

Мы поражены разнообразием ответов. Было время, когда американский спорт способен был выдвинуть человека, одно

имя которого вызывало восторг молодых людей. Например, Джек Демпси, бывший чемпион бокса, пользовался в свое время огромной популярностью. То же самое относится и к кинозвездам. Их так много, и все же ни одна из них не вызывает таких восторгов, какие способна была вызвать в свое время Мэри Пикфорд. Линдберг сошел со сцены. А ведь было время, когда мы его так любили, видя в нем символ окрыленной красоты, олицетворение мужества и простоты!

Многие молодые люди, с которыми нам приходилось беседовать, все еще относятся с любовью к президенту Рузвельту, потому что «он старается нам помочь». Но и его слава потускнела.

Нет больше титанов среди «капитанов промышленности». Демагоги потеряли свое влияние на молодежь. Одни из них апеллируют к человеческой жадности, другие — к предрассудкам, третьи — к старикам. Но никто из них не апеллирует к молодежи.

Из всех абстрактных понятий понятие мира вызывает меньше всего споров у нашей молодежи. Тысячи студентов высыпали весной 1935 года на улицу, чтобы, невзирая на проливной дождь, принять участие в демонстрации защиты мира. В январе 1935 года редакция журнала «Литерери дайджест», при содействии ассоциации редакторов колледжей, организовала «голосование мира» среди студентов 118 американских колледжей и университетов. Опросные листы были посланы 318.414 студентам. Больше трети анкет было возвращено редакции «Литерери дайджест» в заполненном виде.

На вопрос: «Считаете ли вы, что США могут остаться в стороне от новой великой войны?» — 68,65 проц. студентов дали положительный ответ, а 31,35 проц. — отрицательный.

«Взялись ли бы вы за оружие, чтобы воевать на стороне США, если бы мы вторглись на территорию другой страны?» — 82,18 проц. студентов дали на этот вопрос отрицательный ответ.

«Считаете ли вы, что политика создания флота и авиации, не уступающих сильнейшим морским и воздушным фло-

там любой другой страны, является верным средством помешать вовлечению США в новую большую войну?» — 62,75 проц. дали отрицательный ответ на этот вопрос.

«Считаете ли вы разумным мобилизацию всех сил капитала и труда в целях установления в случае войны контроля над всеми прибылями?» — подавляющее большинство студентов — 82,35 проц. — высказалось за организацию подобного контроля.

«Считаете ли вы, что правительство должно контролировать военную промышленность?» — за этот контроль высказалось 91,02 проц. опрошенных студентов.

Мы, таким образом, видим, что подавляющее большинство молодежи против войны. К сожалению, наш собственный опыт показывает, что очень многие молодые люди не верят в прочность мира. Они знают, что в случае войны последуют примеры других и возьмутся за оружие. В сущности, мысль о войне не так уж страшна для многих молодых людей. Юноши, не знающие, куда девать свой досуг, охотно возьмут в руки ружье. Ведь их жизнь приобретает во время войны какое-то значение, в них тогда нуждаются, даже очень нуждаются, в то время как теперь они никому не нужны!

Но наша молодежь не обращает свои взоры к далеким звездам. Она уже не грезит о строительстве целых империй, ее больше не ослепляет надежда на приобретение огромных состояний, ее больше не пленяет слава.

Наше молодое поколение думает лишь о том, чтобы добиться минимума обеспеченности, т.-е. стремится к тому, что является целью жизни уже уставших от борьбы людей, достигших солидного возраста.

Если молодой человек, окончивший школу или колледж, должен выбирать между постоянной работой со слабыми надеждами на повышение и другой службой, где он мог бы надеяться быстро пойти вперед, но где вместе с тем не было бы такой уверенности в завтрашнем дне, то он предпочтет пойти туда, где у него будет меньше оснований опасаться

безработицы, — голос благоразумия одержит верх. Да это и неудивительно. Наши молодые люди видели, насколько опасно доверяться случаю и надеяться, что повезет в игре. Родители и друзья советуют: «Бери любую работу и цепко за нее держись».

Молодые люди не всегда даже решаются занять другой, более высокий пост из-за опасения, что там их положение не будет столь прочным.

Джемс Борден — способный молодой человек, на которого вполне можно положиться. Он много работал, чтобы окончить колледж. Ему удалось получить службу на одной фабрике в Чикаго. Он начал работать «мальчиком» в конторе фабрики. В сущности, Джемс не мечтал о карьере инженера и вовсе не стремился к тому, чтобы остаться навсегда в машиностроительной промышленности. Ему хотелось быть врачом. Так как у него не было денег, чтобы поступить в университет, то он старался использовать всякий свободный час, чтобы читать книги по медицине и работать в лаборатории. Он только и думал о том, чтобы получить диплом врача. В то же время он прекрасно справлялся со своими обязанностями, быстро выполнял все поручения, и администрация обратила на него внимание. Прошло три месяца, и ему предложили переехать в маленький городок, где фирма имела отделение. Там он мог бы работать в конторе и получать бы больше жалования. Однако заведующий личным составом фирмы, симпатичный человек, знавший о том, что Джемс мечтает о врачебной карьере, не советовал ему переезжать.

— Откажитесь, Джемс. Вы там будете получать немного больше денег, но этого все равно нехватит для того, чтобы записаться на медицинские курсы, а городские власти вам в этом отношении ничем не помогут. Подождите немного. Я постараюсь вас устроить на одном из наших сталелитейных заводов, где вы могли бы работать по вечерам. Днем вы сможете учиться.

Но Джемс не нашел в себе достаточно смелости отказаться от предложения администрации. Он боялся, что, отказавшись, он потеряет все шансы на продви-

жение по службе. Его покинуло мужество. Он уехал в городок и, вероятно, там останется навсегда.

Наша молодежь одержима страхом. Этот страх превращает молодых людей в стариков и ложится тяжелым камнем на их сердца.

Юноши и девушки, которым посчастливилось найти работу, боятся «опасных идей», которые их могли бы скомпрометировать в глазах администрации. Молодые люди боятся вступать в профсоюз, не желая вызвать недовольство своих хозяев. Они боятся высказывать свое мнение о том или ином политическом вопросе, если это мнение может повредить им на службе.

Они вообще боятся каких бы то ни было перемен.

Возьмем, например, жизнерадостную Мэри Ли Мильтон. Она работает в Нью-Йорке в конторе директора крупной кинокомпании. Мы встречаемся с Мэри Ли в лифте.

— Как бы я была счастлива, если бы мне удалось переехать в Голливуд, — заявляет Мэри Ли. — Мне так хотелось бы попробовать там работать. Ведь там вечное солнце, безоблачное небо!

Потом мы узнали, что Мэри Ли осталась в Нью-Йорке. Она знает, что голливудские хозяева чрезвычайно капризны, а здесь у нее верная служба, в этом шумном доме на шестом авеню. Она не решилась рисковать.

Может быть, у нее родственники, которых она должна поддерживать? Младшая сестра или старая мать? Ничего подобного. Ее отец — врач, с хорошей практикой. Но девушка боится всяких перемен, она не желает рисковать.

Стремясь добиться прочного положения, молодежь охотнее, чем раньше, поступает на государственную службу. Я имею в виду не работу в новых политических учреждениях, а в старых гражданских ведомствах, которые раньше считались местом для изнеженных людей, мечтающих о синекуре. При этом молодежь отнюдь не думает о том, чтобы помочь своей работой государству. Ее прельщает государственная служба потому, что тут нечего опасаться банкротства и катастрофического влияния

всякого рода социальных или экономических бедствий.

Это в одинаковой мере относится и к восточным, и к западным штатам. Президент университета в Нью-Мексико Циммерман рассказывает нам о своих студентах:

— Наши юноши и девушки считают государственную службу самой лучшей карьерой. Дело в том, что они думают прежде всего о прочности службы. Это отражает глубокое изменение всего мировоззрения нашего народа.

Образование — это путь, ведущий в обетованную страну. Наше поколение продолжает придерживаться этого мнения, несмотря на то, что бесчисленное количество молодых людей, окончивших школы, вынуждены сбивать коктейли, продавать ботинки, проверять билеты в кинотеатрах и пр. И все же молодежь непоколебимо верит в образование.

Многие молодые люди идут на большие жертвы, лишь бы кончить колледж. И в былые годы многие студенты должны были прирабатывать, чтобы иметь возможность учиться, не голодая. Теперь же, за исключением, может быть, нескольких университетов на востоке страны, по меньшей мере половина студентов вынуждена тяжело работать, чтобы свести концы с концами.

Стипендии, предоставляемые федеральным правительством нуждающимся студентам, в общем равняются $12\frac{1}{2}$ —20 долларам в месяц. Студенты, пользующиеся стипендией, должны выполнять определенные работы в соответствии с директивами правительства и университетского начальства. Но этих денег, конечно, не хватает на жизнь, и нужно еще прирабатывать. Некоторые, более счастливые, работают только в летние месяцы, а многие студенты вынуждены работать круглый год. Возьмем одну из студенток Чикагского университета, о которой мне рассказывали. Три часа в день она пишет на машинке для одного из представителей университетской администрации. Вечером она занята 3—4 часа в медицинской библиотеке. За комнату она не платит, но зато должна нянчить ребенка хозяев дома. Кстати, она не пользуется

отдельной комнатой, а углом, где ей разрешено только спать. Она вечно мерзнет, так как в Чикаго плохой климат, а обувь у нее рваная, и она не может себе позволить купить галоши.

В университете в Лереми мы встретили студента, который с 8 час. вечера до 4 час. утра работал в ресторане.

Мы могли бы привести тысячи подобных примеров. Студенты работают маникюршами. Студенты и студентки работают в качестве портье, привратников, сторожей, садовников. Они стирают и гладят белье, моют посуду, подают в ресторанах, нянчат детей, выполняют обязанности домашней прислуги, обслуживают лифты и пр. Эти люди нередко совершенно расстраивают свое здоровье. Они недоедают и не высыпаются. Бывает, что они едят всего лишь раз в сутки.



В один прекрасный день президент США Франклин Рузвельт получил следующее письмо: «Мне нужна работа, и в поисках человека, к которому я бы мог обратиться, я подумал о вас».

Вот как один молодой человек разрешил проблему приискания работы! В общем этот метод ничуть не хуже других. Нам глубоко интересует вопрос о том, как наши молодые люди ищут работу. Мы расспрашиваем их об этом. Тех, которые уже работу имеют, мы спрашиваем, как они ее нашли.

Рано утром мы выезжаем из Чикаго. Холодно, сыро. Мы в районе скотобоев. Мы проезжаем мимо ряда ветхих домов с грязными дворами. Из окон выглядывают неряшливо одетые женщины, они кричат на своих детей, играющих на пыльных улицах. Дети играют в «гангстеров», в орла и решетку, в карты. Где-то шипит радио. Воздух отравлен запахом убитых животных.

Мы останавливаемся возле фабрики «Армор и К^о». Посмотрим, что происходит здесь, в бюро найма рабочей силы. Открывается бюро в 6 часов утра.

Мы видим толпу народа. В этой толпе много молодых людей. Мы подходим к худощавому юноше, видимо, выходящему из Южной Европы. Он одет в рваный

костюм и держит руки в карманах, с видом человека, потерявшего навсегда надежду на то, что ему когда-либо удастся нащупать в них хотя бы несколько центов.

— Что я тут делаю? — восклицает он, иронически поглядывая на нас. — Цветочки собираю, мадам, цветочки. Какого чорта вы спрашиваете меня, что я делаю? Я здесь с 5 часов утра и не в первый раз!

Немного дальше, у другого завода такая же толпа. Почему они все собрались? Это объясняется очень просто. Если кому-либо удастся получить работу, об этом немедленно узнают все жильцы дома. На следующее утро у ворот завода, где устроился счастливый сосед, собираются сотни мужчин, женщин и детей.

Легче всего, повидимому, получить работу по знакомству.

Служащий крупной угольной компании в Питтсбурге бредет всегда у одного и того же парикмахера.

— Мистер Энджел, — обращается к нему парикмахер. — Друг моей дочери Дженни — хороший парень. Он учился в техникуме, и учителя его всегда хвалили. Но он не может получить работу. Может быть, вы вспомнили бы о нем, если бы у вас освободилось место?

Жених Дженни, таким образом, устроился.

Молодые люди часто получают службу благодаря тому, что по соседству живет мастер, работающий на заводе, или потому, что они хорошо знакомы с хозяином кегельбана, имеющим какого-либо влиятельного родственника на фабрике. Стенографистка получает работу благодаря тому, что ее дядя, швейцару, удастся где следует замолвить за нее словечко.

Большое значение имеют также рекомендации политических организаций. Неудивительно, что молодые люди начинают возлагать все надежды не на свои способности, а на протекцию.

Редко кто откликается на газетные объявления, но бывают и исключения. Мы беседуем с мальчиком, обслуживающим нас в цветочном магазине. Мы

спрашиваем его, как он нашел свою службу.

— Я читал все объявления в газетах, — отвечает он, радостно улыбаясь. — Каждое утро я крал газету «Трибюн» из почтового ящика на углу.

Молодые люди не любят посреднических бюро по присканию работы. Об этом говорят данные, собранные в Чикаго мисс Анни Девис. Она собрала сведения у 3.242 человек от 16 до 20 лет. Оказывается, что 640 человек получили работу по рекомендации друзей или родственников, 375 человек устроились в результате личного заявления, 46 — получили службу по объявлениям в газетах, а 15 устроились благодаря посредническим бюро.

— Реагировать на газетные объявления — значит тратить зря время и деньги на езду. Кроме того, большая часть этих объявлений носит фиктивный характер. Частные конторы только и занимаются тем, что забирают у вас деньги и заставляют бесцельно ездить и тратить время.

Сколько обуви портят эти люди в тщетных поисках работы! Они шагают с одного завода на другой, с одной фабрики на другую. Они ждут часами, надеются на что-то, возвращаются полные отчаяния домой, с тем, чтобы завтра вновь начать свои поиски.

Потеряв в этих поисках работы несколько лет, молодые люди впадают в апатию и перестают надеяться на лучшее будущее. Они забывают о своих честолюбивых планах. Данные, собранные мисс Анни Девис, показывают, что 770 молодых людей, никогда не имевших работы, на вопрос о том, чем бы они хотели заниматься, ответили, что они готовы взять любую работу. У них нет каких-либо специальных интересов. 184 человека откровенно заявили, что они вообще ничем не хотят заниматься. Бездеятельность убила в них всякое желание работать!

Но есть, конечно, и такие, которые мечтают об определенной работе. Одни хотели бы заняться торговой деятельностью, другие — работой на фабрике, а многих прельщает работа в электропромышленности. Поразительно, как ма-

ло оказалось в результате этого расследования молодых людей, которые стремились бы к чему-то из ряда вон выходящему, например, к карьере летчика.

Что было бы, если бы вы прочитали в «Нью-Йорк таймс» следующее сообщение: «20 миллионов американских юношей и девушек не могут обойтись без наркотиков»? Вы, конечно, пришли бы в возмущение, вы воскликнули бы, что страна погибнет, что нужно издать какой-то закон, и во всяком случае считали бы, что ваши дети, Джон и Джеди, не принадлежат к этим 20 миллионам.

Мы не имеем в виду опиума. Речь идет о кино. Мы вовсе не собираемся критиковать содержание наших кинокартин. Напротив, наша кинопродукция улучшается с каждым днем. Мы даже не осуждаем нашу молодежь. Мы лишь констатируем факты, которые в одинаковой мере относятся и к Калифорнии, и к Пенсильвании, и ко всем другим штатам нашей страны.

Кино становится для нашей молодежи такой же непреодолимой потребностью, как кокаин для наркомана. Дело объясняется очень просто.

Жизнь молодежи бесцветна, а в кинодворцах молодым людям показывают жизнь, переливающуюся всеми цветами радуги. Они посещают далекие страны, уходят вглубь истории. Девушки видят себя на месте голливудских героинь. Они вместе с ними любят, страдают, борются и одерживают победы.

Если нет возможности ходить в кино, они слушают радио. Сидя дома, они следят по радио за всеми волнующими перипетиями футбольного матча, они упиваются сентиментальными романсами, они хохочут, прислушиваясь к шутливым выступлениям комиков.

Все это поколение живет пассивно, как бы за кого-то другого, получая жизненные радости из третьих рук, в отраженном виде. Они радуются миражу. Кино и радио — коварные снадобья, приготовленные под контролем общественного мнения, которое как будто заботит-

ся о том, чтобы они не приносили вреда. Борьба за «нравственность» дала нам «моральные» кинокартины, а радио-контроль действует настолько эффективно, что один известный врач даже вынужден был отказаться от произнесения слова «сифилис» в научной лекции, которую он читал по радио. Мы, таким образом, готовы поверить, что нам действительно удалось защитить молодежь от всяких вредных влияний.

Кинокартины как будто обезврежены. Запрещается показывать в кино борьбу между рабочими и предпринимателями, запрещено показывать голод, страдания, смерть. Кино является не чем иным, как средством забыться на время, забыться на момент об унылой, серой жизни. Заплатив 10 центов или четвертак, можно купить себе на короткий срок блаженство рая. Увлечение этим наркозом мы наблюдаем почти во всей стране, во всех слоях населения.

Как проводит наша молодежь часы досуга?

Мы спрашивали Бен Крауфорда — юношу из Южной Каролины, благодарившего судьбу, что у него есть родители, у которых он может жить, — как он и все его безработные друзья проводят день.

— Да так, — ответил он, — развлекаемся, чем попало.

Этот ответ мы слышали от многих молодых людей, с которыми нам пришлось встречаться.

Отсутствие интереса к чему бы то ни было превращается в трагедию для юношей и девушек, у которых весь день представляет собой сплошной вынужденный досуг. Это создает настроение тоски и обреченности даже в тех домах, где не знают материальной нужды. Легко себе представить, каково тем молодым людям, у которых нехватает денег на кино и другие развлечения.

Мы на обыкновенной городской улице, какую можно видеть в одинаковой мере в Мийнеаполисе, Кливленде, Нью-арке или в Бостоне. Дети и молодые люди от 10 до 20 лет сидят возле своих домов, стоят у дверей, становятся на подножки автомобилей. Часами сидят они на одном месте. Они ушли из дому

сейчас же после завтрака и вернутся домой только, когда проголодаются. В этих домах не принято собираться всей семьей к обеду. И родители, и дети закусывают, когда чувствуют голод, едят, когда им дают, независимо от времени.

Мы входим в плохо пахнущее помещение. Здесь можно получить колбасу сомнительного качества и стакан пива. Несколько молодых людей сидят за грязным столом, засиженным мухами. Они играют в карты. Несколько мальчиков слоняются без дела вокруг дома, приводя в отчаяние своих матерей и сестер. Сестры не шляются по улицам. Они помогают матери в домашнем хозяйстве. Девушки бывают друг у друга в гостях и мечтают о работе, — о работе на фабрике или в институте красоты. Редко встретишь девушку, которая хотела бы стать домашней работницей.

Несколько мальчиков и девушек погружены в чтение. Что они читают? Мы подходим ближе и видим, что они читают киножурналы, детективные журналы, они погружены в чтение всякого рода авантюрных и любовных историй. Лишь изредка можно видеть молодых людей, занятых чтением журналов «Популярная механика» и «Популярная наука».

Вернемся к данным, собранным в Чикаго мисс Анни Девис. Они чрезвычайно интересны.

Оказывается, что из всех опрошенных молодых людей только 383 человека бывали в публичных библиотеках, а 2.841 человек ни разу не были ни в одной читальне.

Чикаго отличается своими великолепными парками. Однако только 1.118 человек побывали в них, а 2.110 молодых людей ни разу там не были.

2.687 людей никогда не были на пляже. Посещают пляж только 536 юношей и девушек. Еще безотраднее положение с клубами. 2.930 молодых людей никогда не были ни в одном городском клубе. Посетили клубы только 277 человек.

Молодежь не интересуется книгами. 2.961 человек сообщили, что они никогда не взяли ни одной книги в библиотеке, 136 молодых людей читали по

одной книге, 79 — по две, 36 — по три, 9 — по четыре и только один читал больше пяти библиотечных книг.

Молодые люди уверяют, что они не бывают ни в танцевальных залах, ни в бильярдных. Это понятно, так как для этого нужны деньги. Девушки откровенно признают, что если они ходят танцевать или в кино, то только в том случае, если за них платят их друзья.

Но что же они, в общем, делают?

— Да так, шляемся без дела... — таков их ответ на этот вопрос.

Мы были приглашены на пикник молодежи вблизи Вичита в «сухом» Канзасе. Молодые люди выпили при этом такое огромное количество джина, которое могло бы привести в ужас даже содержателя бара на Бродвее.

Нас приглашают на воскресный пикник в Хоксвиле в Теннесси. Водку подают в неограниченном количестве, и только о водке и говорят. Девушки пьют больше мужчин. В Нью-Йорке мы видели любопытную пару в баре на Парк-авеню. Девушка пила ликер, а ее спутник — молоко.

Мы не раз наблюдали, что молодые люди в перерывах между танцами забегают в бар выпить коктейль.

Об усилении пьянства в стране свидетельствует целый ряд фактов. Федеральное казначейство заявило в своем отчете, что в среднем каждый американский гражданин тратит 7 проц. своего дохода на спиртные напитки. Это составляет 3.500 миллионов долларов в год! Владельцы пивоваренных и винных заводов ожидают дальнейшего увеличения своих оборотов.

Некоторые утверждают, что рост пьянства в стране объясняется отменой «сухого закона» (закона о запрещении спиртных напитков). Мы, однако, в этом сомневаемся, так как в штатах, оставшихся «сухими», пьют несколько не меньше, чем в «мокрых», где запрет окончательно отменен. Причины этого явления следует искать поглубже. Жизнь стала настолько грустной, скуч-

ной и тяжелой, что люди вынуждены пить, чтобы хоть немного забыться.

В некоторых городах нас уверяли, что во время кризиса упал процент преступности среди молодежи. Нам даже говорили, что правительство сократило кредиты на содержание судов для малолетних.

Оказывается, однако, что даже дети зажиточных слоев населения вступают в конфликт с законом. 40 молодых людей в Саут-Пасадена в Калифорнии ворвались ночью в пустой дом и устроили там настоящий погром. Они сломали всю мебель, изорвали картины, разбили посуду, причинив убытков на 1.500 долларов. Это все были дети состоятельных родителей.

За последние пять лет участились случаи подобного разгрома пустых домов. В Лос-Анжелосе мы слышали о похождениях банды юнцов из лучших кварталов города. Они обычно врываются в пустые дома, ломая все, что попадалось им под руку.

Но эти явления наблюдаются не только в Калифорнии. Школьники в Шарлотте, в Северной Каролине, разбили все электрические лампочки в школьном здании. В Каннаполисе студенты разгромили имущество на несколько тысяч долларов.

Но все это делается из-за безделья, для того, чтобы хоть чем-нибудь заполнить свою пустую жизнь. Другой характер носят кражи на железных дорогах. Молодые люди крадут потому, что они терпят нужду. Они тащат шпалы, потому что дома у них нет дров, они крадут платье, так как им нечего одеть.

Я вспоминаю о парне, которого мы видели в Чикаго у ворот завода Армор. Полицейский рассказал нам его историю. Этот мальчик мечтал стать дирижером оркестра, но, конечно, рад был бы получить работу и на скотном дворе. Сейчас он услуживает по ночам в баре. Когда клиент напивается, он подает ему снотворный напиток. После этого выступает на сцену хозяин бара, который обирает дочиста усыпленного

клиента. Утром мальчик как ни в чем не бывало становится в очередь в надежде получить какую-нибудь честную работу.

Наш полицейский сообщает нам ряд интереснейших сведений. Он указывает нам на магазин автомобильных частей. На окне какие-то каракули. Это цены отдельных частей. Нас поражает дешевизна, но полицейский нам объясняет, что владелец лавки скупает краденый товар и поэтому имеет полную возможность продавать по дешевке. Мальчишки со всей окрестности приносят ему украденные ими отдельные автомобильные части, и он у них все это скупает.

Девушки крадут ради того, чтобы лучше одеться и принарядиться. Мы видели в Денверском суде для малолетних массу предметов, отнятых у девушек. Здесь были и 10-центовые браслеты, и маникюрные приборы, и всякого рода дешевые украшения. Я никогда не забуду двух девушек, которых мы видели в Нью-Йорке. Две маленьки ирландки, Нелли и Катлин, сидели с испуганным видом, сгорая от стыда, рядом с женщиной-полицейским. Их арестовали за кражу в косметическом отделении универсального магазина. Нелли было 12 лет, когда мать приехала с нею из Ирландии в Америку. В конце-концов ей удалось устроиться на конфетной фабрике. В теории предполагается, что, когда ученик научился работать, администрация обязана ему платить 16 долларов в неделю. На практике это «учение», видимо, непомерно затягивается. Несмотря на то, что Нелли работала уже полтора года, ей продолжали платить за три дня в неделю, остальные три дня она должна была работать бесплатно за то, что ее «учат».

Восемь долларов в неделю на все — на еду, на комнату, платья и все прочее! Это, конечно, не особенно много. Но Катлин, которую Нелли встретила в церкви, заявила ей, что она еще меньше получает. Катлин — домашняя работница. Она должна готовить на семью из шести человек, она должна стирать белье, чинить, мыть посуду, прислуживать за столом. Она спит в маленькой каморке без воздуха, ей дают

есть. И это все, денег она не получает. При этом ей еще говорят, что она должна быть рада, что попала в такой «хороший дом», и что при теперешнем кризисе такие девушки, как она, нуждаются торговать своим телом. У Катлин нет родных. Из сиротского дома ей пришлось уйти, так как там держат только до определенного возраста. Все ее знания сводятся к умению варить, стирать, мыть полы. Она привыкла к тяжелому труду, она трудолюбива и честна. Но когда сын зеленщика и его товарищ пригласили ее с подругой на танцевальный вечер, искушение оказалось слишком сильным для обеих девушек.

Иногда наступает момент, когда эти девушки и юноши уже не могут мириться со своей постылой жизнью. Тогда наиболее смелые из них отправляются в путь и присоединяются к армии молодых людей, странствующих по дорогам страны.

Много писали и говорили об этих молодых бродягах. Некоторые их романтизируют, называя их американскими цыганами, ищущими приключений. Другие их проклинают, а губернатор Аризоны Клайд Тингли называет этих молодых людей «преступниками, которых следовало бы посадить в тюрьму».

И те, и другие неправы. Этим юношам не удалось найти работу дома, где они являются бременем для своих родителей. Они поэтому отправляются на чужбину в поисках работы. Там, где это возможно, они просят проезжающих автомобилистов их подвезти. Они ездят в товарных вагонах и приводят в отчаяние железнодорожную администрацию, портя часто ценные товары. В каждом городе они ищут работы. В конце-концов они устают от этих поисков и кочуют с места на место, потеряв надежду на лучшее будущее.

Впервые об этих юных бродягах заговорили в 1932 году. Мы все волновались и проливали слезы над участью этих «диких детей Америки».

Принимались какие-то меры в интересах этих кочующих молодых безработных. Около 900 частных благотворительных организаций во всей стране

решили бороться с отвратительным обычаем перебрасывания бездомных молодых людей из одного городка в другой. Были ассигнованы специальные средства для отправки этих странников на родину. Кризис положил всему конец. Все эти общества остались без средств. Да и не было смысла тратить деньги на отправку безработных на родину. Ведь там им тоже нечего делать! Муниципалитеты отдельных городов нервничали при виде этой массы бродяг, ежедневно увеличивающейся. Многие муниципалитеты установили определенные сроки, по истечении которых молодые люди должны были убираться во-свои из их округи. Некоторые учреждения давали этим безработным тарелку супа, разрешали им переночевать в ночлежке, а на следующий день отправляли их в какой-либо другой город. Целая армия юнцов, одетых в лохмотья, ездил таким образом по всей стране, превратившейся для них в огромную клетку.

Но вот была создана «Администрация по оказанию помощи нуждающимся». Были созданы ночлежки и лагеря для бездомных молодых бродяг. Вначале мы все обрадовались, но скоро радость сменилась разочарованием. Мы посетили один из лагерей, являющийся наиболее типичным. В палате на втором этаже мы застали около 115 человек, состоявших наполовину из юношей моложе 25 лет. Они все пришли сюда зарегистрироваться и рассказывают чиновникам всякие вымышленные истории о себе. После того, как они отвечают на целый ряд бесцельных вопросов, их подвергают медицинскому осмотру. Если у молодого человека не обнаружено никаких заразных болезней, его отправляют в «приют». Здесь можно жить и работать. За работу администрация платит от 1 доллара и больше в неделю. Ночлег и питание — бесплатное. За особо хорошую работу можно получить даже до 3 долларов в неделю. Безработные получают работу и должны этим удовлетвориться. Город ни о чем больше не думает.

Сейчас приступили к ликвидации «приютов». Решили оставить одни ла-

герц. Муниципалитеты считают, что они обязаны в первую очередь думать о своих делах, об интересах своих собственных жителей. А эти бездомные бродяги могут в конце-концов убраться и продолжать свою кочевую жизнь. Некоторые думают, что закрытие «приютов» сократит до известной степени бродяжничество безработной молодежи. Это, конечно, неверно. Напротив, число странствующих безработных выросло с 500 тысяч человек до миллиона. Никто точно не знает, сколько американских граждан странствует по дорогам нашей страны. Мы видим этих молодых людей на всех дорогах. Большинство отправляется в солнечную Калифорнию. Там своих 800.000 безработных, и поэтому в Калифорнии не особенно рады трем-четырем тысячам непрошенных гостей, прибывающим каждый месяц. Эти непрошенные гости приносят с собой, по словам Вальтера Девенпорта в «Кольерс уикли», «пыль пустыни, огромный аппетит, который они не могли утолить дома, остатки надежд и уверенность в том, что в Калифорнии возможны чудеса».

В настоящее время бездомные бродяги вновь предоставлены сами себе, и из всех прежних мероприятий остались только лагеря для бездомных. Молодые странники вновь вынуждены попрошайничать или красть, не имея никакой работы.

Председатель детского отдела департамента труда Грейс Эббот писал в свое время в «Лейдис хом Джорнал»:

«Если не будет выработан какой-нибудь конструктивный план, то тысячи молодых людей, оказавшихся после окончания школы безработными, будут искать спасения от невыносимых домашних условий во всякого рода авантюрах и безответственной жизни уличных бродяг. Что мы можем им предложить, чтобы спасти их от постепенного падения в результате безделья, голода и разочарования в своих лучших юношеских мечтах?»

Недостаточно помочь их родителям. Многие, конечно, вернутся в школу, если будут знать, что их родители обеспечены. Но для многих, и в осо-

бенности для привыкших бродяжничать, необходимо создать новые учреждения, где их можно было бы учить и подготовить из них людей, которые скорее могли бы принести пользу обществу».

В результате подобного рода требований был создан «Транзиент сервис» (учреждение по обслуживанию бездомных бродяг). Но он не оправдал наших надежд. Сейчас мальчики вновь ищут приюта в «джунглях», в этом последнем убежище бездомных.



Нам нередко приходилось встречать молодых людей, сваливающих на родителей всю вину за то, что у них нет работы, что они не могут жениться и содержать семью. У некоторых молодых людей развивается на этой почве чувство ненависти к своим родителям.

Жилищная скученность создает трения, которые еще более ухудшают положение безработного члена семьи. В годы экономического кризиса число членов семьи часто неожиданно выросло. Племянница, потерявшая работу, искала приюта у тетки; в комнату, где уже спали два мальчика, вселяли двоих кузенов, ставших бездомными. Все эти домашние неудобства еще больше усиливают недовольство в семье, и неудивительно, если дети в конце-концов обрастают все свое недовольство против родителей.

Отсутствие возможности жениться является источником величайших страданий, так как речь идет не только об удовлетворении естественного биологического инстинкта. Молодые люди хотят иметь свой собственный дом, детей и независимое положение в обществе. Поэтому, если молодой человек не может жениться на любимой девушке, у него вырабатывается чувство неполноценности, которое может в некоторых случаях остаться на всю жизнь. Будущее покажет, сколько молодых людей останутся духовными инвалидами. В этом отношении наша американская молодежь напоминает потерянное поколение времен войны в Европе. Никто им

не сможет вернуть время, которое они безвозвратно потеряли.

Посмотрим, каковы шансы нашей молодежи. Ведь многие молодые люди в США говорят теперь, что положение улучшается и настанут лучшие времена.

Посмотрим.

Несколько цифр придется привести для того, чтобы получить хотя бы некоторое представление о том мире, в котором живут Томми Стонхиллсы, Тони Никатисы, Дирки Конвеи и надеются, что наступит день, когда перед ними откроется широкая дорога надежды и прогресса.

Обрей Вильямс, стоящий во главе Национального управления по делам молодежи, заявил в октябре 1935 г., что от 5 до 8 миллионов молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет ходят совершенно без работы и не посещают школ.

Министр труда мисс Перкинс приводит 5 апреля 1935 года в письме сенату более подробные данные: 1 июля 1934 года число молодых людей от 16 до 18 лет равнялось в США 4.800 тыс. а от 18 до 24 — 16 миллионам.

Согласно данным за 1930 г., всего лишь 59 проц. юношей и девушек 16 и 17 лет посещали школы, не работая одновременно, а 32 проц. имели работу. Из старших категорий молодежи посещали школу 10 проц., а 63 проц. работали. 28 проц. молодежи не работали и не учились. 86 проц. этих безработных молодых людей, не посещающих школу, составляли девушки.

Мисс Перкинс указывает, что из 16 млн. молодых людей от 18 до 24 лет больше половины составляют женщины, из них 3½ миллиона — замужние.

Министр труда приводит данные о безработице, сообщенные Американской федерацией труда. По данным Американской федерации труда, на 1 декабря 1934 года в США было 2.205 500 полностью безработных молодых людей от 18 до 24 лет. Если еще прибавить к этому половину общего количества молодых людей от 16 до 18 лет, то мы получим около 4½ миллионов молодых людей, не имеющих никакой работы. Но

это почти четверть всей нашей молодежи от 16 до 24 лет.

Присмотримся к положению в городе Ниагара Фоллс. Мы остановились на этом городе потому, что Совет социальных организаций произвел здесь обследование молодежи за период с 22 июля до 12 сентября 1935 г. Из 11 тысяч молодых людей от 17 до 25 лет были опрошены 2.497 человек.

Результаты обследования таковы: от четверти до трети всех обследованных молодых людей посещают школу. Одна треть имеет работу, а остальные не имеют работы и не посещают школ.

Не следует думать, что эта последняя треть состоит из тупых, необразованных молодых людей. Оказывается, что 26 проц. молодых людей этой группы окончили нормальную среднюю школу, а 85 проц. провели в школе, по меньшей мере, 9 лет. Только 5 проц. из всей группы не пошли дальше 8-го класса.

Осенью 1935 г. Рузвельт заявил, что промышленная продукция уже составляет 90 проц. продукции 1930 г. При этом он, однако, добавил, что в процессе производства принимает участие только 82 проц. того количества людей, которое было раньше занято. Больше того, оказывается, что эти 82 проц. зарабатывают лишь 74 проц. той суммы, которая выплачивалась рабочим и служащим пять лет назад.

Естественно, возникает вопрос: можно ли надеяться на то, что у нас будет работа для всех? Какова роль машин? Будут ли они продолжать вытеснять рабочую силу и лишать американцев средств к жизни, или они откроют новые перспективы, создадут новые отрасли промышленности? Все будущее нашей молодежи неразрывно связано с этой проблемой.

Редактор либеральной «Сент Люис пост диспеч» Чарльз Росс пишет:

«Возвращение процветания во всем его объеме еще не принесет разрешения наших проблем. Они лишь будут замаскированы до наступления следующего кризиса, как они были замаскированы в залитую чрезмерно ярким светом эпоху Кулиджа.

Ибо безработица объясняется в значительной мере не болезнью, старостью или неспособностью самого рабочего, а использованием методов и машин, экономящих рабочую силу. Эта «технологическая безработица» продолжает расти, и она играет в экономической жизни роль постоянного фактора. Это та цена, которой мы расплачиваемся за промышленный прогресс машинного века».

О том, как дорого мы расплачиваемся за этот прогресс, можно судить по следующим примерам:

В последние 10 лет производительность труда отдельного промышленного рабочего выросла на 45 проц. при одновременном уменьшении количества рабочих, живущих своим трудом.

Параллельно с ростом железнодорожной сети число железнодорожных рабочих и служащих уменьшилось за десятилетие с 1919 до 1929 г. с 2 млн. до 1.600 тысяч, то-есть на 20 проц.

В то время как производительность труда горняка выросла, общее число горнорабочих уменьшилось приблизительно на 200 тысяч. В течение этих же 10 лет число сельскохозяйственных рабочих уменьшилось на 800 тысяч.

Приведем несколько цифр, опубликованных Американской федерацией труда. Они дают некоторое представление о том, как машина вытесняет рабочую силу.

В чугунолитейной промышленности в настоящее время 7 человек справляются с работой, для которой раньше требовалось 60 человек. С погрузкой чугуна справляются 2 человека вместо 128. Один рабочий заменяет 42 у доменных печей.

Раньше один рабочий должен был потратить 80 часов для того, чтобы изготовить 450 кирпичей. Теперь машина изготавливает 40 тысяч кирпичей в один час.

100 машин заменяют в обувной промышленности 25 тысяч человек. Одна машина изготавливает в 24 часа 73 тысячи электрических лампочек, в то время как в 1918 г. один человек должен был потратить целый день для изготовления 40 лампочек. С помощью автоматической машины один рабочий мо-

жет сейчас в одну минуту снять чешую с 40 рыб независимо от их размера, в то время как раньше рабочий успевал в одну минуту очистить всего лишь три рыбы. 2 человека обслуживают сейчас нью-йоркский подземный поезд вместо 7. Железная дорога Бостон—Мэн использует теперь специальную машину для погрузки товаров, заменяющую 400 рабочих.

Машина с «электрическим глазом» сортирует сигары по цвету, вытеснив таким образом сортировщиков. Машина пропускает 4 тысячи сигар в час. Изобретена специальная машина, обнаруживающая недоброкачественные иголки для швейных машин. Машина выполняет работу, которая раньше поручалась 9 опытным работницам.

Согласно данным Статистического бюро труда, повышение производительности труда временно остановилось в 1930 г. Вызвано это было резким падением продукции и уверенностью в том, что кризис скоро пройдет и не следует поэтому никого увольнять.

Начиная, однако, с 1931 года, мы видим новое повышение производительности труда. Убедившись в серьезном характере кризиса, предприниматели всемерно старались снизить издержки производства путем резкого сокращения количества рабочих и использования всех методов, способных повысить среднюю производительность труда.

Какова судьба людей, потерявших работу в результате всякого рода технологических усовершенствований? Обратимся к исследованию, опубликованному д-ром Любиным, директором Статистического бюро труда, в 1929 году. Исследование охватило 754 уволенных фабричных рабочих. Из них только 54,5 проц. вновь получили работу. Д-р Любин приходит к выводу, что так называемые «новые» отрасли промышленности и новые виды «сервис» (обслуживание) не способны вновь дать работу безработным в такой мере, как это вообще думают.

Как эти процессы отражаются на наших молодых людях?

Мы уже видели, что в настоящее время промышленность не нуждается в та-

ком количестве людей, как раньше. Предприниматели, по словам д-ра Любина, удлиняют рабочий день. В одной из крупнейших отраслей промышленности нашей страны не осталось ни одной фабрики, где продолжительность рабочего дня не превысила бы тот максимум, который был установлен законами.

Нас интересует вопрос о том, чем руководствуются крупные промышленные предприятия при найме рабочих и служащих, как они относятся к молодым людям, является ли молодость преимуществом или недостатком для людей, ищущих работы.

Мы беседуем с фабрикантами готового платья «Харт и Шефнер». Представители фирмы заявляют, что, несмотря на то, что в последнее время положение улучшилось, число рабочих и служащих не увеличено. Они даже считают, что у них слишком много людей. По договоренности с профсоюзом швейников, администрация распределила всю имеющуюся работу между наличными рабочими и служащими. В результате никто не уволен, но каждый рабочий и служащий зарабатывает меньше, чем раньше. Все руководители этой отрасли промышленности откровенно заявляют, что у молодежи очень мало шансов на получение работы в швейной промышленности, несмотря на то, что до последнего времени в этой промышленности были заняты, главным образом, молодые люди.

Молодые люди со средним образованием идут сейчас работать на фабрики, где им приходится бороться с конкуренцией со стороны более пожилых людей. Так, например, табачные фабрики Рейнольда обращаются в бюро по оказанию помощи безработным, и охотнее дают работу семейным людям, присланным бюро, чем холостым.

Но может быть, молодые люди имеют больше шансов на получение работы на тех фабриках, которые не придерживаются так строго определенных принципов в найме рабочей силы и не отдают предпочтения женатым людям? Мы вновь возвращаемся к заявлениям д-ра Любина.

«Нет сомнения, — говорит д-р Лю-

бин, — что во многих отраслях промышленности у людей старше 45 лет очень мало надежды на получение работы. Они уже не могут так хорошо работать, как раньше. Фабрики не желают брать людей, которых придется скоро отправить вследствие их неспособности или болезни. Пойдите на новые автомобильные заводы, где берут рабочих не по принципу старшинства. Вы увидите, что большинство людей, работающих у конвейера, моложе 30 лет. Они быстрее работают, их скорее можно подучить. Здесь отдается преимущество молодежи. По мере развития тяжелой промышленности будут расти возможности получения работы. Однако нужно принять на работу еще полтора миллиона человек, если мы хотим, чтобы процент занятости в этих отраслях промышленности дошел до уровня, который был шесть лет назад».

Безотрадные перспективы открываются перед юношами и девушками, не получившими специальной подготовки и не обладающими особыми способностями. 50 процентов этих молодых людей лишены каких бы то ни было надежд на получение работы. Если не произойдет какого-нибудь резкого улучшения в нашей промышленной жизни и если не будет радикально изменена вся политика найма, то наши фабрики не будут ощущать потребности в увеличении числа своих рабочих, по крайней мере, до тех пор, пока не вымрут старики. А ведь тем временем вырастет новое поколение молодых людей.

А каково положение молодых людей, обладающих специальными знаниями и способных заниматься работой, требующей особого искусства и специального образования?

Вообще говоря, фабрика не нуждается в настоящее время в большом количестве квалифицированных работников. Сейчас ни один рабочий не знает всех отдельных операций производства. Возьмем, например, производство обуви. Для изготовления ботинка необходимо проделать 325 отдельных операций. Мало найдется фабрик, где даже самый тупой человек не мог бы принять какого-либо участия в производ-

ственном процессе. Таким образом, квалифицированные рабочие составляют лишь ничтожный процент всего фабричного персонала. Воистину, нужно обладать большим оптимизмом, чтобы полагать, будто перед квалифицированными рабочими открылись теперь широкие возможности!

Много грешат в отношении учеников. Мальчики и девочки, поступившие в «ученики», подвергаются жесточайшей эксплуатации. Они совершенно беспомощны, они не смеют и думать о протесте. Им некуда деваться, и нет закона, который защитил бы их. Их особенно эксплуатируют на небольших фабриках. Они получают голодные ставки.

Мы на фабрике бритв. Девушки работают шесть дней в неделю по 8 часов в день. Однако, платят им только за три рабочих дня. Остальные три дня они работают за то, что их «учат».

По мнению д-ра Кепеча, предприниматели охотнее берут подростков, так как им можно платить вдвое меньше, чем взрослым людям. Подростки работают за 7—8 долларов в неделю. Он беседовал с девушкой, получившей пособие по безработице. Она раньше работала за голодную ставку.

Технологическая безработица поразила не только промышленных рабочих, но и так называемых трудящихся «в белых воротничках». Изобретение автоматического телефона сильно сократило потребность в телефонистках. В Лос-Анжелесе нам сообщили следующий любопытный факт. Раньше 3 тысячи человек работали над составлением счетов и взысканием денег, причитающихся с жителей города за пользование водой. В настоящее время всю эту работу выполняют 25 специалистов, имеющие в своем распоряжении целый ряд новейших счетных машин. Этими машинами пользуются теперь все крупные предприятия, компании, тресты. Автоматические счетные машины позволяют сильно уменьшить штаты бухгалтерских работников. Вновь изобретенные фотостаты — роботы — автоматически фотографируют, сильно сократив потребность фотографической промышленности в живой рабочей силе.

В годы кризиса сильно выросло число женщин, прислуживающих в домашнем хозяйстве. Согласно данным женского отдела департамента труда, в октябре 1934 года число домашних работниц превышало 1.400 тысяч человек. Эта отрасль работы бурно расцвела в условиях кризиса, подобно ядовитому грибу, вырастающему в полумраке и сырости. Американки, в особенности белые, неохотно идут в прислуги. Здесь играют роль общественные предрассудки. В сущности, почему девушка, работающая прислугой, должна считаться ниже фабричной работницы?

Рабочий день в домашнем хозяйстве не урегулирован. Он продолжается очень долго, и вообще условия труда обычно далеко не привлекательные. Жалование домашней работницы начало снижаться, и одновременно ухудшились условия работы. Многие домашние хозяйки, которые раньше и не помышляли о работнице, использовали выгодную для них конъюнктуру и заставляют работать на себя только за стол и квартиру. Часто домашней работнице приходится ютиться где-нибудь на чердаке, где летом невероятно душно, а зимой холодно, или в каком-нибудь сыром подвале.

Многие домашние хозяйки буквально терроризируют своих молоденьких работниц, беспощадно их эксплуатируя. Несчастные рабыни, которые по своему возрасту должны еще посещать школу, носят непосильные тяжести, готовят на большую семью, к тому еще нянчат детей, чинят и стирают белье. Это не голословное заявление. Христианская ассоциация молодых женщин в Ричмонде произвела расследование среди своих членов — домашних работниц.

Оказывается, что средняя рабочая неделя домашней прислуги равняется 71,6 часам, а средний заработок — 8 долларам 7 центам в неделю. Половина всех обследованных работниц живет в доме своих хозяев. Ни одна работница не получает за сверхурочную работу. Они даже не представляют себе, что за эту работу можно требовать особой платы. Большинство из них не знает, могут ли они рассчитывать на полное или хотя бы частичное освобождение от работы

в установленные законом 8 праздничных дней в году. Они не знают, получат ли они в течение года отпуск и заплатит ли им хозяйка за те дни, что они не будут работать. Не все хозяйки даже считают нужным предупредить свою работницу заранее об увольнении.

Только в штате Висконсин существуют некоторые нормы, и то они относятся только к зарплате.

Желая расследовать условия найма домашних работниц, женский отдел министерства труда разослал соответствующие опросные листы в 388 бюро найма рабочей силы. Ответили 217 бюро при университетах, колледжах, всякого рода частных бюро и филантропические учреждения.

Только 15 бюро в 10 штатах прислали данные об условиях работы женщин старше 21 года, а 19 бюро в 10 штатах — об условиях работы домашней прислуги моложе 21 года. 43 колледжа и университета из общего количества 64 дали подробные сведения об условиях работы студентов, вынужденных заниматься подсобным промыслом для того, чтобы иметь возможность учиться и жить.

Минимальная зарплата колеблется между 13 и 40 долларами в месяц. Многие бюро стараются добиться определенных условий работы для рекомендуемых ими лиц, но они не имеют никаких законных средств для того, чтобы заставить хозяев выполнить эти условия. Женщина, которая никогда не позволит себе обсчитать лавочника, снабжающего ее овощами, совершенно не считается со своей домашней работницей, заставляя ее непосильно работать за гроши.



В результате кризиса начали закрываться не только банки, но и начальные школы. Когда закрылись банки в штате Мичиган, паника охватила всю страну. А вот когда закрылись школы в штате Алабама, мало кто над этим задумывался и очень немногие об этом вообще знали. В конце-концов на содержание школ уходит значительная часть налогов, взимаемых с населения. Зна-

чит, нечего особенно беспокоиться по поводу их закрытия!

За последние пятнадцать лет число школьников выросло на 6,5 миллиона. Больше 30 млн. детей посещают в настоящее время наши школы. Мы тратим на школы $2\frac{1}{4}$ (два с четвертью) миллиарда долларов, т. е. 3,35 проц. всего нашего национального дохода. Но в первые три года кризиса наш национальный доход уменьшился почти вдвое. Это нанесло сильнейший удар нашим начальным школам.

Ассоциации налогоплательщиков подняли вой, и муниципалитеты начали постепенно сокращать свои школьные бюджеты. Муниципалитеты страдали от целого ряда бедствий: от банкротства банков, невозможности собрать налоги, трудностей, связанных с реализацией урожая. Надо было во что бы то ни стало начать экономить, и в первую очередь пострадали школы. 1933 — 34 год был самым тяжелым для американских школ. Число учебных часов было уменьшено вдвое по меньшей мере для четверти всех учащихся. Многие школы в богатом штате Огайо закрылись, в остальных занятия продолжались всего лишь 7—8 недель в течение первого полугодия. В Алабаме число учебных часов было уменьшено в 1932—33 году на две трети для всех учеников. В Кентукки многие школы закрылись на месяц и работали лишь с перерывами. В Нью-Мексико школы закрылись в начале 1933 года на 2—4 месяца. Такое же положение было и в штате Оклагома.

В общем занятия в большинстве штатов продолжались не больше 7—8 месяцев в году. 3 миллиона школьников в 25 штатах либо совершенно лишены были возможности посещать школу в 1934—35 г., либо посещали школу всего лишь несколько месяцев. В результате миллионам детей пришлось продлить свое пребывание в школе. Если раньше мальчик переходил из начальной в среднюю школу в 14-летнем возрасте, то теперь кончают начальную школу к 15 и даже 17 годам.

Муниципалитеты старались экономить на жалованьи учителей. Жалованье учи-

телей было снижено на 20—40 проц., а в штатах Мичиган и Небраска даже на 60 проц. Учителя много сделали для учеников, пострадавших от кризиса. Так, например, в Детройте учителя старались снабжать бедных школьников всем необходимым, от овсяной каши до очков. В Нью-Йорке они пожертвовали 2½ миллиона долларов (около 5 проц. годового дохода учителей штата Нью-Йорк) в фонд оказания помощи школьникам. В Каспаре (штат Уайоминг) они платили за завтраки, выдаваемые школьникам. Можно было бы привести еще много таких примеров. Бедствуя сами, учителя помогали школьникам.

Каковы условия жизни учителей? Мы многое слышали о том, как учителя пострадали в результате экономического кризиса. Мы должны считаться с учителями не только потому, что они играют большую роль в воспитании нашей молодежи, но и по той причине, что их очень много. В наших школах занято около миллиона человек. Одна треть всех государственных и муниципальных служащих работает в области народного образования. У нас больше учителей, чем плотников, горняков, машинистов, бухгалтеров, врачей или адвокатов. Согласно официальным данным, 8 января 1934 года в США было 200 тысяч безработных учителей. Несмотря на то, что число свободных вакансий снизилось по сравнению с 1932 годом на 24 тысячи, число кандидатов на учительские должности значительно выросло. Это положение не изменилось и сейчас.

Учительская карьера не обещает богатства. Средний годичный заработок учителей, школьных директоров и надзирателей колебался в последние 10 лет между 1222 и 1440 долларами. Редко приходится встретить учителя, получающего большое жалование. В 1926 году, когда ставки были приблизительно на том же уровне, как и сейчас, меньше 1 процента всех школьных учителей и администраторов получали свыше 4 тысяч долларов в год. Свыше 3.300 долларов получали не больше 2 проц. всего школьного персонала. Больше 15 проц. учителей зарабатывали меньше

700 долларов в год и около 40 проц.— меньше 1 тыс. долларов.

«Ассоциация народного образования» подсчитала, что один учитель из трех зарабатывает сейчас меньше 750 долларов в год. Другими словами, около 250 тысяч учителей, занимающихся воспитанием 7 миллионов детей, зарабатывают меньше того минимума, который установлен законами для фабричных рабочих.

Учителя, таким образом, лишены возможности откладывать на черный день; низко оплачиваемые учителя не имеют права на пенсию. Имеется только один штат в США, где закон обеспечивает низкооплачиваемым учителям какое-то право на пенсию.

Режим экономии сказался и на школьных помещениях. Согласно данным «Ассоциации народного образования», касающимся 90 городов, в половине штатов больше 700 тысяч детей учатся в школах, признанных непригодными ввиду их антисанитарного состояния и пребывание в которых вредно отражается на здоровье детей.

Около пяти тысяч школ признаны совершенно непригодными во всех отношениях, и, несмотря на это, их не закрывают. Более 40 процентов школьных зданий США построено до 1899 года. Около 5 млн. детей посещают школы, пребывание в которых вредно отражается на здоровье учащихся. В результате увеличения количества школьников и сокращения учительского персонала, в комнатах, предназначенных для 30—40 школьников, сидят в величайшей тесноте 80 учеников. Это плохо отражается на успеваемости детей и усиливает опасность эпидемий.

Экономят на учебниках. Многие продолжают изучать историю по учебникам, в которых нет ни слова о мировой войне 1914—18 гг. Изучают географию по атласам, где вы будете тщетно искать Польшу, но зато увидите Австро-Венгерскую империю. Сильно сокращены расходы на содержание школьных зданий, на ремонт. Никто не задумывается над тем, что ветхие котлы в школах могут взорваться, что огнетушители никуда не годны, и их не заме-

няют новыми. Служащие школы получают нищенское жалование и поэтому не заботятся о школе и детях. А ведь школа полна доотказа детьми! Некоторые из нас еще помнят пожар в Коллинвудской школе в Кливленде. Там как будто было много выходов на случай пожара. Однако, когда вспыхнул пожар в этой школе, погибло 176 детей. Даже в самые лучшие времена число пожаров в школах США достигает в среднем пяти в день.

Режим экономии в первую очередь обрушился на самые последние достижения в школьной области: на детские сады, на преподавание музыки. Началась повсеместная ликвидация вечерних курсов, школ для дефективных детей и пр. Были закрыты бассейны для плавания, отменены школьные завтраки, ликвидирована медицинская помощь детям. В штате Огайо в августе 1935 г. началась кампания против всякого рода новшеств, против «вредных политических влияний», за «рациональную» программу воспитания. Специально созданный властями штата комитет заявил в своем отчете, что всякого рода «туманные теории должны раньше или позже уступить место жестокой действительности». К категории «туманных теорий» было отнесено и преподавание... музыки.

Кризис сильно ударил по врачам. Врач, потерявший работу, постепенно теряет свои знания. При этом нужно учесть, что медицинское образование стоит очень дорого. Для того, чтобы кончить университет и получить диплом врача, нужно потратить не меньше 5—10 тысяч долларов, а то и больше. Врачу необходима практика. Но если у врача нет больных, он забывает то, чему его учили в университете. Легко себе представить, как тяжело приходится молодому врачу, окончившему университет. В известной степени это относится и к зубным врачам. Но в то время, как число врачей США равняется 150 тысячам, число дантистов не превышает 65 тысяч. Кроме того, если человек заболел гриппом, он может в крайнем случае обойтись без помощи врача. Но если заболевает зуб, то приходится волей-неволей обратиться к зубному врачу.

Но и положение молодых дантистов является далеко не блестящим. Дантист, может быть, еще в большей мере, чем врач, нуждается в практике для сохранения и расширения своих знаний. Зубной врач должен потратить не меньше 400 долларов на приобретение врачебного кабинета. Конечно, если ему удастся получить работу в кабинете старого зубного врача, ему нет нужды покупать инструментарий. Но если он хочет работать самостоятельно, ему нужны для этого большие деньги.



Преступность среди молодежи не перестает расти. Посмотрим, как мы поступаем с молодыми людьми, оказавшимися в конфликте с законом.

У нас есть суды для малолетних. Предполагается, что суд должен помочь малолетним преступникам, оздоровить их жизнь, помочь получить образование. Суд обязан обратиться к содействию родителей, а при отсутствии последних поместить юношу или девушку в наиболее подходящий «приют».

Профессор Шелдон Глюк и д-р Элинора Глюк провели обследование тысячи юных правонарушителей. Они обследовали жизнь этих молодых людей за пять лет, истекших после того, как они прошли через бостонский суд для малолетних, являющийся одним из лучших в стране.

Оказывается, что свыше 88 проц. этих юношей и девушек продолжают заниматься своей преступной деятельностью и после суда. Каждый из них был в среднем арестован 3,6 раза. Они были арестованы далеко не за мелкие проступки. Две трети из всего количества обследованных молодых людей совершили серьезные преступления. 41,6 проц. из них вполне нормальны в психическом отношении. Только 13,1 проц. юных преступников состоят из людей явно ненормальных.

Мы очень мало можем сделать для юношей и девушек, страдающих неизлечимыми болезнями. Но как быть с остальными?

Может быть, мы избавляем наших подростков от тюремного заключения,

где они могли бы оказаться в обществе всякого рода бандитов? К сожалению, это далеко не так. Около $1/7$ части всех малолетних преступников томятся в тюрьмах наравне со взрослыми преступниками. Приведем несколько примеров из отчета Глюков.

В одном муниципалитете 61 подросток находился в заключении в местной тюрьме в течение целого года. Мальчики сидели в самом мрачном углу тюрьмы, девушки в женском отделении тюремного здания, куда привозили для лечения женщин, страдающих венерическими болезнями. Об одном подростке, которого посадили в тюрьму, администрация вспомнила лишь через два месяца. Один мальчик был так перепуган тем, что его заперли в тюрьму, что тут же повесился. В одном городе недалеко от Нью-Йорка держали в тюрьме свыше трех месяцев десятилетнюю девочку, которая сама ничего дурного не совершила. Она нужна была властям только потому, что давала показания по поводу преступной деятельности своей матери. Больше трех месяцев ребенок был без солнца, без воздуха, лишен был возможности посещать школу и играть. Когда девочку выпустили, врачи обнаружили, что она заболела в тюрьме туберкулезом.

Возможны ли такие случаи и в других штатах?

В Мичигане, Иллинойсе, Неваде и Оклагоме запрещено сажать детей моложе 12 лет в тюрьмы для взрослых. В 13 других штатах вообще запрещено сажать в тюрьму детей моложе 14 лет. В 15 штатах считают, что подростка 16 лет можно заключить в тюрьму для взрослых со всеми ее ужасами и опасностями.

Но даже и эти законы не всегда соблюдаются, и их легко обойти. Так, например, в Алабаме любой суд может приговорить детей моложе 16 лет к тюремному заключению в случае «абсолютной необходимости». Не намного лучше пребывание под арестом в богадельнях, в обществе слабоумных, эпилептиков и всякого рода взрослых дегенератов. В одном городе на востоке США малолетних преступников, даже совершенно

здоровых, отправляют в больницу, где заставляют все время лежать в постели наравне с остальными больными.

В одном из южных городов малолетних преступников держат взаперти в развалившемся доме, где, по признанию медицинских властей, небезопасно жить в пожарном отношении.

Арестный дом, куда прежде всего попадают малолетние преступники, часто ничем не отличается от тюрьмы. Те же камеры, те же железные запоры и замки. В некоторых арестных домах применяются по отношению к заключенным детям жестокие меры наказания. Их часто запирают в одиночные камеры. В одном арестном доме провинившихся заключенных детей держат в холодном, совершенно темном подвале с цементным полом. В подвале совершенно нет окон. На детей, проявивших непокорность, надевают смирительные рубашки. Их приковывают цепями к стулу, а в некоторых арестных домах провинившихся мальчиков заставляют носить женское платье...

А что представляет собою суд для малолетних? Какими он страдает недостатками? У нас есть множество клиник, психиатров, людей, специально занимающихся с малолетними преступниками, общественных работников, собирающих огромную массу статистических данных о физическом и духовном состоянии малолетних правонарушителей и пр. И что же в конечном результате? Отложим в сторону собранные нами научные данные и посмотрим, как работает суд.

Как поступают с нашими молодыми людьми в городе Брасерли Дов? Мы приезжаем в пятницу, когда суд по делам малолетних преступников обычно заседает. Нас вводят в высокую квадратную комнату. Вдоль трех грязных стен стоят скамьи. Комната полна разношерстной публики разных возрастов. Тут же сидят полицейские, шерифы, сыщики и общественные работники.

— Где заседает судья? — спрашиваем мы.

— Здесь, конечно, — отвечает удивленно шериф.

Мы поражены. Здесь нет той интимной атмосферы, которая могла бы подействовать успокаивающим образом на запуганного ребенка.

Входит судья. Он — председатель муниципального суда. Пожилой человек с симпатичным лицом. Он возвышается над всеми нами в своем кресле. Несколько ниже сидят секретарь и врач.

— Номер двадцать первый, — рычит шериф.

Входит 16-летний мальчик. Его зовут Айк. Возле него стоят: грузный полицейский, детектив, мать Айка — невысокая толстая женщина с красными глазами и маленьким подбородком; в руке она держит промокший от слез платок; отец Айка, истец, маленький, робкий человечек со слабым голосом, и представитель какой-то общественной организации, невысокий человек с острыми чертами лица.

Ко всей этой группе подходит чиновник.

— Вы должны, — бормочет он, — поклясться, что скажете одну лишь правду и ничего, кроме правды. Да поможет вам бог!

Они клянутся.

На стол перед судьей кладут блестящую сумку, лакированный ящичек, позолоченную лампу, часы.

— Хватит, — говорит судья. — Ну-с, Айк, все это ты украл?

Я ожидала, что сыщик, истец и свидетели выступят с какими-либо заявлениями, как это обычно бывает в судах для взрослых.

— Да, сэр, — ответил решительно Айк. Он, видимо, гордится тем, что оказался в центре внимания.

— На лагерные работы в Глен, — произносит судья свой приговор.

— Простите, сэр, — заявил робко истец. — Я не вижу здесь украденного у меня велосипеда.

— Где велосипед, Айк?

Айк точно указывает, где находится велосипед.

— Ваша милость, — обращается к судье общественный работник. — Я уверен, что если бы вы дали Айку возможность...

— Мы ему давали эту возможность. Это хитрые ребята. Они думают, что раз они несовершеннолетние, то им все сойдет с рук.

— Номер одиннадцатый!

Входит Джо Меллой. Он проник через окно в магазин и украл товаров на 22 доллара. Приговор суда: «Отдать под наблюдение, пока не вернет эти 22 доллара. Если не вернешь денег, я тебя запрячу подальше».

Так проходит перед судом один малолетний обвиняемый за другим. Мелькают запуганные, недоверчивые детские лица. За два часа суд разобрал 58 дел. Судьба 58 жизней решена в течение 110 минут!

Но все это не так просто. Эти мальчики и девушки не приходят сразу с улицы, и решение судьи отнюдь не является таким случайным и произвольным, как это может показаться. Что происходит до суда? Пройдем в арестный дом и посмотрим.

После того, как Айк был арестован, его отвели в эту плохо замаскированную тюрьму. Все двери на запоре, везде железные решетки. Здесь находился Айк до суда. Здесь его подвергли медицинскому осмотру, с ним беседовал специалист-психолог, а затем его послали к психиатру доктору Девидсону. Девидсон почти не обратил внимания на переданную ему «историю» Айка, содержащую всевозможные данные о его родных, об условиях его жизни и пр. У него такой «богатый опыт», что он считает возможным обойтись без изучения этих данных. Психолог и психиатр дают свое заключение суду. По мнению Девидсона, мальчики, вроде Айка, рассматривают сочувственное отношение к себе, как признак слабости и глупости, которые они стараются максимально использовать.

Что представляет собой так называемая дисциплинарная школа? Предполагается, что она должна перевоспитать юного преступника и дать ему полезные знания. В действительности эти школы готовят преступников. Америка тратит столько же денег для подготовки преступников, сколько на подготовку врачей или адвокатов. Это, в сущности,

подготовительный класс, откуда молодые преступники переходят в не менее дорогие государственные исправительные заведения.

Калифорния тратит 905 долларов в год на каждого юношу, которого власти отправляют в такую дисциплинарную школу. В Нью-Йорке ученик дисциплинарной школы обходится государству в 820 долларов в год. Находясь в исправительном доме в Бедфорде, этот самый юноша стоит государству 719 долларов в год. После исправительного дома он уже вполне готов для тюрьмы Синг-Синг, каждый заключенный которой стоит государству 368 долларов в год.

Но это только предварительные издержки. Общая сумма убытков, причиняемых преступниками стране, составляет 15 миллиардов долларов в год. Мы должны расплачиваться этой кругленькой суммой за грабежи, поджоги, убийства, похищения людей!

В Америке на каждые 42 человека приходится один арестант или преступник, который был хотя бы один раз в жизни арестован. Каждые 45 минут в США убивают человека. В 1934 году число убитых дошло до 10,7 на каждые 100.000. Мы побили мировой рекорд!

Большинство преступников — молодые люди от 21 до 24 лет.

Вряд ли многие из нас знают, что большинство известных преступников прошли через наши исправительные заведения!

Весной 1935 года был опубликован доклад о расследовании, произведенном детским отделом департамента труда. Были обследованы: школа в Калифорнийском штате, профессиональная школа мальчиков в Нью-Йорке, мужская промышленная школа в Огайо и профессиональная мужская школа в Мичигане. Детский отдел следил в течение 5 лет за жизнью 751 мальчика, прошедших через эти школы. Обследование было сделано до 1932 года. Мальчики были отпущены из школ в 1926 году, когда работы было везде достаточно.

Судебные протоколы, касающиеся 621 мальчика, показали, что 58 проц. совершили преступление после того, как они были отпущены из школы. 77 проц.

заявили, что они не смогли использовать в жизни те профессиональные знания, которые они получили в школе.

34 проц. обследованных мальчиков зарабатывают меньше 20 долларов в неделю. Только 10 проц. зарабатывали 40 долларов в неделю. В некоторых случаях этот «высокий» заработок объясняется тем, что наши молодые люди занимались всякого рода запрещенными промыслами, как, например, контрабандной продажей спиртных напитков. Очень немногие, всего лишь 4 проц., имели возможность содержать свою семью. Только 8 проц. из этой маленькой группы смогли использовать знания, которые они получили в перечисленных выше школах.

В общем, 35 проц. мальчиков не смогли стать на ноги и зажить нормальной жизнью, а 33 проц. живут так, что приходится опасаться, что они вновь вступят в конфликт с законом.



Что мы делаем для нашей молодежи? Какова помощь, оказываемая правительством? Федеральная власть немного помогает безработным путем организации общественных работ, но эта помощь имеет такое же значение для безработных, как какая-нибудь облатка аспирина для большого туберкулезом.

Все наши мероприятия носят паллиативный характер. Мы стараемся лишь о том, чтобы наша безработная молодежь забыла хотя бы на время, что она осталась в стороне от мощного потока жизни. Что же делать? Время не ждет. Часы безжалостно спешат вперед.

Сейчас промышленность не в состоянии дать работу всей нашей молодежи, а раньше, до экономического краха, нас преследовал призрак технологической безработицы. Наши школы будут и впредь выбрасывать на рынок в июне каждого года сотни тысяч молодых людей, вооруженных дипломами. Мы должны уже сейчас думать о судьбе наших детей, которые еще посещают школу или поступят в нее в будущем году. Ведь от них зависит все будущее нашей страны!

Американские юноши и девушки знают, что люди, стоящие во главе страны, не отдают себе отчета в важности проблемы молодого поколения.

Бесследно проходят годы для нашей молодежи, не знающей, за что бороться, для чего жить. Еще немного, и она будет окончательно потеряна. Хозяином страны станет опустошенное поколение,

которому нечего терять. Это будет дегенерированное, прогнившее поколение, язва на теле нашего народа. Мы не должны забывать, что от этой армии изверившихся людей, бредущих без цели, зависит наше будущее. Мы не должны забывать, что эта армия может обратиться и против нас.

Литература и искусство

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Подлые враги народа, троцкистские бандиты, всегда проявляли особый интерес к литературным делам. Одни из них изображали из себя писателей или поэтов, кропали плохенькие стишки и стряпали подозрительные рецензии и повести, другие выступали в роли «теоретиков» и «критиков» искусства. Так, матерый террорист Пикель в качестве средства маскировки своей мерзкой «работы» избрал критическую «деятельность» в области театра.

Большую «любовь» к литературе питали Бухарин и Радек. Троцкист и диверсант Сокольников создал целый литературный салон, в котором, пользуясь ротозейством и идиотской беспечностью некоторых работников литературного фронта, пытался посеять идейно-политическое разложение в советской литературе. «Литературной дамой» этого салона являлась его жена, достойная своего супруга, троцкистка Г. Серебрякова, пытавшаяся в своем романе «Юность Маркса» опозлить и исказить облик великого пролетарского революционера.

В Ленинграде подвизалась в литературе в течение ряда лет группа троцкистско-зиновьевских диверсантов и двурушников в лице Горбачева, Майзеля, Штейнмана, Мустанговой, Горелова и др. В Москве с ними блокировалась литературная агентура право-левацкого блока в лице Беспалова, Зонина и др. представителей «Литфронта». Наконец, одной из самых мерзких групп, пред-

ставлявших троцкистское охвостье в литературе, являлась «азербаховщина». Беспринципный и наглый карьерист, прожженный политикан, прошедший школу Иудушки-Троцкого, верным холопом которого он был, гнусный делец, не останавливающийся ни перед каким обманом и вероломством ради достижения своих вредительских и корыстных целей, ловкий маскировщик, — таким оказался Авербах, когда с него была сорвана лживая маска, скрывавшая злобное лицо врага народа. Такими оказались и верные пособники Авербаха — троцкист А. Селивановский, враг народа Макарьев и др. Ближайшими пособниками Авербаха в его темных махинациях являлись Чумандрин и Либединский — оба в прошлом авторы троцкистско-клеветнических произведений («Родня», «Комиссары», «Поворот», «Рождение героя» и др.), Бруно Ясенский и представители авербаховщины в области драматургии, авторы фальшивых, вредных пьес — Киршон и Афиногенов.

Эта беспринципная клика в течение многих лет добивалась монопольного, руководящего положения в области литературы и искусства и в некоторых случаях частично достигала своих целей. Лучшие и благороднейшие представители пролетарской литературы — М. Горький, Маяковский, Фурманов и др. — потратили немало сил на борьбу с этой кликой, на разоблачение ее воровских махинаций. В свою очередь авербаховская банда всюду, где могла, травила

этих лучших представителей нашей литературы, старалась дискредитировать их, боясь своего собственного разоблачения.

Параллельно с авербаховщиной, окопавшейся в РАПП'е и журнале «На литературном посту», орудовала в литературе группа Воронского. Внешне эти группы вели между собою «борьбу», но, по существу, они делали одно и то же дело — протаскивали всюду, где можно, в литературу троцкистские идейки и всячески старались дискредитировать лучших представителей советского искусства. Для достижения своих целей Воронский создал объединение «Перевал». В этом объединении подвизался и другой троцкистский последыш в критике, правая рука Воронского — Д. Горбов, враг народа Ив. Катаев и др.

Шпионы и диверсанты охотно избирали литературу в качестве средства маскировки. Так было с агентом гестапо Борном, написавшим в целях маскировки «Единственный и гестапо».

Таковы некоторые факты, характеризующие вредительскую работу врагов народа в литературе. Они, эти факты, показывают, что враги народа, шпионы, диверсанты, троцкистские и иные двурушники старались широко использовать литературу, с одной стороны, в целях маскировки, с другой — для ведения своей разлагающей, контрреволюционной работы.

И надо прямо сказать, что враги народа добивались в отдельных случаях своей цели. Это происходило потому, что в области литературы многие руководящие работники вместо подлинно большевистской бдительности проявляли идиотскую болезнь бесечности и политической близорукости; не умели вовремя разоблачить врагов, орудовавших у них под носом. Страдая этой идиотской болезнью, такие руководители не воспитывали литературные кадры в духе непримиримой большевистской борьбы со всякими проявлениями вражеских тенденций в области литературы, не учили их распознаванию врагов, не изучали историю борьбы с антипартийными тенденциями в искусстве и литературе.

Для того, чтобы покончить с такой беспечностью, необходимо хорошо изучить приемы и методы работы врагов народа в литературе, изучить формы их маскировки.

Ниже мы приведем некоторые примеры этих методов и форм маскировки.

Вдохновителями всевозможных двурушнических контрреволюционных групп в области литературы и искусства являются матерые фашисты Троцкий и Бухарин. Еще в период принятия решения ЦК партии о литературе (1925 г.) Троцкий повел бешеную атаку на линию партии в вопросах литературы. В соответствии с контрреволюционной теорией невозможности построения социализма в нашей стране Троцкий утверждал, что рабочий класс не может создать и не создаст своего искусства. Он восхвалял формалистов, повторял зады различных конструктивистских теоретиков о смерти искусства, о растворении искусства в технике и производстве материальных ценностей. Одновременно он вел злобную борьбу против идейно-реалистического искусства, против лучших представителей советской поэзии и литературы. Он клеветнически утверждал, что Маяковский, например, художественно слабее всего в тех своих произведениях, в которых он законнее всего как коммунист. Троцкий злобно шипел на тех представителей передовой интеллигенции, которых с первых шагов Октября нераздельно слили свою судьбу с революцией и рабочим классом.

Одновременно Троцкий стремился замолчать творчество Горького — великого русского писателя и крупнейшего представителя пролетарской литературы. Троцкий вообще презрительно относился к русскому искусству, он толкал писателей и поэтов к учебе у западных «измов», у футуризма прежде всего.

Не менее презрительно относился он и к национальному и народному искусству. Стремясь разоружить лучших представителей литературной интеллигенции, принявших Великую Октябрьскую революцию, Троцкий создал насквозь ложную, контрреволюционную теорию о «попутчиках», которые якобы идут с пролетариатом только до определенного

пункта, только до известной «станции», с которой они снова возвращаются в лоно буржуазной идеологии.

Контрреволюционный характер этих идей очевиден. В основе их лежала бешеная борьба против рождавшегося пролетарского, социалистического искусства и стремление подменить его буржуазным искусством. Партия разоблачила ликвидаторскую контрреволюционную сущность литературной «платформы» Троцкого и в своем руководстве литературой обеспечила все возможности для развития и расцвета социалистического искусства, растущего в борьбе против формализма и прочих «измов», выдвигавшихся Троцким.

Параллельно с Троцким в тот же период времени выступил со своей контрреволюционной платформой и Бухарин.

Что же предлагал Бухарин в области литературы? Он предлагал «мирное» соревнование и неограниченную конкуренцию всех и всяческих течений в литературе, он предлагал отказаться от руководства литературой со стороны партии.

Одновременно Бухарин предлагал в области литературной теории и критики допустить равноправие формализма с марксизмом; он даже проповедывал своеобразное «содружество» формалистов и марксистов (можно себе представить, что это были бы за марксисты!), при котором формалистам передоверялось изучать факты, а марксисты должны были лишь делать выводы. Эта бухаринская теория послужила немалым подспорьем для так называемых «форсоцов», т.-е. для эклектиков, пытавшихся объединить формальный и социологический методы изучения искусства.

«Платформа» Бухарина вела линию на ликвидацию пролетарской литературы, на «растворение» ее в буржуазном окружении.

Характерно, что единство Бухарина с Троцким в этой основной цели приводило и к общности отдельных оценок. Подобно Троцкому, Бухарин старался, например, снизить значение творчества Маяковского (что ярко сказалось в его докладе на съезде писателей).

Бухарин изложил свою «теорию» в период принятия резолюции ЦК партии в

1925 г. по вопросам литературы. Партия тогда же отвергла эту теорию; партия вооружила советских писателей идейным оружием учения Ленина—Сталина для борьбы с буржуазными идеями в области литературы, для борьбы против формализма и других извращений, за социалистическое искусство.

Одним из ближайших подручных Троцкого в области литературы являлся Воронский. Полностью разделяя ликвидаторские взгляды своего «шефа», Воронский использовал все возможности для того, чтобы протащить троцкистскую линию в литературе уже после того, как эта линия была отброшена и разоблачена партией.

Одним из примеров использования в интересах контрреволюционного троцкизма творчества колеблющихся писателей является «Повесть о непогашенной луне» Пильняка, клеветническое, злобное произведение, написанное под диктовку Воронского и Радека. Нет никакого сомнения, что и «Красное дерево» Пильняка, полное клеветы на социалистическое строительство, возникло не без влияния Воронского и других троцкистских агентов в литературе.

Вместе с Горбовым Воронский создает так называемую «теорию непосредственных впечатлений». Воронский доказывал, что искусство — это непосредственное, чувственное восприятие мира, в котором сознание не принимает участия и во время которого человека покидают всякие земные заботы, интересы и мысли. Воронский проповедывал в данном случае старую буржуазную теорию интуитивизма.

Наряду с «теорией непосредственных впечатлений» Воронский и Горбов проповедывали «классовый мир» в литературе, призывали к отказу от изображения нашей действительности с точки зрения классовой борьбы и борьбы за социализм. Они предлагали отказаться от разоблачения врага и искать в кулаке «человека вообще». Такой подход к классовым врагам они именовали «гуманизмом». В действительности здесь не было ни грана гуманизма. В условиях капиталистического окружения и ожесточенной классовой борьбы не может

быть жалости и слюнявого гуманизма в отношении врагов социализма, врагов всего трудящегося человечества. «Пожалеть» кулака, спекулянта, предателя родины, врага народа — значит пожалеть волка, который на эту жалость ответит новыми преступлениями и предательствами.

Предавая интересы родины, подлейшие из подлых, шпионы тухачевские, якиры и эйдеманы хотели поставить под угрозу счастье миллионов трудящихся нашей родины.

Так действуют враги народа, и высшим актом гуманизма является уничтожение этих злобных змей, засылаемых в страну социализма фашизмом. Таков пролетарский, социалистический гуманизм. Воронский, Горбов, Ив. Катаев, а за ними и другие «перевальцы» пытались вместо этого подsunуть такое понимание гуманизма, которое было на-руку только классовым врагам, только буржуазии. Они пытались притупить острое оружие социалистического искусства и сделать из советских писателей защитников врагов народа. В соответствии с этими установками Ив. Катаев написал повесть «Молоко», в которой занимался «гуманизацией» кулака, борясь тем самым с лозунгом партии о ликвидации кулачества как класса.

Когда вредительская деятельность Воронского в качестве редактора и критика стала слишком очевидной и была пресечена, он перешел к «художественной» прозе. В своей повести «За живой и мертвой водой» и в ряде рассказов и очерков он еще и еще раз пытался протаскивать троцкистские, контрреволюционные идейки; еще и еще раз хотел посеять сомнения и неверие в строительство социализма в сознании читателей. Если прибавить к этому перевальскому букету еще ряд произведений Зарудина, в которых также нашли свое отражение реакционные антинародные тенденции «Перевала», то станет ясным, какой огромный вред принесла эта воспитанная Воронским группка.

Деятельность различных двурушнических антипартийных групп в литературе, естественно, была связана с той эволюцией, которая совершалась в рядах

троцкистско-зиновьевско-бухаринских бандитских шаек. Так, борьба против партии старых штрейкбрехеров Октября, скатившихся, в конце-концов, в клоаку диверсантов, убийц и шпионов, — Зиновьева и Каменева, — активизировала антипартийную троцкистско-зиновьевскую группу ленинградских критиков и писателей: Г. Горбачева, Майзеля, Штейнмана, Мустанговой, Л. Грабаря, Свирина.

В 1928 году они выступили с альманахом под претенциозным заголовком «Голоса против». Против чего же протестовали авторы альманаха? Они утверждали, что советская литература и критика переживают «разброд», что попутчики в своей массе по общему мировоззрению ниже передового читателя и не могут ему ничего дать нового.

Крича о кризисе советской литературы и критики, они стремились толкнуть писателей на клеветническое изображение нашей действительности. Они всячески выдвигали Л. Грабаря, который, будучи плохим писателем, в то же время наполнял свои произведения сенсационной троцкистской клеветой на партию и советскую действительность. Он старался показать все окружающее в мрачных тонах, всюду найти симптомы разложения и перерождения, и за это Горбачев и другие превозносили его выше небес.

Одновременно они занимались травлей Маяковского и Горького. Так, Горбачев старался уверить читателя, что у Маяковского нет близости к идеологии пролетариата, что он усвоил ленинизм слишком поздно, только поверхностно, что Маяковский пошел назад и т. д. Здесь Горбачев попросту повторял злопыхательство Троцкого по адресу Маяковского.

Горбачев сделал также попытку снизить творчество крупнейшего пролетарского писателя М. Шолохова, именуя его роман «Тихий Дон» «сомнительным».

Таким образом, лучшие произведения советской литературы — романы М. Горького и М. Шолохова и поэзия Маяковского — всячески снижались и опошлялись троцкистско-зиновьевскими

последышами из группы Горбачева, а бездарная, полная гнилостного яда и лжи стряпня Л. Грабаря выдавалась за подлинно высокое искусство! Можно ли придумать большее извращение объективных фактов в угоду контрреволюционным, троцкистско-зиновьевским целям!

Горбачевская группка, обосновавшись в Ленинграде, держала связь с московской группой троцкистов, так называемой «рапповской левой». Сюда входили: Родов, Лелевич, Безыменский и др. В альманахе «Удар», изданном в 1927 году под редакцией Безыменского, наряду с Лелевичем печатается Горбачев и З. Штейнман.

В этих статьях продолжается линия троцкистской клеветы на советскую литературу. Так, Лелевич обвиняет советских писателей в том, что они «разоружились», «духовно демобилизовались»; что мировая революция воспринимается ими как отвлеченная дань программе, а внутри враг не чувствуется ими. Здесь мы без труда узнаем перенесенную в область литературы троцкистско-зиновьевскую контрреволюционную идейку о «перeroждении». Вторя Лелевичу, а также Родову и Кикодзе, Горбачев в свою очередь предлагал создать «левую» федерацию писателей без включения в нее Всероссийского союза писателей (ВСП), т.-е. предлагал отбросить ряд крупнейших советских писателей, как якобы заведомо обреченных и неспособных изменить свое мировоззрение. В этой псевдо-«левой» формулировке Горбачев опять протаскивал троцкистское понимание попутничества.

Обе группы троцкистско-зиновьевской агентуры в искусстве — ленинградская и московская, — именуя себя «левой оппозицией» РАПП'а, якобы вели борьбу с авербаховщиной. Однако на деле вся эта возня и групповая склока только помогали маскироваться всем трем антипартийным группам, помогали им до поры до времени скрывать истинное контрреволюционное содержание своей «борьбы».

В 1930 году происходит объединение всех осколков троцкистско-зиновьевско-бухаринских агентов в литературе под

именем Литфронта. В Литфронте ленинградская и московская группы троцкистско-зиновьевской агентуры — Горбачев, Горелов, Камегулов — с одной стороны, Лелевич, Родов и др. — с другой, объединились с учениками Переверзева — Беспаловым, Зониным, Гельфандом. Между прочим, в Литфронт входили также В. Кин, И. Альтман, П. Рожков и др.

Литфронт создан под вывеской борьбы с РАПП'ом; в действительности же Литфронт стал рупором антипартийной деятельности «право-левацкого блока» Сырцова—Ломинадзе, стал агентурой этого блока в литературе.

Платформа Литфронта была составлена из обрывков писаний прежних троцкистских групп в литературе, из охвостьев теорий Лефа, Переверзева и других антимарксистских течений. Литфронтовцы проповедовали схематизм и лакировку в искусстве; они разоружали советских художников своими «теориями» литературы, отказом от больших, монументальных полотен в пользу агитки.

В этом отношении литфронтовцы вполне сошлись с авербаховцами, которые также выдвигали агитку в противовес большому искусству.

Враги народа получили большой простор в Литфронте, — их принимали здесь буквально с распростертыми объятиями. Враги народа поощряли те ликвидаторские тенденции в отношении большого искусства, которые выявились в Литфронте. Они поощряли и умаление значения реалистического наследия. Наконец, они использовали Литфронт в целях прямой антипартийной борьбы. Особенно отличились в этом отношении двурушник Зонин и враги народа Горбачев и Лелевич.

Разгром право-левацкого блока Сырцова—Ломинадзе вскрыл истинное лицо Литфронта, вскрыл антипартийные махинации некоторых членов этой беспринципной группировки. В конце 1930 года Литфронт распался. Но отдельные группы литфронтовцев продолжали свое вредное дело. Особенно это относится к ленинградской группе, которая была разоблачена окончательно лишь в последнее время.

Одной из наиболее замаскированных и вредоносных групп троцкистской агентуры в литературе являлась, бесспорно, группа Авербаха и К°, окопавшаяся в РАППе и «На литературном посту». В течение ряда лет эта группа жила обманом и ложью, круговой порукой и беспринципной борьбой за руководство в пролетарском литературном движении.

Борьба Авербаха и его приспешников против линии партии началась давно. В 1925 году Авербах выступает с троцкистской клеветой на партию, объявляя наличие кризиса в пролетарской литературе, вызванного якобы... политикой партии. В документе, названном громко «апрельскими тезисами», Авербах имел наглость предлагать Центральному Комитету партии встать на его — авербаховскую — точку зрения, дабы сохранить «монолитность» в литературе. Это самовозвеличение, крики о том, что без Авербаха не будет монолитности и вообще не будет пролетарской литературы, составляют основную черту всей беспардонной саморекламной и вредительской деятельности авербаховской банды.

Когда контрреволюционная теория Троцкого была полностью разоблачена, Авербах срочно «перестроился». От открыто троцкистских выступлений он перешел к двурушнической тактике, к постоянной маскировке, которая и помогала ему скрывать свои истинные намерения. Внешне Авербах даже «критиковал» с невероятным шумом Троцкого и Бухарина, делал вид, будто он защищает партию; в действительности же он насаждал троцкистские идейки в пролетарском литературном движении, отравлял его этими идейками. Так было в частности в вопросе о социалистическом, пролетарском искусстве.

Авербаховщина, питавшаяся охвотками троцкистско-бухаринских контрреволюционных идей, являлась одной из наиболее лицемерных и вредных попыток направить литературу на антипартийный путь, извратить учение Ленина—Сталина о построении социализма в одной стране и создании культуры, национальной по форме и социалистической по содержанию. Авербаховско-

троцкистское отрицание социалистической культуры было разоблачено в ряде статей «Правды».

Авербаховцы подхватили «теорию непосредственных впечатлений» Воронского и пустили ее в широкое обращение под названием «психологического реализма» и лозунга «за живого человека». «Психологический реализм» отрывал писателя от показа реальных процессов классовой борьбы, заставляя его без конца копаться в мелочных переживаниях героев, заниматься бесконечным «самоанализом». А под прикрытием такого самоанализа и психологического ковыряния протаскивались троцкистские идейки.

Наряду с «психологическим реализмом» авербаховцы выдвинули лозунг «за живого человека», в популяризации которого особенно усердствовал Ермилов, являвшийся рупором многих вредных идей авербаховцев. Как же они понимали этот лозунг? По их мнению, нужно искать в каждом человеке и плохое и хорошее, в положительном герое дать отрицательные черты, а в отрицательном — положительные. Выходит, что и в образах врагов надо было копаться в поисках положительного, для того, чтобы создать своего рода баланс отрицательных и положительных качеств.

Понятно, что такая «теория» притупляла оружие пролетарской критики и самокритики, вместо разоблачения врагов она занималась расписыванием врага как «живого человека», вместо выдвижения положительных героев, поднятия их, она предлагала их снижение до уровня того же «живого человека». Причем принципиально и те, и другие уравнивались, и, в поисках живого человека, притуплялось и стиралось различие между положительными и отрицательными образами. Тенденции такого рода широко проявились в романах Либединского и Чумандрина, в пьесах Афиногенова и Киршона. Но не довольствуясь этими «теориями», которые в замаскированной форме вели к идеалистическим методам творчества и к оправданию образов врагов, Авербах и его свора открыто выдвинули троцкистский тезис о перерождении. Авербах воспользовался

некоторыми фактами литературы и поэзии (в частности, стихами Молчанова) для того, чтобы кризис отдельных писателей представить как процесс перерождения, якобы идущий в стране. Показ перерождения и перерожденцев был объявлен основной задачей пролетарской литературы. Верный соратник Авербаха Ю. Либединский написал на эту тему клеветническую пьесу «Высоты», Чумандрин—роман «Родня» и др., а Киршон размазывал в пьесе «Константин Терехин» факты бытового разложения.

В своем стремлении навредить советской литературе, протасить троцкистские идейки Авербах все время пытается захватить вместе со своим окружением монопольное руководящее положение в РАПП'е и в советской литературе. Он не останавливался ни перед какой подлостью, ни перед какой мерзостью для того, чтобы достичь этой цели. Он травил всех, кто вставал на его пути, кто грозил разоблачить его истинную физиономию. Причем такая травля являлась гнуснейшей, наиболее низкой формой борьбы, замаскированной внешне якобы хорошим отношением к человеку, который подвергался травле. Так, например, было в отношении Д. Фурманова. Благороднейший человек, выдающийся писатель и боец, прошедший фронты гражданской войны в качестве комиссара, чуткий большевик — Дмитрий Фурманов почувствовал всю гнилость и весь вред авербаховщины и повел против нее острую борьбу.

Недавно опубликованные выдержки из дневника Фурманова показывают, как много сил стоила ему эта борьба и как подло травил его Авербах со своими подручными. Уже большой, измученный, Фурманов, однако, продолжал бороться, не жалея своих сил, ибо он ясно видел, сколько вреда приносит авербаховщина. В своей иезуитской статейке «О Фурманове и пролетарской литературе» Авербах под видом восхваления Фурманова подсовывает утверждение, будто сила Фурманова в фактичности, а не в художественном обобщении. Авербах пытался дискредитировать Фурманова, противопоставляя ему... Киршона, который даже приблизительно никогда

не достигал и тысячной доли той творческой высоты, на которой стоял Фурманов.

Авербаховщина искажала любые факты, шла на любые инсинуации и переделки только для того, чтобы выдвинуть «своих» людей и дискредитировать людей «неугодных». А Киршон был как-раз своим человеком, был правой рукой Авербаха и его «полпредом» в драматургии. И Авербах не жалел похвал для своего верного приспешника. О пьесе «Рельсы гудят» он писал, что «великолепным» финальным броском «Киршон победил Аристора». В свою очередь подручные Авербаха источали всюду, где могли, неумеренные похвалы своему «вождю», создавали ему «авторитет» и атмосферу поклонения. Так через круговую поруку, через обман, беспардонную ложь и другие средства авербаховская группка пробиралась к руководству литературой. Фурманов не смог довести до конца разоблачения авербаховщины. Но его борьбу продолжили лучшие представители советской литературы и общественности. В 1928 году против авербаховщины, против зашумительской критики, против отталкивания лучших представителей писательской интеллигенции выступил М. Горький. Это выступление, ясное дело, пришедшее не по душе Авербаху и К^о, послужило сигналом к организованной ими подлой травле великого пролетарского писателя.

В стремлении опорочить творчество Горького (в частности, «Жизнь Клима Самгина») Авербах и компания сошлись вполне с Горбачевым и переверзевцами (Беспалов и др.). Они объявили Горького «художником мешанства», отрицали и извращали оценки Ленина, называвшего Горького выдающимся представителем пролетарского искусства, всячески старались поколебать авторитет Алексея Максимовича. Когда же Авербах увидел, что это не удастся, он начал бешено приспособляться, стараясь влезть в доверие к Горькому. Отщепенцы народа, троцкистские выродки теперь ползали перед Горьким, все время держа камень за пазухой. Такова тактика этих мерзких людей.

Не по вкусу авербаховской клике пришелся и Владимир Маяковский, которого товарищ Сталин назвал лучшим поэтом нашей эпохи. Маяковский не раз разоблачал темные делишки авербаховцев и жестоко боролся с лозунгами «живого человека» и «психологического реализма». В изданном в 1929 году сборнике «С кем и почему мы боремся» Авербах пишет, что будто «Маяковский сорвался с высоких лесов строительства» и «не сумел перестроиться до конца»; другими словами, он повторяет злобное шипение своего учителя Троцкого.

Авербаховцы занимались последовательной многолетней травлей основного ядра писателей-коммунистов: Ф. Гладкова, Ф. Панферова, А. Серафимовича и др. Произведения этих писателей, пользующиеся популярностью в широчайших массах читателей, опорачивались или же систематически замалчивались Авербахом и его бандой. Та же тенденция проводилась и в отношении целого ряда других советских писателей.

Авербах и его сторонники проводили настоящую идеологическую диверсию в отношении ряда писателей-коммунистов, критиковавших авербаховщину и борющихся с ней; они стремились вывести этих писателей за пределы литературы, опорочить, дискредитировать, оклеветать их и тем самым внести разложение в ряды социалистической литературы.

Здесь нужно также сказать об отношении к представителям интеллигенции в литературе. Троцкийский выродок Авербах прививал ту точку зрения, что большую часть этих писателей надо оттолкнуть от пролетариата, ибо они не смогут перестроиться и обречены на то, чтобы на определенном отрезке пути отойти от революции. Такие писатели, как А. Толстой, Н. Тихонов, М. Слонимский, Вс. Иванов и многие другие, обливались авербаховцами грязью, именовались «буржуазными писателями» и т. д. И в то же время этим талантливым писателям противопоставлялась та мелочь, которая группировалась вокруг Авербаха, послушно выражая в своих малохудожественных произведе-

ниях его идейки: всевозможные Лузгины и им подобные. Следует отметить также и Овалова, написавшего троцкистский роман «Ловцы сомнений».

Авербах выдвинул провокационный, троцкистский лозунг: «союзник или враг», рассчитанный на раскол в писательских рядах, на отсечение «неудобных», на натравливание одной группы на другую. Этот лозунг в сочетании с «напостовской дубинкой», о которой так много кричали и Авербах и его соратники, являлся одним из наиболее вредных мероприятий авербаховцев.

На IV пленуме РАППа троцкист Селивановский (ныне изгнанный из партии), с одобрения Авербаха и Киришона, направил удар по основному отряду писателей-интеллигентов — А. Толстому, Л. Леонову, Вс. Иванову, Н. Тихонову, М. Слонимскому, К. Федину и др. Та же тактика проводилась Селивановским и Троценко и в отношении поэтов.

Наконец, следует сказать еще об одном лозунге, особенно пропагандировавшемся авербаховцами. Это лозунг «диалектико-материалистического творческого метода». Он был выдвинут после разоблачения лозунгов «психологического реализма» и «живого человека».

Авербаховцы объявили тогда борьбу за «художника материалиста-диалектика» и в этом сошлись, с одной стороны, с литфронтовцами, с другой — с троцкистами от философии типа Карева, врага народа. Авербаховцы утверждали, что писатель, не изучивший категорий диалектики, не может создать пролетарского произведения, что наличие этих категорий есть важнейший критерий ценности произведения. Особенно ухватились за эти формулировки Либединский и Афиногенов.

Партия осудила такое механистическое, вульгарное перенесение категорий и метода диалектического материализма в литературу. Товарищ Сталин выдвинул перед художниками задачу овладения методом социалистического реализма. Именно идя по этому пути, наши писатели, художники, музыканты, работники театра, кино и других областей искусства добились больших успехов.

Авербаховская же трактовка лозунга диалектического материализма в литературе вела к отказу от творческой работы, к уничтожению специфики литературы, к плохим, ходульным произведениям, чаще всего враждебным народу. Между тем именно этот лозунг (наравне с другими вредными положениями) рекламировался авербаховцами, как «генеральная линия РАПП'а».

В период 1930—1931 гг. авербаховская группа спекулирует на «призыве ударников в литературу» и на агитационном искусстве. Авербаховцы культивируют поверхностный очеркизм в противовес большим произведениям, призывая к скороспелому созданию книг (некоторые сборники писались всего по несколько дней). Эта тенденция особенное распространение получила в кино, где орудовал ставленник Авербаха — В. Сутырин.

В то же время авербаховщина насаждала тип писателя, который, иллюстрируя определенное положение наспех выдуманными ситуациями и образами, не изучал материалы и факты, не учился у жизни, как это делал М. Горький или в свое время Л. Н. Толстой.

Так, Афиногенов написал свою пьесу «Далекое», посвященную Дальнему Востоку, даже не побывав на Дальнем Востоке. Откуда же в такой пьесе могли быть правдивые, жизненные характеры и ситуации? Таким же образом Киршон писал свои пьесы «Суд» и «Большой день». Получались в итоге поверхностные «агитки», пьесы, спекулировавшие на актуальных темах, но лишённые глубокого знания жизни и подлинной художественности.

Мы уже говорили о том, как авербаховская банда душила всякую самокритику и критику произведений «своих людей». Ярким примером является то, что статья А. В. Луначарского, резко критиковавшая пьесу Киршона «Суд», в частности, за плохое художественное качество, не могла быть напечатана в течение двух лет. Но если так было со статьёй Луначарского, то сколько же статей менее известных критиков было положено под сукно авербаховцами?

Авербаховцы травили всякого автора неугодного им художественного произведения, статьи или даже газетной заметки. В то же время они не давали в обиду «своих».

Для обстановки подхалимства и полного отказа от самокритики в кругу авербаховцев характерно, например, то, что даже в конце 1931 года, когда Авербаха и его группу резко критиковала «Правда» и руководители комсомола (тов. Косарев), один из приспешников Авербаха, небезызвестный С. Динамов, ныне разоблаченный как троцкист, писал, что работы Авербаха являются ценным вкладом в марксистскую критику.

Но как ни старались авербаховцы оградить себя от критики, их махинации, их вред для развития советской литературы был вскрыт в ряде статей «Правды». В период принятия резолюции ЦК по вопросам литературы партии, разгромив контрреволюционные теории Троцкого и Бухарина, пресекла попытки авербаховско-напостовской группы захватить монопольное положение в литературе.

Авербаховская банда испробовала все средства и приемы борьбы для того, чтобы опорочить критику «Правды» и других газет, в частности выступления тов. Косарева в «Комсомольской правде». Лицемерно соглашаясь с этой критикой на словах, Авербах и его присные старались попрежнему культивировать свои вредные лозунги, дезорганизовывать советское литературное движение, выбрасывая новые провокационные лозунги.

Пытаясь опорочить правильную большевистскую критику «Правды», Авербах и его компания стремились оторвать РАПП от партии, натравить писателей на комсомол. В своих фракционных антипартийных деяниях они дошли до возмутительных вещей, заставляя комсомольцев, членов РАПП'а, во имя «чести рапповского мундира» и «рапповской дисциплины» отказываться от проведения линии партии в литературе. Авербах пытался превратить РАПП в орудие троцкистской контрреволюционной борьбы против Ленинско-

Сталинского Центрального Комитета. Но подавляющая часть пролетарских писателей не пошла за ними, и они остались обанкротившейся злобной группкой, отброшенной от основного ядра литературы.

Решение ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года о перестройке литературно-художественных организаций устранило эту троцкистскую группу от всякого участия в руководстве литературным движением. Устранение авербаховцев из основного ядра советской литературы освежило атмосферу, создало подлинно творческую обстановку, которой не могло быть в условиях РАПП'а.

Но авербаховцы не успокоились. Они стремятся всеми средствами продолжить свою гнусную работу, всеми силами пытаются пролезть в руководство, получить монопольное положение, опираясь при этом на «покровительство» подлых изменников типа Ягоды или на связи с темными дельцами типа Крючкова.

Авербах проникает в редакцию «Истории фабрик и заводов» и здесь, в блоке с троцкистами — Невским, Парадизовым, Зельцером и др., — при поддержке своих старых подручных — Шушканова, Корабельникова и Лузгина — и под покровительством Ягоды вкупе с Крючковым создает плацдарм для антипартийной, контрреволюционной деятельности. Аппарат, возможности и средства «Истории фабрик и заводов» они использовали для поддержки определенных групп писателей, для внесения раскола в союз писателей, для вредительской деятельности.

В период подготовки к съезду писателей авербаховцы начинают через «Литературную газету», используя ее редактора Болотникова, действовавшего по указке Крючкова, в свою очередь инспирированного Авербахом, бить основное ядро писателей-коммунистов.

Таким образом, Авербах и его банда, с одной стороны, стремились дискредитировать руководящую группу писателей для того, чтобы самим пробраться к руководству, с другой — пытались привлечь на свою сторону более неустойчивую группу писателей. Для

последней цели была, в частности, использована работа над сборником о Беломорстрое. В этот же период времени появилась в «Литературной газете» статья Мирского, направленная против Фадеева. В этой статье Мирский делал попытку выбросить Фадеева из истории советской литературы, утверждая, что своего теперешнего уровня советская литература достигла без участия Фадеева.

Как потом выяснилось, эта клеветническая статья, направленная против одного из крупнейших пролетарских писателей, была инспирирована Авербахом; непосредственное руководство написанием статьи вплоть до ее правки осуществляли Ясенский и Корабельников. Для двурушнической тактики авербаховцев характерно, что Корабельников, подсказывавший Мирскому установки статьи, в своих публичных выступлениях высказывал прямо противоположную точку зрения.

«Друзья» Авербаха неустанно работали над вопросом «возвращения» Авербаха в литературу. Особенно отличался в этом Киршон. Будучи старым соратником Авербаха, разделяя его установки и мероприятия, Киршон после 23 апреля 1932 года взял на себя задачу сохранения авербаховских кадров и занятия руководящего положения в секции драматургов союза писателей. Будучи редактором журнала «Рост», Киршон в период после решения ЦК группирует в журнале таких верных помощников Авербаха, какими являлись Трощенко, Селивановский, Коваленко, Макарьев и др.

Таким образом, наряду с фактическим оформлением параллельного литературного центра, в котором главную роль играли Авербах, Киршон, Ясенский и др., сохраняются остатки напоустовской авербаховской групповщины. Одновременно с этим «собранием кадров» вокруг «Роста» Киршон захватывает управление по охране авторских прав. Подобно Авербаху, он использует возможности этого учреждения для воздействия на драматургов, для их обработки в желательном авербаховской банде направлении.

Следующей базой авербаховцев был журнал «Театр и драматургия», редактировавшийся Афиногеновым. Здесь подвизался ныне расстрелянный террорист Пикель.

В этом журнале печатался и последний право-левацкий блок А. Зонин. Часть авербаховцев вместе с остатками троцкистских группок «Перевала» и Литфронта окопалась в журнале «Наши достижения», идейным шефом которого был сам Авербах, а опекуном Крючков.

«Авторитет» Авербаха стоял высоко в глазах всего этого охвостья, собравшегося в «Наших достижениях». Фактический редактор журнала Бобрышев пытался даже проиллюстрировать это раболепие перед Авербахом, поместив в журнале снимок, изображающий троцкистского мерзавца на отдыхе. В «Наших достижениях» рекламировались очерки И. Катаева, превозносились «литературные таланты» врага народа Радека и с ученым видом исследовались бездарные писания авербаховского холопа Шушканова.

В своей подлой, подрывной работе против линии партии авербаховцы шли одним путем с кулацкими террористами типа П. Васильева, со шпионами, целый букет которых оказался вокруг того же Ясенского, с негодяями и террористами типа Пикеля и т. д. Это и понятно, ибо сами авербаховцы скатились к явной контрреволюции, к уголовным преступлениям. Пойманные с поличным, они вызвали величайшее презрение со стороны массы советских писателей. И можно только радоваться, что органы советской власти воздали должное этим вырождакам троцкизма.

Наряду с авербаховской бандой усиленное внимание к вопросам литературы и искусства в период после 1932 года проявили враги народа — Бухарин и Радек.

В докладах на съезде писателей в 1934 году они пытались дезориентировать советскую литературу. Бухарин всячески старался снизить значение Маяковского, выбросить из советской поэзии Д. Бедного, противопоставив им Пастернака и др. поэтов, не принимаю-

щих нашей действительности или принимающих ее с оглядкой. Он непомерно расхвалил также Сельвинского, пьеса которого «Умка — белый медведь» вызвала заслуженный резкий протест представителей народа чукчей, облик которого клеветнически искажен в пьесе. В свою очередь К. Радек искажил перспективу развития революционной литературы на Западе, сознательно замолчал творчество ряда подлинно революционных и талантливых писателей.

Не довольствуясь этим, Бухарин вкупе с врагом народа Славинским, заправлявшим делами во «Всекохудожнике», покровительствовал попыткам создать контрреволюционное произведение в живописи (картина Корина «На паперти Успенского собора», на которую были истрачены врагами народа десятки тысяч государственных средств). В своем отзыве о выставке 15-летия Красной Армии Бухарин хвалил и выдвигал вредную по своей трактовке картину Н. Михайлова — «Восстание спартаковцев».

Врагам народа не удалось разложить и обезоружить советскую литературу, несмотря на всю их бешеную подрывную работу. Но все же кое-чего они достигли, причем достигли в первую очередь благодаря идиотской беспечности ряда руководителей тех или иных участков литературы, издательств, журналов, союзных организаций и др. Конечно, враги народа вели свою работу, маскируясь, приспособляясь к условиям. Но разве при настоящей большевистской бдительности нельзя было во-время раскрыть и пресечь преступные махинации троцкистско-зиновьевско-бухаринского охвостья и прочих врагов народа? Конечно, можно было это сделать.

В своей речи на общемосковском собрании драматургов тов. Ставский сказал: «Из дела Авербаха каждый из нас должен сделать все выводы. Внутри РАППа против Авербаха шла борьба? Шла. Сигналы о вредной деятельности Авербаха привели к тому, что ЦК партии обратил внимание на положение в РАППе, обсудил все эти вопросы. РАПП была ликвидирована. У

нас была радость, сплошное ликование. Но в этом сплошном ликовании многое было упущено. Мы забыли об Авербахе, как о человеке, насквозь враждебном, способном на всякие гадости. Мы не представляли, что Авербах организует свою группу для того, чтобы атаковать решения ЦК партии». Тов. Ставский констатирует отсутствие необходимой большевистской бдительности в отношении преступной деятельности Авербаха и его шайки. Но если этой бдительности не было в достаточной мере в руководстве союза писателей, то ее не было и в таких важных звеньях литературной практики, как журналы и издательства.

Руководители таких журналов, как «Наши достижения», «Красная новь», «Новый мир», «Молодая гвардия», не говоря уже о закрытом ныне журнале «Театр и драматургия», проявили идиотскую беспечность, которую использовали враги народа.

Редакция «Молодой гвардии» напечатала в журнале, предварительно разрекламировав, «произведение» матерого шпиона и агента гестапо Борна, хотя в этом, с позволения сказать, произведении — шпионском автопортрете — было немало «странностей», мимо которых не могла бы пройти подлинно бдительная редакция.

Не было проявлено необходимой бдительности и в отношении книги Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Фашистский шпион Домбаль рекламировал эту книгу, как одно из «самых значительных произведений в советской литературе за последние годы». Редакторы (роман печатался сначала в «Новом мире», затем издан в ГИХЛ'е) и критики приняли за чистую монету ловкую маскировку, которую использовал в своем произведении Ясенский. На этом примере видно, насколько еще поверхностно подходит зачастую к оценке произведений наша критика. Если в романе есть строительство, борьба за темы, благополучный конец, если в нем кто-то «перерождается» (даже не перерождается, а просто «меняет кожу», т.е. внешне приспособляется), то критик уже вполне удовлетворен.

Спрашивается: могли ли наши редакторы и критики разглядеть внутреннюю враждебность этого романа, если бы они подошли к нему вдумчиво и во всеоружии большевистской бдительности? Само собою разумеется, могли! Но, к сожалению, многие наши редакторы и критики болели (а некоторые еще и сейчас болеют) идиотской болезнью беспечности и ротозейства. Обстановка околосредственной парадной шумихи и славословия немало способствовала развитию этой идиотской болезни.

Советская литература, как и другие виды искусства, добилась за последние годы, благодаря вниманию и руководству со стороны партии, значительных успехов.

«Жизнь Климса Самгина» и пьесы Горького, «Поднятая целина» Шолохова, «Энергия» Гладкова, «Последний из Удэге» Фадеева, «Как закалялась сталь» Островского, «Творчество» Панферова, «Петр I» Алексея Толстого, «На Востоке» Павленко, «Пушкин» Тынянова, «Капитальный ремонт» Соболева и многие другие произведения лучше всего говорят об этом росте. Для советских писателей созданы такие условия творчества, каких нет ни в одной стране мира. Товарищ Сталин, назвавший писателей инженерами человеческих душ, лично уделяет самое большое внимание вопросам литературы и нуждам писателей.

Успехи советской литературы, создание ряда произведений, заслуживших любовь миллионов читателей, вскружили голову некоторым руководителям литературного фронта, редакторам и критикам.

В своем докладе на мартовском пленуме ЦК ВКП(б) «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» товарищ Сталин говорил:

«Но есть другого рода опасности, опасности, связанные с успехами, опасности, связанные с достижениями... Опасности эти состоят в том, что у людей, мало искушенных в политике и не очень много видавших, обстановка успе-

хов — успех за успехом, достижение за достижением, перевыполнение планов за перевыполнением, — порождает настроения беспечности и самодовольства, создает атмосферу парадных торжеств и взаимных приветствий, убивающих чувство меры и притупляющих политическое чутье, размагничивает людей и толкает их на то, чтобы почитать на лаврах.

Неудивительно, что в этой одуряющей атмосфере зазнайства и самодовольства, атмосфере парадных манифестаций и шумливых самовосхвалений люди забывают о некоторых существенных фактах, имеющих первостепенное значение для судеб нашей страны, люди начинают не замечать таких неприятных фактов, как капиталистическое окружение, новые формы вредительства, опасности, связанные с нашими успехами и т. п.» (И. Сталин. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»).

Настроения беспечности и самодовольства, атмосфера взаимных приветствий и лести нашли широкое распространение в литературе. А эта обстановка была выгодна врагам народа.

Чем, например, отличались статьи Пикеля? Они отличались безудержной лестью, подлаживанием под того, о ком писалась статья. Подобные мерзавцы чувствовали себя привольно в обстановке благодушия, притупления бдительности и лести, созданной в редакциях некоторых журналов, как это было в «Наших достижениях», «Новом мире», «Красной нови», «Молодой гвардии» и др. Бывший редактор «Нового мира» И. М. Гронский, потеряв бдительность и играя в мецената, на деле стал ширмой для враждебных групп, предоставив страницы своего журнала врагу Пикелю и покровительству кулацкому поэту-террористу Павлу Васильеву. Гронский напечатал также роман фашистского агента И. Макарова, дававшего злобно-клеветническую картину социалистического строительства.

А разве нельзя было, при наличии бдительности и тщательном изучении

поступающих рукописей, вскрыть порочную основу этих произведений? Обратной стороной этой беспечности являлось отсутствие в журнале статей, разоблачающих врагов народа в литературе, замалчивание годовщины решения ЦК партии о перестройке литературно-художественных организаций.

Такую же идиотскую беспечность проявил и В. Ермилов, редактировавший «Красную новь». Здесь печатались Трощенко и Селивановский, которые своими «критическими» статьями дезориентировали советскую литературу; здесь нашли себе приют враги народа И. Катаев, Мазнин и террорист Ваганян.

Уже одно это перечисление показывает, насколько широкий доступ врагам народа открыли ротозеи из «Красной нови».

Вместо того, чтобы проявлять большевистскую бдительность, редакторы «Нового мира» и «Красной нови» затеяли «междоусобную» войну, всячески изолируясь в том, чтобы «подковырнуть» друг друга. А между тем, пользуясь этой обстановкой, враги печатали свои гнусные пасквили в обоих журналах. Ругая в «Новом мире» «Красную новь» и наоборот, они зарабатывали этой лестью и подхалимством доверие близоруких редакторов-ротозеев.

В этой лесги особенно усердствовала группа перевальских и рапповских последышей, окопавшихся в журнале «Наши достижения». Так, Н. Зарудин писал: «Я знаю только один вид творческих коллективов, работающих с пользой для дела и для авторов, — это бригады журнала «Наши достижения». Ему вторит Л. Овалов, который пишет о редакции «Наши достижения»: «Я знаю, что эта редакция будет ко мне чрезвычайно требовательна, но вместе с тем она вместе со мной будет с подлинной творческой страстью бороться за создание полноценного и высококачественного произведения». Эта явная лесть настолько обволокла сознание редактора (В. Бобрышева), что он пропускает подленькую клевету Овалова

на любимого писателя народов Советской страны — Н. Островского.

Таковы некоторые примеры гнилого либерализма и утери бдительности у бывших руководителей журналов, позволивших врагам народа использовать эти журналы как трибуну для клеветы, как место для протаскивания своих контрреволюционных взглядов.

Выше уже приводились примеры такой же беспечности и со стороны критики. На этом моменте надо остановиться более подробно.

Враги народа культивировали особую «теорию», которая должна была притупить оружие большевистской литературной критики. Эта теория идет от Троцкого. В период борьбы с линией партии в вопросах литературы, перед принятием резолюции ЦК партии (1925 г.) Троцкий, наряду с ликвидаторской «концепцией» в отношении пролетарской литературы, развил такую же ликвидаторскую «концепцию» и в отношении критики.

Он заявлял, что в наше время не может быть Белинских. В наших условиях, дескать, Белинский был бы только политиком и не занимался бы литературной критикой. Эта насквозь лживая «концепция», заранее прививавшая мысль, что в наших условиях может быть только средняя или плохая критика, что советских Белинских не может быть, — построена на грубейших передержках.

В наших условиях роль критики особенно ответственна. Для того, чтобы правильно и глубоко оценивать и разбирать произведение, для того, чтобы верно указать пути становления социалистического реализма в литературе, для того, чтобы воспитывать писателей и миллионы читателей, — критика должна стоять на высоком уровне, именно на том уровне, на котором стояла для своего времени критика Белинского.

Нам нужны и у нас будут советские Белинские, выдающиеся критики — борцы за социалистическое искусство, обладающие авторитетом в глазах писателей и огромной массы читателей.

Пренебрежительное отношение к критике, теориейки насчет того, что в наше время не может быть Белинских, что перед советской критикой не могут стоять большие проблемы — на-руку, прежде всего, врагам народа. Эти тенденции вели к тому, что воспитательная работа с критиками была заброшена, что журналы не помещали критического разбора даже тех произведений, которые печатались в данном журнале, и что ряд вредных явлений в критике, в частности, славословие, подхалимство и т. д., не были своевременно разоблачены.

Чем должна отличаться подлинная большевистская критика? Она должна прежде всего отличаться высокой политической сознательностью и правдивостью. Авербаховщина в свое время насаждала в критике кумовство и групповщину, стремление хвалить «своих» людей, хотя бы они и были плохими писателями. Авербаховщина означала приспособленчество в критике, конъюнктурные, поверхностные оценки.

Есть до сих пор и другого рода «критика», которая сильна, как говорят, задним числом. Вот один из примеров такого рода «критики». И. Альтман неоднократно в последнее время подвергал резкой критике «драматургию» Киршона и Афиногенова. Можно подумать, что он всегда знал и видел фальшь и вредность их творчества, халтурность ряда их пьес, искажение в них облика советских людей и т. д. Но вот что писал тот же Альтман в статье «Творчество Киршона»: «Отличие Киршона от ряда других художников заключается в том, что он выступил с художественными произведениями, имея вполне определенное коммунистическое мировоззрение». «Константина Терехина» (первую пьесу Киршона, протаскивавшую троцкистскую клевету на советскую молодежь) Альтман называет «значительным событием», «Рельсы гудят» являются, по его мнению, «большим вкладом в пролетарскую драматургию». В «Городе ветров», по словам Альтмана, «Киршону удалось подняться на большую высоту, чем до сих пор, преодолеть натурализм преды-

дущих пьес, нащупать новый метод творчества, новый стиль».

Еще более восторженно оценивает он пьесу «Хлеб». Прочтя все это, мы можем спросить: а где же здесь, собственно, критика? Разве это подхалимство не превращает бездарного Кирсона в «советского Шекспира», нашедшего новый стиль (1). И. Альтман, очевидно, не понимает того, что подобные опусы не имеют никакого отношения к большевистской критике! А между тем разве два-три года назад (когда впервые появилась эта статья Альтмана, впоследствии переизданная им в сборнике статей о драматургии) нельзя было увидеть пороки киршиновской «драматургии» и вскрыть их?

Или еще один пример. В течение долгого времени в Театре революции шла пьеса Сельвинского «Умка — белый медведь». Немало драматургов, писателей и критиков смотрели эту пьесу. Некоторые из них весьма восторженно отзывались о ней. Но вот группа чукчей, собравшись в Москве, решила посмотреть пьесу, посвященную их народу. Они увидели возмутительный пасквиль на народ чукчей. Мало того, что в ней перепутаны все события, в этой пьесе злобно извращены быт и нравы Советской Чукотки.

Нужно было полное притупление бдительности и критического чутья, чтобы благодушно пройти мимо фокусов Сельвинского.

Ярким примером притупления бдительности являются также оценки кулацких стихов Павла Васильева. Контрреволюционное нутро этого фашиста явно выпирало в хулиганских скандалах и дебошах, которые он устраивал. А. М. Горький в свое время предупреждал, что от этих скандалов, хамства, антисемитизма — один шаг до открытого фашизма. Он оказался прав. А что делала критика? Некоторые критики, например, Е. Усевич, носились с Васильевым, как с писаной торбой. Еще в 1934 году Усевич возвестила, что П. Васильев «отчалил» от своих кулацких берегов, что он «вступил на второй путь» — к революции, к пролетариату.

Можно ли было говорить так на основании объективного анализа творчества Васильева? Ни в коем случае. Внешне приспособляясь и маскируясь в отдельных местах своих произведений, Васильев, по существу, шел одним путем протаскивания через поэзию кулацко-фашистской идеологии. Не говоря уже о прежних его вещах, в 1936 году он публикует стихотворение «Принц Фома», где поэтизирует кулацкие восстания и кулацких «вождей» эпохи гражданской войны. Так отвечал Васильев на близорукие прогнозы некоторых критиков, уверявших, будто он «отчалил» от кулацких берегов. Вероятно, Васильев немало смеялся над вреднейшими статьями Усевич, в которых этот гнусный бандит выступал как поэт, ищущий путей к революции. Не к революции, а к контрреволюции лежал его путь!

Таковы некоторые факты утери бдительности в литературной критике. Необходимо, основываясь на этих фактах, со всей серьезностью поставить вопрос о подлинно большевистском воспитании советских литературных критиков, дабы научить их распознавать врагов народа, как бы хитро они ни маскировались.

Одним из явлений, помогающих врагам народа прятаться в литературных рядах и делать свои темные делишки, является моральная неустойчивость и скатывание к бытовому разложению отдельных писателей и работников литературного фронта.

Известно также, какую роль играло моральное и бытовое разложение в авербаховской шайке. Рвачество Кирсона, потеря им всяких моральных устоев; низость Афиногенова, который искал всеми путями покровительства Ягоды; карьеризм этих двух достойных соратников Авербаха, подозрительная дружба их с Крючковым, — все это характерные примеры аморальности и бытового разложения троцкистских последышей.

Вот почему борьба за высокий моральный облик советского писателя, за то, чтобы его слова не расходились с делами, является одной из задач всей писательской общественности.

В докладе на мартовском пленуме ЦК ВКП(б) товарищ Сталин говорил:

«... Основным методом троцкистской работы является теперь не открытая и честная пропаганда своих взглядов в рабочем классе, а маскировка своих взглядов, подобострастное и подхалимское восхваление взглядов своих противников, фарисейское и фальшивое втаптывание в грязь своих собственных взглядов». (И. Сталин. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников»).

В литературе тоже прошло время, когда троцкисты осмеливались более или менее открыто высказывать свои взгляды. Напротив, они в своих произведениях стараются втоптать в грязь свои собственные взгляды только для того, чтобы заслужить доверие. Так действовал разоблаченный враг народа Амаглобели.

Но ни Амаглобели, ни Киршон, ни Афиногенов не давали и не хотели давать в своих пьесах подлинного разоблачения врагов народа, троцкистских последышей. Благополучие и лакировка их пьес не мобилизовывали на борьбу, не вооружали бдительностью, а, наоборот, прививали настроение благополучия, успокоенности, почивания на лаврах. Уже эта черта могла бы дать известную нить для критики.

Но даже, если бы не было и этой черты, если с точки зрения внешней все в произведении обстоит благополучно, то нашей задачей является дать полный и глубокий анализ произведения, который показал бы, правдиво ли оно в самом своем существовании, или же за внешним приспособленческим лаком кроется лживая сущность. Враг, приспособляющийся к чуждым ему взглядам, описываю-

щий действительность, которую он ненавидит и которую должен хвалить лишь в целях маскировки, никогда не сможет достичь подлинной правдивости в искусстве. В его произведении так или иначе, в той или другой форме, выступит фальшь, мимикрия. Поверхностная критика, естественно, пройдет мимо этой фальши и примет ее за чистую монету, но настоящая, большевистская критика должна уметь вскрыть маскировку. Критика должна уметь разобрать каждую деталь, каждую черту, даваемую автором.

Опыт борьбы с врагами народа показывает, что нет такой подлости, на которую бы они не пошли в своих низких и преступных целях, нет такого способа маскировки, которого бы они не испробовали. Но мы имеем в своих руках такое могучее оружие, как учение Ленина—Сталина, о которое разбилось все происки врагов народа—троцкистских, зиновьевских и бухаринских бандитов. Но для того, чтобы овладеть искусством большевистской бдительности и поразить врагов, выкорчевать до конца их корни, надо выжечь идиотскую болезнь беспечности и ротозейства, которая еще имеет место в литературе, надо усилить работу по большевистскому воспитанию писателей и литературно-критических кадров. Только идя этим путем, мы выполним указания товарища Сталина и будем разбивать всех и всяческих врагов в литературе—«...будем их разбивать в будущем так же, как разбиваем их в настоящем, как разбивали их в прошлом»¹⁾.

¹⁾ И. Сталин. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».

М. ГОРЬКИЙ И ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Ан. Волков

Горький всегда высоко ценил культурное наследие прошлого. Он постоянно призывал молодых писателей к учебе у классиков, считая их творчество образцом подлинного искусства. В своих многочисленных статьях и высказываниях о советской литературе Горький делает экскурсы в литературу прошлого, находя в ней много поучительного для наших писателей. Великое литературное наследие классиков, по мысли Горького, не только «история», но также живое действующее оружие в строительстве художественной культуры социализма.

Горький неоднократно выступал против нигилистического подхода к старой культуре. «Читайте почаще Пушкина, — писал Горький в письме к Д. Семеновскому, — это основоположник поэзии нашей и всем нам всегда учитель. Тем, кто кричит, что Пушкин устарел, не верьте, — стареют формы, дух же поэзии Пушкина нетленен, и в поэзии надо быть хоть немного историком, т.-е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера». В своей оценке старой художественной культуры Горький опирается на ленинское учение, неоднократно напоминая и цитируя слова Владимира Ильича об освоении культурных богатств прошлого. Статью о «Библиотеке поэта», ставящей перед собой задачу ознакомления писателей и читателей с историей поэзии, Горький заканчивает следующими знаменательными словами: «Библиотека поэта» ставит целью своей познакомить молодежь с историей русской поэзии и дать начинающим поэтам материал для технической учебы. Кончу заметки эти словами В. И. Ленина, — я взял их из книжки «Ленин об искусстве», изд. Кубуч., 1926 г. «Почему нам нужно отказываться от истинно прекрасного как от исходного пункта для дальнейшего развития, — только потому, что оно старое?».

Этот отказ от «истинно прекрасного как от исходного пункта для даль-

нейшего развития» Владимир Ильич назвал «бесмыслицей, сплошной бесмыслицей». А он, — Ленин, — революционер небывалого гигантского размаха, и он — основоположник новой, социалистической культуры. Его могучий разум, всегда заключенный в простые, ясные слова, предупредил нас путь к новой культуре и учил технике строительства ее».

Эти слова Горького направлены против всякого рода нигилистов и упрощенцев или, по выражению Горького, «бессознательных вредителей в области культурной работы», договорившихся, например, до того, что «художественная литература реакционна по своей природе». В теоретических взглядах и в художественной практике Горького нашли свое яркое воплощение слова Ленина о том, что «только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру». Это положение Ленина ярко подтверждает вся художественная деятельность великого социалистического писателя. Творчество Горького — это мост, соединяющий наследие классиков с художественной культурой социализма. И в теории, и в практике Горький выступает против так называемых «специалистов по пролетарской культуре» — разного рода меньшевистствующих литературоведов и их пролеткультовских и рапповских эпигонов, пытавшихся изолировать пролетарскую культуру от мировой культуры, законсервировать ее в узкозамкнутом кружке и тем самым обречь на вымирание. Подлинные истоки пролетарской литературы, по мысли Горького, лежат в мировом классическом искусстве. Вместе с тем Горький всегда предостерегал от эпигонства и подражательства, и в своем художественном творчестве он показал образцы критического подхода к культуре прошлого, выступив смелым новатором, основоположником искусства нового типа — искусства социализма.

В многочисленных литературно-критических работах Горького указывается правильный путь освоения художественного наследия. В них вместе с тем заключена стройная историко-литературная концепция, дающая правильные ориентиры советским историкам литературы. Эта концепция Горького своим острием направлена против вульгарного социологизма, занятого раскладыванием художественных творений прошлого по изобретенным «социологическим полочкам», совершенно выбрасывающего из поля своего зрения народ как активный фактор в истории мировой литературы.

Народность для Горького является важнейшим критерием ценности и содержательности искусства. Как тот или иной писатель выразил в своем творчестве мысли, чаяния и голос своего народа, его передовые стремления в борьбе за социальные освобождение и прогресс, — вот та мерка, с которой Горький всегда подходит к явлениям истории литературы. Подлинное искусство всегда народно. Таково искусство классиков, искусство, созданное писателями буржуазии в лучшую пору бытия этого класса, когда он выступал знаменосцем прогресса, идеалов свободы и просвещения, выразителем интересов широких масс. И, наоборот, искусство господствующих классов эпохи их заката, распада характеризуется антинародностью. Оно отворачивается от народа ради корыстных интересов своего класса, группы, их низкой «политики», культивирует литературщину и узко-профессиональную замкнутость. «Когда, опираясь на силу народа, — пишет Горький, — мещанство победило феодалов, а народ немедленно и настойчиво потребовал от победителей удовлетворения своих реальных нужд, мещанство испугалось, видя перед собой нового врага, — старая сказка, вечно и все чаще обновляемая мещанином».

Дальнейшим этапом «развития», вернее, деградации искусства господствующих классов является модернизм, декаданс и, наконец, человеконенавистническое расовое «искусство» современного фашизма. Так постепенно буржуазная литература, как и сама буржуазия, не-

когда опирающаяся на силу народа, отворачивается от народа, приходит к своему распаду. Таким образом, в понимании Горького народ является не только темой писателя, но и фактором, определяющим главное существо его творчества. Горький высоко расценивает творчество еврейского поэта Х. М. Бялика именно потому, что «сквозь сердце Бялика прошли все муки его народа, и сердце поэта глубоко измучено, как большой колокол». (М. Горький. Материалы и исследования, том I, стр. 93).

Горький придает огромное значение устному народному творчеству в истории искусства. Он разрушает ту стену, которую воздвигало буржуазно-дворянское литературоведение между народным и письменным, профессиональным творчеством. Народ — активная сила в истории искусства. В докладе на 1-м съезде советских писателей Горький говорил: «Я снова обращаю ваше внимание, товарищи, на тот факт, что наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством трудового народа». Устное творчество, по мнению Горького, имеет свои известные преимущества перед письменной литературой. «Очень важно отметить, что фольклор совершенно чужд пессимизму, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно — рабский труд их был бессмыслен эксплуататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но при всем этом коллективу как бы свойственны сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами».

Устное народное творчество оказало огромное благотворное влияние на письменную литературу, на творчество великих художников прошлого. «Милтон и Данте, Мицкевич, Гете и Шиллер возносились всего выше тогда, когда их окрыляло творчество коллектива, когда они черпали вдохновение из источника народной поэзии, безмерно глубокой, неисчислимо разнообразной, сильной и мудрой». И Горький утверждает, что наиболее совершенные образы письменной литературы «были созданы коллективными силами народных

масс». Эти слова Горького дают новую установку советскому литературоведению, дают ключ к правильному пониманию явлений истории литературы и роли народа в ней. Они заставляют нас по-новому осмыслить фольклор в общей историко-литературной перспективе, тем самым они ставят проблему изучения фольклора на действительно научную основу.

В недавно опубликованной работе о Пушкине Горький видит одну из главных заслуг великого русского поэта в том, что он «был первым русским поэтом, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая — в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов».

И в этом отношении Пушкин является смелым новатором, как и в создании реализма. «Поэты до Пушкина, — замечает Горький, — совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем». В своих многочисленных высказываниях о Пушкине Горький преклоняется перед великим национальным гением. Именно Горькому принадлежит та классическая оценка Пушкина, которая ныне является общепризнанной: «Великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», — автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», — поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувств и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы».

Говоря о народности Пушкина, Горький противопоставляет ее «государственной идее народности», под флагом которой выступали славянофилы и всякого рода официальные реакционные идеологи. Горький прозорливо увидел в творчестве Пушкина величайшую любовь к своей родине, к своему народу даже тогда, когда поэт, доведенный до отчаяния, обращался к ним со словами гнева, тоски.

Сам Горький, подобно своему гениальному предшественнику, показал подлинную любовь к русскому народу, чу-

ждуя в то же время какого бы то ни было национализма. Этой горячей любовью проникнуто письмо Горького к Анатолю Франсу, написанное в 1914 г., в разгар мировой войны, в связи с созданием во Франции Общества друзей русского народа, этой горячей любовью проникнуто все художественное творчество и вся публицистика великого писателя, искренно восхищенного героизмом советского народа, строящего бесклассовое коммунистическое общество.

Любовь Горького к своему народу соединена с подлинным пролетарским интернационализмом. Горький горячо любит и высоко ценит литературу своего народа. Он всегда с гордостью говорит о русской литературе, занимающей почетное место в истории мировой культуры. «В истории развития литературы европейской наша юная литература представляет собой феномен изумительный; я не преувеличу правды, сказав, что ни одна из литератур Запада не возникала к жизни с такой силой и быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром признанных книг, никто не творил столь дивных красот, при таких неопишимо тяжелых условиях. Это незыблемо устанавливается путем сравнения истории западных литератур с историей нашей; нигде на протяжении неполных ста лет не появлялось столь яркого созвездия великих имен, как в России, и нигде не было такого обилия писателей «мучеников», как у нас».

Огромная прогрессивная роль русской литературы усиливается тем обстоятельством, что она на протяжении многих десятилетий в условиях царского деспотизма являлась трибуной передовой прогрессивной мысли, тогда как все иные легальные пути борьбы с идеологией реакции были закрыты. «Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами, как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы великой красоты и силы, сердца святой чистоты — умы и сердца истинных художни-

ков. И все они правдиво и честно, освещая понятное, пережитое ими, говорят: храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его!». Именно в России, зажатой крепостничеством и царизмом, с особой силой сказались идейно-воспитательное, морально-просветительское значение художественной литературы. Вслед за великими критиками-просветителями XIX века — Белинским, Добролюбовым, Чернышевским — Горький ценит в художественной литературе, прежде всего, идейность. Он требует от литературы служения обществу, культурному прогрессу своей страны, содействия повышению жизнедеятельности коллектива и воспитания воли к борьбе с социальным гнетом и стихийными силами природы.

В литературе декаданса Горький видит отказ от этих высоких идеалов и, как следствие этого, «упадок социальной этики, понижение самого типа русского писателя» («Разрушение личности», 1908 г.). В истории русокой литературы XIX века Горький резко критикует и осуждает те течения и идеи, которые уводят в сторону от общественно-прогрессивных задач, проповедуют пассивизм и смирение, социальный анархизм и непротивленчество, чистое искусство и индивидуализм. Появление этих нездоровых течений и идей находится в неразрывной связи с общим процессом разрушения личности, происходящим в результате упадка и вырождения буржуазии. Это сказалось, прежде всего, в росте индивидуализма. «Росла всеразделяющая частная собственность, обостряя отношения людей, возникли непримиримые противоречия; человек должен был напрягать все силы на самозащиту от поглощения бедностью, на охрану личных своих интересов, постепенно теряя связь с племенем, государством, обществом». Горький считает, что личность сама по себе, «вне связи с коллективом, вне круга какой-либо широкой, объединяющей людей идеи», враждебна развитию жизни, инертна, консервативна. Разрушение личности, культ индивидуализма достигли своего апогея в эпоху империализма,

что нашло свое яркое выражение в искусстве буржуазного декаданса. Горький видит предшественников современного ему модернизма в некоторых реакционных идеях XIX века, утверждающих терпение и непротивленчество как нормы социального поведения. Реакционные проповедники пассивизма и индивидуализма ведут свою родословную от карамазовщины и каратаевщины. Алеша Карамазов, по словам Горького, «вовсе не скромный герой», как его рекомендовал автор, а весьма заметная величина, жив до сего дня и подвизается на поприще цинизма под псевдонимом: В. Розанов. В статьях «О карамазовщине» и «Еще о карамазовщине» Горький, протестуя против постановки Художественным театром инсценировки «Бесов», устанавливает идейное созвучие с современным литературным распадом, возрождение в литературе и театре идей Достоевщины. Указывая, что постановка пьес Достоевского будет еще способствовать духовному распаду и моральному вырождению, Горький восклицает: «Не Ставрогиных надобно ей показывать теперь, а что-то другое. Необходимо проповедь бодрости, необходимо духовное здоровье, деяние, а не самозерцание, необходим возврат к источнику энергии — к демократии, к народу, к общественности и науке».

Противопоставляя духовно больного Достоевского здоровому Пушкину, Горький формулирует общий принцип нашего подхода к наследию прошлого. «Перед нами, — пишет он, — огромная работа внутренней реорганизации не только в социально-политическом смысле, но и в психологическом. Мы должны тщательно пересмотреть все, что унаследовано нами из хаотического прошлого, и, выбрав ценное, полезное, — бесценное и вредное отбросить, сдать в архив историй. Нам больше, чем кому-либо, необходимо духовное здоровье, бодрость, вера в творческие силы разума и воли». Горький всегда ставит вопрос, нужно ли и полезно ли данное произведение с точки зрения социальной педагогики. Здесь он продолжает линию критиков-просветителей.

К проблеме Пушкин — Достоевский Горький неоднократно возвращается в связи с вопросом о наследии прошлой культуры. В статье «О литературе» (1933 г.) он писал: «Я предпочел бы, чтобы «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным, ибо колоссальный и универсальный талант Пушкина — талант психически здоровый и оздоравливающий».

Вместе с карамазовщиной Горький отвергает каратаевщину как разновидность той же реакционной проповеди пассивизма, общественного бездействия. Он видит в словах Л. Толстого «самоусовершенствуйся», «не противься злу насилем» — «что-то подавляюще уродливое и постыдное». Преклоняясь перед гениальностью Толстого и Достоевского, Горький замечает: «Но однажды они оказали плохую услугу своей темной, несчастной стране. Это случилось как-раз в то время, когда наши лучшие люди изнемогли и пали в борьбе за освобождение народа от произвола власти, а юные силы, готовые идти на смену павшим, остановились в смятении и страхе перед виселицами, каторгой и зловещей немотой загадочно неподвижного народа, молча, как земля, поглотившего кровь, пролитую в битвах за его свободу».

Никакая талантливость произведения, по мнению Горького, не может компенсировать общественной вредности его идеи, а интересы общества, народа у Горького всегда на первом плане. Статью «Еще о карамазовщине» Горький заканчивает следующими знаменательными словами: «И Достоевский велик, и Толстой гениален, и все вы, господа, если вам угодно, талантливы, умны, но Русь и народ ее — значительнее, дороже Толстого, Достоевского и даже Пушкина, не говоря о всех нас».

Процесс разрушения личности находит свое логическое завершение в эпоху реакции 900-х годов. «Ныне линия духовно нищих людей обидно и позорно завершается Санинным Арцыбашева». Горький, проводя параллель между реакцией 80-х гг. и реакцией после 1905 г., замечает, что «интеллигентское «я» того времени (80-х годов. — А. В.) было

все-таки более чутким этически» по сравнению с новой столыпинской реакцией, оно не упало еще так низко: «не проповедывало педерастии и садизма, не смаковало картины насилия женщин», оно «стыдилось клеветать на бывших товарищей так цинично, как это делается теперь» — писал Горький в статье «Разрушение личности».

Таким образом, модернизм XX века значительно углубил, довел до предела процесс морально-идейного распада, начавшийся в годы победоносцевской реакции. Те индивидуалистические, реакционные течения в литературе, которые берут свои истоки в 80-х годах, расцветают пышным цветом в эпоху реакции 900-х годов. Между этими мрачными эпохами устанавливается идейная переключка. Поход на демократизм, общественность искусства, начатый в 80-х годах, цинично завершается после разгрома реакцией революции 1905 г.

Горький резко противопоставляет идеи, проповедуемые новейшей буржуазно-дворянской литературой, идеям старой литературы, классиков: «Старая литература свободно отражала настроения, чувства, думы всей русской демократии, современная же покорно подчиняется внушениям мелких групп мещанства, торопливо занятого делом своей концентрации, внутренне деморализованного и хватающего наскорю все, что падает под руку, как хватало оно в 80-х годах». Новейшие продолжатели «идей» 80-х годов меняют, по словам Горького, лозунги, «как платки во время насморка», но «самая крупная и бойкая мысль в голове современного писателя — антидемократизм». Проповедуя отказ от демократизма, деятели новейшей буржуазно-дворянской литературы проповедуют вместе с тем отказ от народности, той веры в народ, которую исповедывал «старый писатель». «Верь в свой народ, создавший могучий русский язык, верь в его творческие силы. Помогай ему подняться с колен, иди к нему, иди с ним» — говорили лучшие люди прошлого века, основатели русской литературы, классики. «Пророки» от модернизма забыли это завещание, они «ушли в кабаки, в публичный дом».

В предреволюционной буржуазной литературе Горький отмечает сужение поля зрения: «Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стерта с него».

Так Горький по всем линиям противопоставляет «новейшую» литературу «старой», указывает, что писатели декаданса растоптали в грязи все прогрессивные идеи, вдохновлявшие передовых людей прошлого, идеи общечеловеческой правды. Решительно отвергая пошлость современной, модернистской литературы, Горький направляет свой взор в сторону классиков.

В эпоху расцвета пессимизма, индивидуализма и мистики Горький, органически связанный с рабочим классом и его партией — большевиков, высоко поднял знамя общественного, партийного, реалистического искусства. Горький выступил в эпоху, когда идеи пролетарского социализма овладевали массами, проникали в сердца рабочих и крестьян. Огромная историческая заслуга Горького в том, что он еще до победы пролетарской революции в России в своем художественном творчестве показал будущее торжество идей социализма. Именно поэтому его произведения — «Мать», «Враги» — проникнуты ясным пониманием событий, происходящих в стране. В своем художественном творчестве и в литературно-критических статьях Горький противопоставил индивидуализму и разрушению личности в буржуазной литературе идеи пролетарского коллективизма. В 1908 году Горький утверждал, что в наше время именно пролетариат выступает знаменосцем коллективизма. «Рядом с этим процессом агонии индивидуализма железные руки капитала, помимо воли своей, снова создают коллектив, сжимая пролетариат в целостную психическую силу. Постепенно, с быстротой, все возрастающей, эта сила начинает сознавать себя как единственно призванную к свободному творчеству жизни, как великую коллективную душу мира». В то же время в руки пролетариата переходит знамя борьбы за общечеловеческое счастье, которое поднимали лучшие люди прошлого, тогда как новейшие идеологи

буржуазии все более и более скатываются к проповеди человеконенавистничества, звериной ненависти человека к человеку.

В идеалах пролетарского социализма Горький видит путь освобождения всего народа. В противовес меньшевикам и троцкистам, считающим крестьянство враждебной реакционной силой, Горький уже задолго до пролетарской революции видел в крестьянстве сторонника социализма, союзника пролетариата в революции. В статье «Разрушение личности», касаясь отношения «новейшей» литературы к теме мужика, Горький писал: «Мужик же испортил свою карьеру в литературе и, видимо, надолго лишился теплого отношения беллетристики по такому поводу: видя, что господа волнуются, требуя себе политической власти, и что мундирное начальство уступит им, если он своею силой поддержит господ, — он должен был отдать все силы свои в распоряжение воинствующего мещанства, а оно, построив его руками и своим умом крепость благополучия своего, после этого поблагодарило бы его. Он же, некультурный, вместо того, чтобы спокойно ожидать награды со стороны столь благородных господ, с настойчивостью, устрашавшей их, немедленно потребовал себе «всю землю» и, подстрекаемый рабочими, даже заговорил о социализме. За что — обруган и временно оставлен без внимания со стороны господ, известных своей добротой». В этих словах дается правильный ответ на вопрос, почему литература отвернулась от мужика. Причина этого факта — в повороте мужика в сторону рабочего класса. Именно на этой почве произошла «размолвка».

В статье «О писателях-самоучках» Горький писал: «Наступило время, опровергающее когда-то правильные утверждения В. Н. Майкова и других, кто говорил: «в русском крестьянстве нет идей», «у русского народа множество суеверий, но нет идей», — мне кажется, что в русском народе рождается идея, и как-раз та, которая может духовно выпрямить его — именно: идея активного отношения к жизни, к людям,

к природе». Эта же идея активного отношения к жизни характерна, как неоднократно подчеркивает Горький, и для рабочего класса. Эту мысль Горький не только высказывал в теории, но и достаточно полно воплотил в своей художественной практике; яркий пример — повесть «Мать». Новейшая литература, проповедующая пассивизм и растерянность перед жизнью, резко противопоставит народу. Именно здесь особенно ясно вскрывается ее антинародность. В статье «О писателях-самоучках» (1912 г.) Горький на примере многочисленных произведений писателей-самоучек из народа показывает идейную противоположность эстетики, рождающейся в народе, эстетике декаданса. Если в новейшей литературе центральной фигурой выступает расслабленный неврастеник, двухногое животное, Санин, то «из самой массы русского народа возникает к жизни новый тип человека, это — человек, бодрый духом, полный горячей жажды приобщиться к культуре, вылечившийся от фатализма и пессимизма, а потому дееспособный». Эта противоположность вскрывается в темах и в их трактовке. «Темы моих писателей, — пишет он о писателях-самоучках, — крайне редко совпадают с темами признанных литераторов. Мне известно, что «Санин» очень усердно читался в рабочей среде, но — у меня не было ни одной рукописи, в которой заметно сказалось бы влияние этой книги. Укажу на то, что большинство пьес пишется под явным влиянием «Жизни человека», «Царя Голода», но и это влияние — внешнее: берут форму, а не настроение автора, не его отношение к жизни. По вопросу пола написаны два рассказа, при чем один из них, имея характер публицистический, представляет собою горячую отповедь «половикам». «Богоискательство» — течение, столь нашумевшее в Петербурге, — не отразилось ни в одной из рукописей, бывших у меня в руках. Анархизм тоже не отражен».

Горький подробно аргументирует это положение на огромном материале. За время с 1906 по 1910 г. им было прочитано более 400 рукописей писателей из

народа — рабочих, крестьян, ремесленников. Горький ни в какой мере не переоценивает художественных качеств писателей-самоучек. Он более, чем кто бы то ни было, трезво вскрывает их слабости, но за художественной слабостью, а подчас и просто литературной неграмотностью, он вскрывает их главные идейные тенденции, в корне противоположные тенденциям литературы декаданса. На основании разбора многочисленных литературно незрелых произведений он делает вывод, что в них заключены подлинные мысли и чувства народных масс, а писатели, обладающие литературным талантом, но погруженные в дебри эротики, мистики, индивидуализма, наоборот, демонстрируют антидемократизм и антинародность. Горький приводит несколько резко отрицательных отзывов читателей — рабочих и крестьян — о произведениях современной, модернистской литературы. Эти читатели, проявляя нелюбовь, а в лучшем случае равнодушие к творчеству модернистов, в то же время высоко ценят творчество классиков. Взявшись за перо, они сами стихийно подражают классикам. Для писателей из народа характерен реалистический подход к изображаемому событию.

Это одно из свидетельств того факта, что полнокровный, жизнеутверждающий реализм классиков отвечает эстетическим вкусам широких читательских масс.

Творчество классиков также близко народным массам своей критической стороной, той главной идеей, которой проникнуты лучшие произведения русской литературы XIX века, — идеей критики действительности. Именно в этой критике, которой проникнуты творения классиков, выразился голос народа.

Горький создал стройную теорию критического реализма, дающую возможность исторически и методологически правильно подойти к художественному наследию прошлого. Напомним следующие слова Горького, сказанные в «Беседе с молодыми» (1930 г.): «Теперь несколько слов о реализме, как основном, самом широком и наиболее плодотворном течении литературы XIX века,

переливающимся и в XX век. Характерная особенность этого течения — его острый рационализм и критицизм. Творцами этого реализма были преимущественно люди, которые интеллектуально переросли свою среду и за грубой, физической силой своего класса ясно видели его социально-творческое бессилие. Этим людей можно назвать «блудными детьми» буржуазии, так же, как герой церковной легенды, они уходили из плена отцов, из-под гнета догм, традиций, и к чести этих отщепенцев надо сказать, что не очень многие из них возвращались в недра своего класса кушать жареную телятину». И далее: «Литература «блудных детей» буржуазии была в высшей степени ценна своим критическим отношением к действительности, хотя авторы новелл и романов, конечно, не указывали выхода из грязной анархии, творимой жирным и пресыщенным мешанством». Все значительные произведения прошлого проникнуты критикой. «Лишь очень редкие и по преимуществу второстепенные авторы согласно с указаниями популярной философии и влиятельной критики пытались утвердить некоторые догматические бесспорности, которые, примиряя непримиримые противоречия, скрывали бы явную и гнусную ложь общественного строя буржуазии». Эта «примиряюще-утверждающая» литература менее всего ценна в плане освоения наследия прошлого, зато критический реализм представляет для нас — огромную ценность. В отрицании старого критический реализм является предшественником реализма нового типа — социалистического. Социалистический реализм, изучая и осваивая все ценное, созданное литературой прошлого, вместе с тем представляет собой совершенно новый этап в развитии русского реализма. Поэтому Горький всегда предостерегает от простого подражания образам прошлого, от механического понимания литературной учебы у классиков.

Между тем в нашей критике были попытки такого механического понимания наследия классиков. Против этих попыток выступил Горький. «У нас, — говорит он, — охотно и обильно пишут

о реализме социалистическом, и недавно один из авторов опубликовал в статье о Гоголе интересное открытие: Гоголь был социалистическим реалистом». Горький опровергает это абсурдное утверждение: «Литературный реализм имеет дело с реальными фактами человеческой жизнедеятельности. В эпоху «Ревизора» и «Мертвых душ», поскольку известно, никем и нигде не наблюдалось фактов социалистического характера... Гоголь является реалистом-критиком, и настолько сильным, что сам был испуган силою своего критицизма до безумия». Этим Горький ориентирует советских писателей на правильный путь учебы у классиков, чуждый эпигонства и подражательства. Перед советской литературой стоят задачи, которые не стояли перед критическим реализмом XIX века, задачи не только критики отрицательных явлений, но и утверждения положительных идеалов. Здесь советская литература должна явиться смелым новатором. Как известно, положительные идеалы были наиболее слабой стороной у реалистов прошлого. Старая литература не смогла создать образ положительного героя.

Между тем главная задача советской литературы — создание образа положительного героя. Трагедия многих великих писателей прошлого заключалась в том, что их положительные идеалы резко противостояли реальной действительности, не отвечали объективному ходу ее развития. Поэтому, как правило, их идеалы носили иллюзорно-романтический характер, причем романтизм этот подчас уводил внимание в ложное русло. В качестве примера можно сослаться на Герцена, общинно-социалистические идеалы которого резко противостояли объективно-реалистическому изображению действительности, данному им же.

Литература социалистического реализма показывает пример органического единства мечты и реальности, ибо наши идеалы вытекают из объективного хода самой действительности. Это обуславливает единство мировоззрения и метода художника — социалистического реалиста, тогда как в критике писате-

лей прошлого, даже наиболее прогрессивных, метод и мировоззрение противостояли друг другу. У многих писателей прошлого этот отрыв метода от мировоззрения был положительным фактом, когда, например, писатели не извращали реальной действительности в угоду своим ложным, реакционным догмам, а всем своим реалистическим изображением вступали в полемику с ними. В творчестве народников-беллетристов мы ценим как раз то, что идет вразрез с народническими утопиями, что резко отличает народников-писателей от народников-политиков. Эту проблему совершенно правильно, диалектически ставит Горький. В статье «Разрушение личности», выступая против «новейших литераторов», которые приносят свое творчество в жертву реакционной, мещанской политике, Горький противопоставляет им писателей XIX века: «Психология старого русского литератора была шире и выше политических учений, которые тогда принимала интеллигенция. Попробуйте, например, уложить в рамки народничества таких писателей, как Слепцов, Помяловский, Лезитов, Печерский, Гл. Успенский, Осипович, Гаршин, Потапенко, Короленко, Щедрин, Мамин-Сибиряк, Станюкович, и вы увидите, что народничество Лаврова, Юзова и Михайловского будет для них ложем Прокруста». И Горький считает достоинством «старого писателя» тот факт, что «старый писатель там, где политическое учение могло ограничить его художественную силу, умел встать над политикой». А такие политические учения, как народничество, неизбежно ограничивали художественную силу писателя, ибо они извращали действительность. А подлинное искусство не терпит этого, оно требует правдивости. Там, где писатели-народники становились на путь идеализации общины в угоду своим догмам, там они становились ходульными. Эта ходульность, ложность сказывается не только в прямых публицистических сентенциях, что бывает чаще всего (так как реальная действительность не дает конкретного материала для подтверждения народнических утопий), но они также про-

никают в образную ткань произведения, вносят фальшь в интерпретацию образа. От этой фальши не свободен ни один беллетрист-народник, даже Гл. Успенский отдал ей дань в трактовке образа Ивана Ермолаевича, несмотря на то, что всем своим объективно-реалистическим повествованием Успенский дал правдивую критику пореформенной деревни.

Горьковская трактовка взаимоотношения политических взглядов и художественных позиций писателя дает ключ к правильному пониманию литературного наследия, правдивых, прогрессивных элементов в истории литературы. Вульгарно-социологическое литературоведение в определении прогрессивности или реакционности писателя исходит всецело из его субъективно-политических взглядов, игнорируя тот факт, что своим объективным, правдивым изображением художник нередко не только не «подтверждает» своих политических взглядов, но даже опровергает их. А это весьма распространенное явление в литературе прошлого. Этим объяснением вовсе не отрицается «классовость» писателя, а дается единственно правильное толкование классовой обусловленности художественного творчества.

«Неоспоримо, — говорит Горький, — что «классовый признак» является главным и решающим организатором «психики», что он всегда с различной степенью яркости окрашивает человеческое слово и дело. В каторжных, насильнических условиях государства капиталистов человек обязан быть покорнейшим муравьем своего муравейника, на эту роль его обрекает последовательное давление семьи, школы, церкви и хозяев, чувство самосохранения усиливает его покорность закону и быту; все это так, но конкуренция в недрах муравейника до того сильна, социальный хаос в буржуазном обществе так очевидно растет, что то же самое чувство самосохранения, которое делает человека покорным слугой капиталиста, вступает в драматический разлад с его «классовым признаком». Этот разлад классового признака и жизненной практики художника Горький обосновывает на приме-

рах творчества великих писателей. В цитированной уже работе о Пушкине, относящейся к 1909 г., Горький говорит: «Несомненно, что Пушкин дворянин, он сам одно время кичился этим, — но нам важно знать, что уже в юности своей он почувствовал тесноту и духоту дворянских традиций, понял интеллектуальную нищету своего класса, его культурную слабость и — отразил все это, всю жизнь дворянства, все его пороки и слабости с поразительной верностью». «...В примере Пушкина мы имеем писателя, который, будучи переполнен впечатлениями бытия, стремился отразить их в стихе и прозе с наибольшей правдивостью, с наибольшим реализмом — чего и достигал с гениальным умением». Много лет спустя, в статье «О том, как я учился писать» (1928 г.), возвращаясь к той же проблеме, Горький писал: «Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм. Бальзак субъективно был приверженцем буржуазного строя, но в своих романах он изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью. Есть много примеров, когда художник является объективным историком своего класса. своей эпохи».

В эпоху Горького буржуазно-дворянский реализм шел к упадку. Терялась объективно-познавательная роль литературы. На литературную арену выступил символизм, получивший весьма широкое распространение. Стали популярными призывы отрешиться от реальной жизни, уйти в область потустороннего. Был объявлен поход на реалистическое искусство. В символизме нашло свое явное выражение дурное соответствие мировоззрения и художественного метода. Реакционно-мистическому мировоззрению соответствует реакционно-мистический, субъективный метод. Именно в противовес символизму Горький подчеркивает объективно-познавательную ценность старого реализма. Символисты объявили поход на реализм классиков и на его продолжателя — Горького.

Выступая против распространения ми-

стики и субъективизма, Горький объединяет вокруг сборников «Знание» писателей, стоящих на позициях реализма. Состав писателей-знаниевцев был довольно пестрым, и тем не менее сборники «Знание» сыграли прогрессивную, демократическую роль, противостоя мистическому растлению общества. Именно в среде «Знания» нашли свое продолжение традиции критического реализма. Кроме произведений самого Горького этого периода, продолжающих линию критического реализма, можно назвать «Поединок» и «Яму» Куприна, произведения Вересаева, Скитальца, Серафимовича и др., в которых нашла свое выражение критика буржуазно-крепостнической действительности. Многие писатели-реалисты, входившие в «Знание», по своему мировоззрению были далеки от Горького, и тем не менее, находясь под его влиянием, под его идейным руководством, они делали полезное, общественно-прогрессивное дело. Горьковский взгляд на литературное наследие прошлого и на современную ему литературу конца XIX и начала XX века служит ориентиром советским историкам литературы. Еще совсем недавно на страницах «Литературного Ленинграда» пропагандировалась ложная ориентация на декаданс, причем наследие символистов и акмеистов ставилось на одну доску с наследием классиков. Это было выражением неверного, формалистического подхода к литературному наследству. Решительный удар подобным «теориям» наносит горьковская концепция литературного наследия. Она также бьет по вульгарному социологизму, переоценивающему роль буржуазии в истории литературы и игнорирующему роль народа. Вульгарный социологизм объясняет все прогрессивные течения в русской литературе ростом «буржуазных тенденций». Горький же со всей ясностью показал, что великие творения прошлого велики потому, что выразили чаяния и голос народных масс. В докладе на 1-м Всесоюзном съезде советских писателей Горький говорил: «Имеется полное основание надеяться, что, когда история культуры будет написана марксистами, — мы убе-

димся, что роль буржуазии в процессах культурного творчества сильно преувеличена, а в области литературы — особенно сильно, и еще более в области живописи, где буржуазия всегда была работодателем и тем самым являлась законодателем» (курсив Горького.—А. В.).

Эту же мысль Горький утверждал

задолго до революции в статье «Разрушение личности» (1908 г.), где доказал, что капитализм разрушает и суживает личность, «подчиняя ее индивидуалистические стремления своим целям, подавляя инициативу».

Так Горький вслед за Марксом приходит к выводу, что капитализм враждебен искусству.

ГОРЬКИЙ И ПУШКИН

Б. Мейлах

В истории русской культуры имена Горького и Пушкина соединены неразрывной, органической связью, как символы высших достижений искусства и напряженнейших этапов развития освободительного движения.

Пушкин, родоначальник новой русской литературы, восставший правдивым художественным словом против деспотизма, жестокости, лжи крепостнической России, явился ярчайшим выразителем одного из первых этапов русского революционного движения — его декабристского периода.

Горький, родоначальник пролетарской социалистической литературы, начал свою деятельность в эпоху высшего этапа русской революции, когда складывалась мощная большевистская организация рабочего класса, и весь свой могучий дар художника отдал борьбе за дело коммунизма.

Эту связь двух величайших генцев можно проиллюстрировать изумительной по краткости и блеску ленинской характеристикой этапов развития русского революционного движения.

«... мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночин-

цы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян»¹⁾.

Пушкин в своем творчестве значительно шире идеологии декабристов. Несмотря на отразившиеся в его творчестве предрассудки, свойственные дворянским революционерам, он проявил живой интерес к массовым народным движениям и в противовес официальной традиции с большой симпатией нарисовал образ вождя крестьянского восстания — Пугачева. Горький четко отметил, характеризуя Пушкина: «Он у нас — начало всех начал — в том числе и Герцена»²⁾. От Пушкина — через Гоголя (которого, по меткому определению М. Горького, опять-таки создал Пушкин), через блестящую плеяду революционно-демократических писателей — лежит путь к литературе социалистического реализма, являющейся диалектическим синтезом всего предшествующего литературного развития.

Оценки Горьким личности и творчества Пушкина чрезвычайно высоки. Он

¹⁾ Ленин. Соч., т. XV, стр. 468.

²⁾ Письмо к П. Максиму 10 сентября 1911 г. «На подеме», 1932 г., № 11.

называет его «гигантом», «величайшей гордостью нашей и самым полным выражением духовных сил России», «величайшим в мире художником», «несравненным ни с кем, человеком совершенно изумительного таланта». С исключительной теплотой вспоминает Горький в повести «В людях» о своем первом знакомстве с поэмами Пушкина, в которых ему открылся новый чудесный поэтический мир:

«Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься обжать его сразу. Так бывает после того, когда долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развернется перед тобой лесная поляна, вся в цветах и солнце. Минуту смотришь на нее очарованный, а потом счастливо обежишь всю, и каждое прикосновение ноги к мягким травам плодородной земли тихо радует». Впечатление, произведенное на Горького пушкинскими поэмами, знаменательно во многих отношениях. Оно свидетельствует не только о высоком художественном чутье юноши, впервые знакомого с сокровищами классической литературы, но и о близости Горькому того великолепного своей социальной устремленностью романтизма, который нашел яркое выражение в пушкинских «южных» поэмах. Свободолюбие героев этих поэм, их протест против ограниченности и ничтожества окружающей среды, стремление противопоставить пошлой прозе «светского общества» иную, яркую жизнь, оказало на Горького глубокое и плодотворное влияние. Пушкинский романтизм переплавился в творчестве Горького в романтизм пролетарский, призывавший массы к свержению оков старого мира рабства, насилия, угнетения человека человеком и к строительству новой, светлой и радостной жизни. И если пушкинские поэмы — «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Цыганы» — в свое время сыграли определенную роль в создании общественной атмосферы, в которой созревало восстание декабристов, вдохновенные романтические про-

изведения Горького «Песня о буреви́стнике» и «Песня о соколе» были восприняты передовыми читательскими слоями как прямой призыв к активному, революционному переустройству действительности. В горьковском гимне «безумству храбрых», в воспевании торжества гордого «сокола», в проникновенной поэтизации парения «буреви́стника» слышалась уверенная маршевая музыка пролетарских батальонов. Этот революционный романтизм вдохновлял лучших представителей большевистской партии, и недаром Ленин в статье «Перед бурей» использовал романтические образы раннего Горького: «Мы стоим, по всем признакам, накануне великой борьбы. Все силы должны быть направлены на то, чтобы сделать ее единовременной, сосредоточенной, полной того же героизма массы, которым ознаменованы все великие этапы великой российской революции. Пусть либералы трусливо кивают на эту грядущую борьбу исключительно для того, чтобы погрозить правительству, пусть эти ограниченные мещане всю силу «ума и чувства» вкладывают в ожидание новых выборов, — пролетариат готовится к борьбе, дружно и бодро идет навстречу буре, рвется в самую гущу битвы. Довольно с нас гегемонии трусливых кадетов, этих «глупых пингвинов», что «робко прячут тело жирное в утесах».

«Пусть сильнее грянет буря!»¹⁾

Уже ранние произведения Горького свидетельствовали о том, с какой глубиной юный художник воспринял традиции великой русской литературы в лице лучших своих представителей и родоначальника ее — Пушкина, неуспынно обличавшей несправедливость существовавшего строя и призывавшей народ к завоеванию своей свободы.

Характеризуя героизм Пушкина, пронесшего через все преследования царского правительства священную скрижаль поэта, призванного «глаголом жечь сердца людей», Горький заметил: «Его судьба совершенно совпадает с

¹⁾ Ленин, т. X, стр. 25 (подчеркнуто мною. — Б. М.).

судьбою всякого крупного человека, волею истории поставленного в необходимость жить среди людей мелких, пошлых и своекорыстных...». В другом месте Горький назвал Пушкина, безвременно погибшего в борьбе за чистоту высокого звания поэта, одним из славнейших великомучеников русских». Преклонение Горького перед прямою Пушкина и его несгибаемой уверенностью в правоте своего дела вполне понятно. Горький всей своей жизнью гениального художника-революционера, вдохновлявшего массы на борьбу за коммунизм, показал писателям всего мира высший пример самоотверженности. Гнусная травля, которая велась против великого пролетарского писателя прозаическими буржуазными «литераторами», непрерывные преследования полиции и цензуры, заточение в казематы Петропавловской крепости — все это лишь закаляло Горького в его беззаветном служении делу освобождения трудящихся всего мира.

Задыхаясь в зловонной атмосфере полицейско-поповской России, Горький не раз вспоминал, как «величайший наш гений Пушкин называл Русь «проклятой», писал Вяземскому: «Я, конечно, презираю мое отечество с головы до ног». Но так же, как для Пушкина, эта ненависть была у Горького оборотной стороной национальной гордости: «Все эти возгласы тоски, гнева вызваны, несомненно, заботой о родине, любовью к ней, все они свидетельствуют о том, как трудно жить в Руси честному человеку», — писал Горький¹⁾. С пронизательностью тонкого исследователя-марксиста вскрыл он на основе анализа противоречивых высказываний и поэтических деклараций Пушкина о роли писателя их подлинный смысл, заключавшийся в обличении окружавшей поэта среды и в отказе от служения «светской черни». В то время как писатели и критики буржуазно-декадентского лагеря всячески пытались противопоставить Пушкина народу и изобразить великого поэта чуждым «житейской прозе», жре-

цом «чистого искусства», Горький неустанно подчеркивал народные, реалистические основы пушкинского творчества и его огромную роль в возникновении литературы критического реализма. В посвященных Пушкину страницах лекций по истории русской литературы (1909)¹⁾ Горький углубляет многие оценки Белинского и проясняет целый ряд моментов литературных и политических взглядов Пушкина. В противовес как буржуазным эстетам, так и меньшевистским «социологам» Горький вслед за революционно-демократической критикой в характеристике Пушкина, прежде всего, выделял его роль как народного поэта, основателя национальной литературы. «Пушкин, — писал он, — первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, — он первый поднял звание литератора на высоту, до него недостижимую, в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни».

Горький рассматривает высокую общественно-политическую насыщенность пушкинского творчества как характернейшую черту великой русской классической литературы. Говоря об особенностях исторического развития России, «где правительство всячески старалось уединиться от народа и общества и, заботясь о своем самосохранении, о развитии своих сил, развивало только бюрократический, административный аппарат, который душил всех с одинаковым усердием», Горький далее заключает: «вот причина, почему русская литература вплоть до наших дней стояла в теснейшей связи с революционными течениями». В этой связи литературы с освободительным движением Горький видит объяснение тому факту, что «русский литератор в своих образах и обобщениях шире и объективнее литератора западного, ибо, даже будучи по основам психики своей человеком классовым,

¹⁾ «Письма к читателю», «Летопись», 1916 г. № 3.

¹⁾ См. М. Горький. «О Пушкине», под ред. С. Д. Балухатого. Изд. Академии наук СССР. М. 1937 г.

он был понуждаем возвышаться над узкими задачами своего класса, был принужден заботиться не столько о выработке классовой идеологии, сколько о борьбе против идей и действий правительства... Необходимо было создать что-то, что объединяло бы всю массу общества, необходима была борьба с идеологией бюрократов и царей, — нужно было выдвинуть против понятия «народность»¹⁾ иное понятие, а для того, чтобы выработать его, требовалось внимательное изучение народа». Как мы видим, Горький, характеризуя русскую литературу, критерием ее прогрессивности считал ее народность (в подлинно-демократическом значении этого слова), правдивое отражение жизни народа, его чаяний. Однако, вместе с тем, он несколько не игнорировал и моменты классовости в политических взглядах и творчестве писателя. На примере анализа Горьким эволюции Пушкина следовало бы поучиться некоторым нашим критикам, которые ранее ограничивали значение крупнейших писателей-классиков степенью близости их политических взглядов нашей современности, а теперь, после проведенной борьбы с вульгарным социологизмом, зачисляют чуть ли не всех без исключения писателей прошлого в предшественников советской литературы.

Говоря о значении творчества Пушкина для пролетариата, Горький заметил: «Мы должны уметь отделить от него то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и ложными унаследованными качествами, — все дворянское, все временное, — это не наше, это чуждо и не нужно нам. Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону, — именно тогда пред нами и встанет великий народный поэт...»

Одним из качеств Пушкина, объясняющимся «условиями времени», Горький считает «предрассудки аристократа, гордящегося древностью своего имени». Но и в этой «гордости» он далее совер-

шенно правильно усматривает противоречивые нотки. Цитируя стихотворение «Моя родословная», направленное против клеветнических измышлений Булгарина, Горький подчеркивает, что в этом стихотворении «звучит уверенность человека в его праве «читать самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги пред обществом». В результате анализа высказываний Пушкина о дворянстве в рукописи лекции Горького о Пушкине сделано чрезвычайно ценное замечание: «Не менее вероятно и то, что лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы». В своих выводах Горький проявил объективность и осторожность тонкого исследователя. Так, высказав принципиальное утверждение, он вслед за этим привел упрек Рылеева Пушкину за «чванство шестисотлетним дворянством». Исключительный интерес представляет и тот факт, что Горький еще в 1909 г., когда мнение о резком «поправении» Пушкина (после 1825 г.) было почти единодушным в критико-биографической литературе, отметил, что конкретные высказывания самого поэта свидетельствуют об обратном. Горький сопоставляет письмо Пушкина, где выражается гордость «шестисотлетним дворянством», с более поздним высказыванием, где Пушкин утверждает: «...от кого бы я ни происходил, — от разночинцев, вышедших в дворяне, или от одного из самых старинных русских родов... образ мыслей моих от этого никак бы не зависел». Именно в этом умении подняться над интересами своего класса Горький видит одну из основ пушкинской народности. С исключительной внимательностью собрал Горький для своих лекций факты, характеризующие напряженный интерес Пушкина к народной жизни, к народному языку и устному творчеству. Как бы полемизируя с буржуазно-декадентскими критиками, которые путем фальсифицирования смысла стихотворения «Чернь» строили свои «теории» об аристократизме Пушкина, Горький писал: «Этот человек не мог

¹⁾ Горький имеет здесь в виду реакционное наполнение формулы «народность», демагогически использовавшейся критиками и публицистами крепостнического лагеря.

под именем «Чернь» подразумевать народ — его он уважал и о силе его догадывался чутьем. Кто же та чернь, о которой поэт говорит с таким отвращением? Несомненно, что под именем черни он подразумевал то светское, столичное общество, в котором жил». Эту мысль в настоящее время можно полностью подтверждать на материале изучения истории создания Пушкиным стихотворения «Чернь»¹⁾.

Свой анализ приближения Пушкина к народу Горький заключает выводом: «...Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая — в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов; он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу».



Горький, подобно Пушкину, был страстным новатором, неутомимым организатором и вождем литературного движения, художником, горячо любившим народный язык и видевшим в фольклоре неиссякаемый источник творческого вдохновения. Оптимизм Пушкина, основанный не столько на фактах действительности николаевской России после разгрома декабризма, сколько на философском осмыслении тенденций исторического развития, вырос у Горького в оптимизм непосредственного участника революционной борьбы класса-победителя, призванного разрушить мерзостный мир насилия и лжи и построить новый мир, о котором мечтали лучшие умы человечества. «Реализм в русской литературе начат Пушкиным, именно его «Станционным смотрителем» — заметил Горький, говоря о зарождении гуманного отношения «к униженным и оскорбленным людям». В

реализме Горького гуманизм русской литературы достиг несравненно высшей стадии, по сравнению с предшествующей стадией, уровня своего развития потому, что его герои показаны им не как люди, достойные сострадания, а как гордые, смелые борцы за свою судьбу, как мстители за «унижение» и «оскорбление». Те элементы активного социально-направленного гуманизма, которые нашли отражение в таких противоречивых произведениях Пушкина, как «Дубровский», у Горького развиты, освобождены от какой бы то ни было двойственности и непоследовательности, освещены мировоззрением передового социалистического человечества. И поэтому Горький, по праву занявший в мировой культуре место в ряду величайших гуманистов, завещал нам лозунг, глубокое содержание которого сочетается с предельным лаконизмом: «Если враг не сдается, его уничтожают».

Характеризуя советскую литературу как орудие, которое «энергично служит делу объединения всего трудового народа в единую культурно-революционную силу», Горький заметил о значении «старой литературы»: «Я предпочел бы, чтобы «культурный мир» объединялся не Достоевским, а Пушкиным — талант психически здоровый и оздоравливающий». Об огромной оздоравливающей силе пушкинского гения Горький писал и характеризуя Гоголя, который «руководимый Пушкиным, встал однажды на верный путь и на этом пути он был крепок и силен и пока он был на нем — он создал лучшие свои произведения, они — наши, ибо они здоровы, правдивы...» Эту изумительную оздоравливающую энергию пушкинского творчества Горький почувствовал в первые же дни своего знакомства с ним с такой же острой радостью, с какой мы, люди социалистической эпохи, вдыхаем в себя живительный, напоенный солнцем воздух бессмертных горьковских произведений.

¹⁾ См. III главу моей книги «Пушкин и русский романтизм». Л. 1937 г.

ДРУГ И УЧИТЕЛЬ

Е. Сикар

«Пуškai ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!».

М. Горький. «Песнь о соколе».

Одна исключительная черта красной нитью проходит через всю беспримерно широкую творческую деятельность, через всю многогранную жизнь Горького — глубочайший пролетарский интернационализм. Максим Горький жил интересами всех народов, всех национальностей. Любовь к ним и вера в их силы пронизали все его творчество. Никогда ни один писатель не был так неразрывно связан с многонациональным трудящимся людом и так глубоко любим ими, как Горький. Голос Горького звучал, как набат, в Москве, Киеве, Тбилиси, Баку, Владивостоке, Новосибирске, Уфе, Ташкенте... Его организующая сила, его могучее влияние чувствовались во всех пунктах нашей страны. Едва ли найдется такая республика, область или край, которые не ощущали бы в своей литературе влияния великого писателя.

В 1912 году Горький горячо подхватывает инициативу грузинского литератора Канделаки, задумавшего организовать переводы произведений грузинской литературы на русский язык.

«Я думаю, что могу быть полезен делу, затеянному вами, — писал Горький в письме. — Я считаю его очень важным и как нельзя более своевременным, ибо мы живем в момент, когда духовное «собрание Руси» должно быть немедленно начато в противовес злым силам, разрушающим его и грозящим совершенно разрушить. Говоря о «собрании Руси», я, конечно, не подразумеваю под этим необходимость упрочить гегемонию культуры того или иного племени, но имею в виду лишь необходимость тесного союза племен, входящих в состав разнородной нашей «империи», — необходимость союза, основанного на уважении к их законным требованиям свободы самоопределения. Силен только союз свободных, как вы знаете. Я не публицист и необ-

ходимость борьбы с зоологическим национализмом захватила меня — как, вероятно, и многих — совершенно врасплох...».

Далее Максим Горький касается своего непосредственного участия в издании переводов:

«Перехожу к делу: если у вас уже имеются произведения грузинских авторов в переводах на русский язык, я прошу вас немедленно прислать мне рукописи. Часть их, вероятно, можно будет напечатать в журнале «Современник», который с 1913 года ставит себе целью посильную разработку вопросов племенных и областных. Засим: я просил бы вас дать для «Современника» очерк по истории грузинской литературы, а также статью на тему: современное положение Грузии, ее потребности и нужды. Вы, конечно, понимаете эту тему шире и глубже, чем я. Взять на себя редактуру переводов я стесняюсь, но, если вы найдете нужным, возьму. Мне был бы нужен помощник, знающий достаточно хорошо свой грузинский язык и свою литературу. Могу ли я надеяться иметь такого? В этом случае я прошу указать мне все известные книги и статьи на русском языке по истории Грузии и по истории грузинской литературы. Если же какие-либо материалы в этом роде у вас под рукой, пришлите, прошу...». (Капри, декабрь 1912 г.). В 1915 году Максим Горький принял группу молодых армянских писателей и поэтов: он внимательно расспросил их о нуждах армянской литературы, о новых произведениях и целесообразности перевода их на русский язык. В результате этой встречи в следующем году были выпущены два больших сборника армянской поэзии и прозы.

В письме к одному украинскому писателю Горький пишет:

«...Потребуется статья о Котлярев-

ском, о его месте в истории украинской литературы и о влиянии «Энеиды», — кого рекомендовали бы вы для такой статьи? Имеется ли очерк истории украинской литературы, а если нет, предполагается ли написать таковой? Это очень нужно для нас, северян, а то наша молодежь ничего не знает о прошлом Украины. Необходимо взаимно обменяться знанием прошлого для всех союзных республик, нужно, чтобы белорус знал, что такое грузин, тюрк и другие, а все другие знали, что такое украинец, белорусс, узбек, татарин и т. д.».

Алексей Максимович регулярно читает и всячески поддерживает журнал «Сибирские огни». Находясь за границей, он просит посылать ему журнал по итальянскому адресу. В своем письме к сибирскому писателю В. Итину он в 1933 году пишет: «Очень рад узнать, что «Сибирские огни» снова разгораются, искренне желаю им разгореться ярко, уверен, что это так и будет. Если Вам удастся организовать бригаду энергичных огнелюбов да вместе с ними привлечь работать побольше молодежи и пригреть ее внимательным и дружеским к ней отношением, дело пойдет отлично. Смысл дела — воспитание областной культурной интеллигенции... Не находите ли вы нужным ввести в оргкомитет союза писателей кого-нибудь поэнергичней от сибирской группы? Нам нужно устроить всесоюзный съезд литераторов, перезнакомиться, поговорить о многом...».

Максим Горький в течение всей своей жизни состоял в дружественной непосредственной переписке с трудящимися, с писателями и рабочими всех национальностей. Оставленное им огромное эпистолярное наследство — это актуальная сокровищница мыслей, фактов, дел, ждущая подробного изучения. Он был связан буквально со всей страной, тысячи незнакомых ему людей слали писателю письма, делились своими думами, своим творчеством.

Исключительно трогательным, чутким вниманием Алексея Максимовича пользовались творческие таланты народов многонационального Союза. Он на-

ходится в продолжительной переписке с чувашским писателем Петровым-Юманом. В одном из писем к нему А. М. пишет: «Сердечно благодарю вас за ваше интереснейшее письмо, за то, что познакомили меня еще с одним и очень значительным культурным завоеванием революции. Разумеется, я в скорости напишу о росте культуры среди людей вашего племени, напишу и в русской, и, вероятно, в иностранной прессе...».

Он посылает бодрое письмо финскому революционному писателю Ялмари Виртанену; к сборнику стихов Виртанена А. М. пишет предисловие. Алексей Максимович оказывает всемерную помощь начинающим писателям, многих из них поставил на ноги, вывел в «большую» литературу. А. М. помогает молодым авторам-новичкам — дает подробный художественный и идеологический разбор их произведений. Так, в письме к Н. В. Сайгакову из Баку он пишет: «Первый рассказ — о неудаче — имел бы интерес только тогда, если б он был написан в юмористическом тоне. А в этой форме, как Вы его написали, он не имеет ни интереса, ни значения, ничего не показывает читателю и ничему не учит его.

Другие рассказы тоже, по типу своему, не рассказы, а сухие сообщения о фактах, сообщения, опять-таки лишенные социального интереса.

Нет, это не годится. Мне думается, что Вы в практике Вашей могли бы найти живой, яркий материал, имеющий именно общественный, социальный интерес».

В другом письме А. М. всячески подбадривает Н. В. Сайгакова, подсказывает ему правильные мысли: «Жизнь — штука нелегкая, такую она является не для Вас одного, а для миллионов людей, и мы с Вами знаем, что на протяжении тысяч лет люди жаловались и жалуется на жизнь, а легче она от жалоб этих не стала. И для Вас не станет легче, если Вы будете только жаловаться на тяжесть жизни, не тратя сил своих для того, чтобы она стала легче.

В нашей стране, как Вам известно, люди решились изменить жизнь в самых основах ее, и делают они это до-

вольно успешно. Нельзя, конечно, требовать, чтобы миллион коммунистов переделал в 10 лет 140 миллионов людей... Вы подумайте-ка над этим. И попробуйте написать два, три рассказа о Вашей работе, да пришлите их мне. Это будет лучше Вашего нытья. Книги Вам высланы из Москвы. Всего доброго».

Максим Горький выступает инициатором и вдохновителем ряда литературных мероприятий, поднимающих на новую ступень развития национальную литературу, обогащающих и укрепляющих ее. Большой интерес в этом отношении представляет его статья «О литературе», написанная в 1931 году, в которой Горький делает ряд важных обобщений и выводов, характеризующих современную ему литературу и имевших большое значение для дальнейшего ее развития. Отмечая, что «старая наша литература была по преимуществу литературой Московской области», что «Урал, Сибирь, Волга и другие области остались вне поля зрения старой литературы, так же, как Украина, которой самодержавие затыкало рот и связывало руки, создавая этим вражду украинца к «москалю», Горький с радостью говорил о новых, молодых кадрах пролетарской литературы, которые ярко отображают жизнь в самых отдаленных от центров «медвежьих углах». Горький пишет: «Марксистская наша молодежь действительно умеет встать рядом с узбеком и киргизом, с чеченцем и самоедом, встать с каждым, как равный с таким же равным. Это — факт, культурное значение которого нельзя преувеличить: суть факта в том, что литература объединяет все племена Союза Советов не только силой своей революционной идеологии, но и своим активным товарищеским стремлением понять человека «изнутри»... Горький заостряет внимание: «Не игнорировать областной литературы и прессы, например, журнал «Сибирские огни» вполне заслуживает серьезного внимания критики, отличный журнал.

Давать обзоры нацменьшинских литератур, не говоря о необходимости обзоров роста литературы украинской, белорусской».

Великий художник поднимает вопрос об издании «Альманаха творчества народов СССР», в котором печатались бы лучшие произведения литературно-искусства и критические обзоры национальной литературы. Он излагает подробнейший план «Альманаха творчества народов СССР», подчеркивает его интернациональное значение, его роль в сотрудничестве братских литератур и соревновании их.

Велики заслуги Горького в создании антологий национальной поэзии: ему принадлежит составление плана их содержания и издания. При горячем участии Горького готовилась «Антология армянской поэзии», с древнейших времен до наших дней, которую сейчас выпускает «Академия». Он лично редактировал ее: внимательно ознакомился со всеми ее материалами и авторами. Находясь в 1928 году проездом в Тбилиси, он во время беседы с грузинскими писателями ставит вопрос о создании журнала «Наши достижения». В своем выступлении Алексей Максимович набросал литературный план ближайших номеров журнала; он направил творческую мысль собравшихся писателей и поэтов на освещение всего, «что сделано, что делается и как делается в нашей огромной богатейшей стране».

Организуя журнал «Наши достижения», Максим Горький вкладывает в эту работу много энергии. Он завязывает связи с национальными авторами, привлекает к сотрудничеству их, пишет первые статьи и т. д. Вот отрывок одного из писем корейцам-работникам Владивостока, очень ярко характеризующий огромную любовь писателя-учителя к людям страны социализма, к людям, «которые еще недавно не имели письменности, а сегодня поставлены перед необходимостью решать вопросы огромного культурного и политического значения:

«В свою очередь, — пишет Горький, — обращаюсь к вам с просьбой и предложением помочь мне. В Москве мною организуется журнал «Наши достижения». Цель этого журнала: дать массовому читателю полную картину всей культурной работы, которая идет в Со-

юзе Советов, показать всем людям труда их успех в деле строительства нового государства. Журнал будет говорить об успехах в области науки, сельского хозяйства, промышленности и о тех изменениях в быте, которые, разрушая старое, творят новое.

Было бы желательно, чтобы вы, корейцы, написали о том, что делается вами, чего достигли вы, как растет среди вас новое.

Вообще — пишите обо всем, что вас волнует, что радует».

Перед Всесоюзным съездом писателей по инициативе Горького были посланы писательские бригады в братские республики. Русские поэты, писатели проделали огромную созидательную работу по переводу лучших художественных произведений, по подготовке антологий национальной поэзии. Результаты работы бригад очевидны. За короткое время издан ряд произведений национальной литературы (грузинской, армянской, белорусской). Русский читатель близко познакомился со многими писателями народов СССР.

Горький организовывал издательство «Двух пятилеток», развернувшее, в частности, работу по изданию сокровищ устного народного творчества: к двадцатилетию Октября выходят в свет первые два тома старого и нового фольклора народов СССР. По инициативе Горького созданы такие всесоюзные издательства, как «История фабрик и заводов» и «История гражданской войны». Организуя эти издательства, Горький обратился ко всем художникам слова с призывом принять активное участие в их работе. Так, по личным указаниям Максима Горького союз советских писателей Башкирии проделал громадную работу по изучению истории гражданской войны в Башкирии, по истории ее промышленных предприятий. Нынче башкирскими писателями написаны истории Белорецкого и Баймакского заводов, собраны многочисленные материалы по истории гражданской войны.

Эта работа приняла широкий размах и в других республиках, краях и областях. В ней участвуют писатели всего

«великого разноплеменного народа СССР». Трудно учесть все многообразие непрерывной деятельности Горького. Но бесспорно, что все лучшие начинания в советской национальной литературе связаны с именем Горького. Встретившись в Москве с представителями северных народов, возрожденных революцией к жизни, он заинтересовался их устными творческими богатствами. По его предложению они начали большую работу по собиранию ненецкого фольклора. При его участии были изданы сборники пролетарских писателей, сборники армянской, латышской и финской литературы, альманах национальной литературы в переводе лучших поэтов и переводчиков. Алексей Максимович готовил сборники литератур: еврейской, литовской и среднеазиатских народов. Максим Горький горячо отозвался на предложение туркменских писателей посмотреть готовящийся в 1934 году альманах туркменской литературы и литературы о Туркмении, потребовал дать в его распоряжение весь литературный материал, особенно туркменских писателей. По мысли Алексея Максимовича издаются серии «Исторические романы» и «Жизнь замечательных людей». Он предложил включить в их издательские планы произведения национальной литературы; так, в серии «Исторические романы» вышло произведение «Арсен из Марабды» М. Джавахишвили, в серии «Жизнь замечательных людей» готовится работа о Шота Руставели и др.

Могучий талант Горького оказал огромное влияние на творчество национальных писателей, на рост их художественного мастерства. Он будил творческие мысли, расширял круг интересов, поднимал на принципиальную высоту актуальные вопросы искусства. Еще в 1916 году Максим Горький в письме к армянскому поэту и писателю Тиграну Ахумяну писал:

«Разумеется — вам нужно писать — много, но столь же необходимо для вас — встать ближе к жизни, пользоваться непосредственно ее внушениями, образами, картинами, ее трепетом, плотью и кровью. Не сосредоточивай-

тесь на себе, но сосредоточьте весь мир в себе. В жизни много яда, но есть и мед—найдите его. Не будьте только лириком, не запирайте душу свою в клетку, вами же построенную,—смейте быть и юмористом, и эпиком, и сатириком, и просто веселым человеком. Надо все брать и все отдавать жизни, людям.

Большинство современных поэтов живет, точно на необитаемых островах, вне жизни, вне ее хаоса. Это, конечно, более легко и удобно, чем жить в хаосе действительности, но это значит ограбить себя. Не надо быть Робинзоном, не надо! Надо жить, кричать, смеяться, ругаться, любить. Надо искать то, что еще не найдено,—новое слово, рифму, образ, картину. Поэт — эхо мира, а не только — няня своей души...».

Многие прозаики и поэты начинали свою деятельность с изучения произведений Горького, с изучения его высококого искусства социалистического реализма. Образы, художественные идеи, творческие приемы великого писателя отразились в многочисленных произведениях национальной литературы. Башкирский писатель Дауд Юлтый, написавший на основе народной легенды историческое произведение «Мактым Хлу», говорит: «Написать эту вещь меня побудили слова М. Горького о народном творчестве». Писатель Афзал Тагиров создал за последнее время такие произведения, как «Красногвардейцы» и «Красноармейцы», будучи побужден к этому указаниями Горького об изучении истории гражданской войны. Под непосредственным влиянием Горького родилась и крепла татарская революционная литература. Горький, прекрасно знавший жизнь татар, мастерски им запечатленную в произведениях, находился в переписке со многими татарскими писателями. Последние часто обращались к его поддержке, к его совету. Творчество Горького, особенно указания об использовании в произведениях фольклора, — народных песен, легенд, сказок, поговорок, загадок, сказаний, в которых, как писал он в одном из писем, «звучит душа народа, любимого мною», — оказало глубокое воз-

действие на татарских писателей, вдохновило их на создание ряда больших произведений прозы и поэзии.

Его слова: «Начало искусства слова — в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабатывайте его; он очень много дает материала и вам и нам, поэтам и прозаикам Союза» — вызвали широкий отклик в писательской среде. Развернулось серьезное изучение и собирание фольклора народов СССР. Большая работа проделана писателями Грузии, Армении, Восточной и Западной Сибири, Карелии, Дагестана. О размахе этой работы свидетельствуют выпускаемые в этом году в Союзе более 40 сборников устного народного творчества народов СССР.

Горький беспрестанно призывал широко освещать жизнь и быт народов, племен, «разбуженных властной рукой революции от «сна веков».

Открывая 1-й Всесоюзный съезд советских писателей, Максим Горький важнейшее значение его видит «в том, что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира».

Дальше в докладе на съезде советских писателей он еще сильнее подчеркивает интернационализм нашей социалистической литературы, проявляя исключительную отеческую заботу и чуткость к отрядам ее.

Став во главе союза советских писателей, Алексей Максимович еще с большей энергией и страстью развернул мощью национальным писателям, еще с большим упорством и требовательностью ставил вопрос о работе союза в национальных республиках и областях. Беседуя с грузинскими, башкирскими, туркменскими и таджикскими писателями, А. М. расспрашивает их о культурном и экономическом развитии их республик, о росте литератур и народных талантов. После съезда он собирает у себя писателей, живущих в Сибири. А. М. дал оценку их творчеству и наметил дальнейшую совместную работу.

В апреле 1935 года А. М. встречается с группой советских писателей и поэтов Украины и в связи с приближением XX годовщины Великой Пролетарской революции ставит перед ними вопрос о создании больших произведений литературы. А. М. поставил перед украинскими писателями и ряд других вопросов. Так, в частности, он обратил внимание на необходимость большего освещения в литературе украинской деревни в ее прошлом и настоящем, большего отображения гражданской войны, в особенности немецкой оккупации и т. д. А. М. отметил также необходимость большего развития жанров юмора и сатиры... Он обратился с призывом ко всем национальным писателям, работникам искусств — активно готовиться к двадцатилетию Пролетарской револю-

ции, создавать произведения о великом Двадцатилетии. Голос Максима Горького был широко подхвачен во многих республиках.

Кипучей напряженной жизнью жил великий творец социалистической литературы, буревестник революции. Его гигантский художественный гений и вся его широкая общественно-политическая деятельность неизменно служили великому делу укрепления и развития дружбы народов нашей великой родины. Алексе́й Максимович Горький, талант которого оплодотворялся великими идеями Ленина — Сталина, принадлежит всем народам СССР, всему человечеству. Дело чести реализовать все то великое и ценное, что оставил нам великий пролетарский писатель, соратник Ленина — Сталина.

О МНИМОМ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ ПУШКИНЕ

Гл. Глебов

К столетию со дня смерти Пушкина шестым изданием вышел составленный В. В. Вересаевым систематический свод подлинных свидетельств современников о Пушкине — «Пушкин в жизни» (издательство «Советский писатель», М., 1936).

В. Вересаев проделал большую, кропотливую, интересную работу.

«Пушкин в жизни» — увлекательнейшая книга. Через нее до современного читателя доходит голос тех, кто встречал, знал, любил, ненавидел великого поэта. Разбросанные в многочисленных книгах и газетах, затерянные в редких и забытых изданиях свидетельства эти собраны воедино и размещены в хронологическом порядке. Получается огромная мозаика фактов, высказываний, легенд, дающая живую картину отдельных моментов жизни Пушкина. И этот голос современников поэта, эти живые черты его жизни глубоко волнуют. Книга настолько интересна, что от нее трудно оторваться.

Задача, которую поставил В. Вересаев, заключалась в собирании по пер-

воисточникам сведений, касающихся «характера Пушкина, его настроений, привычек, наружности и пр.», в собирании «более или менее всего, что сообщалось о личности Пушкина» (предисловие к первому изданию).

Но можно ли показать и понять характер, настроения, личность Пушкина, не привлекая материалов, характеризующих его общественные и художественные воззрения, симпатии, увлечения? Можно ли дать правильное представление о привычках поэта, не показав его творческой работы, трудовых навыков? Думается, что нет. Между тем В. Вересаев избрал такой принцип отбора материалов, который привел к искусственному отрыву Пушкина-человека от Пушкина-поэта. Живая творческая мысль Пушкина, его творческая работа почти не нашли отражения в своде. Даны факты жизни, но не показаны взгляды поэта на эти факты. Скупое, неполное, бессистемное вкраплены в свод высказывания, характеризующие его отношение к жизни, политике, искусству.

В результате жизнь великого поэта получается в значительной мере выхоленной, обескровленной.

Это — не случайно. Отбор материалов обусловлен принципом установки В. Вересаева, нашедшей яркое выражение в статьях о Пушкине, опубликованных в сборнике «В двух планах» (изд. «Недра», М., 1929).



В предисловии к сборнику «В двух планах» В. Вересаев пишет: «В нем (Пушкине) я думал найти самого высшего, лучезарно-просветленного носителя «живой жизни», подлиннейшее увенчание редкой у человека способности претворять в своем сознании жизнь в красоту и радость. В процессе моей работы над Пушкиным я убедился, что мой подход к нему был совершенно неправилен, что я в нем не найду того, чего искал. Что я в нем нашел, об этом расскажет предлагаемая книга».

Итак, В. Вересаев не нашел в Пушкине носителя «живой жизни». «Нигде в жизни Пушкина мы не видим и не чувствуем веяния живой жизни, торжествующего биения силы жизни, умиряющей и гармонизирующей кипящий вокруг человека и в нем самом жизненный хаос» (стр. 146). Он нашел в поэте нечто другое. Во-первых, — «поразительное несовпадение его творчества с его жизнью» (стр. 156). Во-вторых, — в жизни цинизм, упадочничество, разложение, «чернейшие провалы», много «и хаоса, и зверя» (стр. 87). В-третьих, — в творчестве «самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа» (стр. 159). Он нашел «поразительное несоответствие между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве»: «В жизни — суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии — серьезный, несравненно-мудрый и ослепительно-светлый, — «весь выше мира и страстей» (стр. 140).

Между жизнью и творчеством Пушкина непроходимая пропасть. Эта «не-

проходимость» возведена в принцип: «Пренебрежение к «низкой жизни», в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника», пребывающего на «головокружительных высотах искусства» (стр. 156).

Такова сущность построенной В. Вересаевым применительно к Пушкину теории «двупланности». Из нее В. Вересаев и исходит как при оценке личности и творчества поэта, так и при отборе материалов для «Пушкина в жизни».

Эта теория — не новая. В общих чертах она была уже высказана лицейским товарищем Пушкина графом М. А. Корфом в записке о поэте (Я. Грот. «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», СПб, 1887, стр. 253—283).

Некоторые точки зрения и оценки М. Корфа и В. Вересаева удивительным образом совпадают: и представление о «двух Пушкиных» — человеке и поэте, и характеристика Пушкина-человека как циника, дрянца и ничтожества.

Разберемся в этом совпадении.

М. Корф: «Жизнь его (Пушкина) была двойка: жизнь поэта и жизнь человека».

В. Вересаев: «В жизни он — один, в творчестве совсем другой... Конечно, так уверенно утверждая это положение о двух ипостасях поэта, — жизненной и художественной, — Пушкин черпал его из собственного опыта» (стр. 132).

М. Корф: «В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части...».

В. Вересаев: «В вопросах политических, общественных, религиозных Пушкин был неустойчив, колебался, в разные периоды был себе противоположен. Эти все вопросы слишком глубоко не задевали его» (стр. 110).

М. Корф: Поэзия — «единственная вещь, которую он (Пушкин) дорожил в мире».

В. Вересаев: «Пушкин своего права художественного творчества не отдал бы ни за что — ни за бога, ни за

народ, ни за какие блага мира» (стр. 156).

М. Корф: «Вспыльчивый до бешенства, вечно рассеянный, вечно погруженный в поэтические свои мечтания, с необузданными африканскими страстями... В лице он превосходил всех в чувственности, а после в свете предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий... Вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти без порядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими, Пушкин представлял тип самого грязного разврата».

В. Вересаев: «В действительной жизни до конца своих дней он (Пушкин) продолжал проявлять величайший цинизм, поражающий не одного из его друзей» (стр. 60). Во многих поступках поэта — «величайшее душевное легкомыслие, полная безответственность одного момента жизни перед любым из других моментов, отсутствие основного регулирующего начала, хотя бы в какой-нибудь мере действующего на жизненные поступки человека» (стр. 67—68). «Повидимому, в душе его немало было упадочничества и даже разложения, зияя чернейшие провалы, много было и хаоса, и зверя» (стр. 87). «В жизни это был человек, совершенно лишенный способности стать выше страсти, ... страсти крутили и трепали его душу, как вихрь легкую соломинку» (стр. 134). «Он беспомощно бился в захлестывавших его мелочах, эти мелочи заслоняли от него жизнь и растрепывали душу, он вечно мечется, вечно раздражен и растерян» (стр. 145—146).

Как видим, совпадение разительное! Оно не ограничивается только «двупланной» схемой. И по смыслу, и по интонации характеристика В. Вересаева «смыкается» с оценкой личности Пушкина, данной М. Корфом.

Но ведь известно, что М. Корф, флистер и ханжа до мозга костей, клеветал в своей записке на Пушкина. П. А. Вяземский в замечаниях на эту

записку отмечал: «Сколько мне известно, он (Пушкин) вовсе не был предан распутствам всех родов. Не был монахом, а был грешен, как все в молодые годы. В любви его преобладала вовсе не чувственность, а скорее поэтическое увлечение, что впрочем и отразилось в поэзии его». И еще: «Никакого особенного знакомства с трактирами не было и ничего трактирного в нем не было, а еще менее грязного разврата». Даже Я. Грот, лично весьма близкий к М. Корфу, вынужден был меланхолически заметить, что характеристики, данные Корфом в записке, «к сожалению... не всегда согласны с тем беспристрастным отношением к прошлому, какого мы были бы в праве ожидать...». Наконец, сам В. Вересаев в «Спутниках Пушкина», выпущенных через восемь лет после первого издания «Пушкина в жизни» и через пять лет после сборника «В двух планах», пишет, что воспоминания М. Корфа о Пушкине «носят злобно-недоброжелательный, нередко совершенно клеветнический характер».

И все же, наперекор всему этому, В. Вересаев записку М. Корфа называет «полезным противовесом (?) к односторонне-хвалебным воспоминаниям друзей Пушкина» (предисловие к первому изданию «Пушкина в жизни») и без оговорок использует ее в «Пушкине в жизни».

Но этого мало. «Прямо ошеломляющее впечатление» (стр. 81) производят на В. Вересаева и циничные «откровения» А. Н. Вульфа. Показания этого не слишком чистоплотного в моральном отношении человека он принимает безоговорочно. И даже проявляет к нему своего рода сочувствие: «В отзывах Вульфа о Пушкине все время ощущается весьма ясная нота затаенной вражды и насмешки, как будто Пушкин причинил ему большой какой-то ущерб» (стр. 85). В этой вражде и насмешке Пушкин был, по мнению В. Вересаева, виноват сам. Он, Мефистофель, посвятил Вульфа, невинного Фауста, «во все таинства «науки страсти нежной» (стр. 84). И этим, — такова мысль В. Ве-

ресаева, — нанес ему ущерб. Поэт якобы сам повинен в том, что Вульф воспринимал его так, как воспринимал. Ведь «Пушкин не только в дневнике Вульфа говорит с ним почти исключительно о женщинах и любовных делишках. Почти об этом одном говорит он и в подлинных своих письмах к Вульфу» (стр. 88).

Данные, которыми мы располагаем о Вульфе, говорят, что к моменту знакомства с Пушкиным он был уже достаточно опытным «специалистом» в «науке страсти нежной». Пушкину нечему было его учить. Но поэт был неизмеримо умнее, тоньше, острее своего собутыльника. И вот тут Вульфу, действительно, было чему поучиться — напр., пониманию человеческой психологии, «противоречий страстей» и т. д. Но Вульфа не это интересовало...

Вряд ли можно взваливать на Пушкина вину за то, что Вульф воспринимал все сообразно наклонностям своей природы и что смог он разглядеть в поэте только легкомыслие и цинизм.

Аргумент В. Вересаева о разговорах и письмах Пушкина совершенно неубедителен. Одна из замечательных особенностей Пушкина — своеобразная манера общения с людьми: поэт стремится осуществлять общение с каждым данным человеком на его уровне, в плане его интересов. Особенно ярко видно это в письмах. Их характер и стиль резко меняются в зависимости от адресата. Разнообразие содержания, стилей и интонаций в письмах Пушкина поистине изумительно. Характер и стиль писем к Вяземскому отличен от характера и стиля писем к Жуковскому. То же самое следует сказать о письмах к Рылееву и Бестужеву, Дельвигу и Нащокину, Осиповой и Хитрово, Языкову и Вульфу и т. д. Это заметить не так трудно. Не трудно заметить и то, что поэт переписывается с Вульфом в его «стиле» и беседует на темы, больше всего интересующие этого «невинного» дерптского Фауста...

На В. Вересаева, повидимому, действительно, настолько сильное впечатление произвели злобное ханжество Корфа и упрямый цинизм Вульфа, что

он не смог критически отнестись к их свидетельствам. Более того: в своих оценках личности Пушкина он сам — вольно или невольно — пошел по указанному ими неправильному пути.



В. Вересаев, бесспорно, прав, восставая против «иконописной» традиции некоторых мемуаристов и биографов Пушкина. Реставрировать «иконописный лик» Пушкина — дело не только бесполезное, но и вредное. Нам не нужны «благонамеренные» выдумки друзей поэта. Исследователь, однако, не должен очертя голову бросаться из одной крайности в другую. Никому не нужны и клеветнические выдумки врагов поэта. Читатель нашей эпохи хочет знать образ Пушкина во всей его правдивой полноте и сложности, а не прикрашенному или ущемленному.

К сожалению, В. Вересаев не стал на почву объективного научного исследования. В сборнике «В двух планах» он — под явным влиянием Корфа и Вульфа — с необыкновенной настойчивостью подчеркивает отрицательные черты характера Пушкина. Сильно преувеличивает его цинизм и «безнравственность». Упорно отмечает «настроения вполне упадочного характера» (стр. 162), «совершенно некрофильские (!) настроения» (стр. 162), «совершенно болярские настроения» (стр. 163). А в предисловиях к первому и третьему изданиям «Пушкина в жизни» дает такую характеристику поэта: «прешный, увлекающийся, часто действительно ничтожный, иногда прямо пошлый»; «был цинизм, была нередко мелкая мстительность, была угодливость...».

Поиски «живой жизни» приводят В. Вересаева к довольно странному результату. Цинизм, разврат, легкомыслие, озорство, раздвожительность, неустойчивость, «чернейшие провалы» — вот что находит он в «живом» Пушкине! Такого рода «результат» свидетельствует больше о навязчивой идее, овладевшей исследователем, чем о достоверности, основанной на беспристрастном

изучении фактов. «Односторонность есть пагуба мысли» — говорил Пушкин. Пристрастная односторонность В. Вересаева приводит к извращенной, ложной характеристике личности великого поэта.

Тут нельзя не вспомнить, как М. Горький писал в 1911 г. одному своему корреспонденту об искажении образа Пушкина: «Сокрушаюсь, что вы Пушкина засадили в «легкомысленные люди». Он у нас — начало всех начал, в том числе и Герцена».

В. Вересаев отмечает: стихотворения молодого Пушкина «полны самых бладоурастных описаний» и «соблазнительных картин» (стр. 59). Но после 1832 г. «в Пушкине как будто происходит в этом отношении какой-то глубокий переворот»: «он становится в творчестве своем поразительно чистым и целомудренным» (стр. 59). Что же касается «действительной жизни», то здесь ничего не изменилось, — «до конца своих дней он продолжал проявлять величайший цинизм» (стр. 60). Тем самым В. Вересаев отрицает развитие личности Пушкина. Однако, совершенно бесспорно, что с годами сильно изменялись и характер, и мировоззрение, и творчество поэта. Он становился все более серьезным и глубоким. Его творчество захватывало все более широкий круг явлений и проблем. Могли в творчестве не только Пушкина, но и всякого другого поэта произойти «глубокий переворот», если бы в нем самом не совершился соответствующий переворот? Или — личность личностью, а стихи стихами? Нет, это не так! Это только ошибка В. Вересаева, являющаяся следствием антидиалектической в своей основе теории «двупланности».

Известно, например, что 1830 — 1831 гг. — годы интенсивнейшей личной и творческой жизни Пушкина — явились во многих отношениях переломными. Болдинская осень была новым этапом творческого развития поэта. Женитьба же оказала большое влияние на его образ жизни, привычки, поведение. Эту перемену можно проследить по письмам поэта. Эта перемена

на видна и в направлении дальнейшей творческой работы (рост прозы, исторические исследования). Об этой перемене, наконец, довольно отчетливо говорят и записи современников.

«Образ жизни моей совершенно переменился» — пишет Пушкин 15 января 1832 г. М. О. Судьенку. «Женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. С того времени он стал смотреть серьезнее...» — сообщает А. П. Керн в своих воспоминаниях. «Он очень созрел» — записывает 4 июля 1832 г. Н. А. Муханов в дневнике. В 1833 г. поэт говорит В. И. Далю: «Я только что перебесился; вы не знали меня в молодости, каков я был; я не так жил как жить бы должно; бурный небосклон позади меня, как оглянись я...». В марте 1834 г. он пишет П. В. Нащокину такие замечательные по искренности и глубине слова: «Говорят что нещастие хорошая школа: может быть. Но щастие есть лучший университет. Оно довершает воспитание души, способной к доброму и прекрасному, какова твоя, мой друг; какова и моя, как тебе известно». Память и заботу Пушкина отмечает Кюхельбекер в письме к нему от 12 февраля 1836 г.: «Ты же более всех прочих помнил о нашем затворнике... Сверх того мне особенно приятно было, что именно ты, поэт, более наших прозаиков заботишься обо мне: это служило мне вместо явного опровержения всего того, что господа люди хладнокровные и рассудительные обыкновенно взводят на грешных служителей стиха и рифмы. У них поэт и человек недельный одно и то же; а вот же Пушкин оказался другом гораздо более дельным, чем все они вместе». И т. д., и т. п. А вот В. Вересаев и в зрелом Пушкине видит все то же — «величайший цинизм», «величайшее душевное легкомыслие», «полную безответственность», «отсутствие основного регулирующего начала... Лишь смерть поэта доказала В. Вересаеву, что «под поверхностным слоем густого мусора (?) в глубине души Пушкина лежали благороднейшие залежи» (стр. 142).

Думается, что в наличии «благород-

нейших залежей» можно убедиться, и не прибегая к столь сильным доказательствам...

Пушкин не был ни аскетом, ни развратником, ни филистером, ни ханжой. Он был полон сильных страстей, разнообразных чувств, противоречивых стремлений. Озорство сочеталось в нем с мудростью. Цинизм — с целомудрием. Бесстрашие — с застенчивостью. Сдержанность — с пылкостью. Ревность — с доверчивостью. Жизнерадостность — с грустью. Ленивая беспечность — с поразительным трудолюбием. Светская суетность — с суровым сознанием поэтического долга. Он был искренен и доброжелателен. Внутреннее развитие поэта шло в направлении расцвета лучших сторон его личности. П. В. Нащокин не даром говорил: «Ни тогда, ни теперь не понимают, и не понимали, до какой степени была высока душа у Пушкина». Правду этих слов засвидетельствовали и произведения, и жизнь, и смерть поэта.

Таковы черты живого Пушкина. Но этот образ Пушкина очень далек от образа, который хочет нарисовать В. Вересаев.



Каков же был Пушкин, как поэт, по В. Вересаеву?

«Пушкин уходил со своим творчеством в сторону от жизни» (стр. 27), в «мир «светлых привидений», совершенно не связанных с этой жизнью» (стр. 30). Единственным «несомненным и прочным» счастьем для Пушкина было «счастье ухода от живой жизни в мир светлой мечты» (стр. 151). «В уходе в мир светлой мечты» поэт обрел «подлинную жизнь» (стр. 156). «Пренебрежение к «низкой жизни», в понимании Пушкина, лежит в самом существе художника. И этим объясняется «двупланность» Пушкина, его двойственность, поразительное несовпадение его творчества с его жизнью и... полное отсутствие всякого трагизма от этого несовпадения» (стр. 156).

Пушкин в поэзии — «серьезный, несравненно-мудрый и ослепительно-светлый». «Поэзия Пушкина — это, по-

истине, самые высокие вершины душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа». Но в «живом» Пушкине, в личности поэта, по концепции В. Вересаева, всех этих черт мудрости, высокого душевного благородства, целомудренной чистоты и светлой ясности духа нет. «Самые основные черты характера Пушкина, как они отражены в его творчестве, совершенно не соответствуют подлинному характеру Пушкина» (стр. 70). «Кто вздумал бы судить о Пушкине по его поэтическим произведениям, тот составил бы об его личности самое неправильное и фантастическое представление» (стр. 134). Как видим, В. Вересаев вполне последователен. Пушкин-поэт — это одно, Пушкин-человек — другое. И в этом, по В. Вересаеву, нет ничего удивительного, так как «гений нередко бывает в жизни форменным дрянцом» (стр. 157)! Мы уже знаем, как описал В. Вересаев «подлинный характер» Пушкина...

Одна ошибка порождает другую, еще более серьезную.

В. Вересаев превращает великого поэта, основоположника реализма в русской литературе, в какого-то разложившегося, гнилого эстета. А его творчество — в красивую иллюзию. «Гармония Пушкина именно обуславливалась полнотою погружения в красоту иллюзии, поэзия его именно была цветком, выросшим из мрачной пропасти» (стр. 172).

Получается довольно забавное «разногласие» между Пушкиным и В. Вересаевым. Пушкин утверждает реальную связь между поэзией и обществом, между творчеством и действительностью. «Новую словесность» петровского времени он, например, считает «плодом новообразованного общества». Он ясно сознает историческую основу искусства поэзии: «Другие времена, другие вдохновения, — другой поэт». А В. Вересаев почитает поэзию Пушкина иллюзорным цветком, вырастающим из какой-то заумной «черной пропасти». Пушкин называет себя «поэтом действительности». А В. Вересаев называет Пушкина поэтом красивых иллю-

зий, «светлых привидений» и т. п. Кто прав? Прав все же Пушкин!

В творчестве Пушкин видел цель и назначение своей жизни. Художественное слово — «грозный дар», обладающий «могучей властью над умами». Этим даром можно овладеть, лишь посвятив ему всю жизнь. Ведь поэзия «объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления... жизни» поэта. Дело поэта было для Пушкина жизненно важным и социально значительным делом. Это определяло его отношение и к своей жизни, и к окружающей действительности. Это же определяло и его линию в литературе. «Служенье муз не терпит суеты»!

«Свободный ум» поэта направлен не «в сторону от жизни», а на реальную и историческую действительность. И эта действительность обуславливает смысловую наполненность и направленность произведений Пушкина. В них отразились все острые противоречия времени, вся мучительная борьба поэта за жизнь, за свое творческое дело. Они наполнены всеми теми интересами, вопросами, тревогами, которые порождал ход реальной жизни, полны мыслями и чувствами человека, захваченного противоречиями этой жизни. В творчестве Пушкин выражает свои раздумья, свою взволнованность, свои пристрастия, свою классовую заинтересованность в происходящем.

Развитие пушкинского творчества шло в направлении овладения «низкой» «истиной жизни». В нем отчетливо выражена тенденция перехода от «избранного» к «народному», стремление не «закрашивать истину красками своего воображения». Ни в мировоззрении, ни в творческой практике зрелого Пушкина нет того «пренебрежения» к «низкой жизни», о котором пишет В. Вересаев. Поэт ее, эту «низкую жизнь», хочет знать. И знает. И полной мерой черпает из нее материал для своего творчества.

Не случайно В. Вересаев берет под обстрел именно те два стихотворения Пушкина, в которых с наибольшей силой выражен его взгляд на назначение поэта, — «Пророк» и «Памятник».

В «Пророке», — пишет В. Вересаев, — Пушкин выразил «свое интимное, сокровенное понимание существа поэтического творчества» (стр. 107). Существо это — в неограниченной свободе творчества, «отрешившегося от всех житейских соображений» (стр. 108). Но как в таком случае понять «непонятные и загадочные» слова: «Глаголом жги сердца людей!»? В. Вересаев отвергает «зашаблоненное», по его мнению, понимание слова жечь, как воспламенить и т. п. И предлагает такое: «обжигать, мучить» (стр. 109). Он устраняет, таким образом, из пушкинской формулы всякий действительный, общественный смысл. Ведь действительность слова — это полезность. А по Пушкину, мол, «нельзя требовать от поэзии какой бы то ни было пользы, — хотя бы самой возвышенной» (стр. 109). И потому Пушкин будто бы предлагает в своем стихотворении поэту-пророку просто так — за здорово живешь — мучить сердца людей. И больше ничего.

«Памятник» Пушкина — по В. Вересаеву — есть «ясно выраженная, не прикрытая, «даже подчеркнутая» «пародия на «Памятник» Державина» (стр. 117—118). По поводу знаменитой формулы самооценки Пушкина В. Вересаев утверждает: во-первых, «чрезвычайно затруднительно указать, где именно Пушкин пробуждает «добрые» чувства»; во-вторых, восславление свободы является «крохотным и не полноценным осколком (?) в огромном пушкинском творчестве»; в-третьих, пушкинские «призывы» «милости к падшим» можно вспомнить лишь «с некоторым напряжением памяти» (стр. 112). Поэту самооценку поэта нельзя принимать всерьез. Это только пародия. А «простодушный читатель» наивно принимает «Памятник» «за вещь, написанную вполне серьезно», и видит в нем «какую-то «самооценку» Пушкина» (стр. 121)... Таким образом, и из «Памятника» В. Вересаев устраняет всякий действительный, общественный смысл.

Толкования В. Вересаева извращают как действительный смысл «Пророка» и

«Памятника», так и действительное отношение Пушкина к делу поэта.

Да, Пушкин провозгласил лозунг автономности поэтического творчества, самозаконности творческой воли поэта. Да, Пушкин утверждал, что «цель поэзии — поэзия», что «поэзия по своему высшему, свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя». Таковы теоретические установки поэта, носящие характер общественно-поэтических деклараций.

Эти установки, однако, отнюдь не означали и не требовали ухода поэта «в сторону от жизни», «ухода от живой жизни в мир светлой мечты», в мир «светлых привидений». Наоборот! Только утверждая то, что утверждал Пушкин, только понимая назначение поэта так, как понимал Пушкин, можно было поэтической мысли в ту эпоху, в тех социально-исторических условиях прорисовать в сердцевину реальной жизни. Пушкин требовал от «истинного поэта» «свободного ума» и «силы диалектики» именно для познания действительности. И творческой свободы — именно для того, чтобы поэт мог наилучшим образом выражать это свое познание. Принцип самозаконности творческой воли устанавливал, — так думал Пушкин, — единственно правильное отношение поэта к действительности.

В своих теоретических высказываниях Пушкин утверждает огромное историческое и культурное значение искусства поэзии.

«Дружина ученых и писателей, какого б (рода) они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности».

«Между тем как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими — произведения истинных поэтов остаются свежими и вечно юны».

«Аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что

значит аристократия породы и богатства в сравнении с аристокрацией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда».

О действительной силе поэтического слова пишет Пушкин и в ряде стихотворений. В «Деревне» (1819) он говорит о «витийства грозном даре» и стремится к действительности: «О, если б голос мой умел сердца тревожить!» В «Подражаниях Корану» (1824) ясно выражена мысль о могуществе слова — о «языке», «одаренном могучей властью над умами». В одном наброске 1827 г. говорится о «народе, толкаемом слугами», который «слушает певца», «владеющего смехом и слезами».

Бесспорно: формула «Глаголом жги сердца людей!» не является случайной. Она находится в тесной смысловой связи с рядом высказываний поэта на ту же тему — о воздействии поэтического слова на сердце и ум человека.

Что касается «Памятника», то весьма поучительный результат дает изучение процесса создания стихотворения. В ряде первоначально набросанных строк поэт записывает те мысли, которые вырываются, так сказать, непосредственно из-под пера. В них указываются деяния, совершенные поэтом: «Что в русском языке музыку я обрел» — «Что звуки новые обрел я в языке» — «Что звуки новые для песен я обрел». Пушкин сознавал, что создал действительно «звуки новые» — русский поэтический язык. «Во след Радищеву восславил я свободу». Имя Радищева связано с вольнолюбием поэта, с его ненавистью к тиранам и крепостному рабству и никакого отношения к «Памятнику» Державина не имеет. «Изгнанья не страшась...». Это обращение к музе, несомненно, продиктовано воспоминаниями поэта об изгнании из Петербурга за негодные царю стихи.

Таким образом, черновые варианты «Памятника» подтверждают, что Пушкин

кин дал в стихотворении тщательное продуманную самооценку. «Памятник» — не пародия, а новая, смелая трактовка старой темы.

И «Пророк» (1826), и «Памятник» (1836) стоят в одном ряду с приведенными выше высказываниями и выражают одну основную для Пушкина идею: идею преобразования действительности через изменение сознания людей словом. Ведь поэт хорошо знал, что «пишущие таланты» могут «на целые поколения, на целые столетия налагать свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки...».

Ясно сознавая смысл и значение своего творческого дела, поэт писал в 1831 г.: «Могу сказать, что в последнее пятилетие царствования покойного государя (Александра I) я имел на сословие литераторов гораздо более влияние, чем министерство, несмотря на неизмеримое неравенство средств».

Как видим, и творческая деятельность Пушкина имеет мало общего с той характеристикой, которую дает ей вопреки истории В. Вересаев.

Следует отметить, что В. Вересаев через десять лет после статьи «Пушкин и польза искусства» частично пересмотрел свою точку зрения на «Памятник». В статье «Жизнь Пушкина», опубликованной в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК» от 3, 4 и 5 октября 1936 г., В. Вересаев называет «Памятник» «изумительным по совершенно новому для Пушкина подходу к задачам поэзии и по оценке собственных поэтических заслуг», видит в нем «не только подведение Пушкиным итогов прежней своей поэтической деятельности, а решительное заявление о переходе его на совершенно новые поэтические позиции. «Пробуждение добрых чувств», «восславление свободы», «призыв милости к падшим», — вот что всего более начинает теперь ценить Пушкин в своей прошлой деятельности и вот в чем усматривает «божие веление» для деятельности будущей».

Все же и здесь В. Вересаев допускает ошибку: ничего «совершенно нового» в отношении мировоззрения поэта «Па-

мятник» не содержит. Идеи, выраженные в «Памятнике», связаны, как уже сказано, с идеями, содержащимися в ряде более ранних поэтических произведений и прозаических высказываний. Те поэтические позиции, которые В. Вересаев называет «совершенно новыми», в действительности разделялись Пушкиным уже в период создания «Пророка».



В. Вересаев настойчиво утверждает, что Пушкина совершенно не интересовало — будут ли поняты его стихи читателями и как будут поняты. «Ему совсем было неважно, как будет понимать его стихи публика. Он, повидимому, считал нужным доводить их лишь до той степени понятности, на которой они для него самого, для Пушкина, выражали то, что он хотел выразить. А поймут ли его другие, — до этого ему было мало дела» (стр. 122). «Пушкин писал для себя и очень мало заботился о том, поймет ли его публика и как поймет» (стр. 123). «Пушкин, повторяю, писал для себя и очень мало был озабочен, будем ли мы его понимать» (стр. 129).

В. Вересаев последователен. Раз Пушкин в своем творчестве уходит «в сторону от жизни», раз он отрицает какую бы то ни было практическую пользу поэзии («хотя бы самую возвышенную!»), то как может интересоваться его публика? Поэт пребывает в мире «светлых привидений» и красивых иллюзий, а на реальный мир и реального читателя ему от всей души наплевать!

Так логика «двупланности» приводит Вересаева к совершенному искажению действительного отношения Пушкина к поэтическому языку, к печатному слову, к читательской массе.

Смысл слов Пушкина «Пишу для себя» не в том, что только он один мог понять свои произведения или только он один считывал быть своим читателем. Художников слова, которые бы так «творили» и так «понимали» свое назначение, никогда не было и, вероят-

но, никогда не будет в природе. «Пишу для себя» у Пушкина — это значит: «пишу не по внешнему принуждению, а по внутреннему побуждению», «пишу под приятливым влиянием вдохновения», «пишу так, что бы я сам, взыскательный художник, был этим удовлетворен».

Пушкин необыкновенно рано осознал, что поэзия должна быть понятна всем, что необходимо преодолеть «человеческий образ изъяснения» придворных поэтов, что пора перестать писать «стихи бессмысленные».

Уже в 1815 г. он ясно и точно высказывается по этому вопросу («Бова»):

Разбирал я немца Клопштока
И не мог понять премудрого!
Не хотел я воспевать, как он;
Я хочу, чтоб меня поняли
Все от мала до великого.

Поэт утверждает, что «в зрелой словесности приходит время», когда «умы» от «ограниченного круга языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию». И еще (1828): «Прелесть нагой простоты так еще для нас непонятна, что даже и в прозе мы гоняемся за обветшалыми украшениями, поэзию же, освобожденную от условных украшений стихотворства, мы еще не понимаем. Мы не только еще не подумали приблизить поэтический слог к благородной простоте, но и прозе стараемся придать напыщенность». В 1830 г. Пушкин с полной определенностью пишет: русская трагедия должна отвыкнуть от языка «размеренного, важного и благопристойного» и «выучиться наречию понятному народу».

Я не буду приводить других высказываний Пушкина по данному вопросу. Их — много. И все они говорят о том, что поэтическое произведение должно быть выразительным, точным и простым — понятным.

Эти теоретические высказывания поэта не остались только благими пожеланиями. Он осуществил их в своей творческой практике, создав великолепное просторечие и добившись

величайшей точности поэтического слова.

К кому бы ни обращался поэт, к кому бы ни адресовал свои произведения, он выражает свой творческий замысел, свою мысль так, как это удовлетворяет прежде всего его самого — «взыскательного художника». И это вполне естественно. Но спрашивается — могли ли Пушкина удовлетворить стихи, в которых никто не смог бы понять смысла? Бесспорно, нет. Мы ведь знаем, как он высмеивал «питов», стряпавших «стихи бессмысленные». Мы ведь знаем, что «истинной жизнью» слова он признавал мысль. Мы ведь знаем его борьбу за «человеческий смысл» в поэзии.

Бывают, говоря вообще, различные степени простоты и сложности творческого замысла. И именно это определяет «степень понятности» произведений Пушкина, а не мнимое безразличное отношение поэта к читателю. В некоторых стихотворениях поэта — «Придет ужасный час...», «Люблю ваш сумрак неизвестный...», «Заклинание», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» — истинный смысл как бы скрыт в глубине, затенен. Почему? Потому что поэт стремится выразить сложные, тяжелые, смутные переживания, стремится выразить душевные состояния, быть может, еще не ясные до конца ему самому, — переживания и состояния, которые можно выразить только так, а не иначе. Не так-то легко понять и «Медного всадника». Но никакой другой «степени понятности» «Медного всадника», кроме данной Пушкиным, нет и быть не может. Если бы поэт написал свою петербургскую повесть с другой «степенью понятности», то это был бы уже не «Медный всадник», а совершенно другое произведение.

Пушкин первый из русских поэтов писал для всех грамотных людей, а не для «избранных», для народа, а не «для немногих» (как, напр., Жуковский и др.). В нем не было субъективистической замкнутости, эгоцентрической самоизоляции от мира, от народа.

С убийственной насмешкой рисует Пушкин образ поэта-эгоцентриста, для которого его собственное «я» было всем.

ствительном «Пушкине в жизни», — мыслящем и работающем. Давать мозаику фактов житейски-бытового порядка и оставлять вне поля зрения мысль человека, — это значит обесмысливать жизнь, обесмысливать факты. Реального «Пушкина в жизни» нет и быть не может без творческой мысли, без творческой работы.

Письма Пушкина — замечательные «человеческие документы», в которых правдиво отображена жизнь поэта, ярко выражена его живая творческая мысль. В. Вересаев использует эти документы таким образом, что в свод попадают, как правило, лишь места житейски-бытового характера. Все то, что составляет суть писем Пушкина к Вяземскому, Дельвигу, Рылееву, Бестужеву, Раевскому, Чаадаеву и др., — глубокие оценки явлений литературы, острые политические суждения, меткие наблюдения над современной жизнью, сообщения о своих творческих замыслах и работе, — все это осталось за бортом «Пушкина в жизни». Даже знаменитые строки о Шекспире, библии и атеизме, сыгравшие свою роль при ссылке поэта в Михайловское, и те не попали в свод.

«Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» — писал Пушкин. И вот этой «занимательной науке» В. Вересаев в своей книге не следует: он тщательно устраняет мысли великого поэта.

В свод не включен и ряд интереснейших, с точки зрения «живой жизни», записей из пушкинских дневников 1821 и 1833—1835 гг.

Так, мы не находим в «Пушкине в жизни» рассказа о свидании с П. И. Пестелем 9 апреля 1821 г.: «Утро провел я с Пестелем; умный человек во всем смысле этого слова. Mon coeur est matérialiste, говорит он, mais ma raison s'y refuse. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю...»

Не находим мы и следующих записей из дневника тридцатых годов:

«Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово к ум и р

не пропущено высочайшей цензурою; стихи:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова —

вымараны. На многих местах поставлен (?), — все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смирдиным». «Разговор со Сперанским о Пугачеве, о соблании законов, о первом времени царствования Александра, о Ермолове».

«Много говорят о бале, который должно дать дворянство по случаю совершеннолетия государя наследника... Вероятно, купечество даст также свой бал. Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке:

Царствуй, лежа на боку.

и:

Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам урок.

Времена Косовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова».

Для всякого ясно, что такого рода материалы неизмеримо правильнее и лучше характеризуют действительного Пушкина в жизни, чем самые подробные описания его квартир или вышитых им вин...

Далее В. Вересаевым совершенно не использованы заметки и записи Пушкина, касающиеся его собственных произведений, характеризующие отношение поэта к своей творческой работе. Между тем эти заметки и записи (напр., о «Демоне», ранних поэмах, «Борисе Годунове», «Евгении Онегине») рассказывают много ценного о творческой лаборатории поэта, его взглядах и т. п.

Наконец, далеко не полно использованы В. Вересаевым воспоминания современников о Пушкине. Причем эта неполнота приходится главным образом на те места воспоминаний, которые содержат высказывания Пушкина, имеющие принципиальное значение

ние, сообщения о взглядах поэта, его работе и т. п.

Размеры статьи не позволяют дать подробную картину использования В. Вересаевым источников. Я поэтому приведу лишь несколько отдельных характерных примеров.

Воспоминания И. П. Липранди В. Вересаев широко использовал в части, повествующей об озорных проделках Пушкина, его ссорах, дуэлях и т. п. И тщательно пропустил чрезвычайно интересные свидетельства о работе Пушкина на юге, о собирании им различных песен, преданий, о не дошедшем до нас первом прозаическом опыте поэта. «... Пушкин очень часто встречался у меня с сербскими воеводами, поселившимися в Кишиневе, Вучичем, Ненадовичем, Живковичем, двумя братьями Македонскими и пр., доставлявшими мне материалы. Чуть ли некоторые записки Александр Сергеевич не брал от меня, положительно не помню. Впрочем, мне не случалось читать что-либо писанное им о Сербии, исключая здесь упоминаемые стихи, как плоды вдохновения. От помянутых же воевод он собирал песни и часто при мне спрашивал о значении тех или других слов для перевода». «... Сообщил он (Пушкин), что свояченица хозяина (у которого поэт вместе с И. П. Липранди остановился в Измаиле) продиктовала ему какую-то славянскую песню; но беда в том, что в ней есть слова иллирийского наречия, которых он не понимает, а она, кроме своего родного и итальянского языка, других не знает, но что завтра кого-то найдут и растолкуют». «Александр Сергеевич имел перевод этих песен (сложенных на смерть Теодора Владимиреско и Бим-баши Саввы); он приносил их ко мне, с тем, чтобы проверить со слов моего арнаута Георгия». «... Не вижу в собрании его сочинений даже и намека о двух повестях, которые он составил из молдавских преданий, по рассказам трех главнейших гетеристов: Василия Каравия, Константина Дуки и Пендадеки... Пушкин часто встречал их у меня и находил большое удовольствие шутить и толковать с ними. От них он заимствовал два преда-

ния, в несколько приемов записывал их, и всегда на особенных бумажках... Он показал мне составленные повести; но некоторые места в них казались ему не ясными, ибо он просто потерял какой-либо лоскуток и просил меня, чтобы я вновь переспросил Дуку и Пендадеку и выставил бы года лицам и точно ли они находились тогда в Молдавии. Рассказчики времени не знают. «С прозой беда!» — присовокупил он, захохотав. «Хочу попробовать этот первый опыт»... В рукописи Пушкина было уже много переделок другой рукой, и он мне сказал, что в этот вечер опять отдаст оную на пересмотр, что ему самому как-то не нравится. Что сделалось потом, я не знаю, но у меня остались... копии, одна, под заглавием: «Дука, молдавское предание XVII века»; вторая: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года».

Не очевидно ли, что без этих и им подобных свидетельств картина «Пушкин в жизни» получается далеко не полной?

В воспоминаниях В. Даля о Пушкине остались неиспользованными замечательные строки: «До приезда Пушкина в Оренбург я виделся с ним всего только два или три; это было именно в 1832 году, когда я, по окончании Турецкого и Польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты свои. Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого из нас на уме вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой», — говорил он, — «а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить порусски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!» (Л. Майков. «Пушкин». 1899, стр. 418).

В рассказах В. Даля не использовано: «Пушкин живо интересовался изучением

народного языка, и это их сблизило. За словарь свой Даль принял по настоянию Пушкина» («Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым», 1925, стр. 21).

Ряд ценных сообщений П. В. Нащокина также не включен В. Вересаевым в свод: «Сказку о Царе Салтане Пушкин написал в дилижансе, проездом из Петербурга в Москву» (там же, стр. 27); «Нащокин помнит также, Пушкин говорил ему, что ему хотелось написать стихотворение или поэму, где выразить это непонятное желание человека, когда он стоит на высоте, броситься вниз. Это его занимало» (там же, стр. 44); «Ликовую даму Пушкин сам читал Нащокину и рассказывал ему, что главная завязка повести не вымышлена. Старуха-графиня — это Нат. Петровна Голицына, мать Дм. Влад-ча, Московского Ген.-Губернатора, действительно жившая в Париже в том роде, как описал Пушкин. Внук ее, Голицын, рассказывал Пушкину, что раз он проигрался и пришел к бабке просить денег. Денег она ему не дала, а сказала три карты, назначенные ей в Париже С.-Жерменом. «Попробуй» — сказала бабушка. Внучек поставил карты и отыгрался. — Дальнейшее развитие повести все вымышлено» (там же, стр. 46 — 47).

Большой интерес с точки зрения обрисовки творческой работы Пушкина представляет следующая неиспользованная В. Вересаевым запись П. И. Бартева: «Боратынский сказывал Елагиным (Н. А.), что стихотворение: Не дай мне бог сойти с ума, напечатано без конца. Было еще две строфы, где выражалась несвязность мыслей сумасшедшего. Издатели, не поняв этого, искали смысла в этих стихах и как бессмысленные откинули» (там же, стр. 51). Об этом Грановский писал 20 февраля 1840 г. Станкевичу: «Боратынский приезжает к Жуковскому и застаёт его поправляющим стихи Пушкина. Говорит, что в конце нет смысла. Боратынский прочел, и что же — это пьеса сумасшедшего и бессмыслица окончания была в плане поэта» (там же, стр. 125). Совершенно очевидно

значение этих свидетельств для характеристики творческой работы Пушкина.

Из дневниковых записей М. П. Погодина в свод не попали, например, такие: «Целое утро убеждал Пушкина, чтобы он не намекал на царскую цензуру своим критикам. Бесится без памяти за обвинения в безнравственности» (М. Цявловский. «Пушкин по документам Погодинского архива», 1916, стр. 34); «Презанимательный разговор о Российской Истории, о Наполеоне, о Александре I (мир в Москве)» (там же, стр. 39).

Отсутствует в своде В. Вересаева ряд свидетельств С. П. Шевырева о работе Пушкина над русским языком и памятниками древней словесности: «Никто так не уважал правильности форм языка и русской рапсодии, как Пушкин. Мы слышали от него много резких и остроумных грамматических замечаний, которые показывают, как глубоко изучал он отечественный язык» (Л. Майков, стр. 354); «Известно, с каким усердием Пушкин изучал памятники древней словесности. «Слово о полку Игореве» он помнил от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров. Нередко в беседе приводил он целиком слова из государственных грамот и летописей. Начертать характер Пимена мог он только по глубоком изучении духа и языка наших летописей. Кто из знавших коротко Пушкина не слышал, как он прекрасно читывал русские песни? Кто не помнит, как он любил ловить живую речь из уст простого народа?» (там же); «Известно, что Пушкин готовил издание «Слова о полку Игореве». С глубоким уважением говорил он об его поэтических достоинствах и не сочувствовал нисколько мнениям скептиков, которые всего сильнее действовали в его время... Я слышал лично от Пушкина об его труде. Он объяснил мне изустно вступление, которого смысл, по мнению Пушкина, был тот, что автор Слова, отказываясь от старых словес и замышления Боянова, предпочитает говорить о полку Игоревом по быдинам своего времени» (там же).

Недостаточно использован некролог «Александр Пушкин», написанный Адамом Мицкевичем. Великий польский поэт хорошо знал Пушкина, и его воспоминания интересны во многих отношениях. Вот, например, важнейшее место, не попавшее в «Пушкин в жизни»: «Он (Пушкин) презирал авторов, пишущих бесцельно; он не любил философского скептицизма и артистического равнодушия, какое видел в Гете. Что творилось в его душе? Рождались ли в ней в тиши стремления, одухотворяющие произведения Манцони или Пеллико, плодотворные размышления Томаса Мура, тоже умолкнувшего? Может быть, творческий дух его работал над тем, чтобы воплотить в себе идеи, вроде идей Сен-Симона или Фурье? Не знаем. В мелких его стихотворениях и в разговорах можно было наметить признаки обих указанных направлений» («Жизнь», 1899, том V, стр. 172, пер. М. Славинского). Нечего и говорить, насколько важно для характеристики духовного облика Пушкина и его исканий это свидетельство Мицкевича об отрицательном отношении поэта к «артистическому равнодушию» и о беседах на темы, так или иначе связанные с идеями Сен-Симона и Фурье!

Крайне скупо использован (ровно три с половиной строки) заслуживающий серьезного внимания некролог Ф. А. Леве-Веймара, напечатанный в «Journal des Débats» от 3 марта 1837 г. В «Пушкине в жизни» нет следующих мест, обрисовывающих исторические труды и характер поэта: «Его (Пушкина) беседа на исторические темы доставляла удовольствие слушателям; об истории он говорил прекрасным языком поэта, как будто сам жил в таком же близком общении со всеми этими старыми царями, в каком жил с Петром Великим его предок Аннибал — любимец негр»; Пушкин «путешествовал по внутренней России, изучал нравы, памятники, разсыкая предметы, любопытные для его внимания: то старые песни, то следы знаменитого Пугачева, историю которого он тщательно описал»; «История Петра Великого, которую составлял Пушкин по приказанию императора,

должна была быть удивительной книгой. Пушкин посетил все архивы Петербурга и Москвы. Он разыскал переписку Петра Великого включительно до записок полурусских, полунемецких, которые тот писал каждый день генералам, исполнявшим его приказания. Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта. Он не скрывал между тем серьезного смущения, которое он испытывал при мысли, что ему встретятся большие затруднения показать русскому народу Петра Великого таким, каким он был в первые годы своего царствования, когда он с яростью приносил все в жертву своей цели. Но как великолепно проследил Пушкин эволюцию этого великого характера...»; «Пушкин умер мужественно и не изменил своему неустрашимому характеру» (цит. по П. Е. Щеголеву — «Дуэль и смерть Пушкина», 3-е изд., стр. 414, 415, 416).

Сообщение Леве-Веймара о работе Пушкина над историей Петра не только излагает некоторые взгляды поэта. Оно также свидетельствует о том, что Пушкиным, повидимому, было написано о Петре больше, чем дошло до нас. Вряд ли известные нам материалы для истории Петра могли служить достаточным основанием для столь категорических слов о том, что труд Пушкина «должен был быть удивительной книгой», что взгляды поэта были «совершенно новы», что они обнаруживали «великого и глубокого историка», что он «великолепно проследил» эволюцию характера Петра. Вероятно, Леве-Веймар знал заметки или наброски Пушкина, которых мы не знаем.

Что же получается в результате практикуемого В. Вересаевым подбора материалов? Получается неполное, одностороннее, а потому и неправильное изображение Пушкина в жизни.

Приведу такой достаточно наглядный пример: отображение в «Пушкине в жизни» одного из важнейших периодов жизни поэта — михайловского.

Михайловская ссылка — время интенсивной самообразовательной и творческой работы, время создания «Бориса

Годунова», время полного развития творческих сил поэта. Но из материалов, собранных в разделе «В Михайловском», ничего этого не видно.

Из писем поэта, относящихся к михайловскому периоду, приводятся сообщения об ухаживаньях, о падении с лошади, о скуке, о неурядицах в домашнем хозяйстве, о вине и сыре. И ни слова из писем к Рылееву (25 января 1825), Бестужеву (конец января и 24 марта 1825), Вяземскому (середина апреля 1825), содержащих высказывания о «Евгении Онегине», «Песне о вещем Олеге», эпиграммах и т. д., характеризующие отношение Пушкина к собственной поэтической продукции. Из письма к Л. С. Пушкину и Плетневу (15 марта 1825), сообщающего чрезвычайно интересные данные о работе поэта, В. Вересаев нашел нужным привести только одну фразу: «Простите, дети! Я пьян!». Другое письмо к Л. С. Пушкину (23 апреля 1825) использовано аналогичным образом. Приведены слова о вине, роме, горчице, чемодане, сыре, верховой езде, приезде Дельвига. И не даны слова о намечавшемся издании стихотворений: «Думаю, что можно начать благословясь — О посл. к Ч. скажу тебе, что пощечины повторять не нужно — Толстой явится у меня во всем блеске в 4-ой песне Онег., если его пасквиль этого стоит и посему попроси его эпиграмму и пр. от Вяземского (непрерменно). Ты, голубчик, не находишь толку в моей луне — чтож делать — а напечатай уж так».

О «Борисе Годунове» в разделе «В Михайловском» упоминается как бы мимоходом три раза: приводится небольшая — в 8 строк — выдержка из письма Пушкина к Н. Н. Раевскому (конец июля 1825), рассказ П. В. Нащокина о сцене у фонтана и две строчки из письма к Вяземскому (начало октября 1825): «Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух, один, бил в ладоши и кричал: ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» Этим В. Вересаев и ограничивается. Ценные материалы о работе над «Борисом Годуновым», содержащиеся в письмах Пушкина и набросках пред-

словия к трагедии, — совершенно не использованы.

Если читатель, мало знающий жизнь и творчество Пушкина, прочтет раздел «В Михайловском», то он будет совершенно дезориентирован. Он не получит никакого представления о его творческой работе. И невольно будет думать, что жизнь Пушкина в Михайловском ничем не отличалась от жизни помещичьих сынков средней руки: то же безделье, те же скудные развлечения, та же скука...

Возьмем другой пример — отношения поэта с П. Я. Чаадаевым, замечательным мыслителем, сыгравшим большую роль в его жизни. Читатель вправе ожидать, что на протяжении «Пушкина в жизни» он найдет ощутительные следы этих отношений. Ведь Чаадаев не только помог Пушкину в трудный момент, когда правительство Александра I готовило против него репрессии, а Толстой-Американец распространял в обществе оскорбительные слухи. Он так же много сделал для ознакомления гениального юноши с мировой культурой. В годы, когда пылкий поэт был захвачен городской суетой, «он заставлял его мыслить», по выражению одного современника (Я. И. Сабурова). Позднее сам Пушкин вспоминал «пророческие споры» с Чаадаевым об истории, философии, литературе. И писал в кишиневском дневнике: «Никогда я тебя не забуду. Твоя дружба мне заменила счастье, — одного тебя может любить холодная душа моя». Прямой отзвук этих «пророческих споров» мы находим в посланиях к Чаадаеву. К сожалению, читателя «Пушкина в жизни» ждет разочарование. В своде он найдет только несколько кратких выписок из П. А. Вяземского, М. Н. Лонгинова, П. И. Бартенева и П. В. Анненкова. И ничего по существу взглядов, идей, споров Пушкина и Чаадаева.

Замечательная переписка друзей дает богатый материал для суждения как об их общественных интересах и философско-исторических взглядах, так и о личности великого поэта.

Вот, например, что пишет Чаадаев в марте — апреле 1829 г. (подлинник по-

франц.): «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени. Нет более огорчительно зрелища в мире нравственном, чем зрелище гениального человека, не понимающего свой век и свое призвание. Когда видишь, как тот, кто должен был бы властвовать над умами, сам отдается во власть привычкам и рутинам черни, чувствуешь самого себя оставленным в своем движении вперед; говоришь себе, зачем этот человек мешает мне итти, когда он должен был бы вести меня? Это поистине бывает со мною всякий раз, как я думаю о вас, а думаю я о вас столь часто, что совсем измучился. Не мешайте же мне итти, прошу вас. Если у вас нехватает терпения, чтоб научиться тому, что происходит на белом свете, то погрузитесь в себя и извлекайте из вашего собственного существа тот свет, который неизбежно находится во всякой душе, подобной вашей. Я убежден, что вы можете принести бесконечное благо этой бедной России, заблудившейся на земле. Не обманите вашей судьбы, мой друг». В обширном письме от 18 сентября 1831 г. мы находим такие строки, непосредственно относящиеся к Пушкину (подл. по-франц.): «Взгляните, мой друг: разве не воистину некий мир погибает, и разве для того, кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся ужасной гибели. Неужели и у вас не найдется чувства, мысли, обращенной к этому? Я убежден, что это чувство и эта мысль, неведомо для вас, тлеют где-нибудь в глубинах вашей души; только они не проявляются вовне, они погребены, по всей вероятности; они под кучей старых мыслей, привычек, условностей, приличий, которыми, что бы вы ни говорили, неизбежно пропитан каждый поэт, хотя бы он и принимал против этого всякие меры, ибо, друг мой, начиная с индуса Валмики, певца Рамаяны, и грека Орфея до шотландца Байрона, всякий поэт принужден был доселе повторять одно и то же, в каком бы месте света он ни пел. О, как желал бы я иметь власть вызвать сразу все

силы вашего поэтического чувства! Как желал бы я извлечь из него, уже теперь, все то, что, как я знаю, скрывается в нем, дабы и вы дали нам услышать когда-нибудь одну из тех песней, какие требует век». И в конце письма: «Я только-что увидел два ваших стихотворения. Мой друг, никогда еще вы не доставляли мне такого удовольствия. Вот, наконец, вы — национальный поэт; вы угадали, наконец, свое призвание. Стихотворение к врагам России в особенности изумительно; это я говорю вам. В нем больше мыслей, чем их было высказано и осуществлено за последние сто лет в этой стране».

Чаадаев верил в силу Пушкина, будил мысль, требовал — по своему — все нового движения вперед. Приведенные строки хорошо показывают эту сторону их отношений. А В. Вересаев, верный своему принципу, из всех писем Чаадаева выбрал только 10 слов: «Вы — нервные... Г-н Нащокин говорил мне, что вы изумительно ленивы».

Письма Пушкина к автору «Lettres sur la philosophie de l'histoire» от 6 июля 1831 г. и 19 октября 1836 г. совсем не использованы В. Вересаевым. А значение их велико, в особенности последнего (до сих пор ничтожно мало использованного в научных работах о Пушкине). Критикуя философско-историческую концепцию Чаадаева, Пушкин высказывает свой взгляд на античную культуру, христианство, историческую миссию России, влияние Византии, татарское иго, отношения России и Европы и т. д. И дает яркую, беспощадную характеристику современного петербургского общества (подл. по-франц.): «Наше современное общество настолько же презренно, как и глупо, ... это отсутствие общественного мнения, это безразличие к долгу, справедливости, праву, истине, ко всему, что не является необходимостью, это циничное презрение к мысли и достоинству человека...».

В. Вересаев включил в свод полные личной горечи и боли слова Пушкина: «Чорт догадал меня родиться в России с душою и талантом!», написанные за пять месяцев (18 мая 1836) до последнего письма к Чаадаеву. Но почему-то

не считал нужным привести те слова поэта из названного письма, в которых он, преодолевая личную горечь, поднимается до исторического взгляда на свою судьбу (подл. по-франц.): «Ни за что на свете я не хотел бы переменить родину, ни иметь другую историю, чем ту, которую имели наши предки...».

Также и из этого примера видно, что самое главное не попало на страницы свода.

Таковы плоды «двупланной» установки В. Вересаева, определившей специфический подбор материалов для «Пушкина в жизни». Живой Пушкин искусственно разорван на две части, из которых более или менее полно показана только одна — житейски-бытовая.

В. Вересаев пишет в предисловии к первому изданию «Пушкин в жизни»: «Многие сведения, приводимые в этой книге, конечно, недостоверны и носят все признаки слухов, сплетен, легенды. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются, теми слухами и сплетнями, к которым он подает повод». И дальше: «Критическое отсеивание материала противоречило бы самой задаче этой книги. Я, напротив, старался быть возможно менее строгим и стремился дать в предлагаемой сводке возможно все, дошедшее до нас о Пушкине, кроме лишь явно выдуманного».

Включение в свод недостаточно достоверных свидетельств и сомнительных легенд о Пушкине не должно вызывать возражений. Ведь они, эти свидетельства и легенды, хорошо характеризуют если не самого поэта, то отношение окружения к нему, хорошо характеризуют создававшуюся вокруг него атмосферу. Но отказ В. Вересаева от разъяснения читателю фактического значения такого рода материалов нельзя признать правильным. Для неискушенного читателя свидетельства, например, И. И. Пущина и М. А. Корфа, И. П. Липранди и К. И. Прункула, А. П. Керн и А. Н. Вульфа, П. В. Нащокина и А. П. Араповой, И. Д. Якушкина и И. И. Горбачевского и т. д. бо-

лее или менее равноценны. В действительности же это далеко не так. Не даром самому В. Вересаеву пришлось в результате требований читателей во втором издании «Пушкина в жизни» отметить звездочками некоторые наиболее сомнительные тексты. Но одних звездочек, расставленных к тому же весьма скупно, недостаточно. Иногда свидетельство, в общем достоверное, содержит ту или иную фактическую ошибку. Иногда явно сомнительная запись сообщает о заслуживающем внимания факте. Поэтому необходимы не звездочки, а точные разъяснения.

Отрицательный результат, к которому приводит практикуемый В. Вересаевым метод показа материала, виден из такого примера.

В свод включено следующее место из письма декабриста И. И. Горбачевского к М. А. Бестужеву от 12 июня 1861 г.: «Нам от Верховной Думы было запрещено знакомиться с поэтом А. С. Пушкиным, когда он жил на юге. Прямо было сказано, что он, по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни, сделает донос тотчас правительству о существовании Тайного Общества». В этих словах — прямая клевета на Пушкина. Великого поэта и при жизни, и после смерти «мооалисты» обвиняли во многих грехах. Но никто, кажется, кроме Горбачевского, не доходил до того, чтобы заподозрить его в предательстве или «произвести» в доносчика! Горбачевский не знал Пушкина. И по своему интеллектуальному складу не мог его понять, — понять, что «ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». Рассказы и слухи о «проделках» юного поэта принимались им на веру и вызывали суровое осуждение. И. Д. Якушкин правильно подметил, что Пушкин в молодости иногда «корчил лихача» и «рассказывал про себя отчаянные анекдоты», что, однако, не мешало ему в серьезные моменты быть глубоким и полным подлинного достоинства. О том, что юный поэт из удалства иногда возводил на себя напраслину, писали также Ф. Н. Глинка и П. И. Бартенев. Это словесное «лихачество» нередко порож-

дало больше сплетен, чем реальные поступки. Но Горбачевский не знал и этой черты характера юного Пушкина. И в конце-концов судил так, как судит последовательный ригорист: поэт проявляет в личной жизни легкомыслие, — следовательно, он способен на все, в том числе и на донос.

Позднее, выдуманные В. А. Жуковским (в письме к С. Л. Пушкину) предсмертные слова поэта о Николае I окончательно убедили Горбачевского в справедливости своей резко отрицательной оценки личности поэта. Таким образом, Горбачевский был искренно убежден в правде своих слов, которые тем не менее ни в какой мере не соответствовали действительности.

Свидетельству Горбачевского о том, что декабристам «было запрещено знакомиться с поэтом», «когда он жил на юге», противоречит и факт близкого знакомства Пушкина с рядом видных декабристов на юге, и его пребывание в Каменке вместе с декабристами. Мы знаем, наконец, как декабристы высоко ценили творчество Пушкина и стремились использовать его для поэтической пропаганды своих идей.

Как видим, не так-то просто обстоит дело с письмом Горбачевского. Между тем В. Вересаев помещает его не только без всяких пояснений, но даже без звездочки. Что же получается? Получается неправильная ориентация чи-

тателя в важнейшем вопросе об отношениях декабристов и Пушкина.

Таких и им подобных примеров (о записке М. А. Корфа и дневнике А. Н. Вульфа сказано выше) можно было бы привести еще немало.

В. Вересаевым, повторяю, проделана большая работа, собрано огромное количество интересных текстов, создан своеобразный жанр литературного монтажа, биографической мозаики. К сожалению, однако, из-за принципиально неправильного подхода к теме — изолирования поэзии от действительности, противопоставления жизни и творчества — работа над «Пушкиным в жизни» не доведена до естественного конца.

«Пушкин в жизни» должен быть пополнен материалами, характеризующими творческую мысль, взгляды, работу великого поэта. И снабжен краткими комментариями, разъясняющими научную ценность используемых источников, ориентирующими читателя в степени достоверности приводимых свидетельств, фактов, слухов, легенд.

Такая книга, такой критический свод подлинных свидетельств как самого поэта, так и его современников будет значительным шагом вперед в познании действительного Пушкина в жизни — «гиганта Пушкина, величайшей гордости нашей и самого полного выражения духовных сил России» (М. Горький).

И. Н. КРАМСКОЙ

(К 100-летию со дня рождения)

А. Зотов и А. Лебедев

В блестящей плеяде русских художников, знаменовавшей собой расцвет нашего реалистического искусства XIX века, выдающееся место принадлежало И. Н. Крамской. Можно без преувеличения сказать, что Крамской был душой, идейным вдохновителем, организующим центром тех прогрессивных событий художественной жизни России второй половины прошлого столетия, ко-

торые нанесли удар отжившим традициям академического искусства и завоевали реализму в истории русского изобразительного искусства 60—80-х гг. вездущее положение. Предшественниками могучего и яркого расцвета идейно-реалистического искусства 60—80-х гг. были талантливые художники-одиночки, но лишь с этого времени вся прогрессивная художественная молодежь деклари-

ровала устами Крамского и Стасова, что русское искусство не может уйти в сторону от действительной жизни, что оно должно выражать жизненные интересы простого русского народа.

В большинстве историй искусства упрочилось неправильное представление о нашем художнике. О Крамском охотно говорят, как об общественном деятеле, как о вожаке передвижничества и художественном критике, но не желают видеть в нем крупного мастера живописи. Вопреки этим утверждениям работы Крамского, его мастерство как художника в нашей стране оценены по достоинству и оценены высоко. Все творчество Крамского и особенно его выдающаяся галерея портретов вошли в унаследованный нами золотой фонд художественной культуры прошлого.



Крамской родился в селе Новой Сотне (Воронежская область) 27 мая 1837 г. в семье мелкого чиновника. Окончив уездную школу, мальчик захотел стать художником и, как передает один из его биографов, неоднократно просил родственников, чтобы те отдали его на обучение к живописцу. Мать сначала пробовала отговаривать сына, но затем должна была уступить его просьбам и отдать на обучение к одному воронежскому иконописцу. Из этой «школы» Крамской должен был уйти, ничему не научившись. Затем будущий художник поступил ретушером к одному харьковскому фотографу, у которого и проработал несколько лет. Но и здесь работа была мало интересная, не дававшая тех знаний и навыков в области искусства, которых жаждал Крамской.

В 1857 г. будущий художник переехал в Петербург, продолжая работать ретушером.

Мечтая все время поступить в Академию Художеств, Крамской долго не решался на этот шаг, чувствуя себя еще плохо подготовленным к вступительным испытаниям. Поборов внутреннюю неуверенность, он в 1857 г. держал экзамен и был принят в число учеников академии.*

Еще до поступления в академию имя Крамского было популярно среди учеников этой школы. С момента же поступления Крамского в академию вокруг него начал группироваться целый кружок товарищей по обучению. Здесь были Литовченко, Лемох, Корзухин и др. Крамской притягивал к себе художественную молодежь не только как чуткий товарищ, готовый оказать любую помощь, но и как выделявшийся своими способностями ученик академии, как человек, стоявший в своем общем развитии выше своих друзей. На квартире художника стали систематически собираться товарищи, чтобы в дружеской обстановке написать портрет, послушать чтение интересной книги, поговорить о задачах и назначении искусства. В этом кругу начинают оформляться эстетические воззрения Крамского и его друзей и зреет будущий «академический бунт». Здесь, как свидетельствует Тулинов, впервые «Иван Николаевич Крамской показал товарищам, что нужно отбросить «мифологических богов» академического искусства, что нужно идти к созданию новой, реалистической школы».

«До вступления моего в академию, — говорит Крамской, — я начитался разных книжек по художеству, биографий великих художников, разных легендарных сказаний об их подвигах и тому подобное и вступил в академию, как в некий храм, полагая найти в ее стенах тех же самых вдохновенных учителей и великих живописцев, о которых я читался, поучающих огненными речами благоговейно внемлющих им юношей». Но «видеть, как и что работает замечательный теоретик, или творит великий композитор, мне не удалось никогда, — говорил Крамской, — одно за другим стали разлетаться создания моей собственной фантазии об академии и прокрадываться охлаждение к мертвому и педантичному механизму в преподавании.

Назревавшее недовольство академией как учебным заведением и монопольным представителем официального искусства завершилось известным отказом в 1863 г. оканчивающих учеников во главе

с Крамским от участия в традиционном конкурсе на большую золотую медаль.

Этот инцидент имел чрезвычайно важное значение в истории русского искусства. Новое поколение учеников, зачастую выходцев из народных низов, прошедших перед своим поступлением в академию суровую жизненную школу, внесло в затхлую атмосферу академии первое дыхание идей демократического под'ема 60-х гг. Оно не было намерено покорно следовать священным академическим традициям.

Здесь впервые открыто и с большой силой столкнулись две художественные системы. Реализм вышел из юного возраста, порвал с господствующим академическим искусством и заявил о своем праве на самостоятельное существование. Впервые был нанесен удар официальному искусству новым поколением художников. Формирующееся реалистическое искусство, объединявшее в себе в зародышевом состоянии целый ряд различных, а иногда и противоположных художественных тенденций, которые впоследствии развились и отделились друг от друга, сразу же вышло из тесных, холодных стен академии и царских дворцов. Оно стало отражать реальную окружающую жизнь, оно подгоняло условия, чтобы затем выступить в доступной мере на суд и службу широких слоев русского общества.

Интересно, что «академический бунт» сильно обеспокоил не только академию и реакционный круг художников. Конкуренты были отданы по высочайшему повелению под негласный надзор полиции. А. Крамской даже через 9 лет после событий 1863 г. состоял в списке подозрительных и многократно вызывался полицией на допросы.

Когда прошли первые минуты возбуждения после разрыва с академией вместе с благами свободы встал сразу же перед материально необеспеченными художниками и грозный вопрос о дальнейшем существовании. Тогда и была организована известная «Художественная Артель».

«Кто первый сказал это слово? Кому принадлежит почин — право, не знаю,

— говорит Крамской.—В наших собраниях после выхода из Академии в 1863 году забота друг о друге была самой выдающейся заботой. Это был чудесный момент в жизни нас всех...».

«Своим живым, деятельным характером, — писал Репин, — общительностью и энергией Крамской имел большое влияние на всех товарищей. Из теплых стен академии они в продолжение многих лет учения почти не выходили. Теперь, поселившись по разным дешевым конуркам вразброд, они все чаще и чаще собирались у Крамского и сообща обдумывали свою дальнейшую судьбу. После долгих измышлений они пришли к заключению устроить, с разрешения правительства, артель художников, нечто вроде художественной фирмы, мастерской и конторы, принимающей заказы с улицы, с вывеской и утвержденным уставом. Они наняли большую квартиру в 17-й линии Васильевского острова и переехали (большая часть) туда жить вместе. И тут они сразу жили, повеселели. Общий большой светлый зал, удобные кабинеты каждому; свое хозяйство, которое вела жена Крамского, — все это их ободрило. Жить стало веселее, появились и кое-какие заказы... С основания артели художников Крамской была старшиной артели и вел все ее дела. Заказные работы артельщиков по своей добросовестности и художественности возымели большой успех у заказчиков, и в артель поступало много заказов».

В этой дружной семье художников велась не только работа по заказам, но и большая самообразовательная работа. По вечерам художники собирались вместе. Здесь вели они ожесточенные споры об искусстве, вслух читали и разбирали сочинения Чернышевского, Прудона, Тэна, Антоновича, Бокля, Писарева, Фохта, Бюхнера.

Вдохновитель артели, Крамской в этот период полон энергии и жажды знаний, жажды деятельности. В своих воспоминаниях о Крамском Репин пишет, что, несмотря на большую работу по заказам, руководитель артели занимался большой общественной деятельностью, вел педагогическую работу, да-

вал советы ученикам и, будучи так загружен, отличался бодростью, весельем «всегда находил досуг и искал, казалось, еще более видной, более широкой деятельности. Он перечитывал почти все журналы, газеты, не пропуская ни одного выдающегося факта общественной жизни».

Репин, учившийся у Крамского в Петербургской рисовальной школе в начале 60-х гг., передает в своих воспоминаниях, каким авторитетом и любовью пользовался Крамской у своих учеников. Новая, свежая струя врывалась в училище вместе с его педагогической деятельностью.

«В классе оживленное волнение. Крамского еще нет. Мы рисуем с головы Милона Кротонского. Голова поставлена на один класс. В классе шумно... Вдруг сделалась полнейшая тишина... И я увидел художавого человека в черном сюртуке, входившего твердой походкой в класс...»

Ну, и слушают же его! Даже работу побросали, стоят около, разинув рты, видно, что стараются запомнить каждое слово. Какие смешные и глупые лица есть, особенно по сравнению с ним...».

К 1870 г. в артели назревает внутренний кризис. Артель, имевшая целый ряд членов, только на время увлекшихся передовыми и новыми идеями трудового профессионального общества, но не разделявших глубоко ни этических, ни эстетических взглядов руководителей, не могла надолго сохранить свое единство. Ряд членов артели стал нарушать основные принципы и правила артели, противопоставляя свои личные интересы интересам коллектива. Таким образом, был нарушен самый дух объединения, и артель стала распадаться. Крамской ко всем этим нарушениям принципов артели относился болезненно. Он пытался найти осуждение поступков ренегатов и поддержку своим взглядам на общем собрании членов артели, но, встретившись только с равнодушием и безразличием большинства, должен был выйти в 1870 г. из числа ее членов. Скоро и сама артель распалась.

Ей на смену приходит организован-

ное в том же году «Товарищество передвижных выставок», в которое входили многие из бывших членов артели. Артель была исторически значительным этапом в русской художественной жизни как первая кооперативная организация русских художников-реалистов, протестовавших против бюрократической академии и ее искусства и объединявшая в своих рядах многих молодых художников для совместной работы, для «борьбы за существование», для совместного утверждения новых идей и принципов в области искусства.

Виднейшим организатором и душой товарищества становится с самого же начала Крамской. Его давнишнее стремление создать национальную русскую школу реалистической живописи и воспитывать народ через искусство, через пропаганду простых, доступных всем художественных произведений находит здесь удовлетворение. Товарищество рождается как вторая крупнейшая организация русских художников-реалистов.

В течение десяти лет Крамской с увлечением отдается работе товарищества. Он работает не только по организации художественных выставок, но и выступает как видный теоретик, дающий идейное обоснование всему передвижническому движению. Отказавшиеся от многих прежних утопических увлечений артели (например, бытовой коммуны), передвижники сумели сохранить и продолжить ряд лучших традиций артели. Они сделали второй значительный шаг вперед по пути создания реалистического искусства, отображавшего понятия и интересы широких народных масс 60—80-х гг. Товарищество продолжало начатую организаторами артели борьбу с основными принципами обветшавшего академизма. Передовые члены товарищества сделали дальнейший шаг, чтобы превратить искусство из своеобразной монополии привилегированных классов в мощное, понятное и любимое народными массами средство общественно-эстетического воспитания. Огромная заслуга Крамского как руководителя передвижничества заключалась в том, что он сумел объединить силы и энергию молодого поколения художников вокруг

подлинно прогрессивных лозунгов реализма и демократичности искусства.

В эти годы плодотворной работы Крамского как общественного деятеля и художественного критика создаются и его лучшие произведения («Христос в пустыне», «Неутешное горе», портрет Л. Н. Толстого и др.).

Вместе с лучшими умами своего времени Крамской понимал бесчеловечие и порочность не только крепостнического строя, но и современной ему капиталистической цивилизации.

Воззрения Крамского, сложившиеся еще в 60-х годах, носили в основном материалистический характер, хотя этот материализм и не всегда был последователен.

В окружающей российской действительности и в Европе художник усматривал господство разнузданного эгоизма и варварства. Крамской болел за судьбы русского народа. Но выхода искал он не в революционном движении масс, а в улучшении нравов, в дальнейшем развитии человеческого интеллекта, в самоограничении и самопожертвовании. Здесь сказывалась ограниченность его общественных воззрений.

Художник чувствовал себя одиноким и беспомощным против многочисленных явлений зла в окружающем его мире. Примеры прошлого убеждали Крамского в том, что люди, так или иначе поднимавшиеся в современном ему обществе над обывательской пошлостью, гибли в борьбе с проявлениями зла. Прочитав биографию В. Белинского, художник писал И. Е. Репину: «Всегда ли свет был так подл, пошл и глуп, как теперь, — не знаю, но так, как он теперь, — скверно, думаю, что всегда был, по крайней мере судя по истории. Если история и отметила некоторые лица, которые род человеческий поднимают из пошлости, то тут же *post scriptum* прибавляет — умер в бедности, осмеянный, или в изгнании, или еще того хуже; при жизни же ничего, кроме ненависти, не приобрел».

Безысходная трагедия личности, не желающей примириться с окружающей ее безобразной жизнью, личности, имеющей намерение повернуть весь мир, но

сознающей свое полное бессилие, — эта трагедия занимала Крамского всю его жизнь. Это был лейтмотив его творчества.

Крамской нередко обнаруживал известные колебания в своих общественных и философских позициях. Особенно сильно эти колебания обнаруживались в последние годы жизни художника. Однако критические ноты, демократические симпатии у него явно преобладали. Это последнее обстоятельство еще более придает столетнему юбилею Крамского характер большого события в нашей художественной жизни.

Эстетические высказывания Крамского обнаруживают знакомство с произведениями Гегеля, Винкельмана, Дидро, Лессинга и других представителей буржуазного европейского просвещения XVIII и XIX веков. Однако наибольшее значение для формирования эстетической программы Крамского имело творчество Белинского, Чернышевского и Добролюбова.

В письме к Репину от 16/V 1875 г. Крамской писал, что реализм в русской живописи не просто новое модное течение, а направление, имеющее в своей основе жизненные, материальные корни.

Такой реализм в искусстве включал для него непременно черты национальности и народности. В том же письме Крамской возражал против сюжета репинской картины «Парижское кафе»: «Что вы говорите, а искусство не наука. Оно только тогда сильно, когда национально. Вы скажете, а общечеловеческое? Да, но ведь оно, это общечеловеческое, пробивается в искусстве только сквозь национальную форму... Человек, у которого в жилах течет украинская кровь, наиболее способен (потому что понимает это без усилий) изобразить тяжелый, крепкий и почти дикий организм, а уж никак не кокоток. Я не скажу, чтобы это не был сюжет. Еще какой! Только не для нас: нужно с колыбели слушать шансонетки, нужно, чтобы несколько поколений раньше нашего появления на свет упражнялись в проделывании разных штук...».

Важнейшим условием для развития и расцвета народного, реалистического и

национального искусства Крамской считал политическую свободу и суверенность народа в обществе. Только в условиях народоправия может существовать искусство, не зависимое от спиритуалистических воззрений, прославляющее лучшие свойства человеческой природы, способствующее совершенствованию человека и общественному прогрессу. Идеалом красоты в этом антропологическом смысле являлось для него искусство древней Греции, опорой которого служил свободный народ.

Вслед за Гегелем Крамской видел в античных статуях классической эпохи художественный идеал — олицетворение благороднейших и возвышенных черт человеческой природы. Образ Венеры Милосской являлся для него примером человеческой красоты, когда последняя достигает идеальных проявлений. Он не усматривал здесь ничего религиозного и мистического, — это был для него образ человека в высшем смысле этого слова. «... Сдается мне, будто особа эта есть нечто такое, чему я равного указать не могу ни на что. Ей все позволено, и она все себе позволяет, но, в то же время, она ничего не сделает такого, что было бы недостойно существа высшего порядка. Словом, это богиня настоящая, и в то же время реальнейшая женщина. Не знаю, что вы скажете и так ли это, но впечатление от этой статуи лежит у меня так глубоко, так покойно, так успокоительно светит через все томительные и безотрадные наслоения моей жизни, что всякий раз, как образ ее встанет передо мной, я начинаю опять юношески верить в счастливый исход судьбы человечества» — писал Крамской Репину.

Когда народ потерял свою политическую самостоятельность, искусство, найдя опору в меценатах, стало служить пристрастиям к роскоши, прихотям и фантазии, потеряло живой дух, сделалось безделушкой. Так смотрел Крамской на ход развития античного искусства и искусства Возрождения.

Художник всю свою жизнь стоял, в основном, на позициях просветительской эстетики и признавал за искусством прежде всего познавательное и воспита-

тельное значение. Подлинно художественное произведение не имеет в себе ничего мистического и неземного. Оно будит в человеке возвышенные мысли и благороднейшие побуждения, воспитывает лучшие свойства его природы и тем самым способствует общественному прогрессу, — думал Крамской.

Высокая идейность являлась для него высшим критерием оценки художественного произведения. Искусство, служащее забавой или пробуждающее низменные, животные инстинкты в человеке, заслуживало, по его мнению, глубокого презрения. «Если образованное и развитое общество не в состоянии дать другие, лучшие условия для развития искусства, то пусть лучше погибнет оно, чем будет играть роль, профанирующую достоинство человеческого духа в его самом важном и возвышенном стремлении к совершенствованию и прогрессу» — такими словами закончил Крамской свою записку по поводу пересмотра устава Академии художеств.

Найти опору в народе, сделать передовое русское искусство выразителем лучших чаяний и надежд широких масс, являлось заветной мечтой Крамского. В этом он видел залог жизнеспособности реализма в русской живописи.

Как в своей критической — литературной — деятельности, так и в своем живописном творчестве Крамской стремился избавиться от дидактических поучений. Но он признавал необходимость тенденциозного искусства, умеющего «ясно и выразительно в образах провести мысль, без малейшего следа тенденции и нравоучения, чтобы вывод представлялся сам собой уму зрителя, и чтобы это было не только умно и симпатично, не только поучительно, но и прекрасно». (Письма, стр. 718).

«Я говорю, что русское искусство тенденциозно; при этом я разумею следующее отношение художника к действительности. Художник, как гражданин и человек, кроме того, что он художник, принадлежит известному времени, непременно что-нибудь любит и что-нибудь ненавидит... Любовь и ненависть не суть логические выводы, а чувства. Ему остается быть только ис-

кренним, чтоб быть тенденциозным» — писал Крамской в 1885 г., возражая Суворину.

Поднявшись в своих теоретических высказываниях по вопросам современной реалистической живописи выше многих своих современников, осознавая не только достоинство, но и ограниченность тогдашнего реализма в живописи, Крамской не смог, понятно, найти действительные средства к преодолению этой ограниченности.

Он жаждал наступления эпохи «высокого Ренессанса» в России, которая должна была, по его мысли, обогатить передовое русское искусство элементами психологизма, эмоционально-живописной выразительности и сочетать в картине глубокую идейность с захватывающей изобразительной мощью.

С конца 70-х гг. у Крамского все сильнее слышатся призывы «к свету и краскам», к созданию большого «идейно-живописного полотна». «Нужен голос, громко, как труба, провозглашающий, что без идеи нет искусства, но в то же время, и еще более того, без живописи, живой и разительной, нет картин, а есть благие намерения, и только» — писал Крамской В. Стасову в 1884 г.

Крамской с интересом всматривается в это время в полотна молодых художников-реалистов, чтобы увидеть здесь признаки новых веяний.

Однако и здесь он заметил отрицательные тенденции — известную этюдность творческой продукции, отсутствие стремления к картине. В своем выступлении на передвижной выставке 1883 г. Крамской отмечал, что художники, избавившиеся от гнета «головных теорий и тенденций» в живописном искусстве, «дальше этюдов и заметок нейдут». Эти наблюдения Крамского показывают, что он, как никто из современных художников, способен был в известной степени угадывать ход развития русского реализма в живописи, приведший его к импрессионизму, хотя до настоящего понимания судеб искусства он не поднимался.

Основные эстетические взгляды Крамского нашли свое выражение и в

его творчестве, особенно в 70—80-х гг. Ранние работы Крамского, исполненные во время пребывания его в академии по заданным темам, а также ряд работ до конца 60-х годов носят еще некоторый отпечаток академического искусства. Примером раннего творчества Крамского могут служить «Портрет Громовой» и «Портрет С. Н. Крамской» (1863 г.). В этих картинах художник еще не нашел своего самостоятельного, нового художественного языка. «Портрет С. Н. Крамской» своими нарядными красками, декоративной композицией, искусственным фоном напоминает даже некоторые типичные портреты академических художников. В течение 60-х годов Крамской много работает ради заработка по заказам, а также расписывает плафон в московском храме Христа. Эта религиозная живопись содержит мало черт, характерных для последующих и лучших работ Крамского. Но уже в этот период, еще будучи в академии, Крамской проявляет интерес к проблеме реалистической живописи; он пишет портреты, иллюстрирует классические произведения русской литературы и т. д. В 1863 г. он пишет «Смертельно раненного Ленского». Позднее появляются оригинальные монохромные портреты. Они, как свидетельствуют современники, очень схожи с оригиналами, они просты, выразительны, удачно передают психологию, хотя им и присуща некоторая сухость. Таковы портреты Ф. Васильева, Анткольского (1871 г.), Клодта (1872 г.), исполненные в светлорыжевном тоне. В них отсутствует дробная выписанность и разобщенность предметов, нет резких границ и переходов. В живописи Крамского рубежа 60—70-х гг. уже совсем нет прежней академической нарядности.

В 1870—80 гг. появляются лучшие работы художника: «Христос в пустыне» (1872), портреты Толстого (1873), Гончарова (1874), П. М. Третьякова (1876), Репина, Заиончковской (1876) и др. В 1877 г. художник пишет Некрасова в период «Последних песен», а в 1879 г. замечательный портрет Салтыкова-Щедрина.

В 1884 г. Крамской создает «Неутешное горе».

Первой крупнейшей работой Крамского была известная картина «Христос в пустыне» (1872). В ней он дал выражение идей, которые волновали его в течение всей жизни. Еще будучи учеником академии, художник лепит голову Христа; в 1867 г. он пишет картину на ту же тему. Крамской первоначально предполагает написать целую серию работ на сюжеты из жизни Христа. Однако осуществить ему удается только «Христа в пустыне». Другую картину этой серии — «Хохот» — он так и не закончил. Большая подготовительная работа предшествует созданию «Христа в пустыне». Художник ездит по Европе и изучает изображения Христа у великих мастеров прошлого. Он совершает путешествие в Бахчисарай, Чуфут-Кале, чтобы изучить природу, сходную с палестинской. В его многочисленных письмах различных периодов жизни мы находим отражение болезненно-творческой работы над волнующей темой. Про «Христа в пустыне» Крамской говорил, что он эту картину писал «своей кровью и слезами».

В центре картины — на голых камнях — сидящая фигура Христа. Склоненная на грудь голова со спутанными, падающими на плечи волосами, застывшая поза, стиснутые лежащие на коленях руки, задумавшееся печальное лицо, — все это показывает глубокий психологический процесс, всепоглощающее раздумье и внутреннюю борьбу. Крепко сжатые губы, безучастный ко всему взгляд покрасневших глаз, нечувствительность к ссадинам израненных ног усиливают это впечатление глубокого раздумья. Все в картине способствует усилению психологической выразительности. Суровый, серый каменистый ландшафт с подробно отработанными камнями на переднем плане отличается безжизненностью и суровостью. Взор сосредоточивается на расположенной в центре фигуре и особенно на ее руках. Художник помещает источник освещения не спереди фигуры, а сзади нее, — и Христос выделяется темными контурами на фоне занимающейся зари.

В трагедии Христа Крамской пытается воспроизвести драму, которая разгравалась в душе передового мыслящего интеллигента того времени. В письме к Гаршину художник подчеркивает, что образ Христа есть образ обобщающий. Христос у него лишен ореола божественности, это просто мыслящий человек, стоящий на распутьи. Перед ним две жизненные дороги. Одна из них — это примирение с окружающей житейской пошлостью и грязью. Другая — это путь тернистый, путь лишений и конфликтов со средой, путь страданий. Он хочет повернуть мир, но чувствует свое одиночество и бессилие. Раскрывая образ мыслящего интеллигента 70-х гг., Крамской показывает одновременно его трагическую безысходность. Ту же идею раскрывает картина Крамского «Хохот».

В творчестве Крамского особенно дорога и ценна для нас его портретная живопись. Крамской создал целую художественную галерею выдающихся современников. На его полотнах запечатлены Некрасов, Репин, Салтыков-Щедрин, Толстой, Григорович, Гончаров, Аксаков, Мельников-Печерский, Антокольский, Верещагин, Шишкин и др.

Будучи реалистом, он сумел вскрыть тонкие психологические переживания, характер и внутренний мир человека. Заслугой Крамского как художника является то, что он в основе своего творчества поставил современного ему человека. Интерес к реальному человеку, человеческой голове, психической жизни проходит красной нитью даже через ту часть творчества художника, которую полностью к портрету отнести нельзя, но которая по своему духу близка к портретной живописи.

«Я всегда любил человеческую голову, всматривался, и, когда не работаю, гораздо больше занят ею и чувствую, что я понимаю, из чего это господь-бог складывает то, что мы называем душою, выражением, небесным взглядом и всякой другой чепухой» — писал Крамской Стасову.

В своих портретах Крамской хотел прежде всего быть правдивым. Сходство с оригиналом для него, как для

подлинного реалиста, было неременным условием портрета. Однако он далек от натуралистического копирования внешности. Показательна в этом отношении история создания им портрета Репина. «Вы поручаете мне написать портрет Репина,—писал Крамской Стасову,—еще бы, конечно, пора. Но видите, как все это случилось. Я его давно наблюдаю, и давно слежу за его физиономией, но она долго не формировалась, что-то было все неопределенное... Теперь в Париже он уже совсем определился, и физиономия его настолько сложилась, что надолго останется такою: что-то тонкое и как будто на первый раз мягкое, несколько задумчивое, и в то же время серьезное...». Показать самые характерные особенности оригинала, а не его случайные черты, — вот к чему стремился живописец.

Будучи зачинателем русского реалистического портрета второй половины XIX века, Крамской вместе с Перовым и Репиным и др. создал целый ряд выдающихся образцов портретной живописи, являющихся вершиной русской портретной живописи вообще.

В большинстве портретов Крамского безраздельно господствует интерес к человеческому лицу, к психологической характеристике человека. В этих работах обстановка, аксессуар переданы очень скупой и целиком подчинены главной задаче — передаче лица. Кисти художника принадлежат и такие портреты, в которых присутствует интерес к передаче деталей костюма и обстановки, но не в ущерб психологической выразительности образа («Девушка с распущенной косой» и др.).

До возникновения идейно-реалистического искусства 60—70-х гг. в русской живописи господствовал дворянский показной портрет, в котором роскошный костюм, не менее роскошная обстановка, искусственная, театральная поза занимали большое место. Черты лица в воспроизведении «облагораживались». Переживания людей выступали в неестественной, отвлеченно-идеальной форме. Большинство дворянских художников не уделяло большого и

должного внимания реальному человеческому лицу.

Художники-реалисты Крамской, Перов, Репин в своем творчестве дали совершенно новое изображение портрета. Прежде всего изменяется у этих художников сам типаж портретов. Большое место в их творчестве отводилось изображению представителей интеллигенции и простого народа. Крамским были написаны прекрасные портреты представителей народа, лишенные той слащавости и идеализации, которой не мог избежать, например, Венецианов. Художникам-реалистам приходилось писать также портреты представителей высших слоев общества. Но эти портреты, написанные по заказу, ради заработка, не интересовали художников по существу, а потому и были холодными и наименее удачными. Так было и с Крамским.

Возьмем портрет Толстого, исполненный Крамским в период самого расцвета творчества художника. Зрителя поражает здесь, прежде всего, исключительная простота костюма и обстановки. Тут дело не только в том, что сам Толстой одевался просто и стремясь к простоте в быту, речь идет о подходе художника. Вместо театрально-декоративного окружения, которое присутствует в дворянском портрете, Крамской берет гладкий, нейтральный зеленовато-коричневый фон. Простота костюма нарушается белым воротничком блузы писателя. Здесь нет ненужных деталей, нет дробной выписанности предметов. Зритель, скользнув взглядом по всей картине, не может ни на чем его задержаться: все гладко, строго, просто и неярко. Только лицо Толстого привлекает и концентрирует внимание. Зритель вынужден внимательно рассмотреть глаза, губы, нос, бороду. Простая, поросшая бородою, типичная русская физиономия Толстого спокойна. Глубокий взгляд голубых глаз говорит о большом уме. Сжатые губы и слегка нахмуренные брови подчеркивают сосредоточенность писателя.

Теми же приемами написаны портреты Третьякова, Щедрина, Заиончковской.

Характерно, что в костюме Заиончковой есть одна деталь — это спускающаяся с шеи цепочка. Но как эта деталь обобщена, как мало привлекает к себе внимания! Легкими серыми мазками намечены ее колечки, но никакой подробной отработки здесь нет. Главное внимание художника и зрителя привлекает к себе серьезное грустное лицо Заиончковой.

В «Незнакомке», «Неутешном горе», выходящих по своему существу уже за пределы портретного жанра, доминирует интерес к человеческому лицу, к переживаниям, психологии человека. Гордое, полное чувства достоинство выражение лица красивой «Незнакомки» лишь только оттеняется прекрасно переданными обстановкой и богатым костюмом.

«Неутешное горе» представляет собой обычную для Крамского однофигурную композицию. Подготовительные работы к этой картине, изображающие мать, сидящую в темноте возле гроба, несколько отличаются от самой картины. Процесс создания подготовительных работ обнаруживает стремление художника к устранению внешнего драматического элемента, к раскрытию трагедии «изнутри», без эффектных положений и жестов. На окончательном варианте этой картины убитая горем мать стоит лицом к зрителю, ничего не видя перед собой, комкая в руках мокрый от слез платок... Окружающая обстановка и вещи не создают развернутого повествования. Это скорее аккомпанемент к главной трагической теме, основное выражение которой сосредоточено на лице. Художник дает в этой картине правдивое выражение истинно-человеческих чувств. Среди господствовавшего бесчеловечия и бессодержательного эгоизма образ страдающей матери являлся для Крамского символом всего естественного, чистого, согретого настоящим гуманистическим светом.

В картине «Незнакомка» вспомогательные элементы спадают вовсе. Ни сама фигура одинокой женщины, ни окружающая обстановка не дают сложного литературного комментария к произведению; название еще более подчеркивает эту загадочность. Изображение

прекрасного молодого лица, полного нежности и сознания достоинства, не носит в себе черт обычной академической отвлеченности и идеализации. Образ вполне закончен и реален.

Уже в начале 70-х гг. художник затрагивает тему перерождения дворянства. С большой исторической правдивостью он рисует образ нового русского помещика, превратившегося в рантье — прожигателя жизни.

История создания «Осмотра старого дома» (неоконченная работа) указывает на характерные для Крамского стремления к сжатию повествования до возможных пределов.

Первоначальный замысел предполагал целый ряд персонажей. Здесь был и старый барин-холостяк, приехавший из-за границы в родовое имение после долгого отсутствия, и две сопровождавшие его куртизанки, затем толстый купец, развалина-дворецкий и сельский староста. В конце-концов художник остановился на двух фигурах: молчаливо озирающегося барина и деревенского сторожа. Внутренний вид комнаты с обвалившимся потолком и плесенью, с портретами предков на стенах, должен был пояснять переживания возвратившегося и раскрывать содержание картины.

То, что удалось наметить Крамскому, хранит черты большой художественной продуманности и силы.

С годами мастерство Крамского в смысле овладения новыми средствами живописи возрастает. Прежняя суровость работ смягчается. С годами обогащается и палитра художника, хотя тут нет возвращения к ранне-академическому периоду.

Целый ряд работ 70-х гг. обнаруживает постепенный отход художника от объемно-пластической трактовки формы в картине ради живописно-цветового ее решения. Эти полотна показывают, что Крамской шел в первых рядах художников-реалистов, совершенствовавших свой живописный язык. Вместе с тем освободиться совершенно от условностей старого классического метода с такой последовательностью, как это сделали Репин и Суриков, Крамской не смог. Ху-

дожник не нашел времени сосредоточить всего себя на выработке новых изобразительных приемов. В проектах своих неопубликованных обзоров передвижных выставок он посмеивался над «старомодностью приемов выполнения г-на Крамского». Однако монографическая выставка Крамского в Третьяковской галерее обнаруживает много замечательных работ, как по своей глубокой психологической характеристике, непосредственности подачи и сходству, так и по благородству тона, выразительности и легкости кисти и специфически-живописной цветовой трактовке форм, сообщающих образу полнокровность и живость.

К таким произведениям могут быть отнесены изображения сына, красочные натюрморты и пейзажи и особенно портрет художника Литовченко, достойный быть поставленным в ряд с лучшими произведениями этого жанра.

Еще в «Христе в пустыне» чувствовалось стремление художника уловить холодную атмосферу раннего утра и свет зари. Позднее Крамской призывает художников двинуться к изображению света и воздуха, но не в ущерб идейности живописи. Сам он в «Лунной ночи» долго работает, чтобы найти и передать фантастику и особую романтическую взволнованность лунного освещения. В 1873 г. Крамской пишет две работы, выявляющие интерес художника к свету и воздуху: это «Портрет Шишкина» и «Осмотр старого дома» (переписан потом в 1880 г.).

В этой работе явно заметен специальный интерес художника к передаче особенностей атмосферы давно необитаемой комнаты. Зритель ощущает этот затхлый, тяжелый, пыльный воздух, его плотность, материальность. Чувствуется, как робкий, проникающий в комнату свет борется и с трудом проходит толщу тяжелого воздуха.

У нас часто принято говорить о расхождении слова и дела Крамского. Он, говорят, призывал к тенденциозному искусству, он стоял во главе самого демократического художественного течения, какое только было в XIX веке, а в своем творчестве никак не откликнул-

ся на события эпохи. Правда, автор «Христа в пустыне» почти не имеет типичных для своего времени жанровых полотен с разнервным и сложным повествованием.

«Христос в пустыне», «Неутешное горе», «Иродиада», «Незнакомка», «Крестьянин с уздечкой», «Созерцатель» и др. представляют однофигурные композиции, богатые не столько внешним действием, сколько глубиной душевных переживаний и обрисовкой характерных черт типажа.

Крамской полагал, что характер поведения и весь образ жизни человека в обществе изменяют организм, накладывают неизгладимую печать на внешний и внутренний облик человека настолько, что последний сам по себе может являться олицетворением определенных социальных явлений и процессов.

Именно таким образом рассматривал он «Протодьякона» Репина и «Кочегара» Ярошенко, появившихся на Передвижной выставке 1878 г. В первом он видел олицетворение чревоугодия и общественного паразитизма, превративших его людской облик в сложную пищеварительную машину. В образе измученного непосильным трудом «Кочегара» он усматривал живой символ бесчеловечия наемного труда в окружавшем его обществе.

Эти оценки Крамского, изложенные им в одной из неопубликованных статей, позволяют приоткрыть завесу и над его программным творчеством. Выдающееся место принадлежит здесь картине, изображающей заросшего волосами деревенского старика в рубище и с палкой в руке. На лице его и фигуре как бы застыло выражение изнуряющего труда, лишений и мук, среди которых прошла вся жизнь этого человека. Крамской показывает старика как живое олицетворение той жизни, в которую были поставлены народные массы в течение столетий. «Крестьянин с уздечкой» воспринимается как типическое, жизненное явление. Облик крестьянина пореформенной России — Мины Моисеева — перерастает здесь в громадный обобщающий образ угнетенного и закабаленного крестьянства. Это обстоя-

тельство ставит изображение Крамского на одно из первых мест среди полотен этого рода.

Вдохновитель передвижничества своей общественной деятельностью, своим творчеством вписал новую страницу в историю русского искусства. Он вместе с Перовым и Репиным впервые подлинно художественными средствами запечатлел реальных людей, реальный народ своего времени. Он создал великолепную художественную галерею портретов лучших и талантливых представителей крестьянства, разночинной интеллигенции и городской бедноты. В эти портреты художник вложил весь свой недюжинный художественный талант. Он воплотил в них свой гуманизм художника, свою горячую любовь к трудовому народу, его демократическим певцам — Салтыкову-Щедрину, Некрасову, к великому писателю Толстому и многим другим лучшим современникам.

Прощаясь с Крамским, Репин писал: «Мир праху твоему, могучий русский человек, выбившийся из ничтожества и грязи захолустья... Сначала мальчик у живописца на побегушках, потом волостной писарь, далее ретушер у фотографа; в 19 лет ты попал, наконец, на свет божий в столицу. Без гроша и посторонней помощи, с одними идеальными стремлениями, ты быстро становишься предводителем самой даровитой, самой образованной молодежи в Академии художеств. Мещанин, ты вступишь в совет академии, как равноправный гражданин, и требуешь настойчиво законных, национальных прав художника. Тебя высокомерно выгоняют вон, но ты с гигантской энергией создаешь одну за другой две художественные ассоциации, опрокидываешь навсегда отжившие классические авторитеты и заставляешь уважать и признавать национальное русское творчество!.. Достоин ты национального монумента, русский гражданин-художник!».

Библиография

1. М. ГОРЬКИЙ «Жизнь Клим Самгина» — Лев Гладков. 2. М. ГОРЬКИЙ. «Пьесы» — Г. Л. — в. 3. МАКСИМ ГОРЬКИЙ. О Пушкине — Гл. Глебов. 4. В. КИРПОТИН. «Наследие Пушкина и коммунизм» — Н. Бельчиков. 5. И. НОВИЧ. «Духовная драма Герцена» — Л. Жуков. 6. Н. В. ГОГОЛЬ. Собрание сочинений — Г. Ф. 7. Книжные новинки.

М. Горький. — «Жизнь Клим Самгина». Том IV. ГИХЛ. Москва. 1937 г.

Выход из печати четвертого (последнего) тома «Жизни Клим Самгина» совпал с годовщиной смерти великого писателя.

В мировой литературе мало таких больших по замыслу и выполнению произведений, как замечательная эпопея Горького. Только серии романов «Человеческая комедия» Бальзака и «Ругон-Маккары» Золя по широте охвата событий и богатству материала могут быть сравниваемы с ней. Целая эпоха — четыре десятилетия перед Великой социалистической революцией, — наполненная событиями огромной исторической важности, нашла свое отражение в романе. Это — эпоха распада народничества и быстрого развития капитализма в России, зарождения партии Ленина — Сталина и революции 1905 года, империалистической войны и падения самодержавия. Вереница событий, множество различных людей нескольких поколений, картины жизни и нравов столичной и провинциальной России. — все это с исключительной художественной силой описано Максимом Горьким в четырех томах повести.

Горький не успел окончательно отредактировать последнюю часть «Жизни Клим Самгина», не успел развернуть ряд эпизодов, но, как правильно пишет в своем предисловии комиссия по приему литературного наследия Горького, «эти недостатки по отношению к общему объему рукописи все же настолько несущественны, что ни в малой мере... не лишают четвертую часть повести художественной цельности».

В центре романа — жизнь типичного буржуазного интеллигента Клим Самгина, прослеженная от колыбели и до смерти. Образ Самгина стал уже нарицательным, как образы Обломова или Смердякова, и не случайно после выхода первых томов повести ряд критиков из лагеря врага народа Авербаха упрекал Горького за то, что он так много места уделил Самгину, якобы в ущерб другим более значительным и типичным представителям эпохи.

Смысл этих упреков совершенно ясен, — троцкистские вредители узнали себя в мелко-честолюбивом, самовлюбленном и духовно нищем ничтожестве — Клим Самгине. Сам Горький в одном из своих высказываний непосредственно сопоставил своего героя с изменником родины. «Та интеллигенция, — говорил он в беседе с начинающими писателями, — которая живет в эмиграции, за границей, клеветает на Союз Советов, организует заговоры и вообще занимается подлостями, эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных».

С исключительной психологической глубиной и художественным мастерством Горький показывает, как постепенно формировался из кокетничавшего с рабочим движением буржуазного интеллигента непримиримый враг революции, двурушник и лицемер. Полностью сущность Самгина раскрывается в годы реакции, показанные в четвертой части повести.

Четвертая часть начинается по времени действия с лета 1906 года и заканчивается февральской революцией. Париж, Швейцария, революционная эмиграция и отдыхающая вдали от родины буржуазия, затем Петербург с его государственной думой и «общественными деятелями», развлекающимися в кабаках; Москва. бесконечные споры о смысле жизни, знаменитые ренегатские «Вехи», отголоски Ленского расстрела, война, распутищина, разложение армии, голод в стране и падение самодержавия, — вот фон, на котором показаны Клим Самгин и десятки других персонажей.

Мастерство Горького в изображении характеров в «Жизни Клим Самгина» проявляется особенно ярко. Во всей повести множество действующих лиц, все они индивидуализированы. основные герои показаны в своих наиболее существенных чертах. Нужна была гениальность Горького, его знание жизни, его огромный художественный опыт, чтобы с такой правдивостью и естественностью показать все те сложные отношения, которые существуют между персонажами повести, раскрыть в индивидуальном качестве каждого из них по-

литические и психологические особенности всех социальных групп России тех лет.

Основные действующие лица четвертой части встречались уже в предыдущих частях повести. Некоторые из них прослежены Горьким с детства, как и сам Клим Самгин, другие — с ранней молодости, когда еще только формировался их характер. В заключительном томе Горький дает дальнейшее развитие или завершение их биографий, и оно всегда мотивировано всем внутренним развитием образа, рядом убедительных бытовых и психологических деталей. Иван Дронов, знакомый читателю с первой книги повести, становится спекулянтом, купец Лютов спивается и кончает самоубийством. Марину Зотову убивает полусумасшедший Безбедов, очевидно, подсланный ее конкурентом Бердниковым; все больше спивающийся государственный прокурор Тагильский становится тайным дельцом и нелепо умирает на фронте от руки дегенерата-офицера и т. д. В короткой рецензии невозможно, конечно, сколько-нибудь подробно остановиться на всех, даже основных, персонажах четвертой части повести. Их социальная, а в некоторых случаях и физическая, гибель художественно закономерна и неизбежна в повести Горького, так же, как закономерна и неизбежна в жизни гибель всех этих Лютовых, Тагильских и Самгиных. Замечательная реалистическая правдивость «Жизни Клима Самгина» выразилась также в показе судьбы другой группы персонажей: большевиков Пояркова, Тоси, брата Клима — Дмитрия Самгина и, наконец, Кутузова, не очень часто появляющегося на страницах повести, но наиболее ярко и цельно представляющего те силы, которые противостоят Самгину и породившему его обществу.

Клим Самгин и Кутузов — это образы полярные, находящиеся в постоянном и непримиримом конфликте друг с другом. Победенным из этого конфликта выходит Самгин, и его поражение вытекает из всей сущности образа: он глубоко антинароден, нити, которые связывают его с жизнью страны, оказываются гнилыми.

Горький превосходно вскрывает внутреннюю сущность Самгина. Его мировоззрение склеено из обрывков разных философских систем и чужих мыслей, скептицизм, холодное равнодушие ко всему, многозначительное умничание, фразерство Самгина есть только пошлое остроумие банкетного оратора, маска, прикрывающая внутреннее убожество и нищету. Клим Самгин боится жить, боится «расплескать себя». Уверенный в своей самостоятельности, он, по существу, бессилен, всегда подчиняется среде и почти никогда не действует сознательно. Случайно захваченный вихрем событий, он делается «участником» Декабрьского восстания в Москве и некоторое время сохраняет ореол революционера. В конце четвертой книги он земгусаром едет на фронт, видит разложение армии, но уже не способен сделать из этого какие-нибудь выводы. По мере на-

растания революционных событий он все больше эволюционирует вправо и быстро оказывается просто злобствующим обывателем. Он ненавидит народ, потому что боится его.

Двурушник и филлистер Самгин, ненавидя революцию, мучается необходимостью «определить свое место в ней». Он боится за себя, ему слишком страшно расстаться с убеждением, что он — необыкновенная, выдающаяся личность, еще только не успевшая себя раскрыть. Он не живет, а актерствует, позирует в жизни, это определяет его характер, его мышление. Он так привык к позе, что в своих поступках и мыслях прежде всего соразмеряется с ней. Горький очень тонко несколько раз подчеркивает это его свойство. Самгин «признает себя обязанным» поехать в больницу, когда у него умирает жена, и потом прислушивается, «как отзовется в нем известие о смерти Варвары? Ничего не услышал, поморщился, недовольный собою» (стр. 148) и т. д. Он так не доверяет жизни, что всегда остается недоволен своими непосредственными реакциями на те или иные события и слова. Но, самовлюбленный и умничающий, он всегда старается оправдать себя и даже свои недостатки относит к числу своих достоинств (стр. 259).

Полная противоположность Самгину — Кутузов, большевик, пролетарий. Если Самгин враждебен жизни, и при каждом его соприкосновении с народом (9 января, баррикадные бои в Москве, похороны Баумана, поездка в деревню и на фронт и мн. др.) Горький показывает его антинародную сущность, то Кутузов, жизнерадостный и целеустремленный, — плоть от плоти русского народа. Горький знал и любил Россию и русский народ. Но он ненавидел и презирал Самгиных; лучшие черты русского народа он воплотил в образе Кутузова, одного из тех, которые работали и работают в партии Ленина — Сталина. В Кутузове есть уверенность в правоте своего дела, его силу вынужден признать Самгин. «Каждый раз, когда он думал о большевиках, — большевизм олицетворялся пред ним в лице коренастого, спокойного Степана Кутузова... С каждой встречей он вызывает впечатление человека, который становится все более уверенным в своем значении, в своем праве учить, действовать» (стр. 260).

И дальше:

«В Кутузове его возмущало все: нелепая демократическая тужурка, застегнутая до горла, туго натянутая на плечах, на груди, придавала Кутузову сходство с машинистом паровоза... Но особенно возмущали иронические глаза, в которых неугаσιμο светилась давно знакомая и обидная улыбочка, и этот самоуверенный, крепкий голос, эти слова человека, которому все ясно, который считает себя в праве пророчествовать» (стр. 424).

Это не только ненависть Самгина к определенному человеку, это ненависть к пролетариату.

В жизненной судьбе Самгина Горький показал судьбу буржуазной интеллигенции, внутренне опустошенной, изолгавшейся, зажив сгнившей в клоаке буржуазного общества. Горький неоднократно подчеркивает социальную вредность самгинщины, не даром в цитированной нами беседе с начинающими писателями он говорил о том, что Самгин еще жив, «организует заговоры и — занимается подлостями». Разоблачением самгинщины Горький сделал политическое дело огромной важности.

Горький тонко и зло показывает ничтожность поверхностной и спекулятивной культуры Самгина, Тагильского и других, считающих большевиков гуннами, а себя высшим выразителем цивилизации. Но этим «интеллигентам средней стоимости» даже друг от друга трудно скрыть свою внутреннюю пустоту. Тагильский откровенно говорит Самгину: «... я думал, что вы умный и потому прячете себя. Но вы прячетесь в сдержанном молчании, потому что не умный вы, и боитесь обнаружить это» (стр. 280). Культура для Самгина — магазин готового платья, в котором он примеряет себе костюм по фигуре (стр. 61), и Горький во множестве ситуаций показывает цену такой «культуры».

Замечательное произведение Горького — действенное оружие в борьбе с еще живыми пережитками старого мира, оно — неиссякаемый источник эстетического наслаждения. Исключительный талант классика социалистического реализма, Максима Горького, развернулся здесь во всей своей силе, и чем выше будет возрастать культурный уровень нашего читателя и всей советской литературы, тем большее значение будет приобретать это последнее произведение величайшего пролетарского писателя.

Лев Гладков.

М. Горький. — Пьесы. Том I. Изд-во «Искусство». М.—Л. 1936 г. Редакция текста И. А. Груздева. Стр. 550, Тир. 15.000. Цена 12 р. 50 к.

В этой изящно изданной издательством «Искусство» книге собрано шесть ранних пьес Горького («Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Варвары» и «Враги»), написанных Алексеем Максимовичем в 1902—1906 гг.

Горький-драматург складывался в годы, предшествовавшие революции 1905 г., когда в русском театральном искусстве ведущее место занимал молодой Художественный театр, с репертуаром, состоящим, главным образом, из пьес Чехова и Ибсена. Горький пришел в театр уже сложившимся писателем, с большим жизненным и художественным опытом, и сразу занял в нем выдающееся место.

Не разрывая целиком с чеховской традицией, во многом продолжая ее, он внес в русскую драматургию освежающую струю реализма, впервые вывел на сцену пролетариев, со-

знательно борющихся с капиталистическим обществом. Даже самые ранние пьесы Горького были проникнуты духом протеста против буржуазного строя, духовно и физически калечащего людей, и буржуазная критика сразу объявила им войну, заявив, что они не театральны, дидактичны, скучны. Время опровергло эту легенду, и сейчас советский театр все чаще и чаще обращается к драматургическому наследству Горького, находя в нем неиссякаемые запасы художественных ценностей.

Горький был драматургом больших и глубоких идей. Великий пролетарский гуманист, он с революционной страстностью боролся за человеческое достоинство, за ум и культуру, против всякого угнетения, эксплуатации и лжи. В пьесе «На дне», поставленной впервые на сцене Московского Художественного театра 18 декабря 1902 года и поражавшей буржуазных эстетов своей так называемой «босаяцкой экзотикой», с огромной силой прозвучали слова, облетевшие весь мир: «Человек! Это — великолепно! Это звучит гордо! Человечек. Надо уважать человека! Не жалеть, не унижать его жалостью, уважать надо!»

Великолепное знание изображаемой среды, жизненный опыт и культура дали возможность Горькому создать подлинно типические образы тогдашней русской действительности. Интеллигент-либерал Бардин во «Врагах» — это живое воплощение всей философии русского либерализма; для того, чтобы в 1906 году написать его таким, каким он написан Горьким, нужно было уметь далеко заглядывать вперед, видеть историческую судьбу Бардиных.

Во «Врагах» впервые в русской драматургии были показаны сознательные революционные рабочие как носители передовых человеческих идей. Все их образы проникнуты глубокой верой в силу пролетарской революции, не даром пьеса была запрещена царской цензурой. Горький, как и большевики, знал, что революция 1905 года не прошла даром, и своей пьесой активно боролся с меньшевистским тезисом Плеханова: «Не надо было браться за оружие». Пьеса Горького заканчивается словами Левшина, полными уверенности в близкой победе рабочего класса: «Нас — не вышвырнешь, нет. Будет, швыряли! Пожили мы в темноте беззакония. Довольно! Теперь сами загорелись — не погасишь! Не погасите нас никаким страхом, не погасите».

В этом финале звучит предвестие победы пролетариата. Пьеса была смелым вызовом царскому самодержавию и только после Октябрьской революции увидела сцену.

В более ранних пьесах Горького («Мещане», «На дне») идея грядущего торжества разума и прогресса выражалась в образах мечтателей, искателей правды, оторванных от конкретной политической борьбы. Но и здесь революционный протест Горького против лжи и лицемерия достигал огромной силы. «Кто сам себе хозяин, кто независим и не жрет чужого, зачем тому ложь? — заявляет Сатин в 4-м действии пьесы «На дне». — Ложь —

религия рабов и хозяев. Правда — бог свободного человека».

В своих пьесах, как и в своих беллетристических произведениях, Горький разоблачал духовную нищету интеллигенции, прикрывавшуюся «дешевыми лохмотьями книжной мудрости». «Мы — дачники в нашей стране, — говорит Варвара Михайловна в «Дачниках». — Мы суеتمدны, ищем в жизни удобного места... Мы ничего не делаем и откровенно много говорим». Брат ее Влас отвечает ей: «Вы ряженые. Пока я жив, я буду всегда срывать с вас лохмотья, которыми вы прикрываете вашу ложь... вашу пошлость... нищету ваших чувств и разврат мыслей».

Горький с огромной требовательностью относился к драматургии и к театру и с исключительной, даже излишней, скромностью оценивал свои пьесы как «слабо связанные сцены, в которых сюжетная линия совершенно не выдержана, а характеры не дописаны, не ярки, не удачны» (см. сборник статей Горького «О литературе», стр. 156). Эта скромность и самокритичность вытекала из сознания той огромной ответственности, которую всегда чувствовал Горький и которой нужно у него учиться нашим драматургам. Уже будучи больным и чрезвычайно перегруженным работой, Горький переделывал, исправлял, «очищал» свои старые пьесы, ставящиеся нашими театрами.

Прекрасный, живой, сочный язык его драматургических произведений, реалистическая правда, яркие, полнокровные человеческие образы чрезвычайно обогатили наш театр и нашу литературу. Горький в своих пьесах всегда показывал настоящие человеческие страсти, раскрывал жизнь в ее настоящих конфликтах. Как в своих ранних пьесах, напечатанных в рецензируемой книге, так и в последних — «Егор Булычев», «Достигаев и другие» — с огромным художественным мастерством, подлинным знанием жизни он развернул широкую панораму российской предреволюционной действительности, дал незабываемые типические образы представителей разных классов русского общества.

В русской драматургии Горький явился достойным наследником Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Островского и Чехова, продолжая их великую реалистическую традицию, преобразуя и реформируя наш театр в соответствии с новыми требованиями. Не случайно творческая деятельность Горького как драматурга теснейшим образом связана с Московским Художественным театром, носящим теперь его имя. Совершивший переворот в театральном искусстве, МХАТ нашел в Горьком художника, смело показывающего подлинную жизнь, борющегося с формалистским шукарством и эстетством. В «Мещанах», «На дне» и «Детях солнца» впервые с подмостков Художественного театра прозвучали ноты социального протеста.

Тридцать пять лет идут в театрах пьесы Горького, несколько поколений актеров и зрителей воспитывались на их замечательных ху-

дожественных образах. И за последние годы интерес к драматургии Горького все больше и больше возрастает.

Ранние пьесы Горького, напечатанные в рецензируемой книге, ни в какой мере не утратили сейчас своего значения. Наш современный зритель с огромным наслаждением смотрит «На дне», «Враги», «Дети солнца» и др.

Книга издана издательством «Искусство» прекрасно. Хочется сделать только один упрек редактору — И. Груздеву. Следовало, кроме перепечатки передовой статьи из «Правды» от 18 декабря 1936 г., посвященной Горькому, дать в книге обстоятельную, популярную статью о напечатанных пьесах, о их роли в истории русского театра и в творчестве Алексея Максимовича Горького.

Г. А.—в.

Максим Горький. О Пушкине. Под редакцией и с примечаниями С. Д. Балухатого. Изд. Академии наук СССР. М.—Л. 1937.

Алексей Пешков рано познакомился с Пушкиным.

В руки юноши однажды попались поэмы и сказки великого поэта. И он прочел их «все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься бежать его сразу» («В людях»).

Какое впечатление произвел Пушкин на пытливого юношу? «Пушкин до того удивил меня простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной и читать ее было неловко. Пролог к «Руслану» напомнил мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну, а некоторые строки изумляли своей чеканной правдой...».

Стихи Пушкина прозвучали для Алексея Пешкова, как «благовест новой жизни». Юноша, — быть может, впервые так остро, — почувствовал: «Какое это счастье — быть грамотным!»

Встреча с Пушкиным была значительной вехой на жизненном пути неутомимого искателя правды, заложившего в дальнейшем основы социалистической литературы. Пушкин стал любимым спутником и учителем Максима Горького.

М. Горький почувствовал в произведениях Пушкина подлинную «мудрость и живую красоту», ощутил в них «психически здоровую и оздоравливающую» силу. В Пушкине Горький признал «родоначальника великой русской литературы» и учился у него искреннему подходу к явлениям жизни, простоте и правдивости художественного образа.



Свое понимание пушкинского творчества, свой взгляд на Пушкина М. Горький высказал в лекциях по истории русской литературы, читанных в 1909 г. в Каприйской партийной школе.

Через 28 лет, — уже после смерти М. Горького, — черновая рукопись главы о Пушкине была извлечена С. Д. Балухатым из архива и издана Академией наук СССР (с добавлением высказываний о Пушкине, содержащихся в статьях, письмах и т. д.). Книга эта — ценный вклад в науку о литературе.

Работа М. Горького занимает важное место в огромной литературе о Пушкине. В ней, правда, нет ничего законченного. Это даже не полный текст главы, а конспективные черновые записки, содержащие ряд отдельных формулировок и ссылок на примеры. Вопросы, касающиеся мировоззрения и творчества великого поэта, в них далеко не исчерпаны. М. Горький такой задачи себе и не ставил. Он стремился ориентировать слушателей-рабочих только в некоторых основных вопросах пушкинского наследия. И сделал это со свойственной ему ясностью и глубиной.

В годы жестокой политической реакции, когда буржуазные писатели на все лады искажали Пушкина, «приспосаблия» его к своим собственным общественно-политическим и религиозно-философским взглядам, М. Горький сказал новое слово, опрокидывавшее субъективистские «концепции» и толкования.

М. Горький сразу вводит читателя в существо вопроса о культурном наследии Пушкина.

«Мы должны уметь отделить от него (Пушкина) то, что в нем случайно, то, что объясняется условиями времени и личными, унаследованными качествами... Но именно тогда, когда мы откинем все это в сторону, — именно тогда пред нами и встанет великий русский народный поэт, создатель чарующих красотой и умом сказок, автор первого реалистического романа «Евгений Онегин», автор лучшей нашей исторической драмы «Борис Годунов», — поэт, до сего дня никем не превзойденный ни в красоте стиха, ни в силе выражения чувства и мысли, поэт — родоначальник великой русской литературы».

Что отличает Пушкина от поэтов предшествовавшей и современной ему эпох? Что принципиально нового он дал русской культуре?

В о- п е р в ы х, утверждение достоинства личности.

В поэзии Пушкина «звучит нечто новое по тем временам — именно: звучит уверенность человека в его праве «читать самого себя» не только по заслугам предков, но за свои личные заслуги пред обществом».

Слова поэта о «шестисотлетнем дворянстве», вызвавшие немало неправильных толкований, М. Горький объясняет исторически и психологически верно: «Лично Пушкин вкладывал в понятие дворянства чувство собственного достоинства, сознание своей человеческой ценности и внутренней свободы».

Действительно, в борьбе Пушкина за положение поэта в обществе главную роль играла идея личного и общественного достоинства человека как гражданина и писателя, идея культуры личности.

В о- т о р ы х, утверждение высокого общественного значения поэтического слова.

«До Пушкина литература — светская забава... «Пушкин — первый почувствовал, что литература — национальное дело первостепенной важности, что она выше работы в канцеляриях и службы во дворце, — он первый поднял звание литератора на высоту, до него недостижимую: в его глазах поэт — выразитель всех чувств и дум народа, он призван понять и изобразить все явления жизни».

Пушкин, — это следует напомнить, — считал писателей «благороднейшим классом народа, классом мыслящим». И утверждал, что благодаря их деятельности «возрастает могущество общего мнения, на котором в просвещенном народе основана чистота его нравов»; что таким путем «мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина». В художественном слове поэт видел «грозный дар», обладающий «могучей властью над умами». И первый провозгласил лозунг: «Служенье муз не терпит суеты!»

В т р е т ь и х, глубокое знание и понимание народа, его истории, его творчества.

«Поэты до Пушкина совершенно не знали народа, не интересовались его судьбой, редко писали о нем». «Пушкин был первым русским писателем, который обратил внимание на народное творчество и ввел его в литературу, не искажая в угоду государственной идее «народности» и лицемерным тенденциям придворных поэтов; он украсил народную песню и сказку блеском своего таланта, но оставил неизменными их смысл и силу!»). М. Горький подчеркивает, что в своих сказках Пушкин не только «не скрыл, не затушевал» «насмешливое, отрицательное отношение народа к попам и царям», но, напротив, «оттенил еще более резко».

Поэт внимательно «изучал народную жизнь, народную речь», «знал жизнь крестьян», учился русскому языку «у своей няньки», «у ямщиков, торговков, в трактирах, на постоялых дворах, у солдат».

Знание народной жизни, народной речи, народного творчества оказало огромное влияние на творческую работу Пушкина. Оно помогло ему преодолеть литературные «влияния» (французских поэтов, Байрона и др.) и встать на свои ноги. Поэт «заговорил чистым русским народным языком, начал вводить в литературу народные мотивы, обыденную жизнь, стал изображать жизнь реально, просто и верно...»²⁾.

¹⁾ В статье «Об анекдотах и — еще кое-чем», напечатанной 19/XII—1931 г. в «Правде» и «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», М. Горький повторил: «Пушкин вообще не искажал подлинного смысла сказок».

²⁾ Двадцать лет спустя М. Горький писал о том же: «Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто пре-

В-четвертых, широта подхода к жизни и художественных обобщений.

Пушкин «не оставил на одной стороне жизни, не осветив ее своим талантом, круг его интересов, широта знаний до сей поры остается непревзойденной. Он дал образцы всех форм литературного творчества: драму, роман, поэму, сказку, сонет и т. д.»¹⁾

Эта широта интересов и знаний соединилась у поэта с огромным мастерством: «Он мастер стиха, превосходящий в технике своих предшественников». «Он превосходно знает свое орудие, свой материал». «Многие из современников Пушкина владели словом почти так же искусно, так же легко, как он, но никто из них не смог соединить в стихе простоты и ясности слова с музыкальностью его...»

Знание и мастерство в свою очередь сочетались у Пушкина со «способностью широких обобщений». Из материала, даваемого действительностью, поэт извлекал типичное, жизненно важное. И создавал правдивые, реалистические образы, сохраняющие свое значение далеко за пределами своей эпохи

«Онегин как тип только-что сложился в 20-х годах, но поэт тотчас же усмотрел эту психику, изучил ее, понял и написал первый русский реалистический роман, — роман, который помимо неувядаемой его красоты имеет для нас цену исторического документа, более точно и правдиво рисующего эпоху, чем до сего дня воспроизводят десятки толстых книг». «В лице Онегина мы видим изображение привычки, мысли, чувства всей светской дворянской молодежи 20-х годов. Едва ли в действительности существовал человек, соединявший в себе то, чем Пушкин наполнил Онегина, но несомненно, что характернейшие черты Онегина были свойственны сотням людей той эпохи».

М. Горький приводит и другой пример художественного обобщения Пушкина: в «Истории села Горюхина» дана «типичнейшая для того времени картина разорения деревни».



После 1909 г. М. Горький неоднократно пишет о Пушкине в статьях, письмах, воспоминаниях, художественных произведениях. Тут мы встречаем и поразительные по глубине суждения о поэте, и советы молодым писателям изучать Пушкина.

Красно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его» («Рабселькорам и военкорам», «Правда» и «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» от 30/IX 1928).

¹⁾ Позднее, в 1914 г., М. Горький обращал внимание одного своего корреспондента на пушкинский подход к жизни: «Посмотрите, как широк диапазон его интереса к жизни, как много он охватил на земле, ему равно доступны и русская сказка и «Скупой рыцарь», «Борис Годунов» и «Работник Балда, вот как нужно брать жизнь».

«Он (Пушкин) у нас — начало всех начал — в том числе и Герцена» — пишет М. Горький (1911) одному знакомому, «засадившему» Пушкина в «легкомысленные люди».

М. Горький настойчиво рекомендует (1913): «Читайте почаще Пушкина, это — основоположник поэзии нашей и всем нам всегда учитель. Гем, кто кричит, что Пушкин устарел, не верьте, — стареет форма, дух же поэзии Пушкина четленен, и в поэзии надо быть хоть немного историком, т. е. человеком, честно и сознательно относящимся к своему историческому вчера».

За несколько месяцев до Октябрьского переворота М. Горький дает такую характеристику Пушкина: «Гигант Пушкин, величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России...»

А в 1925 г. пишет: «В томике стихов Пушкина... я нахожу больше мудрости и живой красоты, чем в холодном мерцании звезд или в ритмическом прибое океана, в шопоте леса или в молчании пустыни».



Поэзия и проза Пушкина оказали несомненное влияние на эстетические взгляды и творческую практику М. Горького. Роль Пушкина в формировании художественного мастерства М. Горького — велика. Горький сам называл Пушкина своим учителем. К сожалению, этот большой вопрос не только еще не исследован, но даже не поставлен нашей наукой о литературе.

Теперь мы более или менее хорошо знаем взгляды М. Горького на творчество Пушкина, его оценку наследия поэта. Но мы не знаем, как претворилось в творческой практике М. Горького все то, что он нашел и получил у основоположника русского реализма. Исследование этого вопроса — выяснение взаимоотношения пушкинского и горьковского реализма — будет большим шагом вперед по пути овладения методом социалистического реализма.

Гл. Глбев.

В. Кирпотин. — «Наследие Пушкина и коммунизм». Гослитиздат, М., 1936, стр. 309, цена 3 руб. 75 коп.

Ф. Энгельс в свое время высмеивал тех, кто смотрел на историю как на «кучу развалин разрушенных систем», — он также высмеивал и тех, кто судил о «каждом философе не по тому ценному, прогрессивному, что было в его деятельности, но по тому, что было необходимо преходящего, реакционного» (Маркс и Энгельс. «Письма». Партиздат. 1932. Стр. 386).

Достоинством работы В. Кирпотина является прежде всего то, что критик рассмотрел и выдвинул в наследии Пушкина и в самой личности поэта прогрессивные черты, черты, сближающие великого поэта с нашей современностью. Личность поэта, с ее глубокой тягой к счастью при условии счастья для других, — оптимистический, жизнерадостный, жизнеутверждающий Пушкин, — неизбежно должна была

столкнуться с мертвящей аракчеевско-александровской, а затем николаевской реакцией. Конфликт этот обострялся гениальностью поэта и дополнялся политическим свободомыслием, революционностью настроений юного поэта.

В книге подчеркивается мысль о том, что Пушкин был «прежде всего поэтом, художником» (стр. 53). Эта мысль проводилась великим Белинским, в статьях которого о Пушкине она раскрыта с предельной ясностью. Белинский писал: «Как человек Пушкин отразил в себе всю неопределенность и шаткость направлений и убеждений своего времени, и в уме его как-то странно уживались вместе тенденции поэта и помещика, человека и дворянина, мещанина и аристократа. Как поэт Пушкин противоречил себе как человеку, по крайней мере, везде, где он был верен своей артистической натуре, где он был преимущественно художником. Повторяем, сила его была в его художественной натуре. Становясь человеком (лицом частным — *particulier*), он суверенно благоговел перед карамзинскими идеями; становясь поэтом, он опережал их на целые века».

В. Я. Кирпотин делает попытку раскрыть ограниченность политических взглядов Пушкина, его дворянскую революционность, ненависть к самодержавию и любовь к народу — с одной стороны, и величие его как поэта, как реалиста и гуманиста — с другой. «Как поэт, а не как мыслящий человек, и не мысль делали его (Пушкина) великим, а поэтический инстинкт» — повторял неоднократно Белинский.

О величии поэта Пушкина писал Н. Г. Чернышевский позднее Белинского, но в том же смысле: «Творения Пушкина, создавшие новую русскую литературу, образовавшие новую русскую публику, будут жить вечно, и вместе с ними незабвенно навеки останется личность Пушкина».

Продолжение и развитие этих взглядов дано в рецензируемой книге.

Очень ценно и плодотворно для дальнейших изысканий то, что автор уделал внимание вопросу об отношении Пушкина к французским просветителям XVIII века, рассказал о его неизменных симпатиях к материализму и отрицательном отношении к идеалистической реакции начала XIX века, духовной реакции времен империи.

Некоторые критики в известном смысле справедливо упрекают В. Кирпотина за то, что он мало осветил другую почву, питающую Пушкина, — русскую действительность, связи его и идейные воздействия на него друзей-современников — П. Я. Чаадаева, декабриста Н. Тургенева, в квартире которого начата была ода «Величье», П. А. Вяземского и др.

В. Кирпотин не отрицает этого влияния; в ряде страниц есть прямые указания на воздействия, испытанные Пушкиным от декабристов, от народных восстаний 30-х годов и т. д. В книге нет только изображения и конкретной характеристики близких друзей и современников Пушкина.

Не затронута вовсе проблема взаимоотно-

шений Пушкина с западноевропейской литературой. В. Кирпотин приводит отзывы Пушкина о Байроне, Шекспире и др., когда определяет идейную позицию поэта, но он не дал анализа художественных методов и художественных образов, созданных Пушкиным, Байроном, Шекспиром и др. Следует отметить, что т. Кирпотин в своем исследовании, написанном в плане широких обобщений, сравнительно мало уделал внимания детальным справкам о проникновении произведений Пушкина в Западную Европу.

Книга состоит из XI глав, дающих целостное представление о характере творчества и социальных причинах гибели Пушкина. Первые главы книги («Мировоззрение Пушкина», «Радость и печаль», «Идеал политической свободы», «Идеал независимой личности») являются вводными по отношению к последним главам, освещающим содержание конфликта Пушкина с действительностью и социальный смысл этого столкновения, закончившегося гибелью для гениального Пушкина.

Самым существенным и наиболее своевременным среди многих проблем, затронутых В. Кирпотиним в этих главах, является вопрос об эволюции Пушкина и социальном характере процессов, нашедших отражение в творчестве Пушкина. В. Кирпотин исходит из безусловно правильной мысли, что перемена взглядов Пушкина после крушения декабристов была не отказом от вольнолюбивых мечтаний юности, а углублением и развитием тех же взглядов. Вместо политически неопределенной настроенности 20-х годов, у Пушкина в 30-е годы рождается более углубленное отношение к вопросам революции, государственности, народности. «Пушкин скрепя сердце отказался от программы политической свободы, но мыслей своих о необходимости освобождения крестьян он не изменил» (стр. 248), — говорит В. Кирпотин. Если проблема народности в 20-е годы имела узко литературный уклон и в творчестве Пушкина проявлялась в виде борьбы с литературными старейшинами и квази-друзьями народа, то в 30-е годы Пушкин стал подходить к этой проблеме как к государственному принципу.

В 20-е годы проблема революции потерпела крах в виде разгрома декабристов. В 30-е годы перед Пушкиным, наблюдавшим народные восстания, встает вопрос о народной революции, рождается мысль о том, как народ может устроить революцию и государство.

Анализ «Капитанской дочки», данный В. Кирпотиним, убеждает, что интерес к народным революционным движениям у Пушкина в те годы был особенно глубоким; что Пушкин, «осуждавший крестьянские бунты и пугачевское движение, не возлагал за них ответственность на самих угнетенных» (стр. 240—241). Однако, переоценивать «революционность» и демократизм Пушкина не следует. В. Кирпотин предостерегает от этого, определяя и причины «ограниченности» Пушкина в этом смысле. «Пушкин патриархально объединял интересы помещика и крестьянина» — пишет

В. Кирпотин (стр. 224). «Это произошло из его положения дворянина, но в то же время настойчивое стремление (Пушкина) к ликвидации крепостного права показывает, что пушкинская критика капитализма отражала отрицательное отношение к нему представителей докапиталистического хозяйства». Яснее мысль, заключающаяся в последних словах, высказана В. Кирпотиним в другом месте так: «Классовый смысл эволюции творчества Пушкина необходимо искать не по линии от дворянства к крестьянству, а по линии от дворянства к крестьянству, по типу эволюции Льва Толстого» (стр. 249).

Эта точка зрения решительно испровергает теорию вульгарного социологизма, видевшего в Пушкине обуржуазивающегося дворянина и представителя капитализировавшегося дворянства! Можно спорить, насколько исторически оправдывается параллель с Л. Толстым, насколько исторически верно такое сравнение. Однако надо помнить, что основное и ценное здесь в том, что творчество поэта рассматривается как отражение исторической правды, чутко подслушанной поэтом и совпадающей с историческими передовыми интересами народных масс. Вполне уместно предостережение автора книги о том, что не следует «упрощать исторической картины, терять ясного сознания степени процесса в разных исторических эпохах» (стр. 249) в отношении Пушкина и Толстого. Отношение же к капитализму было у обоих писателей отрицательное. «При оценке Пушкина надо помнить, что он стоит в начале процессов политической и классовой дифференциации» (212 стр.) — справедливо указывает В. Кирпотин. Дворянская идеология внушала ему нередко и реакционные мысли. Но как поэт Пушкин был шире, смотрел дальше и опережал время.

В книге В. Кирпотина нашли освещение и вопросы искусства, отношении Пушкина к романтизму (стр. 181 — 183), к теории «чистого искусства» (стр. 206 — 209), гуманизм его поэзии (стр. 237), черты его реализма в творчестве последних лет.

В целом книга В. Кирпотина не исследует до конца проблем, но намечает правильные и плодотворные пути для их дальнейших исследований. Эта книга своевременна и потому, что ведет пушкиноведение от мелочных черновых работ и отрывочных изысканий о маловажных фактах к проблемам принципиального значения, на путь обобщенных исследований основных сторон творчества нашего великого поэта.

Н. Бельчиков.

И. Нович. — «Духовная драма Герцена». ГИХЛ, Москва, 1937 г., стр. 380, ц. 5 р. 25 к.

Книга т. Новича рассматривает наследие Герцена главным образом как наследие большого своеобразного художника слова, совершенно правильно указывая, что основной особенностью писателя является слияние воедино публицистики, философии, политической полемики, биографии и искусства. В девятой

главе Нович интересно и убедительно, хотя в отдельных моментах спорно, показывает, как Герцен, стремясь свести философию с холодных высот идеалистической абстракции, «критикуя абстрактно-логическую взвинченность, отрешенность от действительной жизни» (стр. 165), преследуя цели революционной агитации, создает стиль, сохраняющий «поэтически чувственный блеск», создает литературную манеру, в которой образ и понятие оказываются связанными неразрывно.

Литературная деятельность автора «Былого и дум» выясняется Новичем в связи с революционным движением в России и в Западной Европе, современным и участником которой был Герцен. Подробно показывается влияние на русского писателя-революционера утопического социализма, немецкой классической философии и его связь с европейской художественной литературой.

В целом книга Новича является полезной для широкого читателя, так как помогает ему выяснить некоторые спорные вопросы такого сложного писателя, каким является Герцен.

Но книга Новича не лишена нескольких существенных недостатков. Вызывает целый ряд неясностей и недоумений основной вопрос, сформулированный в заглавии книги, — в чем заключается духовная драма Герцена?

На всем протяжении книги (стр. 83, 88, 89, 98, 111, 140, 227, 228) Нович утверждает, что духовная драма Герцена заключается в «крахе западных иллюзий», в отрешении от «опьянения западной цивилизации», одним словом, в разочаровании в Европе; «решительно неверен взгляд, — пишет он. — свойственный подавляющему большинству герценоведов, будто разочарование в Европе родилось лишь после крушения революций 1848 года», оно-де родилось еще в 1847 году.

На самом деле разочарование в Европе, появившееся у Герцена с первых же «Писем из Франции и Италии», имеет весьма отдаленное отношение к духовной драме Герцена. Последняя явилась именно результатом июньского разгрома пролетариата в 1848 году и не могла явиться раньше, ибо только это неудавшееся, но «гениальное», по выражению Маркса, восстание показало полный крах «прекраснодушной фразы доброго мечтателя, в корю облекала свою тогдашнюю революционность буржуазная демократия, а равно невысвободившийся из-под ее влияния пролетариат» (Ленин). Отражением этого краха буржуазных и мелкобуржуазных иллюзий в социализме, когда «революционность социалистического пролетариата еще не созрела» (Ленин), явилась духовная драма Герцена. Он не понял буржуазно-демократической сущности всех форм домарковского «социализма», — в этом была слабость Герцена. Но писатель понял, что эти формы безвозвратно погибли на Западе, и сумел сохранить, несмотря на весь свой скептицизм, верность революции, — в этом была его сила. Неправильно поэтому

оценивает т. Нович скептицизм Герцена только отрицательно, как «радикализм отчаяния, не основанный на действительном изучении реального хода жизни» (стр. 98).

Разве не реальным ходом жизни был крах буржуазных иллюзий в социализме? Нужна была недюжинная сила, чтобы иметь мужество установить этот крах в 1848 году; демократы, подобные Луи Блану, не нашедшие в себе таких сил в сорок восьмом году, в семьдесят первом становились предателями Парижской Коммуны. Герценовский же скептицизм был «формой перехода от иллюзий «надклассового» буржуазного демократизма к суровой, непреклонной, непобедимой классовой борьбе пролетариата» (Ленин).

Применительно к России двойственность Герцена объяснялась тем же непониманием буржуазной природы прекраснотных фраз о социализме, которое было свойственно русским народникам, как и европейским буржуазным демократам 1848 года. При всех либеральных колебаниях Герцена все же нельзя согласиться с т. Новичем, когда он утверждает: «Идеологом крестьянской революции Искандер не был, больше того — он боялся ее — вот подлинный драматизм его двойственного бытия» (с. р. 66). Верно, что Герцен не был идеологом крестьянской революции, но драматизм заключался все же не в колебании между дворянством и крестьянством, а в том, что «прекраснотную фразу» он принял за подлинный социализм.

Не в связи ли с неясной разработкой некоторых важных моментов идейного развития Герцена находятся ошибки композиции книги Новича? Автор непропорционально много места уделяет наиболее простым, ранним произведениям Герцена, написанным до отъезда за границу и не отражающим еще духовной драмы Герцена. Зато такие сложные произведения, как «Письма из Франции и Италии», «С того берега» и «Былое и думы» разобраны слишком суммарно, без детального анализа всей сложной и богатой галереи их образов и проблем. Отсюда возникает досадное впечатление у читателя, что многое ему неизвестно, освещено вскользь и мимоходом, тогда как вопросы, разрешенные до основания, даже в школьных учебниках литературы (вроде вопроса о том, кто виноват в злоключениях Бельтова), анализируются излишне тщательно.

Заслуживает серьезного возражения способы литературного анализа у т. Новича: он, отождествляя качество Герцена с его художественным мастерством, делает двойную ошибку. С одной стороны, Герцен объявляется выше многих крупнейших писателей на том основании, что Герцен — революционер, а те были либералами или консерваторами. С другой стороны, ограниченность Герцена-художника автор видит в том, что «он не был вооружен средствами действительно объективного, истинного познания мира» (стр. 187), то-есть, очевидно, объясняет непоследовательностью

материализма. Нет надобности доказывать, что и то, и другое схематически упрощает сложность проблемы отражения действительности писателем. Вразрез с фактами т. Нович утверждает на стр. 214, что образ Бельтова у Герцена выше образа Рудина у Гурженева, и поэтому «литературная традиция либерализма, в соответствии с которой художественным (курсив мой. — Л. Ж.) общением человека эпохи 40-х годов прошлого века считается Рудин, нуждается в пересмотре».

На стр. 312 Герцен-художник оказывается уже выше Гоголя, ибо «далеко вышел за пределы гоголевского реализма». Оказывается, Гоголь рисовал только «мелкое чиновничество», «в лучшем случае Сквозник-Дмухановских отдаленных российских провинций» (стр. 197).

Стиль Герцена Нович готов взять за образец довольно презрительно аттестуя жанры и стиль остальной литературы: «Канонизированные жанры» (стр. 291), «патентованные романы того времени» (стр. 299), «стиль, облекающий ничтожные камерные переживания в дворянских усадьбах или буржуазных гостиных» (стр. 319), и т. д., и т. д. Просветительский, революционно-демократический художественный стиль дорог нам, но стоит ли нам отказываться от всей остальной классической литературы?

Нельзя не пожалеть о том, что на протяжении 380 страниц т. Нович не уделал одного-двух десятков страниц для анализа работы Герцена над своими произведениями, не показал путей создания «Былого и дум» в напряженной политической борьбе, ведшейся на страницах «Полярной звезды», не показал, как идейно рос Герцен от первой редакции «Писем из Франции и Италии» в 1848 г. через вторую — в 1854 году до третьей — в 1858 году. Пора нам понять, что текстологическая работа — не только техническая, но и политическая.

В заключение несколько замечаний о языке книги т. Новича. Автор задался целью уйти от безличного и серого языкового штампа и, несомненно, не без влияния Герцена, писать эмоциональным художественным языком. Задание прекрасное, актуальное для всей нашей критики. В ряде мест т. Нович достигает своей цели: не без искреннего пафоса, красиво и в то же время просто написана, например, девятая глава, лучшая в работе. Но недостатком языка всей книги является слишком часто обнажающееся задание: «писать красиво», и вытекающая отсюда манерность. Чем иным, как не манерностью, является хронологическое ограничение Новичем дворянского этапа освободительного движения в России, «в заглавиях которого стоят как знаки начала имена декабристов, как знак конца Герцен» (стр. 9)? Такая фраза довольно типична для книги. Стремление во что бы то ни стало говорить «образно» приводит иногда даже к комическим результатам. Например: «Герцен заносит руку на николаевское самодержавие и крепостническое общество. Они»

больно ударили по этой руке, которой только оставалось взяться за перо писателя» (стр. 133). В наличии подобных «красот» в книге Новича ответственность за автором должен, впрочем, разделять и редактор

А. Жуков.

Н. В. Гоголь. — Собрание сочинений. Биографический очерк Н. С. Ашукина. Изд. 3-е. Госуд. изд. художественной литературы. Москва, 1936 г. Тир. 100.000.

Исполнилась страстная мечта Некрасова, когда вместо «милорда глупого» русский народ читает великих Пушкина и Гоголя, читает и любит самого Некрасова, Щедрина, Л. Толстого, изучает Белинского, Чернышевского и Добролюбова. Потребность в изучении классической литературы стала всеобщей потребностью многонационального великого Союза Советских Социалистических Республик. Всеобщая грамотность, широкое развитие среднего и высшего образования настолько увеличили культурные запросы масс, что даже наши многомиллионные тиражи художественной и научной литературы не в состоянии полностью удовлетворить эти запросы.

Стотысячные тиражи изданий творчества Гоголя, миллионные тиражи изданий Пушкина, Л. Толстого и других классиков расходятся среди читателей в неслыханно краткие сроки.

Партия, правительство, весь советский народ требуют от наших издательств большевистской оперативности в развитии темпов и высокого качества издательской работы. Государственное издательство художественной литературы за последние годы проделало огромную работу по изданию классиков. И все же мы должны сказать, что эта работа далеко еще не удовлетворяет возросшим культурным запросам великого советского народа.

Собрание сочинений Н. В. Гоголя вышло 3-м изданием в количестве 100 000 экземпляров. Но что такое 100.000 экземпляров, если массы предъявляют запрос на миллионные тиражи?

Нужно в несколько раз увеличить тиражи, чтобы классики сделали не только достоянием клубных и школьных библиотек, но и каждого рабочего и колхозника.

Задача издательства художественной литературы не исчерпывается увеличением тиражей. Изданию собрания сочинений того или другого классика необходимо предпослать литературно-критическую статью, посвященную анализу творчества. В этом смысле издательство не удовлетворяет читателя. Так, например, при издании рецензируемого собрания сочинений Н. В. Гоголя редакция ограничилась «Биографическим очерком», составленным Н. С. Ашукиным, и в конце снабдила книгу библиографическими примечаниями Халабаева и Эйхенбаума.

Н. Ашукин не дал полной, развернутой биографии Н. В. Гоголя.

Н. Ашукин утверждает, что Н. В. Гоголь принадлежал к среднепоместным дворянам, а,

описывая конкретную обстановку, в которой жил и воспитывался Н. Гоголь, настоятельно подчеркивает характерные особенности мелкопоместья «старосветских помещиков». По-видимому, автор биографического очерка все время чувствовал на себе давление, с одной стороны, точки зрения В. Переверзева, утверждавшего мелкопоместный характер творчества Гоголя, а с другой — пытался освободиться от позиций «переверзевщины», опираясь на точку зрения Десницкого, утверждавшего, в противовес Переверзеву, среднепоместный характер творчества великого писателя.

В том-то и дело, что ни та, ни другая точка зрения на творчество великого сатирика не может служить основанием для правильного понимания творчества Гоголя.

Дело не исчерпывается определением социальной принадлежности Гоголя, — необходимо правильно охарактеризовать роль и значение творчества писателя.

Правда, задача Н. Ашукина заключалась в написании биографии писателя, а не в критическом анализе его творчества. Но так как Ашукин попутно высказывает свои литературно-критические соображения о творчестве Гоголя, мы вправе коснуться и этой стороны его статьи.

Ашукин пишет:

«Помещицья жизнь «хутора близ Диканьки», где прошло все детство писателя, оказала на него неизгладимое влияние. Крепостнический уклад патриархально-мирной домашней жизни, с его нерушимыми традициями, с крепостными слугами, с многочисленными гостями, с частыми поездками на богомоле, был обстановкой, в которой формировался душевный мир наблюдательного ребенка».

«Идиллия, окружавшая детство Гоголя, объединена для него в одну мирную и счастливую картину жизни панов и жизнь их крепостных; патриархальный быт прикрывал разсдавшие это мнимое единство противоречия... В условиях этой крепостнической среды складывалось и мировоззрение Гоголя».

Правда, тут же автор вынужден признать, что под влиянием развития денежно-менового хозяйства мелкопоместное дворянство вынуждено было оставлять родовые имения для чиновничьей службы в городах. Все это, конечно, так. Но ведь сказать только это и отсюда вывести особенности творчества Гоголя, — в сущности, упрощенно повторять ту, давно уже разоблаченную литературоведческую концепцию, которая, отождествляя экономическое бытие с житием автора, пытается из этого жития вывести все содержание художественного творчества. Не даром же Н. Ашукин попытался в дальнейших высказываниях объяснить противоречия Гоголя, исходя опять-таки из особенностей его личных связей с реакционными кругами.

Ограничивая круг интересов и стремлений Гоголя особенностями биографии, Н. Ашукин, по существу, сам того не заметил, как оказался на позиции переверзевской теории воспро-

изведения художником социальных характеров, адекватных только его социальной группе.

Попытка сослаться на социально-экономические противоречия, обусловившие творчество Гоголя, по существу, оказалась только попыткой.

Поэтому в биографии, написанной Ашукиным, Гоголь — помещик, крепостник и мистик выступает в более ярких чертах, чем Гоголь — борец против пошлости, ограниченности, ничтожности дворянского существования, чем Гоголь — автор беспощадной сатиры на крепостническую Россию.

Исследователь, конечно, обязан сказать и о реакционных устремлениях Гоголя. Но надо показать, как и почему объективно прогрессивный характер творчества Гоголя уживается с субъективно реакционными устремлениями, высказанными в его публицистических статьях-поучениях. Далее, при написании биографии такого сложного и противоречивого писателя, каким был Гоголь, едва ли допустимо ограничиваться ничем не значащими замечания-

ми о творчестве, отдавая все свое внимание внешним биографическим фактам.

Биография писателя не может быть отделена от всей его творческой жизни. Именно в художественных произведениях и даны наиболее существенные факты, без анализа которых биография превращается в нечто мало-значительное и неинтересное.

Н. Ашукин обязан был это сделать в особенности потому, что издание не включало специальной критической статьи о творчестве Гоголя. Впрочем, этот упрек в равной мере относится и к издательству.

Издание собраний художественных произведений классиков (особенно, когда оно имеет в виду удовлетворение культурных запросов широких масс читателей) без критической статьи о творчестве едва ли может быть оправдано. В крайнем случае издательство могло ограничиться напечатанием сокращенной оценки творчества Гоголя, данной классиками русской критики.

Г. Ф.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

* М. ГОРЬКИЙ. Жизнь Клима Самгина. (Сорок лет). Повесть. Том IV. Гослитиздат. Москва, 1937 г. Стр. 464. Цена 7 р. 50 к.

Над настоящим томом «Жизни Клима Самгина» М. Горький работал до последних дней своей жизни. В этой книге, завершающей грандиозную историческую эпопею, великий пролетарский писатель рисует жизнь России, начиная с 1906 года вплоть до 1917 года — разгул царской реакции после поражения революции 1905 года, первые месяцы Февральской революции, приезд Ленина в Россию. На фоне значительнейших исторических событий автор в образе Клима Самгина разоблачает идеалы буржуазной интеллигенции.

* М. ГОРЬКИЙ. Материалы и исследования. Сборник II. Под редакцией С. Балухатого и В. Десницкого. Издательство Академии наук СССР. Москва — Ленинград, 1937. Стр. 482. Цена 14 р.

Сборник включает материалы, освещающие многообразную литературную и общественную деятельность великого пролетарского писателя. Книга открывается публикацией ряда забытых и неизданных художественных произведений и статей М. Горького (рассказы «Сирота», «Без названия», отрывок повести «Мужик», «Песня слепых», «Несогласный» и др.). Значительное место в книге занимает интереснейшая переписка Горького с рядом выдающихся писателей, в том числе с Чеховым, А. Кони, Ф. Батюшковым и др.

* М. ГОРЬКИЙ. Портреты. Составила М. Зотина. Жургазоб'единение. «Жизнь замечательных людей». Москва. 1936. Стр. 286. Цена 2 р. 80 к.

В этой книге собраны высказывания А. М. Горького о жизни и творчестве ряда крупнейших писателей прошлого. Книга открывается фрагментами незаконченного историко-литературного труда Горького (начатого еще в 1907 году), посвященными жизни и творчеству Пушкина. Ряд заметок в книге посвящен Л. Н. Толстому. Заметки эти были написаны в то время, когда Толстой, тяжело больной, жил в Гаспре. Сюда же входит незаконченное письмо Горького, написанное под впечатлением «ухода» Толстого из Ясной Поляны и его смерти. Интересны помещенные в книге живые зарисовки встреч Горького с А. П. Чеховым, В. Короленко, Н. Ф. Анненским.

* М. ОЛЬМИНСКИЙ. Щедринский словарь. Под редакцией М. М. Эссен и Н. Н. Лепешинского. Гослитиздат. Москва. 1937. Стр. 757. Цена 10 р.

Словарь, составленный не только для специалиста-литературоведа, но и для культурного читателя, изучающего творчество величайшего писателя-сатирика, облегчает знакомство с богатейшим щедринским наследством, подводит к пониманию мировоззрения Щедрина.

* СБОРНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ТОЛСТОВСКОГО МУЗЕЯ. Составили Г. Волков, Н. Гусев, С. Есенина, В. Жданов, Э. Зайденшнур, В. Мишин, А. Петров, Н. Родионов, Е. Серебровская, К. Старовойтов и М. Цявловский. Под редакцией В. Бонч-Бруевича. Гослитиздат. Москва, 1937. Стр. 365. Цена 6 р. 25 к.

В сборнике помещен ряд неопубликованных художественных произведений Л. Толстого, в том числе: «Сказка» (1873 г.), «Нет в мире виноватых» (1909 г.) — незаконченное произведение на тему о пробуждении революционного сознания у рабочих. Герой повести, рабочий, по замыслу Толстого, должен быть казнен, и первоначальное название повести — «Казнь Евдокима».

В сборнике собраны также черновые наброски статьи Л. Толстого «О науке и искусстве», неопубликованный вариант статьи «О Гоголе», перевод стихотворения В. Гюго «Бедные люди», выдержки из неопубликованных дневников «Толстой о литературе». Кроме того, в сборник вошли статьи: В. Гусева — «Незавершенные художественные замыслы Л. Толстого» (по дневникам и письмам 1850—1910 гг.); Э. Зайденшнур — «Портреты Катюши Масловой по вариантам музея»; А. Петрова — «Пометки Л. Толстого на книгах яснополянской библиотеки» и др., а также большое количество писем Толстого.

* Г. БЯЛЫЙ. В. М. Гаршин и литературная борьба 70—80-х годов. Издательство Академии наук СССР. Ленинград. 1937. Стр. 212. Цена 5 р. 50 к.

Настоящая книга представляет собой монографию о жизни и литературной деятельности В. М. Гаршина. Автор рассматривает творчество Гаршина в связи с важнейшими проблемами литературы 70—80 гг., характеризует роль Гаршина в литературной борьбе того времени.

* ВОЛЖСКИЙ ФОЛЬКЛОР. Сборник. Составили В. Сидельников и В. Крупянская. С предисловием и под редакцией проф. Ю. М. Соколова. «Советский писатель». 1937. Стр. 205. Цена 6 р. 25 к.

В сборнике помещены образцы народной поэзии, отражающие жизнь приволжского народа. Здесь собраны легенды и песни о крестьянских движениях, возглавлявшихся Степаном Разиным и Емельяном Пугачевым, предания о татарских степных разбоях, сказки, направленные против бар, попов и кулаков, сказки, в которых отражены мечты крестьян о лучшей доле, песни о бурлачестве, о рекрутчине, и др. Интересны публикуемые в сборнике устные «сказы» о борьбе крестьян с помещиками за землю, «сказы» о борьбе с Колчаком и чехословаками во время гражданской войны. Заканчивается сборник большим разделом частушек, значительная часть которых написана после

Великой Октябрьской революции и отражает различные этапы социалистического строительства.

* **ДОЛГАНСКИЙ ФОЛЬКЛОР.** Сборник. Вступительная статья, тексты и переводы А. Попова. Литературная обработка Е. Тагер. Общая редакция М. Сергеева. «Советский писатель» 1957. Стр. 255. Цена 11 р. 50 к.

Настоящее издание является первой публикацией народного творчества долган — немногочисленной народности, живущей на северо-востоке Таймырского национального округа. В сборнике представлены все виды народного творчества долган: рассказы о животных, предания о разбойниках, рассказы о шаманах, песни, сказки и «олоно» (былины). Тексты, помещенные в сборнике, сопровождаются словарным справочником.

* **ШАНДОР ГЕРГЕЛЬ.** «1514». Роман. Том 1. Перевод с венгерского Э. Грейнер-Гейкк. Гослитиздат, Москва, 1937. Стр. 514. Цена 5 р. 25 к.

В романе венгерского писателя Шандора Гергеля огажена история крестьянской войны 1514 года, победоносно пронесшейся по Венгрии и оказавшей влияние на позднейшие средневропейские крестьянские восстания. Автор рисует эпоху легендарного венгерского «крестьянского короля» Георга Дожа, показывает массовые революционные выступления крепостных крестьян.

* **А. КЕСТЛЕР.** Беспремерные жертвы. Перевод с немецкого. Предисловие С. Яворско-

го. «Молодая Гвардия», 1937. Стр. 153+16 листов иллюстраций. Цена 1 р. 50 к.

Книга Артура Кестлера, английского журналиста, попавшего в руки испанских мятежников при взятии Малаги в феврале текущего года и находящегося по сей день в заключении, представляет большой документальный интерес. Автор — один из первых иностранных журналистов, проникших в самом начале мятежа на территорию, занятую войсками мятежников, видевших, как организуется интервенция. В книге собраны корреспонденции Кестлера, печатавшиеся в свое время в английской газете «Ньюс кроникл». Кестлер дает яркие зарисовки трагической испанской эпопеи.

* **ПРАВЫЕ РЕСТАВРАТОРЫ КАПИТАЛИЗМА.** Сборник статей Партиздат ЦК ВКП(б). 1937. Стр. 203. Цена 1 р.

В сборнике помещены статьи П. Поспелова, В. Сорина, Е. Ярославского, Б. Пономарева и М. Москалева об антипартийной и антисоветской деятельности правых реставраторов капитализма — Бухарина, Рыкова и других, которые так же, как и троцкисты, превратились в банду вредителей, убийц, диверсантов, шпионов, агентов фашистских разведок.

* **Р. РОУАН** Разведка и контрразведка. «Молодая гвардия», 1937. Стр. 63. Цена 55 к.

Брошюра является сокращенным переводом книги американского писателя Р. Роуан, опубликованной в «Правде» в ряде номеров. Брошюра знакомит читателей с разнообразными методами диверсионной и шпионской работы иностранных разведывательных органов.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редколлегия Л. М. Леонов.
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР в ВЦИК»

